Марко Вовчок

Марко Вовчок

Твори в семи томах

ВИДАВНИЦТВО
„Наукова думка"
КИЇВ

Марко Вовчок

Том 5

ВИДАВНИЦТВО
„Наукова думка"
1965

У1
В61

Редакційна колегія:
О. Є. Засенко, Н. Є. Крутікова, М. Є. Сиваченко

Упорядкування текстів і примітки
О. О. Білявської та *Н. І. Чорної*
Редактор тома *Н. Є. Крутікова*

КИЇВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «ЖОВТЕНЬ»

В глуши

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Il est temps que je me repose;
Je suis terrassé par le sort.
Ne me parlez pas d'autre chose
Que des ténèbres où l'on dort!

Que veut-on que je recommence?
Je ne demande désormais
A la création immense
Qu'un peu de silence et de paix!

V. Hugo [1]

Молодой помещик Владимир Петрович Хрущев, только что возвратившийся в свою вотчину из долговременного заграничного путешествия, сидел с сигарою на балконе и слушал доклад управителя, худого старика с узеньким лбом, ястребиным носом и тонкими губами, на вид давнего и приближенного барского слуги, в старомодном ливрейном сюртуке. Молодой помещик слушал доклад рассеянно,

---

[1] Отрывок из стихотворения В. Гюго «Trois ans après» («Три года спустя»), написанного в 1856 г. и вошедшего в книгу «Les contemplations» («Созерцания»), в цикл «Aujourd'hui» («Сегодня»):

Я хочу отдохнуть. Угнетен я судьбой...
Лишь к могильному мраку, где спят вечным сном,
Я стремлюсь всей своей утомленной душой...
Так зачем говорить мне о чем-то другом?..

Кто захочет, чтоб снова я жизнь начинал?
Я отныне с такой молчаливой тоскою
У творца всех земных и небесных начал
Одного лишь прошу — тишины и покоя!..

(Перевод Е. А. Белявской)

пускал клубы сигарного дыма и задумчиво смотрел на тропинку, едва заметно змеившуюся в густой зелени запущенного, заглохшего огромного сада с липовыми тенистыми аллеями и целыми зарослями сирени, черемухи, роз, боярышника и жасминов. Владимиру Петровичу Хрущеву было лет тридцать или под тридцать. Все в нем — прекрасные ногти, белоснежное белье, простой, но изящный костюм — обличало человека, принадлежащего к так называемому порядочному обществу, и наружность у него была самая привлекательная. Общему впечатлению вредило только выражение усталости и апатии, которыми было проникнуто все его существо. В его больших продолговатых, замечательно красивых карих глазах не было ни огня, ни блеска; движения отличались медленностью и вялостью. Он часто улыбался, но как улыбаются те люди, чьи мысли где-то далеко, за тридевять земель от окружающего, и в этой блуждающей безучастной улыбке не было ничего живого: она не озаряла, а скорее мертвила его лицо. Казалось, он недавно перенес или опасную долгую болезнь, или тяжкие испытания. Последнее было вероятнее: бледность его лица нельзя было назвать болезненною; стройная фигура не являла никаких признаков хилости, а на голове у него роскошно вились блестящие темные кудри, которых бы не пощадил тяжелый недуг.

— Уж и не знаю, куда мир грядет! — торжественным и даже несколько зловещим тоном закончил управитель повествование об одном из многих случаев мужицкой испорченности и предерзости. Имея постоянное общение с местной духовной властью, олицетворяемой красноречивым отцом Павлом, он усвоил себе некоторые славянские глаголы и взял привычку при всех неприятных ему житейских обстоятельствах знаменательно упоминать о геенне огненной, всевидящем оке, разрушении мира, праведном воздаянии и тому подобных вещах.

Наступившее молчание вывело Хрущева из задумчивости, и он с улыбкою вопросительно обратил глаза на старика.

— Не знаю, куда грядет мир! — повторил старик еще торжественнее и зловещее, медленно, глубоко вздохнул и сжал свои тонкие бесцветные губы.

— Уж вы чересчур мрачно смотрите на мир, Федосей Егорович,— сказал Хрущев, вставая и тем давая понять, что аудиенция окончена.

— Чего изволите? — спросил Федосей Егорович.

— Вы чересчур мрачно... то есть худо смотрите на мир,— пояснил Хрущев.

— Помилуйте, Владимир Петрович, как же я могу хорошо смотреть? Какие теперь времена настали?.. Беззаконие и запустение... Вот вы изволили прибыть в свою вотчину, от бога поставлены отцом подданных, а никто и не внимает... А в прежние времена, как, бывало, покойный папенька,— царство ему небесное! — изволят пожаловать, так во всем имении ликование и перетряс... Всякий, бывало, свою дань несет... Повар, чем свет, миндальный храм испечет и ждет, стоит с блюдом в передней, не шелохнется... А теперь я говорю ему: Антошка, барин прибыл. И что ж он мне отвечает? «Коли,— говорит,— барин даст хорошую плату, так я могу ему готовить. Прошли,— говорит,— те часы, когда я даром служил!» Еретик, говорю я ему, хулитель! будет тебе воздаяние по делам твоим! Всевидящее око...

— Вы напрасно его укоряли, Федосей Егорович,— прервал Хрущев,— он прав...

— Чего изволите?

— Повар прав, что не соглашается трудиться даром,— продолжал Хрущев,— да я бы и не желал, чтобы кто-нибудь даром для меня трудился... Вы назначьте ему жалованье, переговорите с ним, сколько он желает...

Слушая это, Федосей Егорович все более и более поджимал губы, что у него всегда служило признаком сильного душевного движения.

Хрущев прошелся по балкону, приостановился, поглядел в сад, опять прошелся и, видя, что Федосей Егорович не двигается с места, сказал:

— Так вы переговорите с Антоном, Федосей Егорович...

— Воля ваша, Владимир Петрович,— отвечал старик с сдержанным огорчением,— а я не могу прикасаться к такому татю... Я вас на руках носил, и как же я теперь могу...

— Ну, как знаете, как знаете. Я вас вовсе не принуждаю,— прервал Хрущев.

— Если вам, Владимир Петрович, угодно попускать всякое беззаконие, так это — знаменье, что вы меня изгоняете из своей службы...

— Что вы, Федосей Егорович! Вы знаете, как я вами дорожу...

— Видно, нам, верным слугам, час в могилу сойти, Владимир Петрович! Наступили такие времена!

— Вы постарайтесь примириться, Федосей Егорович, с новыми порядками... Ведь нам с вами их не переделать!

— Антихрист приближается, Владимир Петрович! Грозит грешной земле разрушение!

— А она как цветет-то, поглядите! — сказал Хрущев, указывая на цветущий сад.

— Этот цвет — един тлен, Владимир Петрович!

— Все тлен, Федосей Егорович, все тлен! — проговорил Хрущев, начиная снова прохаживаться по балкону.

— Только святая равноапостольная церковь за вас,— продолжал Федосей Егорович,— отец Павел как услыхал, что изволили прибыть, сейчас пожелал благодарственный молебен отслужить. Нынешний день побоялся беспокоить с дороги, а завтра придет...

— И прекрасно, я очень рад,— отвечал Хрущев.— Что, он здоров?

— Подкрепляет его вера его и упование...

Хрущев остановился, стал опять бесцельно глядеть в сад и опять впал в задумчивость.

Федосей Егорович несколько минут наблюдал за барином, затем спросил:

— Прикажете дать знать в Райское о приезде?

Хрущев перевел свои безучастные глаза с садовых кущей на управителя, как бы затрудняясь сообразить, о чем его спрашивают.

— Прикажете уведомить Варвару Ивановну о приезде? — повторил Федосей Егорович.

— Нет, погодите,— ответил Хрущев,— я сам поеду...

— Сурпризом изволите? — спросил, внезапно оживившись, Федосей Егорович.

— Да, сюрпризом...

— Бывало, покойный папенька, царство им небесное! всегда сурпризом... а потом званый обед и бал дают... Надо приказать, чтобы никто не смел проговариваться...

Он поспешно направился через гостиную, но спохватился, остановился и с горечью проговорил:

— Некому приказывать!

В эту минуту, как бы в опровержение его горького восклицания, из боковой двери выставилась курчавая темная голова и блеснула пара живых любопытных глаз.

— Тебя кто звал? — строго произнес Федосей Егорович.

— Вы разве не звали, Федосей Егорович? — ответил свежий голос, и в дверях появился мальчик лет двенадцати, в полинялой ливрейной куртке, которая висела на нем, как неуклюжий хомут на резвом стройном жеребенке, и из-под которой выглядывали табачного цвета, тоже не по росту широкие панталоны, падавшие на прюнелевые женские ботинки с загибавшимися носками. Даже не принимая в соображение блестящих глаз, которые бегали во все стороны, тонких ноздрей, которые беспрестанно расширялись, густых бровей, которые то и дело двигались, характерных ямочек на щеках и не менее характерной линии губ,— по одной гибкой, юркой его фигурке можно было с достоверностью заключить, что он всюду вскарабкается, везде пролезет и что не в его обычаях перед чем-либо задумываться или останавливаться.

— Пошел вон! — еще строже произнес Федосей Егорович.

— Кто тут?—спросил Хрущев, тоже входя в гостиную.

— Так-с, глупый казачок,— отвечал Федосей Егорович.— Иди! — обратился он с худо сдержанным раздражением к мальчику, который или не расслушал приказания, или не хотел ему повиноваться и вытянулся в струнку на пороге, устремив смышленые глаза на появившегося барина.

— Как его зовут? — спросил Хрущев.

— Аполлошкой,— ответил мальчик, прежде чем тонный Федосей Егорович успел разинуть рот, и вытянулся еще прямее.

— Как ты смеешь отвечать, когда не тебя спрашивают? — проговорил, меняясь в лице, Федосей Егорович.— Как ты...

— Так можно мне будет поехать к тетеньке? — перебил Хрущев,— есть на чем?

— Прикажете заложить кабриолет? — спросил Федосей Егорович, понявший, что барин деликатным образом приказывает ему оставить в покое Аполлошку, и глубоко тем оскорбившийся, но всеми силами старавшийся скрыть от мальчика нанесенную ему обиду под маской спокойствия.

— А верхом нельзя? — спросил Хрущев.

— Кого прикажете оседлать, Красавчика или Ястреба?

— Все равно...

— Слушаю-с. Аполлошка, поди позови Парфена, чтобы оседлал барину Ястреба!

Аполлошка на этот раз не заставил повторить приказания. Он мгновенно выюркнул в переднюю, с одинаковою легкостью перелетел сени, ступеньки крыльца, украшенного колоннами и куполообразным навесом, забор, отделявший сад от двора, и понесся «напрямки» садовыми зарослями к избе Парфена, пожилого ленивого мужчины, большого любителя певчих птиц, в особенности перепелов.

Но едва успел Аполлошка вынырнуть из плетеницы бурьянов на пересекавшую его прямой путь широкую аллею, как из-за кустов жасмина выскочили и кинулись на него, словно на добычу, востроносая, немилосердно напомаженная, в раскрахмаленном голубом платье и золотых подвесках поповна и дьяконова сестра, тучная краснощекая черничка в черном балахончике и по брови покрытая черным платком.

— Аполлошка! Куда ты? Постой, погоди! — зашептала поповна, хватая его за рукава.

— Погоди, да погоди же, греховодник ты этакой! — зашептала черничка, ловя его за полу.

— Пустите, пустите! — крикнул Аполлошка.— К Парфену надо бежать!

— Зачем к Парфену? Едет куда? Куда едет?

— В Райское... Пустите!

— Погоди, погоди... Аполлоша, миленький, погоди! — начала молить поповна, придерживая рвавшегося посла,— погоди, расскажи... Ну, хоть одно словечко!.. Ну, только скажи, какой он...

— Вареный! — ответил Аполлошка.

— Ну, Аполлоша, ну, не мучь, мучитель! — чуть не с воплем молила поповна, очевидно, обладавшая значительной дозой страстности.

— Да ну, рассказывай, окаянный! — более хладнокровно, но так же настоятельно теребила черничка.

— Ведь сказал: вареный! Отстаньте! — вырывался Аполлошка.

Поповна перешла от мольбы к угрозе:

— Аполлошка! Я тебе это вспомню!.. Беспременно вспомню!.. Говори, не томи!.. Слышишь? Не томи ты меня!

— Да ну, говори! — убеждала черничка и, для пущей убедительности, щипнула.— Говори, какой...

— Ведь я говорю: вареный! Пустите, а то закричу!

— Я тебе вспомню!.. Вспомню, вспомню! — задыхаясь, проговорила поповна.

— Полно уродничать-то,— убеждала черничка.— Что это за вареный? Ты скажи дело, скажи, какие у него глаза, какие уста, какое поведение...

— Ну, ладно, слушайте, я все толком распишу,— сказал Аполлошка, переставая отбиваться,— слушайте!

Но как только осаждавшие девицы вытянули шею и выпустили его одежды, он коварно воспользовался их оплошностью, рванулся, выскользнул у них из рук и исчез в бурьяне.

— Ах, окаянный! — проговорила пораженная черничка.

Поповна несколько мгновений оставалась безгласна, затем разразилась целым потоком пламенных угроз и проклятий.

— Уж ты не тревожь себя понапрасну, Луша! — стала уговаривать черничка.

— Как же мне себя не тревожить? — с волнением возразила Луша.— Чего я ни пожелаю — не сбудется. Сколько часов подстерегала — даже не услыхала голоса, никакого признака не увидала! А уж как мне чего желается, так ровно колики — не могу терпеть! Уж как это люди терпят — не знаю!

— А как же не терпеть, если невозможно? — возразила черничка.

— Ах, зачем только эти невозможности сотворены! — воскликнула Луша.— Ты скажи мне: зачем? На му́ку!

— Известно, на му́ку,— не возмущаясь против непреложности, ответила черничка.— Этот мир — одно мучение... Что ж, пойдем теперь домой, время чай пить.

— Ах, не до чаю мне теперь! Ты пойми: я хочу узнать, какой он... Аж под ложечку подступает, так я хочу! — простонала пламенная Луша.

— Слушай: мы пойдем домой, попьем чайку, а потом в Райское... Ведь он в Райское поедет... Наберем какихнибудь грибков и, как будто с грибками, к Варваре Ивановне... Там его застанем и увидим его своими глазами...

— Ах, правда, правда! — воскликнула просиявшая Луша.—Ну, Поля, уж ты подлинное мое утешение в скорби!

Уж я тебе отслужу!.. Пойдем скорее... Да теперь грибов совсем нет!

— В березничке найдем...

— А как не найдем?

— Ну, хоть грибка два попадется... Придем, скажем: «Искали, глаза проглядели, старались для вас, да вот только и есть!» — и она будет довольна...

— Ах, сердце бьется, как не выскочит! — вздохнула Луша, быстро направляясь к березничку.

— Куда ж ты? Прежде бы домой; самовар уж, верно, кипит... Уж отпили бы чай прежде...— сказала черничка, приостанавливаясь.

— Ах, Поля, какая ты мучительница! пилатка! Пропади этот чай! — воскликнула Луша.

— Ну, и не надо, не надо... чего ж ты сейчас и вскипела! Ну, пойдем в березничок! — согласилась Поля.

— Ты не думаешь, что у меня сердце как не выскочит!— продолжала Луша.— Да иди скорее: точно безногая калека волочишься!.. Увидим, какой он... Не знаю, заговорит он со мной или нет?.. Верно, бал сделает, и я тогда, знаешь, свое тюлевое платье на новый чехол положу...

— А батюшка даст денег?

— Ах, с ним смерть! Каждую завалящую копейку железными крючьями вытягивай! Да уж я вытяну!

— А может, еще бала-то и не сделают! — заметила Поля.

— Отчего ж это не сделают? Ты, что ль, закажешь! — вспыхнула Луша.

— Да всегда так бывает, что дожидаешь, дожидаешь чего-нибудь, ан ничего нету...

— Какие глупости! Тебе завидно, что ты — черничка и тебе танцовать нельзя.

— Нисколько мне не завидно: я за то спасение души получу,— отвечала Поля с легким вздохом.

Между тем, предмет столь живого любопытства, владелец усадьбы села Дубровок, отделавшись от Федосея Егоровича, медленно и бесцельно бродил по комнатам. Время от времени он задумчиво приостанавливался то перед одним окном, то перед другим, то перед зеркалом или картиной, покрытыми, словно дымкой, слоем давней пыли, то перед какой-нибудь запыленной вычурной этажеркой с вычурными фарфоровыми куколками, бюстиками великих людей, расписными вазочками и старинным серебром.

Он открыл было фортепиано и коснулся клавишей, но извлек такие нестройные, резкие звуки, что вздрогнул и поскорее захлопнул фортепианную крышку; развернул запылившиеся ноты — это был романс Глинки: «Как сладко с тобою мне быть!» — печально улыбнулся и оставил. Наконец, он вошел в свой кабинет, отпер, не без некоторого колебания, письменный стол, достал оттуда большой фотографический портрет и долго на него смотрел.

Портрет изображал прехорошенькую женщину, с несколько хищным выражением лица, окутанную черным кружевом, из-под которого рассыпался целый каскад мелких локонов.

— Как живая! — проговорил он, с усилием отрываясь от пленительного изображения.

Он лег на турецкий диван, закинул руки под голову и обвел глазами знакомую и, очевидно, памятную ему комнату.

Сквозь запыленные итальянские окна проникали мягкие вечерние лучи и золотили потемневший потолок и дорогие, в турецком вкусе, обои на стенах. В большом книжном шкафу блестели золотые буквы на переплетах.

«Это — Пушкин,— подумал Хрущев,— а это — Вольтер... а это — Тургенев... Вон Альфред Мюссе... Там на одной странице легкая отметка карандашом...»

Ему мгновенно, ярко и живо припомнились день, час, когда была сделана эта отметка, малейшие подробности этого дня и этого часа, и сердце у него еще пуще заныло. Взгляд его упал на угол, заснованный паутиной, по которой в смятении суетился маленький кругленький паучок, встревоженный током свежего воздуха, колыхавшего его сети.

«Бедный! Одно случайное дуновение — и все у тебя разорено, все пропало!» — подумал он, проследив несколько мгновений за паучком.

Исключительно поглощенный тоскою о непрочности земных благ и обмане радужных надежд, Хрущев входил в положение паучка и совершенно упускал из виду мух, которые попадали в его паутину,— подобные вещи нередко случаются с людьми, когда они чем-либо сильно страдают и теряют способность вникать в какие бы то ни было страдания, если страдания эти не представляют некоторого сходства с их собственными.

На стене, в потускневшей золоченой раме, висела копия с головки Беатриче Ченчи Гвидо Рени. Это был подарок. На уголке картины мелким женским почерком были написаны, вероятно, знаменательные месяц и число... С этого месяца и числа многое изменилось, судя по тому, как отвернулся Хрущев от надписи.

На столике, в фарфоровой вазе, стоял огромный высохший букет роз. Потерявшие краску, обезображенные цветы еще сохраняли слабый аромат.

Хрущев вспомнил, как четыре года тому назад, поздно ввечеру, этот букет был вброшен к нему в окно, каким свежим благоуханием он тогда наполнил эту комнату и как, вслед за букетом, в окне показалось прелестное улыбающееся лицо, полузадернутое черным кружевом. Затем ему представилось блаженное путешествие по чужой земле, жизнь среди иноземных людей, уединение среди шумной толпы, фонтаны, арки, увитые плющами развалины, южные дни, южные ночи, белые статуи, роскошные виллы, цветущая тропинка, по которой он часто ходил. Ему вспомнилось, как раз на этой тропинке застиг неожиданно хлынувший крупный дождь и как блестели и скатывались дождевые капли по душистым кудрям и свежим щекам его спутницы, и как она смеялась, и как вдруг качнула ветку над его головой и с этой ветки посыпались и дождь, и цветы... Затем ему представилось ненавистное красивое, самодовольное лицо, с томными, почти полузакрытыми глазами и с окладистой шелковистой бородкой...

Он быстро встал с дивана, подошел к окну, с силою его распахнул и дохнул свежим воздухом, как бы желая отрезвиться от невыносимого чада.

Но это было нелегко. Перед ним упрямо, неотступно восставало недавно пережитое прошлое, недавно виденные места и образы. Он точно снова спешил по залитой жгучим солнцем площади с сверкающим фонтаном к величественному зданию, преображенному в гостиницу, задыхаясь от зноя, с мучительным предчувствием ненавистной встречи; перед ним с болезненною живостью белели мраморные ступени широкой лестницы, мелькали яркие камелии, тропическая зелень, столики с мороженым, нарядные француженки, английские семьи, цветочница в пестром национальном костюме с корзинкой букетов, картинные черные глаза маленькой неотвязной нищей девочки в зеленой юбочке с позументами, воскресал жирный красавец синьор

Ботичино в модном фраке и пунцовом галстуке, с заискивающими улыбками и поклонами, развертывалась огромная зала с читателями газет, блестела клетка с красным попугаем... Попугай точно еще кричит над его ухом свое «state bene, signori!» [1], кругом точно еще разносится гул чужих, незнакомых голосов, точно повторяются жестокие слова: «Пора же, наконец, кончить эту комедию!»

Хрущев закурил сигару, походил по кабинету; лицо его стало еще бледнее. Он вынул из стола пачку писем, бросил ее в камин, долго искал спичек, которые лежали тут же на столе, на самом видном месте, и которыми он только что закуривал сигару; наконец, нашел и много поломал, пока добыл огня и поджег краешки мелко исписанных листков. Краешки завернулись, листки покоробились, вытянулась тонкая струйка дыма, показался язычок пламени... Письма вспыхнули.

Хрущев порывисто курил: сигара его светилась, как свечка. В глазах у него появился некоторый блеск. Он пристально смотрел на объятые огнем атласистые страницы и с жадностью и болью ловил взглядом мелькавшие на быстро темневшей бумаге отрывочные слова и фразы, начала и концы нежных упреков, страстных уверений, милых вопросов. Вот промелькнуло: «вся жизнь моя»... «незабвенный»... «навек»... вот на испепелившемся уголке забелелось: «дорогой, не изменись».

Когда в камине остался только ворошок серого пепла, Хрущев взял портрет и тоже бросил в камин; но портрет упал так, что обольстительная головка представилась во всей своей прелести, и Хрущев снова схватил его и снова на него засмотрелся.

— Ястреб оседлан,— доложил Федосей Егорович.

— Оседлан? — повторил Хрущев, запирая портрет в стол.— Ну, и отлично! Я сейчас еду...

Он принял принесенные Федосеем Егоровичем шляпу, перчатки и хлыст и направился к крыльцу.

— Что, тетенька здорова? — спросил он следовавшего за ним Федосея Егоровича.

— Слава богу, телом изволят быть здоровы, но дух их в огорчении и беспокойстве,— отвечал Федосей Егорович.

— А что такое случилось? — спросил Хрущев и приостановился.

---

[1] Будьте здоровы, синьор! *(итал.)* Тут і далі переклади іноземних слів редакційні.— *Ред.*

— Повседневное мужицкое грубиянство...

— А! — произнес Хрущев и пошел далее, но беспокойство, выразившееся на его лице, не изгладилось, а только сменилось какой-то озабоченностью, в которой, по-видимому, не было ничего приятного.

— До того дошло, что даже слуг выписали из Москвы,— продолжал Федосей Егорович.— Только Анна Ларивоновна при них и осталась...

— А Маня где? — спросил Хрущев.— Уж не вышла ли замуж?

— Никак нет-с. Марья Михайловна в Райском находятся.

— Мне тетенька как-то писала, что она была опасно больна? Теперь здорова?

— Слава богу, здоровы.

— И Анна Ларивоновна здорова?

— Слава богу, господь держит на свете.

Хрущев больше не расспрашивал и ускорил шаги.

Перед крыльцом ожидал Парфен; одною рукой он держал под уздцы вороного, несколько одичавшего на долгом покое Ястреба, а другой запахивал армяк, с которого давно были утрачены все пуговицы и застежки и который он в неофициальное время предпочитал носить нараспашку.

— Здравствуй, Парфен, как поживаешь?—сказал Хрущев, ласковым кивком отвечая на поклон кучера.

Парфен, сильно охрипший после подманивания перепелов на заре, прогудел что-то невнятное, замершее в его прохладной бороде и усах, и запахнул армяк.

— Как у тебя Ястреб-то раздобрел! — продолжал Хрущев, потрепав лошадь по лоснящейся шее.

Он хотел вскочить в седло, но едва успел поставить ногу в стремя, как подпруга лопнула, и седло соскользнуло.

— Царь небесный! Вседержитель! — воскликнул Федосей Егорович, подхватывая под локоть пошатнувшегося барина.

— Ничего, ничего,— сказал Хрущев, высвобождая ногу из стремени.

— Как могла у тебя подпруга лопнуть? — обратился Федосей Егорович к Парфену.

— Видно, перепрела,— отвечал смущенный Парфен, откашливаясь.

— Перепрела? Как могла она...

— Не беда, Федосей Егорович,— прервал Хрущев,— я пойду пешком... Кажется, я дороги не забыл: через сад, потом через дубовую рощу?

— Точно так,— ответил Федосей Егорович, побледнев от сдерживаемого гнева и огорчения.— Прикажете прислать в Райское экипаж?

— Нет, не надо,— отвечал, удаляясь, Хрущев.

Нет, он не забыл дорогу в Райское: разве мог он ее забыть? Опять воскресло прошлое, опять нахлынули воспоминания.

Но они мало-помалу теряли свою едкую горечь; вольный свежий деревенский воздух и тишина ясного вечера действовали благотворно, и все жгучее улегалось.

«Как хорошо я сделал, что приехал сюда!» — подумал Хрущев и пожалел, зачем не сделал этого раньше, вместо того, чтобы одиноко скитаться по Швейцарии или Греции.

Пройдя сад и дубовую рощу, он очутился над поросшим орешником косматым глубоким оврагом и стал спускаться по чуть видной между кустами зеленой тропинке. По дну оврага шибко бежал — не с журчанием, а с каким-то тихим, веселым звоном — широкий синий ручей, через который была перекинута тонкая шаткая жердочка. Хрущева, привыкшего ходить по заграничным аккуратным мостикам, несколько смутила эта жердочка. Забота о благополучной переправе и сомнение в успехе поглотили на время грустные думы об утрате навек счастья и тяготе бесцветного, безотрадного существования. Он с большой неохотой начал перебираться, медленно, трусливо ступая и беспрестанно взмахивая руками, и с очевидным удовольствием почувствовал под ногами землю противоположного берега.

«Жизнь моя разбита,— думал он, взбираясь на отлогий холм и снова обращаясь к своим грустным думам,— счастье для меня невозможно... Ну, что ж, делать нечего! «Благословен и тьмы приход!» [1] Поселюсь в Дубровках... Я могу еще находить наслаждение в природе... Да, что бы там ни говорили, а природа — великая отрада!.. Какой скорби не смягчит этот тихий, ясный вечер, вид этой вечно юной, цветущей земли!»

Он приостановился и окинул глазами окрестность, вздохнул и пошел дальше.

[1] Строка из поэмы Пушкина «Евгений Онегин».— *Ред.*

«Поселюсь в Дубровках... я все потерял, и жизнь мне в тягость... но я не хочу с нею покончить... Это было бы чересчур малодушно... она может быть полезна другим... Да, человек, который уже ничего не ждет для себя, ничего для себя не требует, может сделать много добра... Его не подкупит ни личная страсть, ни ненависть... В чаду увлечений мы на каждом шагу ослепляемся, но я уже заплатил свою дань увлечениям... я от них застрахован... О, как застрахован! Быть может, я еще уврачую не одну душу... освобожу от нищеты, от нравственного гнета... Я всегда понимал радости первых христиан... В России обширное поле действия... Без детских порывов, без смешных самообольщений я твердо и спокойно буду служить людям...»

Хрущев умилился, и глаза его увлажнились. Верующие молодые монахи, решающие свой великий постриг, вероятно, испытывают подобное умиление.

«Ее я никогда уже не увижу,— продолжал он думать,— а если и встречусь...»

Он не мог определить, что будет, если он с нею встретится; мысли его спутались,— то забегали в будущее, то возвращались к прошедшему.

Стук колес заставил его поднять голову. Какая-то мужицкая телега тарахтела вправо по полю, а вдали, прямо перед ним, в глубине старой липовой аллеи, возвышался большой серый деревянный дом с белыми колоннами и красной крышей — резиденция его тетушки Варвары Ивановны Князевой.

«Обрадуется добрая моя тетя! — подумал Хрущев.— Что ж! Мой день не будет потерян. Нет, быть может, большей заслуги, как подарить человеку хотя бы несколько радостных минут! Верно, обрадуется и Маня... (тут просветлевшее лицо его омрачилось, и он сильно покраснел) Я виноват перед нею, я вел себя неосторожно... глупо... Но она была еще дитя и теперь, верно, все забыла... Женщины — мастерицы забывать! А как встречала когда-то! Впрочем, это отлично, если она забыла...»

Но хотя он и был убежден, что это отлично, в нем шевельнулась горечь.

«Мне ничего теперь не нужно,— заключил он.— Я ко всему и ко всем отношусь бескорыстно, но грустно удостоверяться на каждом шагу, что все так непрочно».

II

НЕОЖИДАННОЕ ИСПЫТАНИЕ

Живой примеряется в могилу, а не ляжет;
а ляжет — сыпь землей, нето воспрянет.
(Русская пословица)

Хрущева удивила тишина, царившая в Райской усадьбе, и безлюдье. Не было слышно ни говора, ни шума. Надворные строения потеряли свой прежний приветливый вид. На дверях амбара с разными выступами, около которого всегда суетился деятельный ключник Евсей, висел огромный тяжелый замок; в отдушине погреба, построенного пирамидкой, из которого вечно высовывалась голова голосистой молочницы Дарьи, блестела новая сосновая крепкая дверь на запоре; в людской и кухне не замечалось прежнего движения и суеты; горничные и казачки не сновали по двору, да и барский двор не представлял прежней симметричной щеголеватости. Правда, красные и белые пионы так же пышно цвели на цветнике, разбитом в виде сердца, но американский кустарник, которым было обсажено это сердце, в некоторых местах засох и не был заменен новыми кустами, а сирень и акации, в былое время раскидывавшиеся правильно подстриженными шатрами, своевольно пустили ветки во все стороны; подъездная сторона к господскому дому давно не усыпалась песком и не выделялась на мураве золотистой безукоризненной лентой. Вместо ласковых собак Дианки и Фламбошки какой-то лохматый цепной пес залился лаем и неистово запрыгал на цепи, порываясь на незнакомого ему посетителя.

Этот лай вызвал на крыльцо не Федора, не Прохора, не Никиту, а какого-то неизвестного высокого, опрятного, гладко причесанного, длинноносого лакея с белесыми бакенбардами и малиновыми щеками.

— Дома Варвара Ивановна? — спросил Хрущев.

— Дома. Как приказывайте докладывать о вас? — отвечал лакей с заметным немецким акцентом.

— Не надо докладывать,— сказал Хрущев и вошел.

— Я не знаю, возможно ли не докладывать,— протестовал лакей,— позвольте, позвольте...

— Я — племянник Варвары Ивановны,— сказал Хрущев по-немецки,— и желаю сам о себе доложить.

Лакей улыбнулся, причем показал оба ряда дрянных немецких зубов, расшаркался и отворил перед Хрущевым

двери в залу, уведомив, что тетенька на террасе наслаждается прекрасным вечером.

Хрущев прошел ряд знакомых комнат, которые тоже, показалось ему, стали как будто пустее и печальнее. Когда он приостановился в диванной, с которой у него были связаны особенно больные воспоминания, из-за двери выглянуло еще незнакомое, длинное, узкое, как сабельный клинок, лицо, с большими светлыми глазами без бровей и крутым лбом, прикрытым начесами из жиденьких гофрированных светлых волос, а затем выступила фигура, напоминавшая не женские формы, а аккуратную полоску пластыря, обернутую серым платьем и белым передником, присела и любезным, но неприятным голосом произнесла:

— Guten Abend! [1]

— Guten Abend,— отвечал Хрущев, недоумевая, зачем тетенька набрала к себе немцев, которых прежде не любила.

Варвара Ивановна Князева, беленькая, миловидная старушка в светлом капоте и кружевной косыночке на голове, сидела на террасе в вольтеровском кресле и деликатными ручками перебирала какие-то желтые цветки, насыпанные на подносе, который перед нею держала черная, длинная, сухая Анна Ларивоновна, ее давняя приближенная фрейлина и экономка.

— Все неполные цветки! — говорила с раздражением Варвара Ивановна,— все неполные цветки! Они нарочно мне таких насбирали! Непременно с умыслом...

Она подняла головку, увидала подходящего Хрущева, встрепенулась, вгляделась, вскрикнула: «Володя!», хотела встать, но только протянула ручки и заплакала.

Хрущев знал, что ему обрадуются, но такой радости не ожидал; он сильно растрогался и крепко прижался губами к дрожащим родным ручкам.

— Ах, Володя! Ах, Володя! — лепетала Варвара Ивановна.— Ты ли это? Ты ли?.. Ах, не верится! Не верится!

— Я, дорогая тетя, я!

— Ах, не верится!

— Милая тетя, отчего же не верится?

— Ах, уж мне не верится ни в какую радость!

И она разрыдалась чуть не до истерики. Хрущев с трудом ее успокоил нежными словами и поцелуями.

---

[1] Добрый вечер! *(нем.)*

— Ах, ненаглядный ты мой! Давно ли приехал? Не хочешь ли чего? Может, чаю?

— С удовольствием, тетя...

— Анна, чаю поскорее... персикового варенья...

— Слушаю-с,— отвечала Анна, ставя на стол поднос с желтыми цветами, который до тех пор неподвижно держала в руках.

— Здравствуйте, Анна Ларивоновна,— сказал Хрущев.— Как поживаете?

— Слава богу-с, милостями Варвары Ивановны живу, Владимир Петрович,— отвечала Анна Ларивоновна и бесшумно, свободно, быстро, как скорпион, повернув к Хрущеву, приложилась сухими губами к его руке.

— Что вы, что вы, Анна Ларивоновна! — вскрикнул сконфуженный европеец, отдергивая руку.

— Уж извините, батюшка, не побрезгайте вашей низкой и глупой рабой,— проговорила Анна Ларивоновна, выпрямляясь и складывая скрещенные ладони под ложечкой.

— Ты бы чаю-то скорее,— сказала Варвара Ивановна.

— Я помню, какой вы отличный чай наливаете,— сказал Хрущев.

— Слушаю-с,— отвечала Анна Ларивоновна и тем же бесшумным быстрым скорпионом ушла с террасы.

— Ах, Володя, Володя! — вздохнула Варвара Ивановна.— Тебя ли я вижу? Давно ли ты? Откуда?

— Сегодня на рассвете приехал.

— Как похудел, побледнел! Верно, болен был?

— Устал немного с дороги... Ведь я прямо из Италии... Был в Греции... Чуть в Египет не отправился... Но мне надоело скитание... захотелось домой...

Хрущев сообщал все это несколько поспешно, желая предупредить более подробные расспросы, которые бы неминуемо бередили его сердечные раны.

Но Варвара Ивановна прожила это время тоже не без житейских битв, тоже получила раны, была всецело ими поглощена и показывала их так же экспансивно, как старательно племянник скрывал свои.

— Захотелось домой! — прервала она.— Тяжело возвращаться в разоренное гнездо, Володя!

Легкая краска выступила на щеках Хрущева.

«Верно, и здесь уж прослышали!» — подумал он, принимая эти слова за намек на свое сердечное крушение и,

делая вид, что относит сказанное единственно к запустению в деревенском доме, ответил с наружным спокойствием:

— Ничего, тетя, я все исправлю... переменю обои... и недурно устроюсь...

— Ах, Володя, милый друг! Есть вещи, которых уж нам с тобой не исправить и не устроить!

Слезы закапали по ее щекам.

— Полноте, тетя, не огорчайтесь! — проговорил Хрущев, с томительным замиранием ожидая, что вот-вот придется перейти к более прямым и подробным излияниям, и начиная раскаиваться, зачем пришел в Райское.— Вы все представляете себе в мрачном свете...

— Нет, Володя, не говори этого! Ты все путешествовал, ты здесь не жил, после... после *этого*... не видал... не испытал, что я испытала!

Ее глаза, в молодости славившиеся своей поволокой, бирюзовым цветом и ангельским выражением, так засветились, что племянник не узнал их. Он недоумевал, в чем дело, но у него отлегло от сердца: хотя ему было душевно жаль милую родную, но мысль, что ее огорчение избавит его от допроса о мучительно пережитом и еще живом горе, доставила ему великую отраду.

— Милая тетя! — проговорил он, целуя ее ручку.

— Ты не можешь себе представить! — продолжала Варвара Ивановна,— не можешь! не можешь! Уж не говорю преданности, уважения... уж не говорю!.. На каждом шагу дерзости, даже насмешки!.. На каждом шагу кричат: мы уж не крепостные, вы ничего не смеете теперь сделать!.. Ах, Володя! ты не жил здесь, не видал, не испытал!

— Зачем так близко принимать к сердцу, тетя...

— Володя! Володя! да разве можно переносить это равнодушно? Ты пойми: ни преданности, ни уважения!.. Даже насмешки! Et tu sais, si j'étais bonne! Je faisais tout ce que je pouvais pour eux [1]. Помнишь, бывало, по праздникам качели, хороводы... всегда давала на посев, ласкала детей, дарила девочкам ленты и бусы... И никакой благодарности, никакого чувства!.. Знаешь, никакого! А бывало, кланялись в ноги, плакали!.. Ils versaient des larmes de crocodile! [2]. Помнишь Аксютку? Дрянная такая девчонка, так, клочок какой-то?.. И вдруг она приходит

[1] И ты знаешь, как я была добра! Я делала все, что могла, для них *(франц.)*.

[2] Они проливали крокодиловы слезы! *(франц.)*

и говорит мне: «Воля ваша, а я не буду полоть резеды»... Вообрази! вообрази!

— Стоит ли оскорбляться капризом глупой девчонки, тетя...

— Помилуй, Володя! Аксютка и капризы! Что ж после этого? — воскликнула Варвара Ивановна.— Аксютка капризничает!

Варвара Ивановна начала задыхаться.

— Милая тетя, такие вещи неизбежны... Старайтесь принимать их спокойнее... Помните, как вы сами радовались освобождению крестьян?

— Ах, Володя! разве я тогда этого ожидала?

Хрущев хотел спросить, чего же она, собственно, ожидала, но счел за лучшее этого не спрашивать и только повторил, что не стоит так огорчаться.

— Я тогда верила, я была, как младенец! — продолжала Варвара Ивановна,— я жила в каком-то сне... Et quel réveil! [1] Я чувствую, что я между зверями, что хожу над какою-то бездною... Я вынуждена была выписать из Москвы немцев, плачу им неслыханное жалованье...

— Если вы ими довольны, тетя...

— Какое довольна! Нахалы, воры... Но все не так тяжело, как свои... не так горько... Ты только вообрази, что Михешка встречается со мной и не кланяется! И глядит мне прямо в глаза! Как тебе это покажется? Тот самый Михешка, который... О, Володя! роптать грех, но испытание не по человеческим силам!

— Однако, тетя, с неизбежным надо примириться...

— Ах, Володя! как ты можешь это говорить! Ты не жил здесь, не видал, не испытал!.. И никакого суда нет! Мировые выбраны — все предатели... Я спрашиваю у Астафьева: скажите, Илья Данилович, что я в своем имении? Знаешь, что он мне отвечает? «Вы, как и я, как и все люди — червь». И это при Михешке и при Терешке!..

— Астафьев ведь недалек, тетя, и по глупости...

— Неужто ты хочешь оправдывать этого низкого выскочку?

— Я объясняю, тетя...

— Un homme qui n'a ni foi, ni loi [2]... Он ограбил своих родных племянниц, сирот... Он уморил несчастную жену...

---

[1] И какое пробуждение! *(франц.)*

[2] Человек без стыда, без совести... *(франц.)*

Послышалось шуршание накрахмаленных юбок, и в дверях появилась, сверкая золотыми подвесками и распространяя запах мусатовской помады, востроносая, востроглазая поповна с корзиночкой грибов в руках, а за нею тяжеловесная румяная черничка с грибами в кузовке.

— Вот, Варвара Ивановна, что было возможно собрать... Всей душой и всем сердцем старались, но судьба преследовала иначе,— начала поповна, вкладывая всю свою грацию в поклон и подавая корзиночку на указательном и среднем пальцах.

— Уж, господи, как старались,— произнесла черничка, представляя свой кузовок.

Она хотела так же покачнуться и изогнуться в поклоне, как ее юркая подруга, но это совсем не вышло, и она, застыдившись, могла только невнятно повторить:

— Господи, как...

— Спасибо, Луша, спасибо, Поля... спасибо, милые!— сказала Варвара Ивановна, принимая корзиночку и кузовок.— Володя! это — дочка отца Павла. Ты, я думаю, не помнишь ее? А это — сестра отца дьякона...

— Никак бы не узнал,— приветливо улыбаясь, отвечал Хрущев, смутно помнивший двух девочек, которые по большим праздникам сидели на конце чайного стола, безмолвные и жадные, как карпы, и которых он, гуляя по саду, иногда выпугивал из запретного малинника.— Как здоровье отца Павла и отца дьякона?

— От души благодарю вас за внимание, Владимир Петрович,— не то вздохнула, не то пропела Луша, склоняя голову сначала на правую, затем на левую сторону.— Слава богу.

— Слава богу,— повторила Поля, откликаясь, как слабое эхо из глухого ущелья.

— А матушка ваша? — спросил Хрущев, припоминая, что у которой-то из них была рослая, жилистая родительница, носившая голубую шаль с пестрыми каймами и посредством вишневого клея прилеплявшая к впалым вискам косички полумесяцами.

— Ах, маменьку взяла безгласная могила! — отвечала Луша, которая знала не один «стишок» и не считала грехом кое-что из них заимствовать для украшения своего слога.

Поля вздохнула, втайне завидуя, что не может так отличиться разговором, как подруга, и тут же затянула под подбородком узелок своего черничьего платочка.

— Где это вы набрали подберезников? — спросила Варвара Ивановна, пересматривая грибы.

— В Верхней роще,— отвечала Поля.

— И в Верхней искали, и в Паженской, и в Локотковском лесу,— перебила Луша.— Всей душой, всем сердцем старались, Варвара Ивановна. И так ужасно мы испугались: вдруг змея... Однако, я подумала, сколько уж ни будь змей, а мы для Варвары Ивановны на все готовы...

Поля, не лишенная способности ставить фундамент лжи, решительно не годилась для постройки целого здания, а тем более для украшения его смелыми барельефами. И Поля снова вздохнула с тайной завистью.

— А в Малиновом бору были? — спросила Варвара Ивановна.

— Как же, Варвара Ивановна, были,— отвечала Луша.— Мы сегодня с самой зари утренней.

— И я уверена, что там вы больше всего набрали!

— Да, Варвара Ивановна, там больше всего...

— Я это знала! Я это знала! — с волнением проговорила Варвара Ивановна.— На каждом шагу предательство, Володя! — обратилась она к Хрущеву,— я вчера посылала баб в Малиновый бор, и они мне принесли с десяток старых червивых грибов...

— Ах, эти бабы — ужасные предательницы! — подхватила Луша.— Никакой совести, ни чувств в них нет! У Пулькиных весь покос вытоптали... Уж я и не знаю, какого они наказания достойны!

— Разбойницы! — вдруг решилась вставить Поля.

— А уж надо бы их наказать! — продолжала Луша.— К нам приезжал отец Симеон из Клинцов и рассказывал, что их генерал капканами баб ловит и этим покос сохраняет...

— Как же это? как? Расскажи, Луша!

— Поставит капканов в траве, Варвара Ивановна, и поджидает... Казачков по деревьям рассадит, а сам с подзорной трубкой за кустами... Как баба попадется, так ее и везут в волостное правление... И бабы голосят, как самые необразованные... И генерал заставляет их в ноги кланяться и прощения просить... И которая поклонится в ноги и попросит прощения, он прощает...

— Он такой добрый! — сказала Варвара Ивановна.— Он все готов простить...

«Что за безобразие!» — подумал Хрущев, но мнения своего не высказал, частью по апатии, свойственной поглощенному своей болью человеку, частью по русскому благодушию: лицо тетки заметно просветлело и оживилось, и ему жаль было снова нагнать на него облако.

— Ах, ужасно добрый! — подхватила Луша,— просто небесная доброта...

— Ты помнишь Леонида Алексеевича Арбузова, Володя? — спросила Варвара Ивановна.

— Да, помню,— отвечал Хрущев.

— Он теперь поселился у себя в Клинцах и вот уже три года живет там безвыездно... Даже у меня перестал бывать... Ты бы его посетил, Володя...

— Ведь это далеко, тетя, и он меня совсем почти не знает,— возразил Хрущев.

— Что за далеко, Володя! всего каких-нибудь тридцать верст и дорога прекрасная... А бедный одинокий старик был бы очень тебе рад... Я уверена, что он тебя помнит и любит...

— Я думал не возобновлять никаких знакомств и жить в Дубровках анахоретом,— полусерьезно, полушутя ответил Хрущев.

— Полно, полно, Володя! Разве можно в твои лета анахоретом жить? — воскликнула Варвара Ивановна.— Не возражай, не возражай!.. Не решай сразу, Володенька... Ты теперь устал с дороги... Мы с тобой после об этом потолкуем...

Между тем, Анна Ларивоновна с помощью лакея-немца приготовила чай, и все поместились у чайного стола.

Вечер темнел; жужжание и щебетание в саду утихли; сильнее запахли цветы и травы; аллеи окутывались тенью, в цветущих ветвях черемухи защелкал соловей.

— А где же Маня? — спросил Хрущев.

— Не знаю,— отвечала Варвара Ивановна,— она часто вот так по целым дням пропадает в саду или в лесу или сидит у себя в комнате... то пристрастится к вышиванию, то к книгам...

— Марья Михайловна любят мечтать в уединении,— заметила Луша.

— От всякого человека и от всякого веселья сторонятся! — отозвалась Поля, покрываясь вишневым румян-

цем и вся замирая, но решившись во что бы то ни стало попробовать тоже отличиться разговором.

— C'est une fille vraiment étrange, mon cher,— сказала Варвара Ивановна.— Elle a des manies, des penchants inexplicables!.. [1] Анна, где Маня? — обратилась она к Анне Ларивоновне.

— Не знаю-с,— отвечала Анна Ларивоновна, которая стояла перед самоваром и, повесив чайное полотенце на плечо, не уступавшее твердостью и остротою гвоздю, была наготове наполнять опорожнявшиеся чашки.

— Поди-ка, поищи ее... Скажи, что Владимир Петрович приехал.

— Je parie, qu'elle te fera un accueil glacial, — снова обратилась она к Хрущеву.— On dirait qu'elle n'a pas de coeur... [2].

— Je la croyais bonne fille [3],— отвечал Хрущев. Хотя он и успокаивал себя тем, что «Маня все забыла», но встреча с ней его несколько смущала.

— Идут,— доложила возвратившаяся Анна Ларивоновна.

— Где она была?

— В своей комнате сидели под окном.

— Tu vois! — обратилась Варвара Ивановна к Хрущеву.— Elle savait que tu es là et elle restait tranquillement dans son coin! [4]

— Elle a eu le temps de m'oublier,— ответил с улыбкою Хрущев.— Vous savez: les absents ont toujours tort! [5]

— Нет, Володя, нет, это неправда! Ничто не может исторгнуть чувства признательности из благородного сердца! J'aime bien Маня, mais elle a quelques gouttes de sang noir dans ses veines... La race des vipéres se révèlle... [6]

— Все люди равно изменчивы, тетя,— отвечал Хрущев.

---

[1] Эта девушка действительно странная, мой дорогой... У нее есть причуды, необъяснимые склонности! *(франц.)*

[2] Я уверена, что она окажет тебе ледяной прием... Можно подумать, что у нее нет сердца... *(франц.)*

[3] Мне она казалась хорошей девушкой *(франц.)*

[4] Суди сам! Она знала, что ты здесь, и продолжала преспокойно оставаться в своем углу! *(франц.)*

[5] У нее было время забыть меня... Вы знаете: отсутствующие всегда виноваты! *(франц.)*

[6] Я очень люблю Маню, но у нее несколько капель черной крови в венах. Змеиная порода сказывается... *(франц.)*

Он заслышал легкие шаги, увидал высокую стройную фигуру в белом платье.

— Вот и Марья Михайловна появляются, — сказала Луша, которая в эту минуту отдала бы, не задумавшись, полжизни за знание французского языка.

— Здравствуй, Маня,— сказал Хрущев, идя ей навстречу и протягивая руку.— Как ты выросла!

Его поразила бледность ее лица и блеск темных глаз.

«Быть может, мне так кажется при полусвете сумерек,— подумал он,— но отчего у нее такая ледяная рука? Даже не улыбнулась! И какой странный блестящий взгляд!»

— Что ж ты, Маня, точно не рада Володе! — сказала Варвара Ивановна.— Ничего ему не скажешь, ни о чем его не спросишь...

— По-прежнему много читаешь, Маня? — спросил Хрущев.

Его занимал вопрос, с каким чувством она с ним встретилась, и он вглядывался, насколько позволял декорум, в ее лицо. Но Маня поместилась в тени, под ветвями старой груши, осенявшей с этой стороны террасу, и сидела, наклонив голову; он ясно мог различать только темные густые брови на белом лбу да венец золотистых кос.

— Да, читаю,— отвечала Маня.

В ее голосе не было уже звонких детских нот, а другие, более низкие и мягкие.

— Вообрази, она даже читает докторские книги, князя Енгалычева [1], какую-то немецкую медицину!.. Уж я не понимаю, что тут может найти молодая девушка! Nous aimions la poésie, nous autres, nous avions soif de l'infini... [2]

«Неужто и сюда, в Райское, проникла модная наука?»— подумал Хрущев.

— Что вы теперь выписываете, тетя? — спросил он.

— Ничего, мой друг,— отвечала Варвара Ивановна,— как-то не до того... Жена Наденькиного управителя получала «Revue de deux mondes» [3] и присылала нам; но вот уже почти год, как она уехала... Скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где теперь Наденька?

— Не знаю,— отвечал Хрущев.

Сердце его мучительно сжалось. Но ему доставило некоторую отраду то, что Варвара Ивановна не подозревала,

[1] Примечание см. в конце тома.— *Ред.*

[2] Мы любили поэзию, мы жаждали бесконечного... *(франц.)*

[3] Название французского журнала.— *Ред.*

как действует на него произнесенное имя; имей она хоть малейшее подозрение, она, Хрущев был уверен, непремен-но бы выразила его, если не прямо, так хоть намеком.

— Как это ты с нею не встретился в Италии! — продолжала Варвара Ивановна,— она и в Риме, и в Неаполе, и в Милане была. Какая ветреница! Хоть бы подумала, что здесь все прахом идет! Уведомляю ее о смерти управляющего, пишу, что есть надежный человек на его место; ты, может быть, помнишь Белорыбицына, камердинера покойного Дойникова! — Я его хотела нанять — прошу немедленно ответа, а она собралась мне ответить через три месяца! Je fais de mon mieux, mais que puis je faire? [1] У меня у самой все расхищают! У нас ведь теперь разбой! дневной разбой!

— Уж подлинно разбой,— сказала Луша, тотчас же пользуясь возможностью вставить свое словцо.— Теперь мужики и бабы никого не боятся и законов над собой не имеют никаких...

— Совсем окаянные стали,— отозвалась Поля, которая все более и более набиралась храбрости.— Удержу на них нету, потому и балуются...

— Вообрази, прошлой осенью у меня пять яблонь ночью обтрясли! — продолжала Варвара Ивановна.— Приглашаю к себе Астафьева, начинаю с ним говорить, как с порядочным человеком... Вы — мировой, говорю ему, mais avant tout vous êtes gentilhomme... [2]

Варвара Ивановна подробно рассказала свою стычку с Астафьевым, затем еще несколько примеров мужицкого разбоя. Когда она переводила дух, Луша вставляла свои замечания, за Лушею неудержимо отличалась Поля.

Маня тихо встала и скользнула в сад. Никто не заметил ее удаления, кроме Хрущева, который проследил за ней глазами, пока она скрылась в темной аллее.

«Что она теперь думает? Что чувствует? — задавал он себе вопрос.— Неужто она забыла меня, так забыла, что я ей стал совершенно чужой человек! Тем лучше!.. Мне это все равно... Глупо было с моей стороны беспокоиться о встрече с ней... Я очень рад, что мне не придется объясняться с ней... Я сбирался просить у нее прощения,

---

[1] Я стараюсь делать как можно лучше, но что я могу сделать? *(франц.)*

[2] Но прежде всего вы дворянин... *(франц.)*

но оказывается, что не в чем его просить... То есть, я был виноват... да, но скорее перед собою, чем перед нею».

Заветное имя, снова произнесенное Варварою Ивановною, заставило его очнуться от этих мыслей.

— Наденька не хочет в это вникнуть! — говорила Варвара Ивановна.— Я, наконец, решилась обратиться к Николаю Львовичу... Хотя они и в разводе, но развод неофициальный, и он — все-таки муж... Еду в пустынь, едва пробираюсь к нему, рассказываю... Sais-tu ce qu'il me répond? [1] «Я от мира совершенно отрекся и с мирскими больше не соприкасаюсь!»

— Он в пустыни? — спросил Хрущев.

— Да, уж скоро год... Разве ты не слыхал? Впрочем, где ж тебе было слышать! Уверяет, что хочет постричься... Нарядился в черную рясу, беспрестанно поднимает глаза к небу... C'est un hypocrite... Помилуйте, Николай Львович, говорю ему, ведь ваш священный долг вступиться за Наденьку, ведь вы перед престолом всевышнего клялись ее защищать!.. «Грешен, грешен!» — говорит... и на все, что я ни скажу, он мне: «грешен, грешен!» Et avec ce vilain sourire, que tu lui connais... [2]

Хрущев, уловив первую приличную минуту, начал прощаться.

— Уж покидаешь меня? — сказала Варвара Ивановна.— А я еще на тебя и не нагляделась, милый ты мой!..

— Уж поздно, тетя,— отвечал Хрущев,— пора вам дать покой...

— Ах, какой уж мне покой, Володя! Я давно покоя не знаю!..

Хрущев поспешил поцеловать ее руку.

— Завтра жду тебя обедать... Приезжай с утра... Поговорим... Пораньше приезжай...

— Непременно, тетя...

— Ах, и нам пора! — воскликнула Луша.— Я уж как приду к вам, Варвара Ивановна, так просто не могу оторгнуться... Страшно в темноте и во мраке по лесу идти одним...

— Особенно, как по оврагу,— добавила Поля.

— Все представляются привидения... Я ужасно боюсь привиденьев! — заключила скороговоркою Луша, которая,

[1] Знаешь ли ты, что он мне отвечает? *(франц.)*

[2] Это лицемер... И с этой гадкой улыбкой, которая тебе знакома... *(франц.)*

однако, легко побеждала этот страх, когда вдвоем с Полей предпринимала опустошительные ночные экскурсии в огороды и парники той же райской усадьбы.

Но Хрущев или не понял, или не хотел понять намека и, еще раз поцеловав руку тетки, раскланялся с обеими девицами и начал спускаться со ступенек террасы.

— Разве ты пешком, Володя? — крикнула ему Варвара Ивановна.

— Да, тетя, пешком.

— Не хочешь ли, я велю заложить коляску, ведь ты устал!

— Нет, тетя, не надо... Мне хочется пройтись по родным местам, поглядеть на них... Я даже выбираю, видите, дальнюю дорогу, через сад...

— Смотри же, завтра пораньше!

— Непременно, тетя... Доброй ночи!

Он поспешно направился в глубину сада, бормоча про себя:

— Дольше я бы не выдержал!

Им овладело неприятное грызущее раздражение, какого он давно не испытывал. Умиления, переполнявшего его существо назад тому всего каких-нибудь четыре-пять часов, не осталось и следа. Планы бескорыстного служения людской немощи совершенно вышли у него из головы; вместо них зародились горькие мысли о мелочности, пустоте, непостоянстве и несостоятельности всех, обитающих в подлунной. У него даже явилась мысль, что здесь, в Дубровках, ему будет, пожалуй, еще хуже, чем во всяком другом месте. Не уехать ли куда-нибудь? Но куда? Разве в Америку?

Отойдя несколько шагов от террасы, он свернул в первую темную аллею и шел, не думая, куда идет, пока не очутился в полукруге, обсаженном густо разросшимися деревьями.

— А! — проговорил он вслух,— это — Белая беседка! Как это я зашел сюда? Машинально... по старой привычке.

В его памяти быстро промелькнуло, как когда-то его здесь встречала Маня.

Он взглянул на беседку; черемуху уже не подстригали, и белые гроздья цветов почти совсем скрывали дерновую скамью.

— Все могилы! — продолжал Хрущев,— все...

Он вздрогнул, и сердце у него забилось. Знакомая стройная фигура быстро выступила из тени.

— Маня! — проговорил он.

Она уже обвила его шею руками и прижалась к нему. Он чувствовал, как холодны эти руки, как она вся трепещет, растерялся и только повторял:

— Маня! Маня!

Наконец он несколько опомнился.

— Так ты меня не забыла, Маня? Я думал, что ты меня забыла... Ты думала обо мне?

Она ничего не отвечала, откинула голову и, не отрывая рук от его шеи, стала пристально, жадно в него всматриваться: губы ее были полуоткрыты, лицо так же бело, как благоухавшие кругом цветы черемухи, темные глаза сияли и искрились.

— Маня, дорогая моя,— начал снова Хрущев,— я очень перед тобою виноват... Я это знаю... Меня мучила совесть... Ты меня прощаешь? Ты рада мне?

Она все не отвечала, словно не вникала в его слова, все жадно на него смотрела.

— Маня! — позвал Хрущев.— Маня!

Из глаз ее дождем хлынули слезы, и она снова припала головой к его груди.

— Маня, ты плачешь? Прости меня... Бедная моя! ты тоже мучилась!.. Маня, послушай...

Он нежно взял ее за голову обеими руками, слегка отстранил и заглянул ей в лицо.

Лицо ее было озарено таким глубоким беззаветным блаженством, что ему стало жутко...

— Где ж это он запропастился? — раздражительно шептала запыхавшаяся Луша, притаившись с Полей под кустами, над оврагом, около тропинки, ведущей в Дубровки.

— Да мы уж очень шибко бежали,— отвечала пыхтевшая, как паровозик, Поля, — а он ведь тихо идет, прохлаждается...

— Ах, какие глупости! — прервала Луша.— Шибко бежали! Что ж, по-твоему, раком, что ль, ползти? Уж ты вечно с глупостями! И с чего это ты вздумала соваться в разговоры? Признаюсь, пристало, как к корове седло!

— Да что ж, Луша,— сдержанно возразила Поля,— другие же разговаривают...

— Ах, ты захотела равняться? Может, даже всех превосходить хочешь? Что ж, на здоровье сове, если у нее голос соловьиный! Ах, вот как нынче наши спасенницы проявляются! Уж ты бы прежде на торги ехала да черный балахон продала!

— Что ж ты, Луша, все черным этим балахоном мне глаза колешь? — не без некоторого азарта ответила Поля.— Уж будто я какая оглашенная, что мне и слова сказать нельзя! Ведь я еще не пострижена, а и в постриге...

— Тс! идет... молчи! — прервала Луша.— Сюда!.. Как будто всходит на горку! Да, ну, поворачивайся! точная печь!.. выскальзывай из-за кустов на тропинку!

— Ах, Поля, как сердце бьется! — заговорила она громко и с распевцем,— ах, как страшно одним в лесу!

Поля, принявшая к сердцу критику подруги, не успела еще справиться со своим волнением и ничего не отвечала.

— Как томно светит луна! — все с бо́льшим и большим распевцем продолжала Луша.

«Ей так все можно говорить! — думала Поля.— А что она за фря такая?»

— Отдохнем тут, Поля...— заключила Луша, не имея силы совладать долее с нетерпением.— Ах, какие цветочки! — воскликнула она, опускаясь на траву и раскидывая веером свои раскрахмаленные юбки, между тем как ее быстрые зоркие глаза пронизывали тропинку.

Но тропинка вилась между высокими, густыми кустами, и на ней трудно было увидеть идущего, невзирая на свет молодого месяца, который местами серебрил ее причудливыми кругами и полосами.

— Где ж он? — прошептала Луша после нескольких минут, показавшихся ей веками.— Где ж он?

— А я почем знаю! — отвечала с несвойственной мрачностью Поля.

— Да ты видишь, идет кто-нибудь? Не смотри в темноту, смотри на ветки, не колышутся ли...

— Ничего не колышется, и не думает колыхаться...

— Тс! погоди... молчи...

Прошло еще несколько минут. Никто не показывался.

— Верно он уже прошел! — воскликнула Луша и проворно вскочила.— Так и есть, что прошел! Эта уродина Варвара Ивановна сколько нас еще томила, не отпускала! Подавись она всеми своими грибами! А все ты!

— Что я? — еще мрачнее прежнего отозвалась Поля, тоже вставая.

— Дура!

— Не дурее прочих!

— Что?

— Не дурее прочих!

— Ах, ты грубиянка глупая! Да что с тобой подеялось? Белены, что ль, объелась?

— Как бы прочие не объелись!

— Ах, ты — низкая душа! Только перед людьми прикидываешься, черный балахон треплешь, а сама — точная Иуда искариотская... Шш! идет! Слышишь?

— Ничего я не слышу!.. И нечего Иудов искариотских и спрашивать!..

— Шш! Шш! Кто-то запел! Это в Дубовой роще! Побежим скорей!

В тихом ночном воздухе действительно пронесся какой-то звук.

— Петухи поют,— заметила как бы про себя Поля.

— Он впереди! Побежим, мы его догоним!

— Никого я не буду догонять,— отвечала Поля,— я пойду домой! Пусть догоняют, кому охота понапрасну роситься!

И она скорым, но ровным шагом направилась к дому. Луша, вне себя от ярости, побежала с ней рядом, осыпая ее проклятиями, на которые она только раз удостоила пренебрежительно спокойно бросить замечание:

— Собаки брешут, ветры носят!

III

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРОШЛОГО

Там русский дух!.. Там Русью пахнет!
А. Пушкин[1]

Лет за двадцать до начала нашего рассказа, когда Варвара Ивановна Князева была еще девицей Чернаго, пела романс «Я жду тебя, когда зефир игривый листочки роз пошевелит», жила в поместье Хмельниках, при родителе, отставном гусарском штабс-капитане Иване Гавриловиче, и питала горячую дружбу к своему дальнему родственнику

[1] Строка из вступления к поэме «Руслан и Людмила».— *Ред.*

и товарищу детства Матье Подобедову, этот Матье, или Матвей Матвеевич Подобедов, однажды за вечерним чаем тайно передал ей записку. Крайне взволнованная таким обстоятельством, Варвара Ивановна воспользовалась первой удобной минутой покинуть собравшихся гостей, побежала в свою комнату, заперлась и прочла следующие строки:

«Мой милый, нежный друг! Я должен тебя видеть. Сегодня, когда уедет вся эта бездушная толпа гостей, выходи на балкон,— я буду ждать у колонн. Завтра меня уже здесь не будет; завтра я буду далеко от тебя, от всего, что озаряло мою жизнь лучом радости... Я должен с тобой проститься, должен тебе доверить тайну, излить перед тобою измученную душу... Ты все понимаешь, ты поймешь и твоего несчастного

Матье».

«P. S. Если ты согласна исполнить мою просьбу, мою мольбу на коленях — приколи к груди розу. Ты ведь не откажешь мне, не правда ли? Нет, ты не можешь отказать!..»

Содержание записки, разумеется, только усилило тревогу Варвары Ивановны.

«Боже мой! Что это значит? Что такое случилось? — недоумевала она.— Куда он уезжает? зачем?.. И так внезапно! Какая тайна? Он так мрачно на меня взглянул... Ах, мне страшно! Какая это тайна?»

Повторяя себе эти вопросы, она приколола розу к груди и поспешила в гостиную. В дверях стоял Матье; он был очень бледен. Увидав розу, он устремил на Варвару Ивановну такой выразительный взгляд, что она испугалась, как бы этого не заметил кто из гостей.

Гости, как нарочно, засиделись дольше обыкновенного. Варвара Ивановна попробовала быть как всегда любезной, но чувствовала, что это ей плохо удается. Пустое замечание одного соседа, пошутившего по поводу ее рассеянности, смутило ее чуть не до слез. Ей стало страшно, не догадываются ли о назначенном ей свидании, не заговорят ли о нем завтра. Она несколько раз хотела снять розу с своего корсажа, но едва дотрагивалась до цветка, как лицо следившего за нею Матье снова принимало выражение, которое

бросалось в глаза. К тому же, обещание уже было дано, и поймет ли он, что она берет его назад?

Матье простился и уехал раньше всех. Наконец, последний гость раскланялся, последняя гостья чмокнула ее с той безразличной сердечностью, которая свойственна многим дамам, замер стук последнего экипажа. Варвара Ивановна торопливо пожелала отцу спокойной ночи, испугалась, не заподозрил бы он этой торопливости, и пожаловалась на головную боль. Но отец ничего не заподозрил, посоветовал помочить виски уксусом и благословил ее на сон грядущий. Очутившись в своей комнате, Варвара Ивановна отослала горничную, выждала, пока все в доме утихло, и на цыпочках прокралась на балкон.

Матье уже был тут, схватил ее за руки, покрыл их поцелуями и опустился на колени.

Впоследствии Варвара Ивановна довольно долгое время с умилением это вспоминала; но тогда страх, что вот-вот кто-нибудь застанет, отравлял все.

— Благодарю,— прошептал Матье,— благодарю!

— Матье, что случилось? Что это значит? Куда ты едешь? Зачем?

— Я — убийца! — прошептал Матье.

Варвара Ивановна едва сдержала крик.

Есть люди, которые в самые печальные, самые тяжелые минуты своей жизни рисуются и бьют на эффект. Но на этот раз эффект произнесенного слова был так силен, что Матье счел за лучшее поспешить [с] объяснением.

Он, правда, был убийца, но убийца невольный, не обагривший рук кровью жертвы. Он не убивал, но из-за него убила себя дочь садовника, Марина.

— Боже мой! Боже мой! — пролепетала Варвара Ивановна, у которой поотлегло от сердца.— Как же это случилось? Расскажи, Матье... Ах, не медли: кто-нибудь может придти... Расскажи...

— Ангел! ты не отвертываешься от меня? — прорыдал Матье, снова схватывая ее руки и покрывая их поцелуями.

— Чем же ты виноват, Матье? Какое ты имеешь отношение к ее смерти? О мужчины, мужчины!

Варвара Ивановна уже догадалась, какое отношение имел Матье,— зная окружные помещичьи нравы и обычаи, это было не трудно,— но обыкновенно подобные вещи не кончались так трагически...

— Мы — звери! — с горестью ответил Матье.— Nous sommes des misérables! [1] Ты все узнаешь! Единственная святая и чистая любовь моя была ты, светлая подруга моего детства... Я целые годы носил, не сознавая, это чувство и только понял его недавно... В тот незабвенный день, когда мы возвращались от Пороховых... Помнишь? Неужто ты и не подозревала этого? Не прочла в моих глазах?

— О Матье! — прошептала Варвара Ивановна, которая прочла, что следует, не раз мечтала о блаженстве пройти путь жизни рука об руку с Матье, грустила, что у него много долгов и что его имению грозит опасность продажи с публичного торга, но надеялась, что все как-нибудь устроится к общему благополучию, и наслаждалась прогулками при луне, подчеркиванием тех мест во французских романах, где описывалась роковая любовь, роковые препятствия, роковые сомнения, занесением в дневник своих мечтаний и жалоб, подбором романсов, подходящих к ее положению, и прочим, тому подобным.

— Ты не угадала? — воскликнул Матье в отчаянии.

— О Матье, тише! Бога ради тише!.. О, не будем говорить об этом!

— Да, я не имею теперь права говорить о святом чувстве... Я должен обнажить перед тобою свои пагубные порочные увлечения, за которые так жестоко наказан!

Варвара Ивановна узнала, что последним из пагубных и порочных увлечений была Марина. Сознав, какое святое чувство носит в груди к подруге детства, Матье горько раскаялся в этом увлечении и Марину от себя отдалил. Он уже несколько недель не видел ее, как вдруг назад тому два дня, когда он поутру сидел в павильоне, с сладостной грустью припоминая все мелочи последнего свидания с предметом святой любви, она вошла к нему, кинула ему на руки новорожденного ребенка, бросилась на пол и начала биться головой о каменные плиты. Когда Матье опомнился и поднял ее, она уже была без чувств. Матье сделал все, что было в силах человека,— он тотчас отправил лошадей за доктором, умолял доктора спасти несчастную, но все напрасно: у нее открылся бред, и сегодня к вечеру она умерла. Доктор уверял, что у нее была горячка, перешедшая в помешательство, что случаи подобного помешательства нередки, но тем не менее Матье жестоко

[1] Мы негодяи! *(франц.)*

поразила эта смерть. Он терзался угрызениями совести, терзался об утрате надежд, которыми жил, и он решился бежать дорогих и ужасных мест, где его преследовал образ бедной жертвы и где он должен встречаться с предметом своей чистой и святой любви, которого он не был достоин. Куда бежать — он этого не знал, да и не все ли равно, где скрыть разбитое сердце?

Рассказ Матье прерывался рыданиями, изъявлениями восторженного обожания, коленопреклонениями и градом поцелуев, сыпавшихся на руки и ножки Варвары Ивановны. Варвара Ивановна плакала, слабо защищалась от поцелуев, беспрестанно вздрагивала и оглядывалась, не идет ли кто, и умоляла не шуметь. Время от времени у нее вырывались жалобные упреки, и между этими упреками вырвалось признание, что и она мечтала о счастии с другом детства.

Наконец, надо было расстаться.

— Куда ж, однако, ты поедешь, Матье? — спросила, всхлипывая, Варвара Ивановна.

— Твое признание... О ангел мой, не отвертывайся, не стыдись его; ты им спасла человека от гибели! Твое признание возродило меня! Я поеду в Москву и через год, искупив свои заблуждения, вернусь к твоим ногам обновленный! — отвечал Матье.— А ты? Ты не изменишься?

— О Матье! Женщины не похожи на мужчин! Elles sont incapables de partager leurs coeurs! — упрекнула Варвара Ивановна.

В залог постоянства она позволила сорвать с своих уст прощальный поцелуй, а сама сорвала с ближнего куста и дала розу.

Когда на следующее утро Варвара Ивановна позвала горничную, та вошла с письмом на подносе и, подавая ей, сказала:

— От Матвея Матвеевича.

— Кто тебе дал? — спросила Варвара Ивановна, быстро приподнимаясь с подушки.

— Ихний Прохор принес,— отвечала горничная,— говорит: приказано отдать барышне в руки, когда оне будут одне... Барину тоже прислали письмо, Прохор отдал Никифору. Матвей Матвеевич сегодня, чем свет, уехали в Москву.

---

[1] Они неспособны делить свои сердца! *(франц.)*

Письмо было очень длинное. В нем, между прочим, Варвара Ивановна прочла такие строки: «Я поручил надзор за ребенком ключнице. Пожалей о бедной малютке во имя ее несчастного виновного отца».

— Ах, барышня! Что там у них в Райском случилось! — сказала горничная, убирая Варваре Ивановне голову.— Марина, садовникова дочь, расшибла себе голову об камни! Сегодня будут хоронить... Говорят, лежит, как живая, только страшная... А ребеночек плачет-плачет... До самой смерти все, говорят, кричала.

— Что кричала?

— Да такое, говорят, чудно́е... При ней была ключница... Я хотела у вас попроситься, барышня, да сбегать туда поглядеть... Я там все узнаю доподлинно и вам доложу...

— Папа еще спит? — спросила Варвара Ивановна.

— Почивают,— отвечала горничная.— Еще очень рано. Вы сегодня не в свою пору изволили проснуться...

— Послушай, Дуняша,— сказала Варвара Ивановна, краснея.— Я сама пойду в Райское... Ты меня проводишь... Только чтобы никто этого не знал!

— Ах, барышня! Да смею ли я пикнуть! — воскликнула Дуняша.

— Поди скорее, скажи Никифору, что, если папа спросит, где я, то я иду гулять и за фиалками в Берестовскую рощу.

До Райского было всего около полуторы версты. Взволнованная Варвара Ивановна быстро перешла это пространство и, путеводимая Дуняшей, садовыми дорожками пробралась в боковую аллею.

— Погодите тут, барышня,— сказала Дуняша,— я сбегаю, погляжу, нет ли там кого чужого...

— Только скорей! скорей! — проговорила Варвара Ивановна и, прислонясь к стволу липы, прошептала:

— Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi suis-je venue voir cette femme! [1]

— Пожалуйте, барышня,— позвала возвратившаяся Дуняша,— ключница всех выслала...

— Кто там был?

— Дворовые бабы... Ее одевали... Отец ушел могилу рыть... Сегодня хоронить будут...

---

[1] Боже мой! Боже мой! Зачем я пришла смотреть на эту женщину! *(франц.)*

Варвара Ивановна переступила порог избы, примыкавшей к аллее. Ее встретила райская ключница, бледная, пухлая, толстогубая женщина с ястребиным носом, от которой пахло всеми хозяйственными специями и преимущественно лавровым листом, и подошла к ручке.

— Ах, Арина Сергеевна! Какое несчастье! — проговорила Варвара Ивановна.

— Да-с,— отвечала Арина Сергеевна, отступая в сторону и пропуская барышню вперед.

Посреди избы, против двух открытых окошечек, в которые било веселое солнце, врывалась утренняя свежесть, виднелись разбегавшиеся садовые дорожки и зелень, покрытая сверкающей росой,— лежала на столе полуодетая покойница.

Варвара Ивановна увидала стройную, мощную фигуру, широкие, как из мрамора выточенные плечи, роскошную грудь, смертно-бледное, искаженное страданием, но все еще прекрасное лицо, на котором мягко темнели густые, словно бархатные брови, чудесные русые волосы, вившиеся на лбу и висках и спадавшие до полу тяжелыми косами.

— Бедная! — произнесла Варвара Ивановна.

Слезы выступили на ее глазах. Она несколько минут с непритворным состраданием смотрела на покойницу, но вместе с тем думала:

«Она хороша, но эта красота грубая... Огромные руки, огромные ноги...»

— Что ж вы косы-то ей не подберете под платок, Арина Сергеевна? — спрашивала Дуняша ключницу.

— Надо под платок,— отвечала Арина Сергеевна.

— А платье какое наденете?

— У нее есть розовое...

— Где же ребенок? — спросила Варвара Ивановна.— Покажите мне его...

— Сию минуту-с,— отвечала ключница, достала из овощной корзины, стоявшей на лавке в углу, небольшой сверток и поднесла Варваре Ивановне. В этом свертке была спящая, крепкая спеленутая девочка с розовым, сморщенным личиком и резко очерченными бровями, которые придавали ей какое-то странное выражение, несколько похожее на выражение строгого и вместе беспомощного раздумья.

— Вся — *в них!* — таинственно шепнула ключница Варваре Ивановне.

— О, нет, я не нахожу сходства! — возразила Варвара Ивановна.

— Как же-с, самый *их* облик!

— Бедненькая! Как сладко спит. Вы, пожалуйста, смотрите за ней хорошенько, Арина Сергеевна!

— Не извольте беспокоиться: я понимаю-с... Завтра будем крестить,— как прикажете назвать?

— Я еще не знаю... я пришлю вам сказать,— отвечала Варвара Ивановна, поспешая домой.

Она возгорелась, насколько по своей природе была способна возгореться, желанием взять к себе *его* дитя, ухаживать за ним, лелеять его, охранять от опасностей, от горя, дарить радостью. Возвращаясь почти бегом домой, она мечтала, как бы она нарядила это дитя в кружевной чепчик,— только непременно с голубыми ленточками,— как бы убрала колыбель, как бы молилась около этой колыбели, как бы после молитвы говорила: «Peux tu m'entendre, Mathieu? Je suis là, près de ton enfant!» [1] Но позволит ли папа?

— Ах, вуальки-то не взяли, барышня! — сказала Дуняша.— Прикройте личико хоть платочком,— ишь как припекает!

— А что, очень загорела? — спросила Варвара Ивановна, повертывая лицо к Дуняше.

— Нет, ничего,— пораскраснелись только... Придете, умоетесь молоком и пройдет.

— Как жарко! Уже поздно, папа, верно, давно встал... Ты сказала Никифору?

— Как же-с, сказала.

Варвара Ивановна прикрыла лицо платочком и пошла еще шибче.

«Позволит ли папа? — думала она.— И как я ему скажу? Mon dieu, inspirez moi! Я чувствую, что он закричит, затопает... On ne sait jamais comment l'aborder!» [2]

Папа, действительно, отличался самым капризным нравом. Сегодня, например, он находил, что Петербург — чудеснейший живописный город, где весело и лихо живется, что самая отличная порода собак — меделянская, а завтра

---

[1] Можешь ли ты меня услышать, Матье? Я здесь, возле твоего ребенка! *(франц.)*

[2] Боже, вдохнови меня!.. Никогда не знаешь, как к нему подойти! *(франц.)*

чуть не с пеной у рта кричал, что Петербург еле держится на сваях, что сваи эти «гниют-с, гниют-с, гниют-с»! и что его скоро постигнет — и поделом-с! — участь Содома и Гоморры, что меделяны — дрянь, ничтожество, непозволительность! Как к Петербургу и меделянам, так относился он и к людям, даже самым ему близким и дорогим. Один раз, представляя Варвару Ивановну какой-нибудь новой знакомой, он с чувством говорил: «Voici ma fille Barbe, mon unique consolation!» [1] и даже, случалось, отирал слезу кончиком красного фулярового платка, дарил ей сто рублей, строил для нее сюрпризом беседки; в другой раз рекомендовал ее кратко и мрачно: «Voici ma fille, m-lle Tchernago!» [2], нарочно топтал в цветнике ее любимые цветы, приказывал повесить котенка или зажарить домашнюю птицу, которых она похвалила, и, что бы она ни сказала, обрывал ее суровым: «quel gibier!», делая вольный перевод с русского: что за дичь! Доказывать ему или возражать было бесполезно и даже не безопасно, потому что при первом противоречащем слове щеки у него начинали раздуваться, глаза прыгать, и он ломал стулья, срывал зеркала со стены, разметывал графины, опрокидывал столы, причем возражающий не всегда отделывался одним страхом; шелковистые локоны Варвары Ивановны скрывали один шрам, оставшийся после осколка богемского хрусталя.

Понятно после этого, что Варвара Ивановна, возвратившись домой, не без смятения услыхала, что папа давно встал и несколько раз о ней спрашивал,— и обрадовалась, узнав, что приехала m-lle Joséphine, [3] гувернантка-француженка, которая жила у соседей и к которой папа весьма благоволил.

— Arrivez, arrivez, ma chère! — вскрикнула черноглазая, белозубая m-lle Joséphine, завидев не без робости входящую Варвару Ивановну.— Sauvez-moi! [4] Ваш папа ужасный искуситель... он кружит мне голову комплиментами... oh, il connait l'art de tenter, le beau général! [5]

— Сколько раз мне вам говорить, прекрасная ветреница, что я — не генерал! — сказал папа.

Он прихорошился: надел гусарский доломан, в котором

---

[1] Моя дочь Варвара, мое единственное утешение! *(франц.)*
[2] Моя дочь, мадемуазель Чернаго! *(франц.)*
[3] Мадемуазель Жозефина *(франц.)*
[4] Подойдите, подойдите, моя дорогая!.. Спасите меня! *(франц.)*
[5] О, ему знакомо искусство соблазнять, милому генералу! *(франц.)*

обыкновенно принимал почетных или интересных гостей, закрутил волосы на висках в виде буквы С, подфабрил усы и был в отличнейшем расположении духа.

— Comment? Вы — не генерал? Mais non, vous êtes général!

— Je suis colonel!

— Eh bieu, tant mieux! Un général est toujours bête! J'aime mieux les colonels, ils sont plus gracieux!

— Vous êtes Grace, vous même! [1] — с обворожающим видом сказал папа, не подозревавший, что коварная m-lle Joséphine в разговоре с своими ученицами не иначе его называет, как «ce vieux crapaud» [2].

«Слава богу! слава богу! — мысленно благодарила Варвара Ивановна.— Папа весел...»

— D'où venez vous? — обратилась к ней m-lle Joséphine.— Vous êtes rouge comme un coquelicot... Знаете вы, какая драма случилась, dites? Et madam qui m'envoie récolter des nouvelles! [3] Ручаюсь, не знаете.

— Какая драма? — замирая, произнесла Варвара Ивановна.

— Mais cette pauvre fille, qui s'est tuée! Oh! Ce monsieur Mathieu est un infâme! O, mon cher général, отчего вы его не вышвырнули за окошко! [4]

— Я ничего не знал,— оправдывался папа,— я говорю вам: сегодня, только что проснулся, подают от него записку, извиняется, что не успел проститься, едет по делам в Москву... я думал, не в опекунский ли совет... L'опекунский совет, c'est l'usage de la couronne russe, qui peut... [5]

— Ah, je me moque bien, de votre опекунь — совет! — воскликнула бурная m-lle Joséphine. — Je m'en soucie comme de l'an quarante; je pense a cette malheureuse. Nous

---

[1] — Как?... Нет, вы — генерал.

— Я — полковник!

— Хорошо, тем лучше. Генерал всегда глупец! Я больше люблю полковников, они более изящны! *(франц.)*

— Вы сами грация! *(франц.)*

[2] «Эта старая жаба» *(франц.)*

[3] — Откуда вы пришли?.. Вы красны, как мак... Скажите? И мадам меня послала узнать новости *(франц.)*

[4] — Но эта бедная девушка, которая покончила с собой! О, этот бесчестный господин Матье! О, дорогой генерал... *(франц.)*

[5] Опекунский совет — это такое коренное русское учреждение, которое может... *(франц.)*

autres, pauvres filles, nous sommes bien bêtes! Oh, l'infâme! Je voudrais t'arracher les yeux! [1]

— Низко! низко! — негодующим тоном решил папа.

Варвара Ивановна сидела, опустив глаза в землю.

— Et cette malheureuse petite fille? — продолжала m-lle Joséphine. — Que deviendra-t-elle, pauvre chère âme? [2]

— Я бы хотела ее взять себе,— проговорила Варвара Ивановна, чувствуя, что теперь самая удобная минута высказать это желание, и вдруг набравшись храбрости.— Мне ее так жаль!..

— Vous êtes une brave fille, il faut que je vous embrasse! [3] — воскликнула m-lle Joséphine, подбегая к ней и так стискивая в объятиях, что из нее чуть дух не вылетел.

— Если только папа позволит...— проговорила Варвара Ивановна.

— Vous en doutez? [4]

— С удовольствием, с удовольствием,— поспешил заявить папа,— я сам имел это намерение...

— Vous êtes gentil comme toujours et je vous adore! Eh bien, dépêchez-vous... [5]

— Tout de suite, tout de suite... [6] — Папа позвонил и приказал явившемуся Никифору немедленно ехать в Райское и привезти Маринину девочку: он, Иван Гаврилович Чернаго, берет ее на воспитание.

— И поскорэ поспэшайтэ, Nicéphore, — прибавила m-lle Joséphine.

— Чтобы одна нога была тут, а другая там,— приказал Иван Гаврилович,— слышишь? Понимаешь?

— Слушаю-с... понимаю-с...— отвечал Никифор.

«Je te rends grâce, oh, mon dieu! [7]» — мысленно возвала Варвара Ивановна и спросила:

---

[1] Ах, какое мне дело до вашего опекунь — совет... Я о нем забочусь как о прошлогоднем снегс, я думаю об этой несчастной. Мы, бедные девушки, так глупы! О, негодяй! Я хотела бы тебе выцарапать глаза! *(франц.)*

[2] А эта несчастная маленькая девочка?.. Что станет с ней, бедной душечкой?.. *(франц.)*

[3] Вы благородная девушка, дайте я вас поцелую *(франц.)*

[4] Вы сомневаетесь в этом? *(франц.)*

[5] Вы милы как всегда, и я вас обожаю! Поторопитесь же... *(франц.)*

[6] Сейчас, сейчас... *(франц.)*

[7] Боже, благодарю тебя! *(франц.)*

— Как назвать ее?

— Marie,— отвечала m-lle Joséphine,— c'est le nom de notre sainte vierge et puis c'est joli nom... [1]

— C'est vrai! C'est vrai![2] — одобрил Иван Гаврилович.

Через час маленькое существо в овощной корзинке было доставлено и немедленно водворено в комнате рядом с спальней Варвары Ивановны.

— Chère petite! Pauvre innocente! [3] — восклицала m-lle Joséphine.

«Матье! — мысленно взывала Варвара Ивановна.— Твое дитя со мною!»

— Я ее не оставлю! — повторял Иван Гаврилович, который частью хотел пощеголять перед француженкой великодушием, а частью и в самом деле растрогался.

Тотчас один гонец был отправлен отыскивать кормилицу, другой за столяром, третий в город за покупками, четвертый к священнику, чтобы тот явился на следующее утро крестить,— причем каждому Иван Гаврилович прибавлял: «Смотри, чтобы одна нога была здесь, а другая там! Слышишь? Понимаешь?»

— Vous pouvez dire, que votre journée n'est pas perdue,— сказала m-lle Joséphine, садясь за стол, к которому Иван Гаврилович препроводил ее под руку, причем склонял стан как во дни оны, когда танцовал в Польше мазурку с варшавскими красавицами.— C'est, je croi, Titus qui disait cela? Que mangeons nous aujourd'hui? Oh! La soupe au vermicelle — c'est mon amour! Il est déjà sept heures! Et madame, qui m'attend! [4]

— Oubliez madame! [5] — нежно проговорил Иван Гаврилович.

«Все уже известно! — думала Варвара Ивановна,— везде об этом говорят! Верно, и меня замешали... О, Матье, Матье!»

На следующий день были крестины. Иван Гаврилович назначил в крестные матери Варвару Ивановну, а в крест-

---

[1] Мария... Это имя нашей святой божьей матери, и притом это вообще милое имя... *(франц.)*

[2] Верно, верно! *(франц.)*

[3] Дорогая малютка! Бедная, невинная!.. *(франц.)*

[4] Вы можете сказать, что ваш день не был потерян... Это, кажется, Тит сказал? Что мы сегодня едим? О, суп с вермишелью — это моя любовь! Уже семь часов! И мадам меня ждет! *(франц.)*

[5] Забудьте о мадам!.. *(франц.)*

ные отцы выбрал старичка соседа Михаила Фомича Михайлова. После церемонии, на которую, как бы случайно, собралось несколько любопытных соседок, пили шампанское «в честь великого таинства», по выражению отца Павла, и толковали о Матье, что терзало Варвару Ивановну, видевшую в каждом слове намек на свою любовь к другу детства.

Все окружные языки (в особенности дамские) усердно принялись работать и работали месяца три без устали. Большинством голосов было решено, что Иван Гаврилович Чернаго — старый дурак, а дочь его — влюбленная простушка, и рано или поздно этот приемыш жестоко отплатит им обоим за их неуместное благодеяние.

— Такие дети даже в чисто благородных фамилиях всегда бывают препорочные... Да и понятно: их рождение не освящено браком! — говорила одна помещица, Клеопатра Петровна, которая в свое время была за тремя мужьями.

— И чепчик весь кружевной! — говорила другая, Агния Андреевна, которой не удалось попасть ни за одного.

— И донышко кружевное, и лопасти кружевные! Какой же чепчик после этого она сошьет благородному дитяти? Где ж тогда различие?

— Сколько я ни замечала,— продолжала Клеопатра Петровна,— в таких детях, даже из чисто благородных фамилий, всегда гнездятся бесчувственность, коварство... в девочках — бесстыдство, в мальчиках,— расточительность...

— Нет, где ж тогда различие? — перебила Агния Андреевна.— Какой же после этого чепчик она сошьет благородному дитяти?

IV

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

В первое время Варвара Ивановна находила величайшее удовольствие в заботах о маленькой Мане и о всем, что ее касалось. Горничная Дуняша слепла над вышиванием прошивочек и оборочек для детских капотиков; кормилица Марфа, взятая из дальней деревни и крепко горевавшая по сынишке и муже, каждый день должна была примеривать новые кокошники; бантики на крохотных чепчиках, строчка на наволочках, стежка на одеяльцах были доведены до

возможного совершенства, и первая улыбка «его дитяти» растрогала Варвару Ивановну до слез.

Но дни проходили, а вместе с ними проходило и возбуждение. Невзирая на страстные письма Матье, тайно пересылаемые через его управителя, Варвара Ивановна малопомалу бросила рисование узоров для прошивочек, все реже и реже молилась у Маниной колыбели и, если взывала «Mathieu, m'entends tu?» [1], то уже совсем иным тоном и с иными чувствами.

По истечении года, когда Матье, обещавший к этому сроку вернуться обновленным, стал реже писать и допустил продать свое имение Райское с публичного торга, у Варвары Ивановны начала разыгрываться желчь. Она почти совсем перестала появляться в детской и так заметно охладела к Мане, что даже мало способный наблюдатель Иван Гаврилович, в минуты гнева раза два выхватывавший за ножки сонную девочку из колыбели, увидал это охлаждение и понял, что теперь для уязвления дочери надо действовать обратно, а именно: не громить приемыша, а оказывать ему внимание и ласку, и при первой же оказии купил Мане двадцать аршин розового атласу и серебряный бубенчик...

Скоро Маня была предоставлена попечениям кормилицы Марфы, которая, по счастью, отличалась добродушием и мягкостью. Правда, ей случалось с тоски по своим как-нибудь обидеть питомицу, но вслед затем ею тотчас же овладевала жалость, она брала ее на руки и говорила:

— Что брови-то поднимаешь! Полно, полно!.. Эх ты, броватая, через тебя мой Миколушка сироткою живет!

И начинала тихо и ласково укачивать чужую девочку, хотя у самой из глаз капали слезы по родимом Миколушке.

Между тем, в сердце Варвары Ивановны желчь накоплялась и накоплялась. Матье не только не явился, но после продажи Райского перестал и писать; отец начал пить, хворать и буйствовать пуще прежнего. Разумеется, Маня не была виновата ни в том, ни в другом, но тем не менее сделалась Варваре Ивановне невыносима.

Можно с достоверностью предположить, что это раздражение обратилось бы в настоящую ненависть, если бы к старому генералу Князеву, купившему Райское, не приехал его сын, голубоглазый, мечтательный, болезненный

---

[1] Матье, слышишь ли ты меня? *(франц.)*

молодой человек, обративший на себя все мысли Варвары Ивановны и нечаянно послуживший Мане.

Раз он явился с новым романом и, отыскивая Варвару Ивановну в саду, встретил в аллее темнобровую девочку с большими темно-серыми глазами; русые курчавые волосы образовывали нечто вроде шлемчика на ее головке; ее ножонки ступали твердо, а ручонка крепко держала тяжелую ветку. Увидя его, девочка остановилась, и щеки ее покрылись густым румянцем.

— Здравствуй, милая малютка! Не бойся, дай ручку!— сказал Князев, слыхавший историю Матье.

— Не бойся, не бойся,— повторила подоспевшая Марфа, обращенная из кормилицы в няньку.

— Ах, это вы! — сказала Варвара Ивановна, выходя из беседки, где ждала интересного посетителя.

— Я приобрел себе маленькую знакомую,— улыбнулся Князев.

Варвара Ивановна тоже улыбнулась и, проходя мимо Мани, потрепала ее по щечке.

Марфа, знавшая, что барышня не любит, если ее питомица попадается на глаза, поспешила удалиться.

— О чем вы задумались? — спросила Варвара Ивановна гостя.

— О вас.

— Обо мне? Что же такое?.. Скажите...

Князев удивился нежности ее сердца и благословлял судьбу, пославшую ему счастье встретиться с девушкой, которая не похожа на других, которая приютила, спасла от горя и нищеты бедное дитя.

— Да разве можно было поступить иначе? — проговорила Варвара Ивановна.

Затем Варвара Ивановна рассказала, сколько она вынесла из-за бедной малютки, как ее чернили, как на нее клеветали.

Князев отвечал, что участь избранных натур — быть непонятыми. Отсюда речь перешла на отраду встретить родственную душу. Вообще этот разговор их значительно сблизил и подвинул дело к развязке.

В тот же вечер Варвара Ивановна пришла в детскую, поправила подушечку спящей Мани и поцеловала ее разгоревшееся личико, а когда Князев явился на следующий день, то застал ее с Маней на коленях.

Варвара Ивановна не лукавила, не насиловала себя. Она вдруг с такою же охотою приблизила к себе девочку, с какою бы надела платье, которое отбросила в убеждении, что оно ее безобразит, а потом вдруг увидела, что оно-то и возвышает ее красоту,— и она ласкала Маню с тем же чувством удовольствия, с каким бы расправляла рюши такого платья. Варвара Ивановна, читавшая Ламартина и Жуковского и, при случае, со вздохами толковавшая о душевных движениях и внутреннем мире, но имевшая столько же навыка вникать в этот внутренний мир и объяснять себе эти движения, сколько и Фифи, ее палевая канарейка, не сознавала этого, а если и сознавала, то весьма смутно и наверное с негодованием бы отвергла.

Не сознавал этого и тоже бы с негодованием отверг и Князев, любивший с грустной улыбкой цитировать герцога де Ларошфуко,— за что, кстати будь сказано, он лишился прекрасного места при директоре одного департамента.

Снова получив право гражданства, памятливая Маня некоторое время дичилась внезапно просветлевшей покровительницы, но потом привыкла к новому порядку вещей, так же свободно и весело бегала мимо Варвары Ивановны, как и мимо старых берез и лип, и беспечально прожила те годы, когда мысль еще молчит и человек уподобляется растению. Ее спокойному прозябанию не мешало даже буйство Ивана Гавриловича, у которого почти одновременно с возрождением дочернего расположения к приемышу открылась водяная и который скоро улегся на сельском кладбище под каким-то каменным балдахином с плачущими ангелами по углам.

Когда Мане минуло десять лет, вокруг успело произойти много перемен. Еще некоторые из окружающих, и в том числе нежно любимый муж Варвары Ивановны, Князев, с которым она сочеталась по окончании траура по отце, отошли в вечность. Варвара Ивановна пристрастилась к поминанию покойников и разведению какой-то особой малины, родившей, по словам игуменьи губернского монастыря, ягоды крупнее слив-венгерок. Хмельники были проданы; местом резиденции служило Райское, и в доме получила большое значение и сан экономки горничная Анна. Маня, тотчас же после свадьбы покровительницы отошедшая на задний план, стараниями Анны отодвинулась еще

дальше. Впрочем, долгая привычка взяла свое: Варвара Ивановна привязалась к взрослей на ее глазах девочке и по-своему очень о ней заботилась и даже ее баловала; наняла ей наставницу, при простуде сама поила липовым цветом, наряжала, дарила игрушки, лакомила конфектами.

Невзирая на теплую и сытную жизнь, Маня скоро почувствовала свое одиночество, начала уходить в себя и полюбила, как живых, райский огромный сад и тянувшиеся за ним леса. Никто не замечал, как гасло ее детское веселье, как она все меньше говорила и все внимательнее глядела. Она бросила игрушки. Получив от своей наставницы, бедной, но благородной девицы, одобрение за хорошо вытверженную французскую басню или тщательное чистописание, она уже не бежала, по прежде заведенному обычаю, получить от Варвары Ивановны конфетку за прилежание, а, не теряя ни секунды, кидалась в сад. Тут все тени исчезали с ее детского лица, глаза загорались, выступал румянец. Она спешила все дальше и дальше в самую глубь зеленой гущины, вешалась и качалась на ветках, ложилась на траву и по целым часам вглядывалась в кружок неба, голубевший между листвою, раздумывая, как живет там на небе бог, и как это он может все видеть оттуда на земле, и как это Анна Ларивоновна говорит, что бог все прощает, и говорит, что он сажает грешных детей в ад, в кипящую смолу,— значит, не прощает? Но Анне Ларивоновне нельзя верить; она все стращает, и вот тогда-то и тогда-то сказала неправду. Неправду стыдно говорить и не должно. А вот тогда-то и крестная мама сказала неправду: она сказала Ольге Семеновне, что очень-очень ей рада, а рада не была, потому что рассердилась и плюнула, когда услыхала, что Ольга Семеновна приехала...

Эти одинокие размышления постепенно обнажали перед ней окружающие несостоятельность и ложь, и хотя еще ее не возмущали подобные открытия, но они охраняли ее от доверия ко всем россказням и все более и более развивали наблюдательность.

Маня хорошо училась, то есть хорошо вытверживала заданные уроки и тщательно списывала прописи, но без всякой охоты и нередко с томительной скукой. Бывали дни, когда на нее, как на девочку, хотя здоровую и крепкую, но чрезвычайно живую и впечатлительную, один вид

узколобой желтой наставницы, с выпуклыми, точно фарфоровыми, черными глазами, вечно вязавшей какое-то бесконечное кружевцо тамбуром, наводил тоску.

— Ну, Манечка, говорите великое герцогство Тосканское,— приказывала наставница.

— Там главный город Флоренция...— начинала Маня.

— Ах, Манечка! Зачем же вы прибавляете: «там»? Говорите: «великое герцогство Тосканское, главный город Флоренция».

— А во Флоренции есть много великолепных...

— Ах, Манечка! Зачем же это «а во Флоренции», когда надо «Флоренция замечательна многими великолепными»...— уже раздражительнее останавливала наставница, стараясь поймать спустившуюся с тамбурного крючка петлю.

Маня чувствовала, что ее словно что начинало душить, и употребляла все старания поскорее отделаться от великого герцогства Тосканского и наставницы. У нее развилось отвращение ко всем книгам и оставалось до тех пор, пока одним дождливым вечером она, случайно зайдя в кабинет покойного Князева, от нечего делать раскрыла «Сен-Ренанские воды» Вальтера Скотта. Сначала она машинально перелистывала страницы, затем прочла одну страницу, затем другую, а затем с возрастающей жадностью всю книгу. С этого дня она перестала качаться на ветках и раздумывать, как бог живет на небе, вся предалась чтению; перестала чувствовать свое одиночество, забывала о действительной окружающей ее жизни и думала о живых людях настолько, насколько то было необходимо для пользования новообретенным благом.

Но русскую библиотеку покойного Князева нельзя было назвать неистощимой, и Маня поглотила ее в одну зиму. Что касается до французских и немецких книг, то оказалось, что Маня, невзирая на усердное затверживание слов и неправильных глаголов, ничего в них не понимала. Она стала перечитывать прочитанное, но уж это было не то, что поглощать новое: у нее оставалось довольно времени ничем не занятого, и она снова, только еще гораздо сильнее, почувствовала свое одиночество, и снова у нее, только гораздо деятельнее, зашевелились свои разные мысли. Вычитанные лица, их жизнь, отношения, слабости и подвиги помогли ей незаметно создать себе идеал,— идеал,

правда, совершенно детский, в котором было много фантастического, но тем не менее идеал, поотодвинувший ее от окружающего.

Однажды поутру, когда Маня писала под диктовку настоятельницы «benediction du pape» [1], в комнату поспешно вошла Анна Ларивоновна с чистой пелеринкой в руках и сказала:

— Марья Михайловна, пожалуйте скорее к барыне.

С этими словами она сдернула с ее плеч измятую пелеринку, накинула принесенную, обдернула ей платьице и пригладила волосы.

— Что такое? — спросила наставница.

— Гость приехал! — отвечала Анна Ларивоновна каким-то особенным тоном.— Идите, идите скорее в гостиную!

В гостиной Маня нашла Варвару Ивановну с заплаканными глазами и с носовым платком в руке, а подле нее какого-то господина.

— Подойди, Маня, подойди, дитя мое! — проговорила Варвара Ивановна, тоже каким-то особенным тоном, взяла ее за руку и приблизила к гостю.

Гость заморгал, обнял ее и несколько секунд продержал в объятиях.

— Посмотри на него, Маня, посмотри хорошенько! — проговорила Варвара Ивановна.

Маня посмотрела во все глаза. Ей очень не понравился этот незнакомый старик в завитом парике, с моргающими глазами и трясущимися руками, от которого пахло, как от кожаного мешочка, что Анна Ларивоновна клала от моли в меховые салопы.

— Это — твой отец, Маня! — проговорила Варвара Ивановна.

— Твой отец! — прошамкал старик.

У Мани сердце застучало, как молоток, и все в глазах потемнело.

«Вот кто бросил мою родную маму! Вот по ком она плакала, плакала... потом разбила голову об камни и умерла»... как молния, мелькнули у нее мысли, и вместе с ними молнией пронесся мгновенно и ярко нарисовавшийся образ.

Она не помнила, от кого и как узнала историю своего рождения, но узнала очень давно,— может быть, вместе

---

[1] «Благословение папы» *(франц.)*.

с сказками о Лягушке и Иване-царевиче, которые ей рассказывала няня,— но она не углублялась в разбор безобразия этой истории, как не углублялась в разбор зверств царя Берендея или Бабы-Яги. Иногда, видя, например, как к скотнице Дарье с радостным криком бросается дочка, ей становилось грустно, и она думала, что крестная мать — не то, что родная, что будь ее, Манина, родная жива, и она бы так к ней бросилась, но образ этой родной представлялся как бы в тумане, смутно,— гораздо смутнее образов сказочных героев и злодеев.

Теперь вдруг словно кто сорвал завесу, и родная выступила, как живой человек.

— Pauvre enfant! Comme elle est saisie! [1] — сказала Варвара Ивановна.

— Ah! Pauvre enfant! [2] — прошамкал отец и снова прикоснулся своими пергаментными губами к ее лицу.

Она вздрогнула и зарыдала.

— Pauvre enfant! Pauvre enfant! [3] — вскрикнула Варвара Ивановна.— Анна! Анна! поди сюда, отстегни ей пелеринку... Выпей воды, мое дитя... Сегодня уроков не будет... сегодня у нас праздник... Поди, успокойся и возвратись сюда...

Через несколько минут Маня была уже в лесу и, бледная, вся дрожа, стояла под дубом. Глаза у нее расширились, точно она всматривалась во что-то такое, что трудно было рассмотреть; слезы то высыхали на ее щеках, то снова капали по ним крупными каплями; раза два у нее вырывалось громкое рыдание, похожее на крик беззащитного раненого.

Эта первая буря была и прошла никому не ведомая, и после нее девочка стала еще сосредоточеннее и скрытнее.

Матье, явившийся в родные места за получением наследства после какой-то троюродной тетки, скоро уехал, благословив дочь образком божьей матери и подарив ей коробку конфет.

Его посещение отвлекло Варвару Ивановну от поминок и малины. Хотя друг детства начинал уже пришамкивать,

---

[1] Беднос дитя! Как она поражена! *(франц.)*
[2] Ах, бедное дитя! *(франц.)*
[3] Бедное дитя! Бедное дитя! *(франц.)*

но пришамкивание еще не мешало ему вздыхать и пускаться в восторженные излияния чувств, а подобные излияния имели неотразимую силу над Варварой Ивановной,— особенно если сущность их заключалась в удивлении ее, Варвары Ивановны, уму, сердцу или другому какому совершенству. Какой бы дрянной человек ни был, какою бы гадостью он ни отличался, но если он закатывал глаза и восклицал, что Варвара Ивановна — его святыня, что он ей поклоняется, потому что она — солнце, а все прочие женщины — крупинки сажи, сердце Варвары Ивановны таяло, словно комочек коровьего масла.

— Ах, бедный Матье! — говорила она соседкам, которые после этого посещения горохом посыпались в Райское узнавать: «что же он?» и «как же он?».— Бедный! бедный! Он очень изменился, но все тот же... Знаете, как увидал меня, протянул этак руки (и Варвара Ивановна воздымала свои ручки, как перед образом святого чудотворца), закинул голову и не может ничего выговорить! Ах, как живы в нем старые привязанности! J'en étais toute confuse! [1] Ах, если он и заблуждался, то искупил свои заблуждения: он так страдал! Он правду говорит, что страдания его сожгли, испепелили!

— Неужто? — восклицали соседки.— Бедный!

Некоторые прибавляли:

— Ах, я верю! Нет ничего мудреного, что *вас* нельзя разлюбить, милая Варвара Ивановна.

А через несколько часов, в интимной беседе, говорили:

— Эта глупая Варвара Ивановна воображает, что ее Матье всегда был ей верен и только о ней и думал!

— Я уверена, что он над ней всегда смеялся,— прибавляли другие.— Во-первых, она никогда не была хороша, а во-вторых, красота — еще не все...

Матье написал несколько длинных писем, потом замолк, весть о нем запала, и Варвара Ивановна сначала потревожилась, не случилось ли с ним чего, затем, посердившись на его неделикатность, успокоилась, снова занялась поминками и малиной, и мирное течение жизни в Райском несколько лет ничем не нарушалось.

В эти затишные годы Маня глубже почувствовала свое

---

[1] Я была этим так смущена! *(франц.)*

одиночество и яснее сознала свое жалкое положение в доме благодетельницы. Каждое легкомысленное слово Варвары Ивановны, каждый язвительный намек невзлюбившей ее Анны Ларивоновны, каждая небрежность какой-нибудь соседки теперь наносили ей больные, долго незаживавшие раны. Она скрывала свои душевные муки с редким мужеством; никто не заподозревал, какие горькие думы передумывает девочка, так прилежно вышивающая на пяльцах. Правда, нередко юность брала свое: Маня, заснув в тоске, просыпалась веселая и ясная: ей чудилось, что вот-вот она что-то узнает, что-то обретет, ей становилось легко, привольно, ее точно кто-то невидимый любил и ласкал, она как будто не была одинока. Но подобные проблески продолжались недолго, и вслед за ними тоска забирала еще пуще.

Ее знакомство с Владимиром Петровичем Хрущевым началось в один из самых тяжелых дней, когда она, вышивая по канве какую-то раковину с розами и лилиями, думала, не пойти ли ей в монахини или лучше в Иерусалим, как мать ключника, старая Матрена... Матрена не воротилась до сих пор, и все говорят, что, верно, умерла,— очень ли страшно умирать?

Вдруг в смежной комнате раздались восклицания, поцелуи и незнакомый мужской голос. Маня, знавшая, что Варвара Ивановна ожидает двоюродного племянника, догадалась, что он приехал. Она встала и хотела уйти, но в эту самую минуту показалась Варвара Ивановна, которая отирала слезы и говорила следовавшему за нею молодому человеку:

— А эту комнату помнишь? Здесь ты любил в лошадки играть...

— Помню, помню,— отвечал молодой человек и, увидав Маню, остановился.

— Это — Маня, моя крестница,— пояснила Варвара Ивановна.— Tu sais? [1]

И по своему обыкновению дала еще одно пояснение вполголоса.

Маня ожидала, что приезжий, как до тех пор все другие, на это второе пояснение произнесет: «А!», окинет ее небрежно любопытным взглядом,— пожалуй, прибавит,

---

[1] Ты знаешь? *(франц.)*

как иные, что доброте Варвары Ивановны нет границ. Но он сказал:

— Значит, тоже родня! — подошел, взял ее руку и поцеловал.

Они прошли в другую комнату, в третью, голоса их доносились уже из сада, а Маня все стояла неподвижно на прежнем месте и смотрела на свою руку, на слегка порозовевшее местечко после крепкого поцелуя. Она ни о чем не думала и как будто испугалась, как случалось ей, когда она была поменьше, пугаться, просыпаясь ночью, чего-то неизвестного и неосязаемого.

Варвара Ивановна послала ее нарезать свежих букетов. Она вышла в сад и вдруг почувствовала глубокую радость, что она в саду. Когда она нарезывала белые розы, к ней подошел приезжий под руку с Варварой Ивановной и удивился, как искусно она составляет букеты. Варвара Ивановна сказала:

— Что это, Володя, ты вздумал говорить «вы» такой девочке!

Он ответил:

— Мы еще мало знакомы, тетя. Когда лучше познакомимся, тогда будем говорить друг другу «ты».

Варвара Ивановна что-то еще сказала, и Маня слышала, но как-то не вникла, не поняла.

За обедом он рассказывал Варваре Ивановне о каких-то неизвестных Мане людях. Маня слушала о том, как эти неизвестные ей люди поехали в Москву, продали дом, поссорились и пр., с таким же удовольствием и легким биением сердца, с каким в прежнее время читала самые интересные страницы романа Вальтер Скотта. Ввечеру он спросил Маню, что она делает в деревне, катается ли в лодке, любит ли читать, и когда Варвара Ивановна к маниному «да» прибавила, что она, Маня, пребесстрашная, даже одна переплывает реку и перечитала уже все книги, какие есть, он сказал, что привезет новых книг и, если она согласна, поплавает с нею по реке. При прощаньи он опять поцеловал у нее руку; но она, хотя вспыхнула, не остановилась на этом мыслью; ее занимало, как подкатилась под крыльцо коляска, как он сел и поехал, как замолк стук колес. Потом она подумала, какая теплая ночь и как тихо выплывает месяц из-за леса и ушла в свою комнату. Тут перед ней промелькнула одна, потом другая картина

детства, потом целый ряд картин, потом перед ней почему-то вдруг воскресла одна очень холодная зима и так живо воскресла, что она, как тогда, закрыла глаза от яркого сияния морозного дня, потом так же живо воскрес вчерашний день, когда она ходила по лесу и мимо самого ее лица пропорхнула какая-то серенькая птичка. Она незаметно впала в сон и заснула сладко и крепко, как после долгой усталости.

На другой день он опять приехал и собралось много гостей — Варвара Ивановна праздновала его прибытие в родные места. Он привез обещанные книги и сказал Мане, что будет с нею вместе их читать, если она захочет.

Одна гостья спросила его, поселится ли он в Дубровках, и он ответил, что поселится, что теперь ему место только в Дубровках, что скоро наступит иное время, освободится народ от рабства (дело было летом 1856 года), разобьются цепи измученных невольников, воцарятся равенство и братство. Он говорил о справедливости, о праве бедного на счастье, о долгих страданиях жен, матерей и детей, о варварстве делать из своего брата раба. Все кругом одобрительно жужжали. Одна молодая девушка — институтка, особенно надменно всегда обращавшаяся с Маней, заплакала. Только Эраст Иванович, сосед, любивший рассылать знакомым дамам корзинки с персиками и сливами, выкрикивал: «Нет-с, это не нам! Это не наше! Это уж предоставим французам!»

Маня слушала и чувствовала, что по ней тихой и медленной струей проходит какой-то холод. Свечи, казалось ей, то меркли, то вспыхивали; ярко пылавшая люстра то поднималась, то опускалась; говоривший то приближался чуть не к самому ее лицу, то так отдалялся, что она едва различала абрис его головы.

Прохор и Терентий внесли подносы с мороженым. Раздалось несколько других голосов. Вера Андреевна, нарядная красивая женщина, бойко защебетала по-французски. Маня вышла из гостиной, обошла темный сад и опять вернулась. Проходя через диванную, она увидала, что перед зеркалом стоит институтка и поправляет локоны; Маня посмотрела на нее.

— Маня, поправьте мне, пожалуйста, вот тут, этот локон,— сказала институтка.

Маня, всегда исполнявшая подобные поручения без любезной готовности, теперь улыбнулась и, поправив локон, поцеловала его обладательницу в щеку. Та вздернула плечами и скверно усмехнулась. Маня покраснела, но улыбка не сошла с ее лица и она не утратила своей ясности.

После этого давались крестьянские праздники в Райском; сначала водили хороводы в барском дворе, но, с тех пор, как хороводники сломали куст розовых пионий, их перенесли за рощу, на поляну. Раз, когда Варвара Ивановна, почувствовав головную боль, уехала рано домой, а Маня возвращалась поздно ввечеру через рощу под руку с Владимиром Петровичем, он спросил у нее, перестала ли она дичиться и полюбила ли его хоть немножко. Говоря это, он поцеловал ее руку, как в первый день знакомства, потом поцеловал ее в лоб, в глаза и в губы, прижал ее к груди и назвал своей милой, дорогой Маней.

По-прежнему Варвара Ивановна ездила к соседям и принимала их, по-прежнему текла жизнь в Райском; но Мане теперь не было дела ни до перебранок, ни до оскорблений. Поутру она ждала Владимира Петровича на террасе, где он ей давал уроки: уроки были назначены два раза в неделю, но он бывал чаще. Теперь, если он и приезжал, то отпускал коляску и возвращался домой пешком, через сад, где в Белой беседке Маня трепетно прислушивалась, как он приближается.

К концу лета он стал бывать реже; у него были дела и ему мешали гости — раз он не показывался с неделю. Маня тосковала и ждала, но и в этом ожидании и этой тоске не было ничего подавляющего.

«Когда он придет? — думала она.— Может быть, сегодня! И опять спросит, скучала ли я...»

Перед нею восставала минута, когда он спрашивал, скучала ли она, и сердце начинало сладостно замирать. Потом на глаза попадалась его книга и тоже вызывала счастливый вздох и улыбку.

— А что, Варвара Ивановна, ваш ветреный любимец-племянник уезжает в Петербург? Я угадала, что он здесь долго не выдержит!

Эти слова раздались в гостиной вместе с шуршанием легкого шелкового платья; их произнес нежный, звучный голос, которому только несколько вредила чересчур вкрадчивая мягкость.

— Что ты, Наденька, откуда ты это взяла? — отвечала Варвара Ивановна.

— Наверно уезжает!

— Садись, садись, снимай шляпу и расскажи, что такое... кто тебе сказал?..

— Я еще вчера слышала от Филиппова, а сегодня встретила Владимира Петровича у кузины Солнцевой, и он сам мне сказал, что ему необходимо ехать в Петербург и что он едет завтра...

— Да что ж это такое?

— Не знаю, какие-то дела... Я не расспрашивала...

Маня узнала голос Надежды Львовны Солнцевой, молодой хорошенькой соседки, приезжавшей иногда на лето в свое поместье. Варвара Ивановна чрезвычайно ее любила и держала ее сторону против мужа, с которым Надежда Львовна уже года три разошлась.

Маня как сидела в диванной с книгой, так и осталась там. Известие, привезенное Надеждой Львовной, ее заставило встрепенуться, но как будто не особенно удивило, не особенно огорчило: это была туча, о которой говорили другие, но которой она сама еще не видела. Тут, верно, что-нибудь не так; он придет и скажет...

Он пришел и был очень весел. Да, он завтра едет в Петербург, но скоро вернется. Ему необходимо по делам. Надежда Львовна, проводившая зимы в Петербурге, просила его, в случае заживется в столице, не забывать деревенского знакомства и посетить ее. Он поклонился. Варвара Ивановна поручила ему купить ей какую-то английскую байку — по белому синими мушками.

Он стал прощаться раньше, чем Маня ожидала. Она кинулась в сад, в Белую беседку, но услышала за собой, как он громко говорит: «А где же Маня? Маня, где ты? я хочу с тобой проститься!», и остановилась около террасы. Он подошел и, целуя ее руки, просил не скучать и ждать его. Прощание было быстрое. Ей вдруг стало страшно, она прижалась к нему, чтобы удержать хоть на минуту еще. Он как-то поспешно несколько раз поцеловал ее в голову, в щеку, высвободился из ее рук, взбежал на террасу и, прежде чем она успела опомниться, уехал.

Это случилось года за три с лишком до последней их встречи в Белой беседке.

V

НЕДОУМЕНИЯ

Look sweet, speak fair, become disloyalty;
Apparel vice like virtul's harbinger;
Bear a fair presence, though your heart be tainted
Teach sin the carriage of a holy saint,
Be secret-folse: what need she be acquainted
What simple thief brags of his own attaint.

Shacespeare [1]

Проснувшись на следующее утро и вспоминая, как вчера закончилось его посещение Райской усадьбы, Хрущев несколько раз покраснел, потом начал себя утешать и успокаивать, что это вышло так непредвиденно, захватило его врасплох и что более ничего подобного не повторится.

«Я сегодня же скажу Мане, что мы не должны так встречаться,— решал он,— что я не стою ее привязанности... что я ее обманывал, любил другую... Я ей все скажу... что надо... Бедная Маня! Кто бы мог ожидать, что она так сильно и глубоко чувствует!»

Ему представилось ее лицо при месячном свете, блестящие полосы, проведенные по нем счастливыми слезами, и он опять повторил: «Бедная Маня!»

И неужто она ничего не угадала, ничего не подозревала? Как странно, что она ни разу не упрекнула, ни разу не пожаловалась! Что это, робость? Бедная Маня! Она очень огорчится... Но что же делать? Мучительная операция спасает...

— Владимир Петрович, отец Павел с благодарственным молебном,— доложил, появляясь в дверях, Федосей Егорович.

— А, очень рад... Я сейчас... сейчас выйду,— отвечал Хрущев и, поправившись перед зеркалом, поспешил в залу.

---

[1] Гляди приятно, говори красиво, стань изменником;
Пусть порок будет похож на предвестников добродетели;
Сохраняй красивую осанку,
хоть на сердце твоем позорное пятно.
Учи грех поведению святого,
Будь скрытно лживым.
Какой же вор хвастается тем, что он осужден?

Шекспир (англ.)

При его появлении отец Павел, доставáвший макушкой чуть не до лепных украшений потолка, так грянул «Благословен еси христе боже наш», что ближнее к нему окно распахнулось; дьякон, хрипевший подобно испорченному органу, согнувшийся как-то набок и походивший при прямом, как дуб, отце Павле на захиревший отросток этого дуба, беспрестанно моргал и два раза рассыпал из кадильницы угольки, которые проворный Аполлошка, предупреждая подслеповатого дьячка, сбирал с полу в горсть и выносил. Аполлошка, невзирая на свое пока безупречное при церемонии поведение, очевидно, смущал Федосея Егоровича и мешал ему выделывать с должной торжественностью земные поклоны; припав смиренно к полу лбом, он вдруг косил глаза в сторону, где стоял лукавый казачок. По правую сторону налойчика молилась, призывая на помощь всю когда-либо и где-либо подмеченную барскую грацию, Луша, а по левую, с озабоченным видом, Поля. Солнце весело било в окно, и две иволги так громко кричали у самого балкона, что Аполлошка порешил непременно поискать их гнездо и именно поискать его на четвертой от балкона липе.

Отец Павел, желая показать, что, если он понимает, как следует служить молебны старым помещикам, то понимает и то, как их следует служить молодым помещикам, справил свое дело живо. При благословении, желая показать, что ему известно и новое положение молодых помещиков не прикладываться к благословляющей деснице пастыря, он сложил пальцы мотыльком, мелькнул этими мотыльками перед Хрущевым, сложил ладони, и, потирая их друг о дружку, низко поклонился.

— Как поживаете, отец Павел? — спросил Хрущев.

— Не смею роптать на творца моего, Владимир Петрович,— отвечал отец Павел,— и не ропщу; не ревную лукавствующим и не завидую творящим беззаконие...

— Садитесь, пожалуйста, отец Павел... Здравствуйте, отец дьякон... Пожалуйста, садитесь...

Хрущев раскланялся с Лушей и Полей, тоже попросил их садиться и приказал подать закуску.

— Как же вы, Владимир Петрович, изволили путешествовать по чужим краям? — начал отец Павел.

— Был в Греции,— сказал Хрущев.

— А! в Греции. И патриарха изволили видеть?

— Нет, не случалось,— отвечал Хрущев.

— А, ну что же, путешествующий не все может видеть. Путешествующий спешит. И ему это дозволяется. Страдающему недугами, к примеру говоря, разрешается в пост скоромная пища... так и тут...

Отец Павел почувствовал, что его сопоставление не выдержит, пожалуй, строгой критики, но нимало тем не сконфузился и, погладив бороду, спросил, видел ли Владимир Петрович в Риме темницу, откуда ангел вывел святого Петра.

Владимир Петрович видел и в кратких словах описал.

— Ну, а Рим как, Владимир Петрович, обширен?

Хрущев очеркнул и Рим.

Отец Павел слушал с просвещенным вниманием и вставлял свои замечания о древних христианах, жестокостях Нерона, заблуждениях католической веры; но отец дьякон не проронил ни слова и вообще имел вид человека, давным-давно махнувшего рукой на всякие прошедшие, настоящие и будущие жестокости и заблуждения. Луша склоняла голову набок, сжимала губы бутончиком, тихонько ахала. Поля сидела неподвижно, как крепкий кочан на гряде, время от времени обливалась малиновым румянцем и глядела в пол.

— Прошу закусить,— сказал Хрущев, не без отрады прерывая свое описание заграничных впечатлений.

Отец Павел направился к столу, откидывая рукава подрясника, как человек, исполняющий приятную обязанность; отец дьякон, напротив, подступал к столу медленно и колеблясь, точно к какой засаде.

— А вы? — обратился Хрущев к Луше и Поле.

— Ах, нет, от всей души благодарю вас,— пропела Луша.

— Нет-с, благодарю,— пробормотала Поля.

— Отчего же?

— Ах, нет, от всей души благодарна... Я пойду гулять и любоваться на цветы,— опять пропела Луша.

— Не смею настаивать,— сказал Хрущев, отходя к столу.

Эти слова поразили в самое сердце Лушу и Полю. Следуя своим правилам благовоспитанности, воспрещающей принимать приглашение, не повторенное троекратно, они никак не ожидали, что поплатятся за свои деликатные манеры. Но поправить дело было уже невозможно, и они отправились в сад.

Отец Павел выпил рюмку водки, предварительно заявив Хрущеву, что это — тост за его благополучное возвращение в дом благочестивых и приснопамятных предков; затем, взяв порядочного сижка между указательными пальцами, так что хвост упирался в один, а голова в другой, только, казалось, повел по нем губами, как кларнетист, пробующий перед началом концерта свой инструмент, и от сижка осталась одна кость.

— А вы водки, отец дьякон? — сказал Хрущев.

— Извините, Владимир Петрович,— отвечал отец дьякон с какою-то торжественностью,— не могу... претит...

— Претит, как нищему гривна! — заметил отец Павел, становившийся все развязнее.

Его черные волчьи глаза, сначала бегло, но зорко впивавшиеся в Хрущева, развеселились, и теперь он посматривал на него, как посматривает задумавший осаду на крепостцу, хотя и не имеющую проломов, но вообще плохо и неумело построенную.

— Претит,— повторил отец дьякон, как бы не слыхав замечаний отца Павла.

— И вина не употребляете? — продолжал Хрущев, тоже делая вид, что это замечание не коснулось его слуха.

— Употребляю, но с отвращением,— отвечал отец дьякон.

— Проезжая губернию, изволили посещать губернатора? — спросил отец Павел.

— Нет, я с ним мало знаком,— отвечал Хрущев.

— Скажу вам, как пред лицом господа, Владимир Петрович, не по христианским заповедям он живет!

— Кто же по ним живет? — возразил Хрущев.— Это трудно.

— Оно действительно трудно,— согласился отец Павел,— и даже с силами человеческими несоразмерно. Дух бодр, плоть же немощна. Грешны мы и по делам нашим воздается нам. Забываем вдов и сирот, не бдим о благолепии храмов божиих, не заботимся о нуждах духовных пастырей. Вот, к примеру говоря, я, Владимир Петрович (отец Павел отодвинул тарелку и облокотился на стол), сколько лет служу, а пребываю, как в пленении вавилонском, можно сказать, наг! Ожидал вашего приезда, яко жаждущий источника водного, уповал, не пожертвуете ли от щедрот своих Долгушинского лужка.

Отец Павел встал.

— Какой это Долгушин лужок? — спросил Хрущев, смутившись неожиданной просьбой.

— Маленький! — воскликнул отец Павел тем тоном, каким восклицал при служении: «Господи! исцели душу мою!», откидываясь назад корпусом и своими громадными руками отмеривая в воздухе пространство вершков в шесть.

— Право, я сразу не могу этого решить,— сказал Хрущев.

— Не о себе пекусь, Владимир Петрович,— о церкви божией. В день пресвятой троицы помост в храме у нас усыпается какою травою? Собранною на распутьях, по коей ходила корова, коза и всякая скотина. Подобает ли это? Я уповал предопределить этот лужок для церковных потреб, Владимир Петрович, возрастить на нем травы и цветы для прославления пресвятой троицы.

«Он меня, кажется, совсем за дурака считает»,— подумал Хрущев, подосадовал, но по деликатности опять ответил уклончиво:

— Я не могу этого решить, не подумав.

— Подумайте, подумайте, ведь дело не спешное,— подхватил отец Павел,— для меня довольно вашего благодетельного обещания.

— Я вам еще не обещаю, отец Павел...

— Я подожду, Владимир Петрович, подожду,— я знаю, вы не обидите служителя господня. Предки ваши обрели себе славу на лоне Авраама, и вы обретете. Позвольте пожелать вам всех благ душевных и телесных... Отец дьякон, вставай, пойдем!

Отец дьякон хотел подняться, но не мог даже отделиться от стула и только кивнул головой. Стоявший перед ним графин с водкой был не только пуст, но и сух.

Отец Павел приморгнул Хрущеву и засмеялся.

— Извините, отец Павел,— сказал Хрущев,— я спешу в Райское.

— Спешите, спешите, Владимир Петрович, святое дело — порадовать тетеньку,— отвечал отец Павел, сопровождая Хрущева до крыльца.

Решение Хрущева «честно» объясниться с Манею было твердо и, казалось Хрущеву, ничто на свете не могло его даже поколебать. Но когда он увидал ее, розовую, с сияющими глазами, сердце его сжалось больнее, чем он того ожидал. Самому закаленному и холодному вестнику горя, вероятно, становится жутко перед счастливым лицом чело-

века, ни в чем не повинного, не подозревающего, не предчувствующего готовящегося ему удара, перед мыслью, как от одного его слова тотчас побледнеет это лицо, исказится страданием и горьким испугом, а Хрущев отличался мягкостью и тонкостью чувств.

После первых приветствий Варвара Ивановна опять принялась за рассказ о Михешке и Терешке и прочих своих бедствиях и испытаниях, рассказывала до обеда, рассказывала за обедом, не раз всплакнула и до того наволновалась, что после кофе незаметно задремала на террасе.

— Маня,— сказал Хрущев неровным голосом,— я хочу с тобою поговорить... Вчера я ничего не успел тебе объяснить... Ни моего внезапного отъезда за границу, ни... ничего... Я многое хотел бы тебе сказать...

— Скажи,— произнесла она.

— Маня, тебя поразил тогда мой отъезд? Ты много перестрадала в эти три года?

Приступая к тяжелому объяснению, которое должно было навсегда прервать между ними прежние отношения, Хрущев невольно поддавался искушению послушать, сколько за него перестрадали, и вставлял вопросы, могущие не облегчить, а только продлить «тяжелую операцию».

Маня не ответила и слегка побледнела.

— Если бы ты знала, как горько я раскаиваюсь! — продолжал Хрущев.— Как бы желал я чем угодно искупить твои страдания! Ты даже хворала!

— Все это прошло,— ответила Маня,— я здорова теперь.

Лицо ее снова залилось розовой краской, а темные глаза увлажнились.

— Сегодня я проснулась и думала — у меня разорвется грудь,— прибавила она,— так мне хорошо!

У Хрущева у самого чуть не закапали слезы от смущения и, невзирая на это смущение, отрадного чувства сознавать себя так любимым.

— Что ты думала о моем отъезде? о моем молчании?

— Я думала, что ты уехал по делу,— помнишь, как говорил?

Хрущев покраснел до корня своей прекрасной шевелюры. Во дни оны, когда он в своих кратких уроках объяснял Мане призвание человека, он учил ее, что человек должен в известных случаях приносить в жертву свое личное счастье, и что ему, Хрущеву, быть может, тоже придется

когда-нибудь так сделать, и что он так сделает,— Маня, оказывалось, это запомнила.

— Ты думала? — невнятно проговорил он.— И что же?

— Я знала, что так нужно, и хотела не тосковать, а радоваться, но не могла. Я помнила все, что ты говорил, но не могла. Мне все приходило в голову, что с тобой что-нибудь случилось, что я тебя не увижу. Я все думала, от кого узнать о тебе и как мне пробраться в Петербург. Я уже совсем было решилась, но побоялась, что я поеду в Петербург, а ты без меня приедешь сюда. Я — эгоистка,— прибавила она после минутного раздумья, и голос ее задрожал.— Когда настало освобождение, я сбиралась сделать много, а потом ничего не сделала!

На ее подвижном лице выражалось глубокое раскаяние и стыд.

— Полно, Маня,— сказал Хрущев,— у тебя еще много времени впереди, и если ты захочешь...

— Ты меня научишь? — прервала она.— Научи меня! научи! Скажи, с чего начать? что начать? Я ничего не придумаю! Все мало, все потом обращается во зло! Но теперь ты тут и ты меня научишь!

Она глубоко вздохнула, и у нее вырвалось, как благодарная молитва:

— Господи! как теперь мне хорошо!

«Неужели я разрушу сейчас все это счастье? — подумал Хрущев.— Это было бы и неудобно: тетенька того и гляди проснется, и бедная девушка не успеет даже опомниться от удара... Я не имею права выставлять напоказ ее душевные муки... Я все скажу после, не тревожа ее заранее... Пусть, перед тем как прикоснуться к горькой чаше, она досыта пьет из сладкого кубка!»

Хрущев не отступил от этого великодушного плана, за что и сам попользовался несколькими глоточками из сладкого кубка.

— Где ты, Володя? — раздался голосок Варвары Ивановны.— А я так задумалась, задумалась...

Варвара Ивановна никогда не признавалась, что засыпала после обеда, и всегда уверяла, что она или задумалась — и так глубоко! или закрыла глаза от яркого света, или от мигрени.

— О чем вы задумались, тетя? — спросил Хрущев.

— Ах, друг мой! все невеселые мысли! Кругом так мрачно, Володя. Одного жду — смерти. И с радостью лягу

в могилу... Все мы, старики, скоро простимся с землею... Что ты там в аллее видишь, Володя?

— Я, тетя? Ничего...

— Мне показалось, что ты что-то там разглядываешь... Вот и бедный Арбузов не долго еще потерпит... Съездил бы ты к нему, Володя! А, Володя?

— Пожалуй, тетя,— рассеянно ответил Хрущев, а сам думал:

«Нет, я даже хорошо сделал, обещав ей придти в Белую беседку. Там мы свободнее можем говорить. К тому же ведь это — уже в последний раз! Бедная Маня! Теперь у меня уж не дрогнет рука нанести тебе удар!»

— Когда ж ты съездишь, Володя? — проворковала Варвара Ивановна, еще накануне решившая подвести всевозможные мины для получения согласия на интересную для нее поездку.

— Как-нибудь съезжу, тетя.

— Ты позволь мне назначить день, Володя.

— Хорошо, тетя, назначьте...

В эту ночь Хрущев еще позднее возвратился домой. Он виделся с Маней в беседке; но против его ожидания, рука у него снова дрогнула, и удара он не нанес,— «честного» объяснения не было. Он был смущен и недоволен собою, растроган и грустен, но ему начал уже представляться другой исход из трудного положения.

«Маня меня так любит,— думал он,— разрыв может разбить всю ее жизнь. Ужасно убедиться, что мы любили одни, что верили в призрак! Я больше ничего не требую, ничего не желаю, я отжил,— не принести ли мне ей жертву,— правда, жертву самую тяжелую,— не скрыть ли от нее правду? Пусть думает, что я ее люблю, пусть будет счастлива! Это — обман, но если обман даст ей счастье, а истина — горе?»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

АПОЛЛОШКА НАБЛЮДАЕТ

No ay mejor espejo
Que el amige yiejo [1].

Испанская пословица

Аполлошка не любил ни торных дорог, ни проложенных тропинок, ни ходьбы мерным шагом и несся в Райское напрямик через лес, перемежая пение свистом, а свист всевозможными звукоподражательными восклицаниями, одной рукой подкидывая, наподобие мяча, тщательно завернутую книгу, которую Хрущев посылал Мане, а другою похлопывая по встречавшимся на пути деревьям, цепляясь за ветки и сбивая щелчками головки алой смолки, попадавшейся целыми куртинами на солнечных пролесках.

Спустившись в овраг, он пренебрег мостиком и, положив книгу в шапку, со словами: «вывози, кривая!», совершил переправу через ручей на двух березовых рогульках, которые тут же были выломаны — частью с помощью зазубренного столового ножа без рукоятки, частью с помощью крепких рук и ног и даже зубов. Гибкие ходули ежеминутно гнулись, и не раз угрожала опасность окунуться в новой, ловко сшитой серой паре с синим кантом и сапогах с иголочки; но Аполлошка не мог жить без опасностей и находил величайшее удовольствие в сердечных замираниях, связанных с постановкой вопроса: вывезет кривая или не вывезет?, тем более что до сих пор «кривая», с малыми исключениями, которых не стоило принимать во внимание, всегда вывозила.

[1] Нет лучшего зеркала, чем старый друг *(исп.)*.

Благополучно соскочив на противоположный берег, Аполлошка бросил березовые рогульки, вырезал осиновую дубинку и, упираясь на нее обеими руками, начал подниматься на гору прыжками, что, конечно, усложняло подъем, но зато делало его не в пример забавнее.

Ясное, теплое весеннее утро ласково сияло, лес был полон свежих благоуханий и тихого, веселого шелеста, словно все деревья, кусты, травы и цветы тихонько посмеивались; то с той стороны щебетала или перепархивала птичка, то с другой, в траве трещали кузнечики, точно им, во что бы то ни стало, требовалось перещеголять друг друга; в каждом кусте что-нибудь кружилось, вилось или жужжало; прогалины, залитые солнцем, так ярко зеленели, что приходилось жмуриться, но вслед за тем как отдыхали глаза в густой чаще, где мягко темнела зелень и куда солнечный свет пробирался только полоской или кружком, или искорками,— а то попадется такая гущина, что кругом совсем зеленая мгла, только голубое небо чуть-чуть сквозит сквозь нависшую над головой листву.

Аполлошка был в отличнейшем расположении духа. Во-первых, он был охотник гулять по лесу, во-вторых, в это утро ему удалось дважды подшутить над «старой крысой», как он величал Федосея Егоровича; в-третьих, у него в кармане лежал целый рубль, который ему пожаловал барин, а на рубль мало ли удовольствий может получить оборотливый человек? Это будет видно через две недели, когда в Лозинках начнется ярмарка. В новой, серой паре с синим кантом, новых сапогах и шапке, конечно, гораздо приятнее быть между ярмарочным обществом, чем в старых прюнелевых ботинках и залежалой куртке с черт знает каким воротником, из которого выглядываешь, как из колодца! Старая крыса, пожалуй, поднимется на дыбы: «На ярмарку? Что это за ярмарка?» Ну, да это — пустяк. Стоит прямо обратиться к барину, и дело с концом.

А смешной этот барин! День-деньской лежит на диване с книжками да только листиками шелестит — то глаза в потолок, то в угол, то в пол... Чем это его сварило? И говорит так, что слово слову костыль подает... И все ему «все равно!» — Что угодно кушать? — «Все равно, Федосей Егорович!» — Как прикажете распорядиться? — «Все равно, Федосей Егорович!» Только вот деньков пять чего-то встрепенулся: вчера стоит один в комнате, смотрит из окна в кусты и посмеивается... и по лицу что-то бегает этакое,

точно студеной водой сбрызнули... Можно его похвалить, что догадался — приехал, при нем лучше. «Старая крыса» хоть и воюет, да уж не трубит: удали убыло! Коли теперь он дал рубль, так на праздник даст, верно, два, а может, и три! Что ж, бывало и почудней...

Последним, самым энергичным прыжком Аполлошка очутился на вершине и раскинулся на густой, мягкой траве под развесистыми дубами.

— Ну, не даст трех, так уж непременно даст два! — решил он.— Ничего, за обозом и то сбредет! — прибавил он тоном, каким бы мог прибавить богач, загребающий десятки миллионов и мало сокрушающийся, что у него еще где-то пропадает какая-нибудь сотня,— сбредет, сбредет!

И, выбивая по земле такт руками и ногами, Аполлошка запел перенятую от поповой Луши песню:

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дорожке столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой!

Вдруг глаза его упали на целую заросль ландышей, мягко белевших в темной зелени, и у него блеснула мысль: «Вот славные ландыши, нарву-ка я их вязочку Марье Михайловне,— она очень их любит!»

За мыслью последовало немедленное выполнение, и в одну секунду у него в руках был белый душистый снопик, на котором там и сям еще блестели росинки; он было с наслаждением ткнул в него свой чуткий нос, но тотчас же спохватился, сказал себе дурака и, бережно расправив несколько нежных лепестков, измятых чересчур порывистым прикосновением, выдернул высокую былинку, связал ею цветы и отправился дальше, снова затянув очевидно нравившуюся ему песню:

Ямщик лихой, он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши...

Лесом идти было так хорошо, что он порешил не сворачивать на езжую дорогу, а лучше сделать порядочный крюк и пробраться в Райское через сад, тем более что в Зубовской лощинке, должно быть, теперь уж начинает спеть земляника,— не мешает взглянуть, как она спеет, а в Моргуновом яру, верно, пугачи опять в дупле гнездо свили — тоже надо посмотреть...

«Да, на белом свете бывает недурно!» — думал или, точнее, чувствовал Аполлошка, и с веселою, удалою энергиею разносилась по лесу его песня:

Ах, очи, очи голубые,
Вы иссушили молодца!
Ах, люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца? [1]

Вдруг Аполлошка мгновенно умолк, стал прислушиваться и устремил зоркие глаза вперед, в дубовую чащу.

Да, его окликали; где-то близко раздался опять звучный, свежий женский голос.

— Здесь! здесь! — откликнулся Аполлошка, кидаясь вправо и пролетая пулею между сплетавшихся ветвей.— Здесь! здесь!

Через несколько секунд он очутился возле Мани на узенькой зеленой прогалинке, почти темной, куда солнце западало только крохотными искорками сквозь густую листву развесистых дубов, лесных груш и плетеницы дикого хмеля. Маня тоже, видно, спешила: она запыхалась, губы ее были полураскрыты, щеки пылали, зрачки так расширились, что глаза казались почти черны; косы слегка растрепались, и в них нацеплялись листочки.

— Я тебя давно уж слышу, кличу, а ты не откликаешься — так распелся! — сказала она с улыбкою.

— Я совсем не думал, что вас встречу,— ответил Аполлошка, очевидно, чрезвычайно довольный этой встречей.— Я вам ландышей нарвал, да бежал, забылся и помял...

— Спасибо... спасибо... Какие чудесные! И целый сноп! Спасибо!

— Меня к вам Владимир Петрович послал, книгу велел отдать... Я ее в шапке нес... вот она!

— Спасибо!

Маня взяла книгу и, сдернув обертывавшую ее бумагу, начала перелистывать.

Одна страница чем-то привлекла ее внимание; она на ней что-то прочла и, казалось, прочла не один раз, а несколько, и, читая, вспыхнула. Затем она сложила книгу и, обращаясь к Аполлошке, сказала:

— Ну, теперь мы тут посидим и отдохнем... И свяжем как следует ландыши...

---

[1] Отрывок из стихотворения Ф. Глинки «Сон русского на чужбине», ставший популярной народной песней.— *Ред.*

Аполлошка точно не слыхал, стоял и пристально глядел на Маню.

— Что ж ты стоишь? — спросила Маня, поместившись на траве.— И что ты на меня так смотришь? — прибавила она, заметив его пристальный взгляд.

— Какая вы сегодня веселая! — отвечал Аполлошка.— Я вас никогда такою веселою не видал!

Маня опять вспыхнула, ничего не сказала, почему ей весело, рассыпала около себя ландыши и начала их разбирать и складывать в пучок.

Аполлошке ужасно хотелось спросить, отчего же она такая веселая, как он ее никогда не видал, что случилось (он был уверен, что что-то непременно случилось), но вместо этого, дразнившего его вопроса, сам не зная почему, проговорил, взглянув на ландыши:

— Я их нарвал над оврагом, в самой гущине... Там их видимо-невидимо... Я как на них глянул и вспомнил, что вы их любите, и нарвал... Я думал, рады будете...

— Я рада,— отвечала Маня, поднимая на него сияющие глаза и улыбаясь.

«И голос как звенит!» — подумал Аполлошка.

— Теперь в Моргуновом яру, должно быть, пропасть этих ландышей,— проговорил он.— Вы туда не ходили?

— Нет, не ходила,— отвечала Маня.

— И у Матрены не были?

— Нет,— отвечала Маня.— А ты ее видел?

— Видел; в прошлое воскресенье приходила к обедне, а потом на барский двор,— отвечал Аполлошка, удивляясь, отчего это Манино лицо вдруг отуманилось и поразившее его «веселье» вдруг заменилось чем-то другим,— точно ей стало чего-то совестно, и она за что-то себя корила.— Я ей краюшку ситного хлеба заполучил. Федосей Егорович, как ее заприметил, велел гнать, а я, как не слышу, прямо к барину и говорю: бедная старуха милостыни просит, прикажите ей хлеба подать? — «Конечно, подай»,— ответил. Я сейчас ухватил краюшку и ей... Федосей Егорович, кабы мог, простре́лил бы меня глазом!

— Он не видал ее? — спросила Маня.

— Видел, да уж было поздно, уж я барину сказал,— отвечал Аполлошка.

— Нет, не Федосей Егорович,— возразила Маня,— а Владимир Петрович...

— А, Владимир Петрович! Владимир Петрович не видал.

Аполлошка вопросительно поглядел на Маню, будто желая сказать:

«Ну, не видал, ну, что ж такое?»

— Отчего ты ее не привел к нему? В другой раз, если она придет... или придет кто бедный, ты прямо веди к нему. Скажи ему... Он ведь не такой, как другие... Он не такой!.. Он поможет бедному... Он хочет помогать... Он думает, как сделать, чтобы всем было хорошо, чтобы никто, никто не терпел, не мучился...

Она встала; лицо ее побледнело, на глазах блестели слезы.

— Понимаешь, Аполлоша? — спросила она, улыбаясь дрожавшими губами.

— Понимаю,— отвечал Аполлошка, не сводя с нее глаз.

— Он не такой, как я,— продолжала Маня,— он не забудет, как я забыла про Матрену... Он всегда помнит, думает... Худо ли ему, хорошо ли, он все-таки помнит... Чего ж ты удивляешься?

— Ничего,— отвечал Аполлошка, все не спускавший с нее глаз.

— Ну, прощай...

— Цветы уронили,— сказал Аполлошка, подбирая и подавая ей ландыши, высыпавшиеся у нее из рук.

— Вот я какая растеряха! — проговорила Маня.— Прощай... спасибо за цветы... Да что ж ты все на меня смотришь?

— Ничего,— отвечал Аполлошка.

Она положила руку на его голову и, наклоняясь к нему, быстро проговорила:

— Если тебе что надо, то скажи только ему... Если тебя кто обижать будет, он заступится... Может, тебя обижают?

— Нет,— отвечал Аполлошка.

— Если увидишь, что кого-нибудь обижают... или кто-нибудь, увидишь, в горе, скажи ему... Слышишь?

— Хорошо,— отвечал Аполлошка.

— Ну, прощай...

Она с ласкою прижала руку к его голове и хотела уйти; на губах у нее была все та же улыбка и на глазах все блестели слезы.

— Книгу забыли,— сказал Аполлошка, поднимая с травы книгу. Она обернулась, взяла книгу и исчезла за деревьями.

Уже трава, по которой она прошла, поднялась, ветки,

которые она, проходя, задела, перестали колыхаться, а Аполлошка все стоял неподвижно и смотрел ей вслед.

Закуковавшая почти над самым ухом кукушка заставила его повернуть голову в ту сторону.

— Сколько лет жить? — спросил он, машинально следуя давней привычке [1].

Кукушка прокуковала три раза и умолкла.

— Только то? — сказал Аполлошка и повернул домой.

Не успел он сделать и десятка шагов, как из кустов выскочил заяц; он ухнул на трусливого зверька, захлопал в ладоши и усмехнулся, видя, как тот ослепь понесся, прижав уши; потом он начал было вырезывать новую дубинку, но после двух-трех ударов ножом бросил работу и пошел дальше.

Он шел все тише и тише без пения и свиста, машинально глядя себе под ноги, все недоумевая, чего это Маня так повеселела и чего у нее так особенно блестят глаза? Что такое случилось? Отчего она так говорила про Владимира Петровича? Почем она знает, что он всегда думает и помнит о том, чтобы всем было хорошо? Он ей это сказал, что ли? И отчего у нее, когда она говорила, и руки дрожали, и губы, а на глазах так навертывались слезы, что он, Аполлошка, ждал, что вот-вот они покатятся у нее по щекам? Она не заплакала, но ведь все равно, что заплакала! А сама веселая. И не то, чтобы просто веселая, а какая-то особенная. И усмехается совсем не так, как прежде, и глядит совсем не так...

Вдруг ему припомнилось, как прошлым летом он шел вынимать соловьят из намеченного гнезда и тоже встретил ее в лесу. Она тогда сидела под дубом и плакала. О чем она тогда плакала? Тогда у нее не такое было лицо, как теперь, а печальное-печальное...

Он припомнил, как ему тогда стало ее жалко, и как она, завидев его, отерла слезы и ему усмехнулась, спросила, куда он идет, и пожелала посмотреть на соловьят. И они пошли вместе. Ему хотелось знать, о чем она плакала, только он не спросил, потому что она заговорила про соловьят. Он только все посматривал на нее сбоку — ресницы у нее были совсем мокрые — и думал, кто ее обидел, Варвара Ивановна или эта ведьма Анна Ларивоновна, и чем они ее обидели?

---

[1] В народе существует поверье, что кукушка угадывает, сколько жить человеку *(прим. автора)*.

И тогда они разговаривали про Матрену. Она тогда часто ходила к Матрене и к Наталье, и к старому Антипу. Антип сказывал, что без нее его бы заела лихоманка. Отчего ж это она теперь, говорит, забыла про Матрену? А тогда не забывала ни про кого.

Тогда, когда они шли смотреть соловьят, она ему говорила, как много на свете бедных, несчастных людей и какую муку они терпят, и так говорила, что у него заныло сердце. Он и прежде все это знал, только никогда сердце у него от этого не занывало. Он сам, случалось, и голодал, и холодал,— что ж за важность! А тут сердце у него заныло, и он так бы и побежал и к Матрене, и к Антипу, словно они вдруг стали ему свои, родные, как покойница мать.

С ним тогда что-то такое чудное подеялось. Когда они стали смотреть соловьят и она сказала: «Ах, вы бедненькие, беспомощные!», ему стало и соловьят жалко.

А какие были эти соловьята смешные! Чуть-чуть оперились, носики настежь, глазки кругленькие, как горошинки, и блестят, точно какие-то темные искорки...

Так он их и оставил в гнезде. То-то, должно быть, радовалась соловьиха! Да и на что было их брать? Все равно бы, может, поколели. Правда, их выкармливают тараканами отлично, да пусть себе летают на воле. В клетке-то никому не весело.

Аполлошка вздохнул. Он не считал себя в клетке, а между тем, и ему вдруг стало как-то томительно тяжело и беспокойно. Какие-то неотвязные мысли зароились у него в голове; ни с того, ни с сего начали припоминаться все беды и печали, которые до сих пор довелось ему узнать, и это припоминание словно жгло. Кажется, и в самый день смерти матери ему не было так скорбно, как теперь, когда прошло уже несколько лет после этой смерти, когда он уже свыкся с своим сиротством. Живо представилась ему узенькая комнатка, где он жил с матерью, вечно лежавшие там на столе, на постели, на окне вороха юбок, чепцов, кружев и кофт, которые она гладила для покойной барыни: перекрещивающиеся по всем направлениям протянутые веревочки, часто вбитые в стене гвоздики, на которых висели какие-то прозрачные косыночки, раскрахмаленные оборочки и буфы; живо припомнилось лицо матери, вечно утомленное, точно она только что воротилась откуда-то издалека после долгой, трудной ходьбы, усталый взгляд ее

черных глаз, окаймленных темными кругами, бессильно опускавшиеся руки, когда она, окончив глаженье, садилась отдохнуть; живо представилось, как он ввечеру, запоздав в играх и проказах с Сенькой или в драке с тем же самым приятелем, пробирался между развешанными буфами и оборками в уголок к кровати, и в ушах его так явственно прозвучал уже забытый им, слабый, точно надтреснутый голос: «Не изомни, Аполлоша!», что он приостановился и оглянулся кругом.

Кругом шелестели зеленые ветки, пестрели цветы. Он вздохнул полной грудью и опять пошел, но смрадная комнатка, изувешанная буфами, не отставала от него, и среди лесных благоуханий словно носился запах утюжки, мелькала то та, то другая деталь бедной обстановки, воскресал то тот, то другой эпизод прошлого житья-бытья,—как иногда приходила ключница Алена Пахомовна и выговаривала, что уж очень много изводится крахмала, как прачка Дарья забегала потолковать о текущих событиях в дворне. Особенно ярко пронесся в его памяти один непогожий вечер, когда эта самая Дарья вбежала к ним, вся обрызганная дождем, и своим звонким голосом объявила, что завтра чем свет едет на ярмарку, так не надо ли чего купить. «Что мне покупать! — отвечала мать,— мне ничего... Вот разве Аполлошке пряничного коника или петуха?» — «Ну, ты, говори, что тебе: петуха или коника?» — спросила звонкоголосая Дарья. Он выбрал коника. Мать достала из сундучка в уголку два пятака и отдала Дарье. «Хочу купить себе платок,— говорила Дарья.— Да не знаю какой: красный или по голубому полю,— мысли разбегаются». Потом Дарья ушла, а мать сказала: «Чего ж ты, Аполлоша, такой скучный?» — «Дождь идет»,— отвечал он, и она стала его утешать: «Завтра дождь перестанет, завтра будет солнышко, и Дарья привезет с ярмарки пряничного коника»... и закашлялась.

Все это прошло, и ничего такого уже быть не может. Где теперь Дарья и на чем разбегаются ее мысли? После воли они все разбегались, куда ехать: в губернию или в Москву... Дарью он, может, еще когда-нибудь увидит, а мать никогда. Смерть — дело невозвратимое. Он тогда совсем не ждал, что она умрет. Она, правда, была хворая, но накануне еще ходила, а на другой день поутру умерла. Это было ясное-преясное весеннее утро, и воробьи ужасно громко чирикали. Он играл с Сенькой на плотине; вдруг прибе-

жала Дарья и схватила его за руку с криком: «Иди, иди, мать умирает!» Рука об руку с Дарьей они пустились домой. Мать лежала на постели с закрытыми глазами. Лицо у нее стало такое, словно она долго несла что-то тяжелое-тяжелое, а теперь упала и сбросила, и ей все равно. Комнатка стала точно другая: буфы, юбки и оборки были сдернуты с веревочек и свалены в большую кучу в углу; только один чепчик, похожий на воздушное пирожное, что повар Антон делал к барскому столу, висел на гвозде; солнце так и лило в окошко и на стены, и на пол; протянутые веревочки сеткой бросали тень. Где-то жужжала муха, только он не мог сообразить, где именно, должно быть, над кроватью, в ногах, где было много паутины. «Аполлошу привела»,— сказала Дарья. Мать медленно-медленно открыла глаза, точно веки у нее были свинцовые, и поглядела на него. Еще и теперь, вспоминаючи, жутко от этого взгляда. И похороны жутко вспомнить. Тоже было ясное-преясное утро и чирикали воробьи, как будто хотели перечирикать друг дружку. Ночью прошел дождь, и, когда гроб понесли по кладбищу, на траве блестела роса, а на тропинке так и вырезывались все следы: и босая нога Петрухи-копача, и подбитые острыми гвоздями подошвы новых сапог отца Павла.

Отец Павел был сердит и грозился дьякону, что его упечет куда-то. Дымок из кадильницы тоненькими струйками вился кверху; небо было синее, как василек; белые бабочки так и сновали перед глазами. А земля после дождя разрыхлела, стала черная, как уголь, и мягкая, как тесто. Она падала на гробовую крышку тяжелыми комьями. Чем больше ее падало, тем жутче становилось, а отвернуться не сила, все глядишь и глядишь...

Когда вышли с кладбища, встретился покойный барин, в соломенной шляпе и в белом сюртуке нараспашку. Барин спросил: «Что такое?» А отец Павел отвечал: «Ничего-с, похоронили прачку Авдотью, жену покойника Григория, вашего подкамердинера».— «Это — ее сын?» — спросил барин. «Да-с»,— отвечал отец Павел.— «Бедный мальчик! Как его зовут?» — «Аполлоном, Петр Алексеевич,— отвечал отец Павел,— я уж теперь никого не крещу ни Сидором, ни Трифоном, помню, что такие имена вам не угодны. Я верный ваш слуга, Петр Алексеевич, верно исполняю ваши желания». Тут отец Павел говорил правду: в селе точно остались только старые Сидоры и Трифоны,

а разводились Аполлоны, Владимиры, Людмилы,— даже была одна Людмила, которую дразнили Людмилой Аксиньевной, потому что отец Павел, забывшись, перекрестил ее Аксиньей, а потом поправился.

На минуту мысль Аполлошки метнулась в сторону,— ему представилась пылкая двуименница: он всего два дня тому назад встретил ее у огородной изгороди, шаркнул перед ней, как барин перед барышней, и приветствовал ее вопросом, слышала ли она про новое положение в усадьбе,— всех девок двуименниц за двух мужей отдавать? В ответ на приветствие ему прямо в лицо швырнули пук свекольника, но он во-время пригнулся, и свекольник перелетел через его голову.

Припоминая, как сверкали черные глаза Людмилки и с каким азартом она хватала с земли и пускала ему вслед каменья, когда он от нее убегал с криками: «Смотри же, позови на свадьбу!», Аполлошка усмехнулся, вздохнул и проговорил:

— И чего она так вскипела? Стоит ли? С таким горем еще жить можно!

Он снова вздохнул, словно у него явилось иное горе, с которым жить потруднее, и опять перенесся мыслью в прошлое.

Барин тогда сказал, поглядывая на всех, кто был на похоронах: «Смотрите же, не обижайте мальчика. Помните, что сироту обижать грех. Слышите?» Буфетчик Дорофей ответил: «Слушаем-с. Как можно-с!», а казачок Миронка удерживался как бы не чихнуть,— он стоял против солнца и оно било ему прямо в глаза,— а старая Агафья вздохнула и охнула, а отец Павел пригрозил, что за сирот сам бог вступится и покарает.

Барин повернул по большой аллее, к хоромам; отец Павел с причтом к своему двору, и все разошлись. Дарья сказала: «Ты поди ко мне, Аполлоша, молочную кашу будем есть». Он ничего ей на то не сказал, пошел с нею, но как только улучил минуту, что она занялась счетом барского белья, так выскочил из избы, побежал огородами на гумно и спрятался в ригу. Он сам не знал, зачем он сюда бежал и от кого прятался. Ему только непременно хотелось побыть одному, совсем одному. Он залез в ригу; забился в самый уголок и думал-думал нивесть о чем: о том, как криво один гвоздь вошел в гроб, о том, как поблескивает у барина часовая цепочка, о том, как разросся

лопух около кладбищенских ворот. Так он тут и заснул, а когда проснулся, так уже на небе были звезды. Он подошел под окно своей комнатки. Окно было настежь. Он в него заглянул. В комнатке было темно и пусто, накурено смолой и пахло сыростью. Он вспомнил, как еще поутру, до похорон, старая Агафья говорила, что приказано вымыть, прибрать комнатку и поселить в ней швею Марину. Он не знал, где теперь будет жить, и решил, что спросит об этом у Дарьи. Но Дарьи не было дома, когда он к ней пришел. Он почему-то этому обрадовался, тихонько улегся на лавке в уголку и опять стал думать, опять нивесть о чем... Дарья жила в тесной избенке за людской, окошками в высокий бурьян. Ему все казалось, что из этого бурьяна кто-то кличет: «Аполлошка! Аполлошка!» Но это так казалось потому, что поднялся ветер и бурьян шумел. Потом пошел сильный дождь и пришла Дарья. Она пришла не одна, а с Ефремом, которого сейчас же можно было узнать по голосу и по тому, что он взбивал волосы хохлом.

Тут мысль Аполлошки снова метнулась в сторону, и ему представилось, как, бывало, этот Ефрем работает гребешочком, который всегда носил при себе, и рассказывает, что в Москве все носят волосы «коком». Теперь, слышно, Ефрем открыл лавочку в городе, потому что женился на богатой мещанской вдове. Взбивает ли он теперь, как прежде, кок и вспоминает ли Дарью?

Бедняга Дарья! Как она в ту ночь убивалась! Сначала он подумал, что это она по его матери рыдает, и сам заплакал, но скоро понял, что тут совсем другое, свое дело. Они спорили. Дарья все говорила: «Ты — обманщик, ты, что ни слово скажешь, обманешь! У тебя бога нет!», а Ефрем стыдил ее, что она обхождения не знает, и божился, что с ней повенчается, как только съездит с господами в Москву, обещал из Москвы шелковый платок ей привезти.

— Кто тут? кто на лавке лежит? — вдруг вскрикнула Дарья. Ефрем тотчас же, как заяц, стрекнул из избы.

— Ты чего ж это, как вор, забрался втихомолку? — накинулась Дарья.— Ты что тут делал? Ты чего подслушивал?

Он, Аполлошка, рассказал, как к ней пришел, и она перестала сердиться, велела ему спать, а сама опять ушла. Он заснул.

На другой день Дарья сказала ему, что его поселяют в людской, и повела его в людскую.

В людской была одна стряпуха Акулина и спросила:

— А что ж, положат ему месячную?

— Известно, положат,— отвечала Дарья.

— Половинную, должно, положат,— сказала Акулина и прибавила:

— Эх, ты, сиротинка горемычный! Остался один, как перст... Известно, сиротское дело: покорить-то есть кому, пожалеть-то некому!

Акулина говорила не на ветер. Что его, Аполлошкино, за житье? От одного Федосея Егоровича сколько обиды. Да и всякий им помыкает... А кто когда пожалел? Одна Марья Михайловна. Да, она всегда жалела. Всякий раз, как он ни видал ее, он радовался. Случалось, она и слова не скажет, только взглянет да усмехнется,— а то и не усмехнется, а чуешь, что она словно приласкала. Другие — годы будут говорить, а того не скажут, что у нее без разговору поймешь. Давно, уже года три тому,— только как это и теперь памятно! Федосей Егорович послал его в Райское с цыплятами. Мороз был такой, что ворота трещали, и вьюга. Пока он дошел до Райского, совсем окоченел, а как вполз в теплые комнаты, словно одурел. Варвара Ивановна спрашивает: «А не померзли бедненькие цыплятки? Цыплятки не померзли?», а он стоит ошалелый и ничего ответить ей не может. Стоит он пень пнем, и в ушах у него звенит, как Варвара Ивановна приказывает Анне Ларивоновне: «Их на первый день праздников под соусом подать, под белым соусом с грибками». Вдруг она, Марья Михайловна, говорит: «Мальчик совсем замерз!», и подходит к нему, и берет его за руки, и трет ему руки. «Ах, неужто?» — вскрикнула Варвара Ивановна. Анна Ларивоновна прошипела: «Что ему подеется!» И Варвара Ивановна сейчас же покосилась на Марью Михайловну и сказала: «Ты, Маня, вечно что-нибудь странное выдумаешь!» И на него тоже покосилась. А она, как не замечает, глядит только на него и так глядит, словно он ей сын или брат. Варвара Ивановна еще пуще нахохлилась и приказала: «Оставь же его, Маня!» И велела ему идти на кухню. Он в кухне отогрелся и пошел домой, и вдруг видит в аллее, за двором, стоит кто-то высокий; присмотрелся — это она, Марья Михайловна. Она стояла в одном большом белом платке, и сама как платок от холода. «Вот тебе, Аполлоша, закутайся хорошенько!» Сорвала с себя платок, закутала его и побежала в хоромы. Платок этот был точно облако или дым, и пуши-

стый такой, теплый. Теперь от него и следа не осталось. Он, дурак Аполлошка, все ходил в нем кататься с ребятами на салазках и весь его исполосовал.

Что кабы он, Аполлошка, вдруг теперь захворал, как старый Антип, лихоманкой, или бы зачах, как Матрена, или бы разметались по нем раны, как по солдатке Лукерье, и она, Марья Михайловна, это бы узнала? Она бы пришла его лечить. А может, пришел бы Владимир Петрович? Когда это Владимир Петрович хвалился ей, что все думает про бедных и про несчастных людей? И что ж такое, что он думает? И у медведя, говорится, думы много, да вон она не идет. Так и у Владимира Петровича. Никто еще от его думы под небеса не взлетел! Вот только последние дни он немножко встрепенулся, а то сам как вареный ходил... А отчего это он так вдруг встрепенулся? Чему он посмеивался, как стоял вчера около окна? Он очень часто в Райское ходит; чуть не каждый день там. Какую это он ей книгу посылал? И она сейчас стала перебирать листочки, точно искала, что знала. И нашла, потому вспыхнула вся огнем и книгу положила, как читанное письмо. У них тут какие-то знаки. Так вот уж какая между ними дружба завелась!

Этот последний окончательный вывод так подействовал на Апполошку, что он заметно изменился в лице, остановился и несколько секунд оглядывался кругом на зеленый лес, словно вдруг потерял знакомую дорогу. Затем он быстрым торопливым шагом направился дальше. До дубровских хором оставалось уже немного пути, и он перешел этот путь одинаково поспешно, не поднимая головы, не разжимая крепко стиснутых зубов.

На крыльце его встретил Федосей Егорович строгим вопросом:

— Ты где до сих пор был?

— Там, где меня теперь нету,— ответил грубо Аполлошка и, даже не взглянув на своего шефа, прошел в комнаты.

Федосей Егорович затрясся, как осиновый лист, от гневного изумления и, подавленный им, присел на ступеньку.

Аполлошка, между тем, проник до барского кабинета, приостановился и заглянул в полуотворенные двери.

Владимир Петрович лежал на диване с книгою в руках и так был занят чтением, что не слыхал приближения своего посланного. Впрочем, посланный с своей стороны об этом постарался: он приблизился к кабинету на цыпочках

и, держась за портьерой, притаив дыхание, устремил глаза на барина, точно видел его в первый раз и имел неотложную необходимость совершить над ним самые безошибочные наблюдения. Но или наблюдателю мало сказала спокойно раскинувшаяся барская фигура, или подобное занятие было ему несвойственно, только он не долго держался притаившись и, громко кашлянув, явился на пороге.

Владимир Петрович поднял на него глаза и спросил:

— А что, отнес книгу?

— Отнес,— ответил Аполлошка и подумал:

«А! теперь не спрашивает: «Куда это я тебя бишь посылал?», теперь помнит!»

— Ну, хорошо,— сказал Владимир Петрович, снова опуская глаза на развернутую страницу и тем отдавая казачку деликатный приказ удалиться.

— Я их встретил в лесу,— продолжал Аполлошка, не понявший или не желавший понять этого деликатного приказа.

— Кого? — спросил Владимир Петрович, не отрываясь от книги.

— Марью Михайловну,— отвечал Аполлошка, зоркими глазами впившийся в барское, ничего не выдающее лицо.

— А! — рассеянно произнес Владимир Петрович.

— И там отдал им книгу.

— Это все равно.

— Марья Михайловна приказывали... — Аполлошка приостановился.

— Что такое? — спросил Владимир Петрович.

«А! — подумал Аполлошка,— оживаешь!» — и ответил:

— Приказывали мне всех бедных прямо к вам вести.

— Каких бедных? — спросил Владимир Петрович, отрываясь от книги; щеки его покрылись чуть-чуть заметною краскою, но от сокольих глаз Аполлошки эта краска, как ни была она мимолетна, не ускользнула.

— Всех, какие придут.

Не то улыбка, не то тень промелькнула по барскому лицу.

— Всех нищих, что побираются по дворам, и всех мужиков и баб, что ходят просить,— счел не лишним пояснить Аполлошка.— Марья Михайловна сказывали, что вы всем будете помогать...

— Разумеется. Но ко мне водить их незачем... Я распорядился, чтобы Федосей Егорович об этом позаботился...

— Так к Федосею Егоровичу прикажете их водить? — спросил Аполлошка.

— Да, к Федосею Егоровичу.

Аполлошка не сказал, что поручать это дело Федосею Егоровичу — все равно, что поручать ястребу выкармливать куриный выводок, и не потому не сказал, что последние слова барин произнес как будто внушительнее и глянул на него как будто с морозцем,— удалая его голова в иных случаях ничего не боялась,— а по какому-то злорадству, вдруг переполнившему все его существо. Он поспешно юркнул с кабинетного порога и почти бегом пустился в прихожую, словно опасаясь, что вот-вот его воротят и отменят решение, и, очутившись в прихожей, с минуту прислушивался, не раздастся ли мягкий, протяжный зов: «Аполлон!»

Но зов этот не раздался.

Аполлошка усмехнулся, сел на коник, скрестил на груди руки и откинулся плечами к стене, как усталый человек, сбирающийся отдыхать, но плохой отдых, когда так не в меру шибко бьется сердце.

— Вот он как у нас думает, чтобы всем бедным и несчастным было хорошо! — проговорил он ядовито.— Вот он наш думальщик-то, наш печальник-то всесветный!

В прихожей ему показалось невыносимо душно, он вышел на крыльцо, сел на ступеньку и прислонился к колонне.

Но и на крыльце было нехорошо. Солнце светило чересчур ярко и горячо, пестрая шавка Сорока надоедала, беспрестанно подбегая ласкаться.

Аполлошка вскочил и быстрым шагом направился через барский двор.

— Куда это летишь? — спросил повар Антон, стоявший на пороге кухни, в белом колпаке с кисточкой.— У меня обед скоро готов. Пора стол накрывать. Иль вы опять хотите мне перепарить цыплят, как намедни?

Аполлошка, не отвечая Антону, скользнул за сарай, пробрался через барские огороды, потом через луг, поднялся на низкий косогор, откуда начинались ряды крестьянских изб и прихотливыми изгибами тянулась улица села Дубровок.

Дубровские жилища не поражали величием или красотою, даже не отличались опрятностью, но и в сравнении с ними избушка, стоявшая на самой окраине села, бросалась в глаза своей запущенностью и убожеством. Она почернела, ее всю скривило набок, одно перекосившееся окошечко глу-

боко ввалилось, другое выперло наружу: крыша в двух местах провалилась; от плетия, когда-то ее окружавшего, остался только повалившийся угол, от закут, курятника, клети и амбарчика — одни колышки; пустой дворик, по которому, очевидно, давным-давно не ходило ни домашнее животное, ни птица, густо зарос мягкою муравою. В этой избушке жила хворая побирашка, солдатка Матрена.

Аполлошка толкнул ветхую дверь и вошел. Темное, душное жилье наискось перерезывал солнечный луч, западавший через окошечко ясной трепещущей полосой.

На лавке лежала женщина и тихонько стонала.

— Здорово живешь, тетка Матрена! — сказал Аполлошка.

— Здравствуй,— проговорила женщина и, вглядевшись в посетителя, прибавила: — Это ты, Аполлоша! Что ты, голубчик?

— Да так, зашел проведать...

— Ишь, вспомнил, касатик! Спасибо тебе.

Испитое, желтое, как воск, лицо ее, на котором резко выделялись темные, почти черные круги вокруг голубых потухших глаз, несколько оживилось, и что-то вроде улыбки появилось на пересохших губах.

— Все, тетка, хвораешь? — продолжал Аполлошка.

— Все хвораю, соколик,— вздохнула Матрена.— Вот с того дня, как по милостыню походила, и опять свернуло меня... Наказал господь за грехи!

— Что это у тебя такое? откуда?

Аполлошка указал на лежавшие на хромоногом, истрескавшемся столе куски сахара, две-три щепотки чаю в бумажке, большой ломоть белого хлеба и целый ворошек разных барских вещиц,— в этом ворошке, между тонким бельем, пестрели платочки и шарфики и блестел узенький золотой браслет.

Если Аполлошка не знал, «что это», то знал наверное «откуда», и вопрос его был только предисловием к разговору, который он желал вызвать.

— А это Марья Михайловна принесла. Спасибо ей, доброй душе...

— Нынче приходила? — спросил Аполлошка.

— Нынче,— вот только что ушла... Ласковая-то, ласковая она какая! словно мать родная! Ничего, говорит, у меня нету, только вот что есть — продай... И все это сейчас

у меня в избенке прибрала своими ручками, не побрезгала... даже в печь лазила...

Аполлошка окинул глазами избенку. Сердце его, все еще шибко бившееся, начало замирать, а раздражение, если и не совсем прошло, то поутихло от иного нахлынувшего чувства, которого он сам не умел себе объяснить и в котором было немало печали и нежности.

Не желая, однако, выказывать этого чувства перед теткой Матреной, он употребил свой обыкновенный в подобных случаях прием, а именно — откинул голову несколько назад и запустил руки в карманы, как бы выражая тем, что ему все нипочем, и нащупал в правом кармане рубль, который еще так недавно доставлял ему великое удовольствие и породил столько заманчивых планов касательно гульбы на Лозинской ярмарке.

— Вот тебе, тетка Матрена,— сказал он, кладя рубль на стол.

— Это кто ж прислал-то? — спросила тетка Матрена.

— Это я принес,— отвечал Аполлошка.

— Барин пожаловал?

— Он.

— Дай ему, господи, здоровья! Так она и говорила! Теперь, говорила, все по-иному будет... всем хорошо будет... Добрый, говорила, всем поможет, всякого пожалеет... душу рад положить за горемычного человека...

— Только ручек своих не замарает, избенки ни у кого прибирать не возьмется! — засмеялся Аполлошка.

— Что, Аполлоша? — спросила тетка Матрена, не разобравшая его слов, высказанных как будто про себя.

— Ничего, тетка Матрена,— я говорю: добрый...

— Дай ему, господи, здоровья, денно и нощно поминать его стану...

— Поминай, тетка Матрена, поминай!

— Ты куда ж теперь, родной?

— Домой пора.

— Ах, золотой ты мой! забеги ты в Пахомову избу, скажи старику, пусть бы Федор либо Алена меня проведали, как с работы придут. Хочу их попросить, чтобы это продали (она указала на вещи, принесенные Маней), как в город поедут.

— Хорошо, скажу.

— Ох, теперь я уж отдышу,— продолжала тетка Матрена; — и крупицы, и мучицы, всего куплю... Я так думаю,

Аполлоша, уж не купить ли мне себе курочку? Веселей мне будет... и яичек она мне снесет...

— Что ж, купи, дело хорошее,— отвечал Аполлошка.

— Так ты забежишь к Пахому-то, касатик?

— Забегу, забегу... Прощай, тетка Матрена!

— Прощай, голубчик... Не забудь тоже, скажи барину то, что Матрена, мол, будет бога молить...

— Ладно, ладно,— ответил Аполлошка.

Он видел, что тетка Матрена приняла его рубль, как барскую милостыню, но не стал выводить ее из заблуждения; его это заблуждение нимало не огорчило и не заняло, и ему как-то не хотелось заводить о барине разговора.

— Здорово, дедушка Пахом! — крикнул он, приблизясь к открытому окошечку пахомовой избы.

Ответа не последовало. Аполлошка повторил приветствие, заглянул в избу и, убедившись, что она пуста, вошел во двор, а со двора, на котором копалась наседка с цыплятами, в огород, где дедушка Пахом лежал на старом полушубке под ракитой.

— Отдыхал, дедушка? — сказал Аполлошка.

— Какие отдыхи! — уныло отвечал старик.— Вот не прибирает господь меня, грешного. Ох, лег бы, лег я в сырую землю! Отдохнул бы я...

Удушливый кашель прервал его речь.

— Ваши на работе? — спросил Аполлошка, когда кашель унялся.

— На работе. Что ж им, их дело здоровое! поднялись да и пошли, и работают! — отвечал дедушка Пахом с каким-то раздражением и как будто завистью, дрожащей рукой отирая слезы после припадка удушья.— А я вот тут лежу, как колода... дурею совсем... Не прибирает господь!

Аполлошка передал поручение тетки Матрены и попрощался.

— Водицы бы свеженькой! — проговорил дедушка Пахом.

— Я сейчас принесу,— отвечал Аполлошка,— где ведерко-то?

Он схватил ведерко, пустился к колодцу и живо принес свежей воды.

— Может, еще что надо, дедушка? — спросил он.

— Нет, ничего не надо,— отвечал старик.— Не прибирает господь, не прибирает...

Аполлошка возвращался в барскую усадьбу не лесом,

а деревнею, и эта деревня, всегда в летнюю пору казавшаяся ему веселее и, действительно, тогда глядевшая веселее, теперь представилась ему самою печальною. Он прошел по деревенской улице медленными шагами, всматриваясь в каждую почерневшую взъерошенную крышу, в каждый повалившийся плетень. Увидав около одной избы на завалинке женщину, он остановился подле нее и спросил:

— Что ж это ты лежишь на припеке, тетка Марина?

Но тетка Марина ему не ответила; она только чуть-чуть полураскрыла глаза и тотчас же опять впала в какое-то мучительное забытье.

Аполлошка постоял, потом поднял с земли пестрый платок, прикрыл им голову тетки Марины от солнца и пошел дальше, пересчитывая, сколько теперь больных на деревне. Перед ним пронесся целый ряд беспомощных, обезображенных, искаженных недугами лиц, вспомнилась и Катерина, которую привозили причащать к отцу Павлу и которая плакала, просила, чтобы ее кто-нибудь пришиб, и маленькая Сашка, которая кричала до самой смерти, и Матвей, который не может справиться с больной рукой и не нынче-завтра по миру пойдет, и Андреян, у которого по болезни все в доме идет прахом, и каждый из этих обыденных, давно известных и неизвестных ему фактов, трогал его, как нечто необычайное, новое.

Недалеко от выгона, под забором крайней избы, он приметил издыхающую собачонку, подошел, приласкал ее, нарвал травы и устроил ей помягче подстилку. Бедный пес, не привыкший к подобному вниманию, начал с слабым визгом лизать руки нечаянному благодетелю.

Все это вместе заняло порядочно времени, и Аполлошка возвратился в дубровские хоромы, когда уже подали барский обед и барин сидел за столом, кушая цыплят под белым соусом, о которых так хлопотал повар Антон, чтобы они не перепарились.

При его появлении Федосей Егорович, стоявший за барским стулом, невзирая на старческое влечение к покою, в струнку, многозначительно сжал губы и приказал принести пирожное.

— Ты напрасно уходишь перед обедом,— обратился барин к Аполлошке, когда тот ставил перед ним блюдо с пирожным; в барском голосе не было ни малейшей строгости, а, напротив, какая-то словно заискивающая мягкость,

которая, неизвестно почему, на этот раз точно дразнила Аполлошку.— В другой раз ты выбирай время так, чтобы Федосею Егоровичу не приходилось одному прислуживать. Федосей Егорович, ты знаешь,— человек пожилой, и его не следует утруждать...

Федосей Егорович, воспользовавшийся самовольною отлучкою Аполлошки как предлогом для подачи барину петиции, получивший барское обещание, что все будет справедливо рассмотрено и предвкушавший сладость слышать моления испуганного мальчишки и видеть его в слезах и унижении, обомлел при самом начале недостойной, по его мнению, дворянина речи.

«Царь небесный, вседержитель неба и земли! Что ж это такое? — подумал он.— Последние наши дни пришли: антихрист у порога и веселится — ликует! Не поклонюсь ему и не послужу ему!»

И, невзирая на данный зарок никогда ничего важного не решать, не отслужив молебна и не посоветовавшись с духовным пастырем, он тотчас же положил в сердце своем просить отставки и, если тут же этого не высказал, то единственно потому, что чувствовал себя слишком расстроенным и не надеялся с должным декорумом ни отступить, ни внушительно выразить всю горечь, накипевшую в его душе при виде того, что он называл беззаконием и нечестием.

— Мы должны не стеснять друг друга, а по возможности облегчать,— продолжал барин,— так нам всем будет гораздо выгоднее и удобнее. Если бы ты вот сегодня не затруднил так своим неожиданным уходом Федосея Егоровича, ты бы мог, выбрав время, уйти, куда тебе надо и совершенно спокойно...

«Вседержитель! Вседержитель!» — мысленно воскликнул Федосей Егорович. Он сложил рот дудочкой, как никогда не складывал, и трудно вздохнул, словно попал в железные тиски.

— Мне надо было сегодня,— резко ответил Аполлошка, вдруг побледнев белее голландской салфетки, лежавшей на коленях у барина.

Этот ответ неприятно удивил барина. Барин принес с своей стороны жертву, вмешавшись в дрязги своих слуг и стараясь их примирить, и вдруг за это получает дерзость,— подобному ответу другого определения не подыщешь. Мягкость и ласковость быстро вымерли на его кра-

сивом лице и, даже не кинув взгляда на грубого ответчика, он произнес медленно и внятно, мгновенно облекшись бронею барского достоинства:

— Верю, потому и говорю, чтобы в другой раз ты выбирал для этих надобностей время поудобнее.

С этими словами барин отер руки салфеткою, встал из-за стола и вышел, раскуривая сигару.

Аполлошка был все так же бледен, но больше ничего не сказал,— сначала потому, что не нашелся, а затем его сдержало опасение быть немедленно изгнанным из дубровских хором и лишиться возможности узнать доподлинно, что тут затевается, увидеть своими глазами, что выйдет. Что тут что-то затевается и что-то должно выйти — шептал Аполлошке какой-то внутренний голос, и в непогрешительности этого голоса Аполлошка не сомневался.

II

ПАСТЫРЬ И ОВЦЫ

> Je ne sacrifie qu'a moi et à celui mon ventre, le plus grand de tous les dieux.
>
> *Rabelais* [1]

Невзирая на то, что отец Павел пребывал, по его словам, яко в пленении вавилонском, он устроился изрядно и обставил себя так, как, надо полагать, удавалось редко кому из рыдавших на вавилонских реках и сложивших знаменитую песнь. Духовный пастырь дубровского стада помещался в диком деревянном домике в шесть окошечек с зелеными ставнями, крытом красным тесом, обнесенном палисадником, украшенном цветником и окруженном отличным фруктовым садом; за садом начинался обширный огород, в изобилии производивший всякие овощи, а за огородом тянулись лен и конопля. При домике имелся крепенький амбар, конюшни, клети для домашнего скота, птичник и голубятня. В окружности было, конечно, немало хозяйств позначительнее хозяйства отца Павла, но ни одно, можно сказать наверное, не отличалось, как его, важным преимуществом приносить доход, не требуя почти никаких

[1] Я приношу жертвы только себе самому и моему чреву, величайшему из всех богов.

Рабле (франц.).

расходов. С уничтожением барщины мужики, по единодушным отзывам местных владельцев, ужасно разбаловались, и всякий основательный хозяин горько жаловался на новые порядки. Жаловался и отец Павел, но больше по сочувствию к бедам ближних, потому что собственные его дела от новых порядков до сих пор весьма мало страдали. Много чудес на белом свете, немало диковинок и на святой Руси,— и диковинок, которые таятся в какой-нибудь глуши, как скромные фиалки. К числу подобных фиалок смеем отнести один из способов отца Павла вести сельское хозяйство. Отец Павел не знал, что такое наем рабочих рук, а между тем, у него всегда все бывало вовремя и исправно сделано и в огороде, и во дворе, и в доме. Давно тому назад, в первый год своего поселения в дубровском приходе, отец Павел наложил эпитимию на одну бабу, которая нечаянно оскоромилась в петровки. Бабе это показалось столь невыносимым позором, что она пришла на дом к духовному пастырю и, валяясь у него в ногах, с плачем молила снять с нее эту кару, заменив какою угодно иною, вследствие чего, по взаимному соглашению, стояние во время обедни в притворе было заменено полотьем пастырского огорода. Вскоре после этого другая баба была замечена отцом Павлом в дремоте при чтении апостолов и выбрала полосу пастырского льна. Затем бабы все чаще и чаще начали впадать в различные грехи, требовавшие эпитимии. Грешили, разумеется, во всякую пору года, а потому у отца Павла ни зимние, ни летние, ни весенние, ни осенние женские работы не стояли. Впрочем, он допускал и отсрочку,— например, спасовский грех вы могли искупить около вешнего Миколы, а грех, совершенный о рождестве, в течение успенского поста или после теплого Алексея. Мало-помалу «эпитимия» незаметно перешла в нечто вроде узаконенного обычая; этому обычаю, правда, не все в селе беспрекословно покорялись, но зато никто против него и не возмущался. В селе образовался, таким образом, не особенно многочисленный, но для отца Павла достаточный разряд «плохеньких», которым мужики дали в насмешку кличку «батюшкиных покаянниц» и которые как нельзя добросовестнее несли свое иго.

К мужикам эпитимия почему-то не привилась, но отец Павел, обладая расторопностью и решимостью, а главное — той счастливою беззастенчивостью, которая позволила, как повествуется в сказке, оплеванному цыгану сказать: «Нам

все это нипочем, закусим калачом,— калач-то наш!», живо подыскивал другие, столь же мало для себя обременительные способы. Так, например, договорив мужика, он по исполнении работ откладывал плату на неопределенное время, а то и просто-напросто отказывался платить, а чуть тот начинал возражать, обвинял его в оскорблении священнического сана и угрожал жалобою куда следует. Не пойти к нему на работу было еще накладнее, как убедились дубровцы горьким опытом, когда по доносу на сельское нечестие, бывшее будто бы причиною засухи, все село целых две недели гоняли на молебствия в поле и крестные ходы по границе дубровских земель.

— Перемолили вы, отец Павел! — посмеивался становой после одного такого хода, встряхивая свою шинель: — ишь как скропило!

— Ничего, Иван Иванович,— отвечал отец Павел.— Пожалуйте к закусочке!

— Ей-ей, сейчас бы в попы пошел! — вздохнул становой, наполняя рюмку полынной: — житье такое, что умирать не надо!

Жилище, где после смерти супруги отец Павел помещался с единственною своею дочерью, Лукерьей Павловной, или Лушею, было снабжено самою разнохарактерною утварью и отличалось самым разнообразным убранством. Здесь, при лиловых обоях, испещренных малиновыми звездами, рядом с топорными изделиями местных артистов вы могли встретить все, начиная от французского шкафчика с инкрустацией, до табакерки с музыкой и фарфоровой кошки. Если любопытный посетитель, удивленный скоплением столь разнообразных и в быту отца Павла неприменимых предметов, задавал вопрос, как и зачем, например, приобретен им турецкий пистолет, красующийся на стене между изображением скачущего во весь опор на белой лошади генерала и изображением грешников в пламени, или клетка, очевидно, предназначенная для попугая, которая теперь наполнена различными мелкими вещицами, вроде бритвенных ящиков, комнатных колокольчиков, собачьих ошейников, отец Павел со вздохом отвечал: «Получил в дар от благодетеля» и вслед затем прибавлял: «Жаждал бы и от вас удостоиться какой-нибудь памяти». Если посетитель изъявлял готовность, отец Павел тотчас просил определить, какой именно памятью его желают почтить, и назначить время, когда эта память поступит в его собственность,

а затем, в признательность за такое внимание, предлагал дешево уступить тросточку с перламутровым набалдашником или оленьи рога, или хрустальный графинчик, причем сетовал на бедность, вынуждающую его расставаться с столь драгоценными сердцу залогами расположения.

В сущности, помянутые «залоги» приобретались несколько иначе. Не умирало ни единого человека в приходе, будь он богатый или бедный, именитого рода или низкого происхождения, после которого отец Павел не явился бы просить той или другой вещи, будто бы обещанной ему тогда и тогда покойником или покойницей. Большею частью огорченные родственники без спора выдавали ему требуемое, а в случае спора отец Павел шел и на мену, и на уступки — до того, что раз, вместо тирольской коровы, ограничился старым атласным одеялом на вате и чайной чашкой в виде вазочки, разрисованной пастушками и пастýшками. После мужика позажиточней он обыкновенно заявлял претензию на ягненка или на поросенка, а после бедного — на курицу, но случалось, брал вместо ягненка кусок полотна, вместо курицы — моток ниток или цеп, или метлу, или даже плетушку для наседки.

Подобным незамысловатым способом было приобретено отцом Павлом и вольтеровское кресло, обитое вылинявшей персидской материей, на котором сидела под вечер Лукерья Павловна, или Луша, и складывала банты из атласных голубых лент, и стол карельской березы, заваленный в данную минуту выкройками и пестрыми обрезками, и фигурное туалетное зеркальце, перед которым она примеривала приготовляемый убор.

Банты не ладились, и не потому не ладились, чтобы это было непривычным или докучным занятием для Луши,— совсем напротив,— а потому, что Луша находилась в самом беспомощно раздраженном расположении духа, что называется, и рвала, и метала, и решительно не могла измыслить, как выйти с честью из этого состояния. Будь она, как говорится, повыше поставлена, дело бы наверное не обошлось без истерик и разных обмираний, но так как отец Павел не признавал нервозности, то волей-неволей приходилось побеждать слабость и довольствоваться теми облегчающими изъявлениями чувств, какие им дóпускались как хозяйству не только не вредные, а даже пользу приносящие, например, преследованием Василисы, давно бездомной и безответной женщины, исправлявшей должности

иерейской стряпухи, коровницы, птичницы, огородницы, прачки, пряхи и полевой работницы, которая на все нападки только моргала и отирала лицо рукавом, калечением с особою беспощадностью крестьянской птицы и скотины, если этим злополучным тварям случалось забрести на поповские владения или хотя бы только на их границу, отравлением существования хилого, трусливого, полуслепого дьячка и его многочисленного семейства, вечно во всем нуждающегося, вечно сбирающего какие-нибудь щепочки или разыскивающего грибов, или, наконец, просто каких-то корешков, которых, кажется, никогда никто, кроме него, не ел, и прочим тому подобным.

Лушино дурное расположение духа началось с того самого вечера, когда она напрасно поджидала на дороге из Райского интересного молодого помещика и поссорилась с своей наперсницей, черничкой Полей. Первые дни ссоры Луша бодрилась, презрительно усмехалась и вздергивала плечами при встрече с недостойной, которую пред тем отличала своею приязнью; но презрительные усмешки и вздергивания плечами что дальше, то меньше доставляли ей утехи: Поля принимала их с возмутительнейшим хладнокровием, словно они вовсе не к ней относились, а между тем, как на зло, без Поли ничто не ладилось. Поля до сих пор служила, если можно так выразиться, тенью, на которой выделялись ее, Лушины, блистательные красоты, и с удалением этой тени они меркли. Десять раз Луша встречала Владимира Петровича, и ни разу ничего из этого не вышло, даже разговору никакого. Он или ее не замечал, или, приподняв шляпу, ускорял шаги. А будь при ней эта толстомясая дура, Поля, дело совсем бы иначе повернулось: она бы, Луша, как будто не видя, кто идет, заговорила о чем-нибудь благородном, и он бы непременно обернулся и подарил бы улыбкою,— а хоть бы и так прошел, все бы слышал, какая она, Луша, воспитанная. Она бы сказала со вздохом: «Ах, Поля, эти цветы повянут, как мои мечты!» Или, тоже бы со вздохом, воскликнула: «Ах, Поля, есть у меня в груди жестокая тайна!», а потом бы как будто вдруг нечаянно его увидала и ахнула бы. И он бы, верно, заинтересовался... И все это испортила какая-нибудь завалящая чумичка! И как она смеет! Кто она такая! Дьяконова сестра,— да еще дьякон-то — пьяница на всю губернию! Да как она может супротивничать перед иерейской дочерью?

Неизвестно, на что бы подвинул пламенную Лушу этот последний вопрос, подступавший к ее сердцу, как лихая колика, если бы ее неотступно не преследовало мучительное сознание, что она без дьяконовой сестры, как без рук.

— Не прощения ж мне бежать у нее просить! — вдруг воскликнула Луша в ответ на все упорнее и упорнее набивавшуюся мысль скорее покончить дело мировою, отшвырнула бант и визгливо охнула, словно ее кто неотразимо толкал в грязную яму.

— Это мне ей кланяться! — продолжала она с язвительною горечью и, внезапно входя в азарт, скороговоркою принялась вычислять все унизительные приемы, какие только могло ей нарисовать воображение,— может, мне ей в ножки поклониться? Ручку у нее поцеловать? Подставиться, чтобы по щекам меня била?

Стук отворившейся из сеней двери заставил ее опомниться. Послышался скрип тяжелых сапогов и раздался зычный голос отца Павла:

— Лукерья!

— Чего изволите, папенька? — отвечала Луша, встречая его на пороге.

— Федосей Егоров не был?—спросил отец Павел, ставя на стол принесенный им горшок меду и доставая из глубокого, как колодец, кармана порядочный ком воску.

— Нет, не был.

— Прибери-ка это,— приказал отец Павел, кивая на мед и воск.— Федосей Егоров и не присылал никого?

— Нет, никого.

— Сходи-ка, повысмотри, где он, да шепни ему, что он мне надобен.

— В хоромы сходить?

— А куда же? Скажи, у папеньки голова болит, просит, нельзя ли гофманских капель... Нет, гофманских капель не бери,— на кой их ляд? — скажи, нельзя ли березовки, ноги ломит, так для растирания.

— Сейчас,— отвечала Луша, резво понеслась в свою горенку, где горела лампадка перед фольговым образом угодника Митрофания, и там начала торопливо прихорашиваться перед зеркальцем.

Но не успела она накинуть на себя первой крахмальной юбки (крахмальные, рокочущие, как отдаленный гром, юбки были, по мнению Луши, первой основной красой вся-

кого привлекательного девичьего наряда), как восклицание отца: «Насилу-то собрался!» дало ей знать, что ожидаемый явился сам и что, следственно, предложенную экскурсию приходится отложить.

— Принесла нелегкая старого идола! — проговорила она, с раздражением снимая с себя парадные доспехи и снова облачаясь в испытанную желтую блузу.

Федосей Егорович, прежде всего, по своему обыкновению, подошел под благословение духовного отца.

— Ну, что? — спросил отец Павел, быстро осеняя его крестным знамением и мазнув по губам рукой, к которой старик готовился чинно приложиться.— Ну, говори... Да что с тобой? Что случилось? Чего ты такой?

— Я, батюшка, удаляюсь от зла,— отвечал Федосей Егорович.

В каких-нибудь несколько часов лицо его осунулось, словно после болезни, но это одно выдавало его огорчение и негодование,— глядел он спокойно, говорил плавно.— Удаляюсь от зла...

— Что такое? Куда удаляешься? Рассказывай толком! — перебил отец Павел.

— Выхожу из службы Владимира Петровича,— пояснил старик.

— Кто ж на твое место?

— Не знаю.

— За что ж он тебя гонит?

— Я сам оставляю...

— Сам оставляешь? Да ты с ума спятил? А наше дело?

— Не могу, батюшка...

— Да ты ошалел! И слышать я об этом не хочу!

— Не могу...

— Послушай, Федосей Егоров,— начал отец Павел, переходя из резкого тона в торжественный, причем он несколько откинулся назад.— Ты — христианин или нет? Веруешь ты в православную святую церковь?

— Батюшка...— хотел было возразить Федосей Егорович.

— Погоди. Ты мне обещался послужить православию. Ты, значит, обещался самому господу нашему Иисусу Христу через мое посредство. Так или нет? И ты хочешь обмануть сына божия, пролившего за нас святую кровь свою? Ты хочешь уподобиться Иуде-предателю!

— Батюшка, не могу больше! — проговорил Федосей

Егорович, теряя свою сдержанность и начиная задыхаться, словно ему кто стискивал горло.— Не могу, не могу...

— Чего ты не можешь?

— Повсечасная насмешка, батюшка... Ноги об меня вытирают, попирают меня...

— А святых мучеников не попирали? Они тому радовались и воспевали песнь победную! Они ликовали, что терпят за господа бога, и господь бог уготовил им царство небесное и вечное блаженство! Их пронзали копьями, рубили мечами, но они, не обращаясь в бегство, славили творца!

— Копья и меч лучше, батюшка...— проговорил Федосей Егорович, вынимая платок и дрожащей рукой отирая пот со лба,— с радостью бы принял смерть...

— Послужи господу не там, где тебе хочется, а там, где он тебя поставил! — строго перебил отец Павел.— Помни: не яко же аз хощу, но яко же ты! Сядь, сядь! что же ты стоишь? И расскажи толком, что там у вас вышло,— прибавил он, видя, что проповедь его подействовала, и не желая долее утруждать себя торжественным тоном.— Ну, начинай же!

Федосей Егорович рассказал о грубиянстве Аполлошки, о его самовольной отлучке, о своей жалобе Владимиру Петровичу и о том, как Владимир Петрович посрамил и его, и себя.

— Только то? — спросил отец Павел, когда Федосей Егорович, описав уже известную читателю сцену во время барского обеда, остановился, задыхаясь от волнения.— Ошалел ты, Федосей Егорович, воистину говорю тебе, ошалел! Не бывало, что ль, у покойного Петра Ивановича любимцев? Ты от того на стену не лез. Сегодня любимец, а завтра в свинопасы пошел, и нет его. Ты только держи ухо востро, и всегда твой верх будет...

— Не могу, батюшка! Не могу! Лучше я...

— Постой, постой! Ты скажи мне, были любимцы у Петра Ивановича?

— Любимцы ничего...

— А долго они держались? Ты вот сокрушаешься, а он, может, завтра же его спровадит, где козам рога правят!

— Батюшка, я не об любимцах сокрушаюсь...

— Так о чем же?

— Во всем роспуст, батюшка! Все правы, всем потворство! Только я виноват, я глуп, я не гожусь! Мне позор на

людей глядеть... Каждый предо мной похваляется. Я стал всем за потеху. Докладываю: Антошка никакого почтения не имеет — «оставьте его»; докладываю: мужики буйствуют — «не нападайте на них!» Докладываю: сладу скоро не будет, а он: «Старайтесь примириться с новыми порядками, помните, что всякому свое право»... На что ж я тогда нужен? Я тогда не нужен...

Федосея Егоровича снова удушило волнение; он снова развернул свой пестрый платок и отер лоб.

Отец Павел засмеялся и сказал:

— Сед ты, Федосей, а соображаешь, как малый ребенок. Все это привременно, все это пройдет. Потерпи еще немножко, и следа этого не останется...

— Не могу, батюшка...

— Послушай, Федосей (отец Павел опять подпустил торжественности в свой тон), до сего дня я почитал тебя за человека благочестивого и основательного, я не забывал тебя в молитвах своих,— я даже владыке о тебе писал — и чем же ты отблагодарить за то хочешь? Ты хочешь и себя и меня посрамить, хочешь Алексашку превознести!

— Как Алексашку превознести? — встрепенулся Федосей Егорович, словно его кольнули шилом.

— Да ты не успеешь с барского двора выйти, уж Алексашка сюда вотрется. Он только того и ждет!

— Да ведь Алексашки нет, Алексашка уехал! — проговорил Федосей Егорович.

— Это кто ж тебе сказал, что его нет? Недальнозорок ты, Федосей, жаль мне тебя!

— Да ведь он нанялся к козликовскому пивовару, он в Козликах.

— Он здесь!

— Здесь? Где здесь?

— Прячется и выжидает.

— Не может этого быть, батюшка!

— Я его своими глазами видел.

— Видели?

— Как вот тебя вижу.

— Когда?

— Вчера.

— Где?

— На выгоне встретил.

— Что ж он?

— Стрекнул, как заяц, к Ивану-колеснику в огород и там присел.

— Другой кто-нибудь, не он...

— Вот, не знаю я Алексашки! Да я его потом еще видел на плотине, около мельницы,— кланялся мне! Кланяется, а сам осклабляется. Я тогда же подумал, что он на что-нибудь метит. Что, говорю ему, опять смутьянить явился? Теперь, говорю, брат, несолоно похлебаешь и ни с чем отъедешь! — «Бабушка еще надвое ворожила»,— отвечает. Недаром он похвалялся, вижу теперь, что недаром! — заключил отец Павел со вздохом.

— Господь отступился,—прошептал Федосей Егорыч,— пора в могилу, в землю сырую...

— Да, уж если ты отойдешь, так он вернее смерти вотрется,— продолжал отец Павел.— Так и знай, что к тому дело ведешь! Или ты забыл прошлое? Ну, он тебе напомнит! Мало он над тобою куражился? Он тебя в бараний рог теперь согнет!

— Воля божия! — проговорил Федосей Егорович, у которого в груди свирепствовали две бури и который начинал теряться.

— Послушайся меня и все поправится. Потерпи немножко.

— Не могу терпеть, батюшка! — ответил Федосей Егорович, но уже без прежней порывистости, а скорее с сокрушением.

— Горд ты и надменен, Федосей, христианского смирения не имеешь! — внушительно сказал отец Павел.— Своею гордынею тешишь врага рода человеческого... Послушайся, говорю тебе, потерпи немножко. Мы должны терпеть, Федосей, ибо и господь наш терпел. Он заповедал нам: будьте кротки, яко голуби, и мудры, яко змии,— так ты и блюди себя, как заповедано... не будь простоволос... не ложись под пяту Алексашке!

— Я уж доложил Владимиру Петровичу, что не могу служить,— ответил все более и более терявшийся старик.

— Старый ты баран! — не без злобы упрекнул отец Павел.— Что ж Владимир Петрович?

— Полноте, говорит, зачем вам меня оставлять... обдумайте прежде хорошенько...

— Ну?

— Я все настаивал: отпустите меня, Владимир Петро-

вич! Не стал слушать: «После, после, теперь я спешу!» И ушел.

— Куда ж это он спешил?

— В Райское.

— Опять в Райское! Каждый день туда. Вчера тоже был?

— Был.

— Ну, слушай, Федосей, ты завтра ни гу-гу,— как будто ничего и не было.

— Уж не знаю, как же это я так...— начал было упавший духом Федосей Егорович.

— Чего тут знать! — прервал отец Павел.— Помни, что Алексашка не дремлет! Слушай: духовный я тебе отец или нет? Друг я тебе или нет? За тебя ведь скорблю, о твоей душе пекусь! Эх, Федосей! Федосей! бог тебе судья!

Отец Павел махнул рукой, словно сердце его было вконец растерзано.

— Батюшка, простите меня, грешника,— проговорил Федосей Егорович.

— Так будешь слушаться? Все по моему слову исполнишь?

— Исполню. А если Владимир Петрович сами пожелают теперь меня отставить?

— Не пожелает!

— Как можно ручаться! — вздохнул Федосей Егорович.

— Ну, тогда делать нечего, неси поклонную.

Старик ничего не ответил.

— Что ж, ты хочешь, чтобы Алексашка тебя затоптал?

— Все исполню, батюшка,— покорился Федосей Егорович.

— А исполнишь, так будь покоен: господь не оставит тебя... Ты ему говорил про Долгушин лужок?..

— Говорил...

— Что ж?

— Не соглашается.

— Так-таки прямо сказал: «не дам»?

— Сначала сказал — «не отдам», а потом, как я стал приводить, в каком запустении храм божий, в какой нужде священнослужители, перебил: «После, после!»

— Ты как полагаешь, можно его уломать?

— Не знаю, батюшка, ничего уж теперь не знаю! — вздохнул Федосей Егорович.— Весь мир повернулся на

своем основании... иной раз кажется — земля из-под ног уходит!

— Не старателен ты, Егорыч, не радеешь о боге! Другой на твоем месте давно бы этот лужок запопал, а ты мямлишь, пустяками занят!

— Что ж я, батюшка, поделаю, если слушать меня не желает! Была бы моя сила, так я бы всею душою рад...

— Устрой ты завтра так, чтобы мне его повидать.

— Я доложу...

— Докладывать-то и не нужно. Я без докладу войду. Ты только дай мне знать, когда он за кофей сядет.

— Папенька,— сказала Луша, выглядывая из-за двери,— к вам пришла баба из Никольского.

— Что там такое? — спросил отец Павел.— Впусти.

На пороге появилась расстроенная, изможденная, босая женщина с плетушкой в руках, низко поклонилась и подошла под благословение.

— Что тебе? — спросил пастырь.

Баба опять поклонилась и заплакала.

— Что ж ты голосить сюда пришла? — продолжал пастырь.— Говори дело или проваливай!

— Я за святой водицей на лекарствице, батюшка,— начала баба, торопливо отирая катившиеся по загорелому лицу слезы,— на лекарствице для коровушки... Одна у нас кормилица... одна...

— Гм! вот вы за лекарствицами-то охочи ходить, а как чем услужить батюшке, так вас с собаками не найдешь. Батюшка и лекарствица, батюшка и того вам, и другого, и пятого, а вы что батюшке?

— Вот яичек... что спромоглась...— проговорила баба, протягивая плетушку.

— Эк расшиблась! — упрекнул он, заглянув в плетушку и одним взглядом определив количество убогого приношения.

— Что спромоглась...— повторила баба.

— Ну, давай!

Баба начала было выкладывать яйца из плетушки.

— Давай с плетушкой,— или плетушки жалко стало?

— Нет, нет... батюшка!

Баба удалилась на крылечко.

— Так решено,— снова обратился отец Павел к Федосею Егоровичу,— завтра поутру я приду.

Федосей Егорович, впавший в какое-то горестное

оцепенение, встал и попросил прощального благословения.

— Ну, иди с богом, да смотри, не плошай,— сказал отец Павел.

— Батюшка, нельзя ли завтра мне молебен отслужить? — спросил Федосей Егорович,— молебен об обращении болярина Владимира...

— Отчего ж нельзя? Отслужим! — благосклонно ответил отец Павел.— Да что же ты такой, словно в воду опущенный? Уныние — грех. В таком расположении ты и хромой мухи с носа не сгонишь! Ну, иди с богом, мне и самому пора; обещался в Яблоновку... Андрей Адреевич к чаю ждет...

Федосей Егорович побрел на барский двор, тихонько повторяя:

— Земля из-под ног уходит! Земля из-под ног уходит!

— Лукерья, прибери яйца-то! — крикнул отец Павел дочери, снова принявшейся за свои банты, затем поспешно направился в свою горницу и скоро вышел оттуда на крылечко в шляпе, с палкой подмышкой и с пузырьком в руках.

— Вот тебе святая печерская водица,— сказал он, подавая бабе пузырек.— А картошку придешь копать?

— Приду, приду,— отвечала баба, жадно схватывая пузырек и целуя руку пастыря-исцелителя.

— И сноху приводи!

— Приведу, приведу... Только бы наша кормилица-то оздоровела!

— Живи по правде, не лукавь, так и оздоровеет! — внушительно изрек отец Павел и быстрым шагом, размахивая палкою, направился по узенькой дорожке, протоптанной через паперть в поле и змеившейся по межам.

III

ЕВДОКИМ ЕВДОКИМОВИЧ КРАСУХИН

Бачить чоловік, живе свиня в селі велика та здорова, і питає: «Чи віруеш в бога?» — «Ні, каже, серце, не вірую в бога, тільки в великого стога».

Украинская сказка

Помянутая дорожка вела не в Яблоновку, где, по словам отца Павла, Андрей Андреевич, яблоновский помещик, ожидал его на чай, а совсем в противоположную сторону,

на небольшой хуторок Зарубье, где с год тому назад поселился новый хозяин, мещанин Евдоким Евдокимович Красухин, приобревший это именьице с торгов после смерти прежнего владельца, разорившегося мелкопоместного дворянина, отставного юнкера Караваева.

Отец Павел скоро и благополучно перешел версты четыре, отделявшие хуторок Зарубье от Дубровок, и приблизился к бывшей господской усадьбе, уже окруженной новым крепким частоколом и охраняемой тремя свирепыми цепными псами, которые подняли неистовый лай при его появлении.

— Охранно живешь, Евдоким Евдокимович! — сказал с дружескою шутливостью отец Павел встретившему его на крылечке благообразному белокурому, коренастому, средних лет человеку, в русской розовой ситцевой рубахе, пестрядевых шароварах, синем суконном жилете и высоких сапогах с красными отворотами.

— В нынешнем веке иначе невозможно, батюшка,— отвечал Евдоким Евдокимович, улыбаясь, причем светлые голубые глаза его ласково щурились, а весь он как-то особенно пожимался, точно чувствовал приятный озноб, подходя под благословение.

— Истинно говоришь, Евдоким Евдокимович, и умно,— одобрил отец Павел.— Во имя отца и сына и святого духа... Вздумал: пойду-ко я проведаю соседа, погляжу, как он деньгу кует... и вот пришел...

— Милости просим, батюшка, я всегда за счастие почитаю принять вас,— отвечал Евдоким Евдокимович,— а что до того, чтобы деньгу ковать, так еще таких инструментов не выдумал... Не нашего ума дело.

— Это ты-то не выдумал? — засмеялся отец Павел, следуя за скромным преемником юнкера Караваева.— Уж ты морочь да не очень: не со вчерашнего дня знакомы! На что куры, и те прокудахтали, что Евдоким Евдокимович какую мошну ни заведет, все ее разопрет.

— Куры — птицы глупые, потому и кудахтают пустое. Вам бы шурахнуть на них, батюшка, они бы и не беспокоили вас своими мытарствами,— спокойно отшучивался Евдоким Евдокимович.— Не пожалуете ли на балкончик? На балкончике будет прохладнее... А я самоварчик прикажу. Аполлинария Федоровна! — крикнул он, перегибаясь через балконные перила в сад.

— Чего? — звонко откликнулось из сада.

— Самоварчик поставьте, батюшка в гости пожаловали.

— Сию минуту,— ответила Аполлинария Федоровна и не замедлила показаться на садовой дорожке, с огромным решетом малины, мало превосходившей яркостью ее губы, имевшие форму червонного туза, и пухлые щеки, от которых резко отделялась ровная линия обильно умащенных черных волос, начесанных круглыми котлетками на виски, и черные, симметричными дужками, брови, точно простроченные шемаханским шелком на круглом, узеньком лбу. Пробираясь по густо разросшейся дорожке, полузакрытая кустами, над которыми расстилались широкие рукава ее миткалевой белой рубашки, она напоминала исполинского крупчатого великопостного жаворонка, которому захлопотавшийся хлебопек, не пожалевший пары самых крупных коринок на глаза, неловко защипнул носик, вздувшийся при печении неправильным многоугольным комочком.

— Как бог вас милует, Аполлинария Федоровна? Все ли вы в добром здоровьи? — приветствовал отец Павел, кивая косматой головой подходящей хозяйке.

— Покорнейше благодарим, батюшка,— отвечала Аполлинария Федоровна, получив обычное благословение и приложившись к его руке своими малиновыми губами,— здоровы ли Лукерья Павловна?

— Все хозяйствуете?

— Что делать? надоть. Вот малину обирала...

— И по городу не скучаете?

— Как не скучать! — вздохнула Аполлинария Федоровна.— Что тут у нас? Поля да леса — пустыня! Ни лавочки, ни базару!.. Гармоники, и той не услышишь... А в городе...

— Ну, распорядись самоварчиком-то! — перебил Евдоким Евдокимович.

Хотя Аполлинария Федоровна несомненно жила у супруга в холе, но, видимо, знала, что такое беспрекословное повиновение, потому что в тот же миг подхватила решето с малиной, которое было поставила на стол, и юркнула, как карась, завидевший щуку.

— Что новенького, батюшка? — спросил Евдоким Евдокимович, садясь против отца Павла, обращая на него свои ласковые глаза и поламывая свои сильные пальцы.

— Да ничего, Евдоким Евдокимович,— отвечал отец Павел, поглаживая бороду.

— Ничего, и то слава богу.

— Мы должны за все воздавать славу господу, Евдоким Евдокимович,— внушительно произнес отец Павел,— ибо, что мы такое! Прах! Сегодня цветем и пышимся, завтра поблекли и низвержены.

— Так, так,— согласился Евдоким Евдокимович.

— Ну, а у вас что новенького? — спросил отец Павел.

— Что ж у нас быть может? — возразил Евдоким Евдокимович.— Разве вот лапотник пройдет или ворона пролетит!

— А погода стоит прекрасная,— порадовался отец Павел.

— Это точно, что прекрасная,— сочувственно подтвердил Евдоким Евдокимович.

— И не запомню такого сенокоса!

— Сенокос хороший...

— Дубровское сено всегда первым в губернии слыло, а уж нынешний год так просто жаль продавать, жаль скотиною травить...

— Что ж, можно его в рамку и сохранить,— улыбнулся Евдоким Евдокимович.

— А что ты, Евдоким Евдокимович, раздумал, что ли? — спросил, не выдержав, отец Павел.

— Что раздумал? — спросил в свою очередь Евдоким Евдокимович.

— Как что! забыл?

— Не помню, что бы я что такое замышлял! — в невинном недоумении спросил Евдоким Евдокимович.

— Полно канитель-то тянуть!

— Какую ж я канитель тяну? Я никакой канители...

— Очень ты хорошо понимаешь! — упрекнул отец Павел, все более и более разгорячаясь.

— Что ж я такое понимаю? — так же спокойно, кротко и ласково недоумевал Евдоким Евдокимович.

— Раздумал, так прямо и скажи,— продолжал горячиться отец Павел,— я другого найду... Меня другие вон просят, чуть в землю не кланяются... Только я о тебе радел... Сам же ты меня подговаривал... У тебя только и на языке было: Долгушинский лужок да Долгушинский лужок, а теперь...

— Ах, это вы про Долгушинский лужок! — вдруг сообразил Евдоким Евдокимович.— Это точно, что я прежде на него льстился, а теперь чувствую, что ошибался.

— Что ж, его убыло, что ли?

— Не убыло, а только мне несподручно совсем.

— Отчего несподручно?

— Так, несподручно.

— Ну, как себе знаешь, голосить по тебе не стану... Найдутся другие... Сколько их набивается, хоть мосты ими мости! Не ожидал только я, что ты — такой непостоянный человек...

— Помилуйте, батюшка, я очень постоянный...

— Смотри только, чтобы тебе не каяться!

— Зачем же каяться?..

— А я опять говорю тебе: голосить не буду!

— Зачем же вам, батюшка, голосить? как можно...

— Покаешься, да поздно будет! — зловещим тоном закончил отец Павел и встал.

— Куда ж вы, батюшка? Аполлинария Федоровна самоварчик вон несет. Откушайте чайку, не обидьте... Хотя мне этот Долгушинский лужок все равно, что летошний снег, а для вас я на всякий под себя подкоп готов... Аполлинария Федоровна! Что ж вы с самоварчиком-то зазимовали? Поразомнитесь да спроворьте поскорее! — крикнул он.

— Сию минуту закипает,— отозвалась Аполлинария Федоровна.

— Уж не откажите, батюшка, чайку вместе попить! Присядьте...

И Евдоким Евдокимович снова придвинул оттолкнутое отцом Павлом кресло.

— Пожалуй, потолкуем о деле,— сказал отец Павел, стараясь казаться равнодушным и снова садясь около стола.

— О каком это деле? Ах, это все об Долгушинском лужке-то! Вы уж его заполучили?

— Уж это — не твоя печаль!

— Оно, точно, не моя; только мне это надо знать, потому, если я ничего не знаю, то о чем же и толковать буду? — возразил Евдоким Евдокимович.

— Уж если я к тебе пришел, так, значит, дело решено и подписано,— отвечал отец Павел, не только не сморгнув, но даже не без строгости.

— Позвольте поздравление принести. Сам бы заполучил, не так радовался, как за вас!

— Так что ж, по рукам, что ли?

— Я с моим удовольствием, только вот цены-то такой не могу...

Отец Павел плюнул и не мог, к сожалению, воздержаться от восклицания, столь несовместного с его саном, что мы считаем более благопристойным не приводить его здесь целиком, а лишь обозначить, что им энергично призывался для расправы с Евдоким Евдокимовичем тот, от которого святые отцы сложили столько молитв и у которого прямая обязанность каждого иерея оспоривать грешников, каковы бы ни были их проступки.

— Вот, кажись, и самоварчик Аполлинария Федоровна несет! — сказал Евдоким Евдокимович, ничуть не утрачивая своей безмятежности.

— Знаться с тобой не стоит! — проговорил отец Павел в негодовании.

— Экие вы, батюшка, огневые какие! — подивился Евдоким Евдокимович,— просто — одно полымя!

— Разве так, как ты, добрые люди делают?

— Отчего ж им так не делать? — наивно спросил Евдоким Евдокимович.— Если я теперь не буду себя соблюдать, так кто ж меня соблюдет? И обидного я ничего не представил. Вольному воля: если вы, примером, не желаете с своим товаром разлучаться, то купец у вас его не отнимет.

— Уговор лучше денег... Уговор надо помнить!

— Отчего ж его так беспременно надо помнить? — возразил Евдоким Евдокимович.— А как если я рассудил, что этот уговор мне ровно нож острый? Ужели я этот нож острый стану в себя вонзать?

Аполлинария Федоровна принесла самовар и, очевидно, собиралась побеседовать, потому что, расставляя чайную посуду, начала было опять проводить параллель между городом и «пустыней», как она называла хуторок.

— Вот в городе-то, чего ни захотел, крендельков ли сахарных, плюшек ли — все можно, а тут уж ни за тысячу рублей не достанешь...

— Никак скотина с поля пришла? — перебил ее Евдоким Евдокимович.— Поди-ка присмотри...

И Аполлинария Федоровна снова выюркнула с балкона с быстротой карася, зачуявшего щуку.

— Сколько ж ты даешь? — мрачно спросил отец Павел.

— Ромчику, батюшка, прилейте,— потчевал Евдоким Евдокимович, придвигая гостю стакан с чаем и графинчик рому.

— Сколько ж ты даешь? — повторил отец Павел.

— Пяточек рубликов ежегодно скиньте.

— Разбойник ты, Евдоким! Как есть разбойник придорожный! Да лучше пусть даром все пропадет!

— Этак, пожалуй, убыточнее будет,— улыбнулся Евдоким Евдокимович.

— Рубль я тебе, так и быть, скину, а больше ни алтына!

— Помилуйте, батюшка, что ж такое рубль? Об рубле и говорить-то не стоит.

— Ну, хочешь два рубля?

— Чтобы никому не обидно — скинем три рублика.

— Да что ты, насмешки, что ли, творишь?

— Как же я смею? Я говорю, как чувствую...

— Ну, хочешь два с полтиной?

— Не могу...

— Последнее слово?

— Самое последнее.

— Ну, слопай их и подавись! Давай задаток!

— А вот пожалуйте в контору,— сказал Евдоким Евдокимович и провел отца Павла в бывший кабинет юнкера Караваева.

Над столом, где аккуратно был расставлен письменный прибор, разложены счеты, аршин, шнуровая книга и какие-то семена на блюдечках, висел голубой атласный башмачок, под которым кудрявым размашистым почерком того же отошедшего в вечность юнкера Караваева было написано на стене четверостишие:

Обольстительный, прелестный,
Чудный, дивный, дорогой!
Ты попал в мой домик тесный,
Как залог любви святой!

Из этого башмака Евдоким Евдокимович вынул небольшую бумажку и, расправив ее ладонями на столе, пригласил отца Павла подписать.

— Это что ж такое? — спросил отец Павел.

— А это для памяти: «Я, нижеподписавшийся, запродаю на шесть лет покос с Долгушинского луга»...

— На что это тебе нужно?

— Нельзя, порядок требует.

— Да ты с священнослужителя не имеешь права требовать никаких таких расписок.

— А как если я не имею права требовать, так я не могу и дело вести,— отвечал Евдоким Евдокимович.

Они посмотрели друг на друга и помолчали.

— Да я подпишу,— сказал отец Павел и, подсучив рукава подрясника, взял перо.

— Уж как угодно,— отвечал Евдоким Евдокимович.

Отец Павел подписался и получил две синеньких бумажки в задаток. Затем гость и хозяин возвратились на балкон к чаю.

— Ведь вот ты какая бестия, Евдоким Евдокимович!— говорил развеселившийся отец Павел.— Ты наперед знал, как настрочить! Опростоволосился я! Уж ты мне за это хоть четверочку гречишки пришли!

— С моею бы радостью, батюшка,— отвечал Евдоким Евдокимович,— да уж всю на корне запродал.

— Ну, овсеца дай!

— Плох овес-то уродился. Еще стаканчик, батюшка, приневольтесь...

— Мужик пришел,— сказала Аполлинария Федоровна, заглядывая на балкон.

— Какой мужик? — спросил хозяин.

— Не знаю. Простой мужик.

— До смерти надоели эти лапотники! — сказал Евдоким Евдокимович.— Уж не взыщите, батюшка! Хозяйка с вами посидит, а я только на одну минуточку...

— Что надо? — спросил он, выходя на крылечко, у которого стоял приземистый мужик с каким-то маленьким узелком.

— Да вот не купите ли,— отвечал мужик, приподняв узелок.

— Показывай, что там такое.

Мужик развернул тряпицу, и в вечернем сумраке блеснули золотой браслет, крестик и серьги.

— Это ты откуда ж разгоревал? — спросил Евдоким Евдокимович, забирая вещи в руки и начиная отыскивать в них пробу.

— А это райская барышня одной старухе дала — Матрене, коли знаешь,— а Матрена-то и хочет спродать,— пояснил мужик.

— Ну, за это, брат, немного получишь!

— А ведь золото.

— Подле золота лежало! Окроме того, с этими вещами еще в беду попадешь... Кто вас знает, откуда вы их...

Евдоким Евдокимович не докончил и оглянулся. Чутье его не обмануло: на пороге стоял отец Павел и, вытянув шею, вслушивался.

— Поглядите-ка, отец Павел,— обратился Евдоким Евдокимович к любознательному иерею.

— Вижу, вижу,— отвечал отец Павел, подступая ближе и овладевая браслетом.— Покупаете?

— Да на что они мне нужны? И тоже опасливо,— откуда они взялись. Купишь, да и хлопот не оберешься!

— Что ж, коли вам опасливо, так не покупайте,— сказал мужик.— Я отнесу Матрене.

— А под суд хочешь? — спросил отец Павел.

— За что ж меня, батюшка, под суд? — огорчился мужик.— Я, кажись, ни в чем худом еще не замечен!

— А вот мы узнаем! Я понесу вещи в Райское да покажу барыне,— так и скажи Матрене! — решил отец Павел, опуская золотые украшения в карман своего подрясника.— Что ж, Евдоким Евдокимович, пойдем чай пить,— остынет! — прибавил он, обращаясь к хозяину.

— Иду, иду,— отвечал Евдоким Евдокимович, быть может, не совсем довольный исходом дела, но сохранивший обычную спокойную мягкость, которая, казалось, была такой же его неотъемлемой особенностью, как глянец на атласе, и утрачивалась только в соприкосновении с беспомощным мужичьем,— с «низостью», как он выражался,— подобно тому, как утрачивает и атлас свой глянец, соприкасаясь с тиной и грязью.

Мужик проводил их глазами.

— Эк тебя надоумило сюда сунуться! — сказал хуторянский батрак, направляясь с ведрами к колодцу.— Чего доброго, заварится такова каша, что и не расхлебаешь!

Мужик ничего не отвечал, постоял, понурившись, неподвижно на месте, затем побрел со двора.

IV

ЛАЗУРЬ ЗАТЕМНЯЕТСЯ

> Les grandes âmes ne sont pas celles, qui ont moins de passions et plus de yertus, que les âmes communes, mais celles seulement qui ont de plus grands desseins.
>
> *De la Rochefoucau*[1]

Есть счастливые люди, не только чрезвычайно ценимые своими благополучными соседями, но уважаемые и соседями горемычными, люди, которые, тепло и уютно обставившись, весь свой век просиживают безмятежно на месте, как капустный кочан в гряде, не заносясь ввысь да разрастаясь вширь. Есть другие злосчастные люди, нечто вроде ежей — иглами и наружу, и во внутрь,— так именуемые «беспокойные» и повсеместно осуждаемые, которых где и как завидно ни устрой, не усидят, которые вечно куда-нибудь тянутся, вечно куда-нибудь лезут, вечно во все, казалось бы, ничуть их не касающееся, суются,— и добро бы все это ими проделывалось ради собственной пользы или удовольствия,— вовсе нет: им зачастую приходится предорого расплачиваться за свою неугомонность и нетерпимость.

К разряду этих последних людей принадлежала и Маня.

Чего бы ей, кажется, недоставало, чего бы желать? Природа кругом цвела и благоухала; любимый человек был близко; она могла вместе с ним наслаждаться и скоротечной грешной, но иногда куда как пленительной земной жизнью, и вместе с ним парить над этой тленной землей; в ее здоровом теле переливалась здоровая кровь, и бренная ее оболочка не испытывала неприятного ощущения холода, не страдала голодом; все ее благородные человеческие стремления принимались ее избранным с полным сочувствием; все ее высшие симпатии неизменно находили в нем отголосок.

Правда, положение ее было ложное, но она любила и верила и впереди ничего не видела, кроме каких-то радужных лучезарных клубов тумана. Не будущее ее заботило

---

[1] Великие души не те, которые имеют меньше страстей и больше добродетелей, чем души заурядные, но только те, у которых более великие намерения. *Ларошфуко (франц.).*

и пугало, а еще смутно, но все живее и живее начинало волновать блаженное настоящее. С страстной признательностью, с беззаветным наслаждением подставляла она руки под роскошные цветы, которыми осыпал ее щедрый бог любви, но вместе с упоительным ароматом этих цветов точно вдыхала какой-то яд, по временам — и все чаще и чаще — странно обесцвечивавший это наслаждение.

У Мани тоже была своя пора тех поглощающих восторгов, когда в голове делается легко и пусто, и ходит в ней какой-то особый чад, когда сердце сладко мрет, из глаз вдруг катятся горячие слезы, когда вместо мыслей являются только ощущения и образы, но пора эта скоро минула. Не прошло и двух месяцев после первого свидания в Белой беседке, а она уже не заламывала рук, как бы изнемогая под бременем блаженства, не укрывалась в свою комнатку для многократного повторения милых слов и воскрешения пережитых мгновений, не просиживала по целому часу неподвижная в тупом экстазе, рисуя себе по памяти дорогие черты; перестали у нее вырываться восторженные восклицания и благодарственные вопрошения: «Как я счастлива! За что я так счастлива?» и неясно стало возникать тревожное чувство, словно чего-то убыло или что-то оказалось не тем, чем обещало; свежий оазис любви понемногу заносило пылью и отравляло смрадом окружающих, далеко не приглядных человеческих поселений, где мучились, прозябали, безумствовали, свирепствовали люди, с которыми она чувствовала себя связанною словно какими неразрывными больными нитями.

В такие смутные, для нее самой загадочные минуты Маня особенно жаждала присутствия Владимира Петровича, в котором искала защиты от того, что называла своим «всем на свете недовольством», в чем ему со стыдом и угрызением совести каялась.

Владимир Петрович всегда с нежной снисходительностью и лаской выслушивал ее сбивчивые порывистые излияния и до сих пор всегда без труда успевал ее умиротворить и снова заставить счастливо глядеть и улыбаться; но самого Владимира Петровича, к горестному его изумлению, начинал точить червячок, который завелся против всякого его ожидания и который точил довольно чувствительно.

Его глубоко тронула и невольно увлекла безыскусственная любовь бедной девочки, предавшейся ему без всяких

торгов и переторжек, не требуя и не выманивая никаких нравственных расписок и векселей в преданности и верности, которые в свою пору можно представить ко взысканию, серьезно тешил себя мыслью, что ее осчастливил, и у него почему-то сложилось твердое убеждение, что она застынет в неизменной блаженной улыбке и восторженном ему поклонении, вечно довольствуясь посильной данью его нежности. И вдруг у этой осчастливленной девочки начинают являться какое-то беспричинное недовольство, какие-то беспредметные тревоги и грусть!

«Пресыщение! — с горечью подумал Владимир Петрович, дознавший тяжкими опытами, что иногда подобные явления служат признаками такой беды.— Как скоро! А затем явится жажда нового чувства... Случай и каприз определят новый выбор... Все это в порядке вещей... Можно даже сказать, неизбежно... и я приму это, как неизбежное, хладнокровно...»

Но хладнокровие уже покидало его от одного представления подобного события. Однажды, когда червячок уже очень заточил его, он не выдержал, решил положительно убедиться в горькой истине и начал вопросом:

— О чем ты задумалась, Маня?

Они были в лесу, в глухом, диком местечке, которое пользовалось худою славой и куда избегали заходить даже днем. Здесь, по преданию, какая-то злополучная княжна лишила себя жизни, бросившись с крутой горы в глубокое озеро. Действительно ли тут существовало во дни оны озеро да иссякло — или его здесь помещало досужее воображение легендистов — неизвестно; одно можно было сказать, это — что теперь на месте синих озерных вод, поглотивших интересную княжну, зияла круглая, почти отвесная яма, где не видно было дна. Разросшиеся по верху обрыва дубы, березы и орешины, разные повилики и плетеницы, цеплявшиеся по шершавым каменистым стенкам, и пятна красноватого мха, будто бы родившегося из капель крови княжны и бархатившего выдающиеся камни, придавали большую живописность этому уединенному уголку. Они сидели тут уже несколько минут молча.

— Маня, ты не слышишь меня?

Маня встрепенулась и обратила на него глаза.

— О чем ты задумалась? — повторил Владимир Петрович, стараясь смотреть не пытливо и улыбаться, между

тем как на сердце у него, что называется, заскребли мыши. В этой задумчивости он видел явный знак охлаждения.

— Ни о чем,— отвечала Маня,— я просто смотрела вот на эту березку... Она совсем перегнулась в яму, точно ей любопытно узнать, что там...

«Что это? намек на неуместность и бесполезность моего любопытства?» — подумал Владимир Петрович, которому прежние знакомые немало солили разными намеками, и пристально взглянул Мане в лицо.

Но лицо это было ясно и просто; он не выискал на нем, как ни старался, ни знакомой страдальческой улыбки, ни когда-то не менее казнившей его покорной меланхолии, ни язвительности, ни ехидства,— ничего, кроме легкой усталости после долгой прогулки.

Но он не успокоился.

«Разве можно поручиться за какую-нибудь женщину?» — мысленно восклицал он, меряя свою милую дикарочку, как он иногда называл Маню, на аршин все-таки старых своих знакомок.

Он, однако, ничего не сказал, и снова наступило молчание.

Явись новый Рюисдаль [1] в Райском лесу над Девичьим или Княжьим провалом, как звалось это местечко, и тот не легко бы передал свежесть описываемого утра, но и посредственный художник мог бы нарисовать хорошенькую картинку, изобразив Маню и Владимира Петровича, прихотливо обрамленных кудрявыми ветвями, на фоне зеленой листвы.

— Как здесь славно! — вдруг проговорила Маня.— Княжна умела выбрать местечко... Но мне, кажется, не пришла бы здесь мысль о смерти... Здесь хорошо отдохнуть... И здесь точно кто шепчет: «Живи! живи!», и хочется жить...

«Вот! вот!» — подумал Владимир Петрович, привыкший в женских устах под словом «жить» подразумевать исключительное поглощение любовью и волнующее занятие любовными перипетиями.

— Вероятно, княжна была в других обстоятельствах, и лесной дух, шепчущий тебе «живи!», шепнул ей: «умри!» — ответил он, улыбаясь.

---

[1] Правильно *Рейсдаль.— Ред.*

Он не удержался, чтобы не облегчить свою душу, пустив маленькую стрелочку в воображаемую им жажду новых впечатлений, но Маня не поняла его иронии.

— Бедная княжна! — сказала она.— Может, тут, на этом самом месте, где нам так хорошо, она рыдала, мучилась... одинокая, беспомощная...

Опять наступило молчание.

Вдруг неподалеку послышался старческий кашель. Владимир Петрович вспыхнул и быстро поднялся с места. Маня слегка побледнела, но осталась, как была, под дубом, только обратила глаза в ту сторону, откуда кашляли.

— Уйдем! — шепотом предложил Владимир Петрович.

— Все равно, можем столкнуться,— отвечала Маня,— лучше подождем здесь,— верно, мимо пойдут, ведь сюда никто не заглядывает...

Послышалось шуршание раздвигаемых веток и тоненький детский голосок проговорил:

— Здесь много, бабушка! Ох, как много!

— Да где? где ты?

— Здесь! Здесь!

— Это, верно, ягоды сбирают или грибы,— шепнул Владимир Петрович.

Маня тихонько встала, прокралась между деревьями и, притаившись за кустами, знаком подозвала к себе Владимира Петровича.

— Погляди! — шепнула она, когда он осторожно к ней приблизился.

Владимир Петрович увидал всего в нескольких шагах от скрывавшей их листвы беловолосого, в одной рубашонке мальчугана, который энергично обламывал сухие сучья огромного дуба, своим падением образовавшего целую прогалинку среди чащи; усердный работник шмыгал туда и сюда около дерева проворнее самого юркого мышонка, так что его нельзя было и рассмотреть, только мелькали загорелые ручонки и ножонки и косматая головенка.

— Да где ж ты, Максима? — окликнула опять старуха.

— Да здесь! здесь! — отозвался Максима,— иди прямо сюда!

— И не продерешься! Ох, озорной!

Справа зашевелились ветви, но бессильные руки не могли с ними справиться и опять раздалась укорительная жалоба:

— Ох, озорной! Куда это завел? Не проберешься, ровно сквозь стену!

— Эх, ты какая, не проберешься! — вскрикнул Максима.— Погоди, проведу!

Он подскочил к веткам, с которыми напрасно боролась старуха, принялся порывисто теребить их в разные стороны, наконец, на них повис и, раскинув ножонки наподобие циркуля, начал на ветках раскачиваться, ухитряясь, как бы обломить.

— Полно, полно! Глаза выстебнешь! Глаза выстебнешь! — унимала старуха, вылезая на прогалину с вязкой сучьев за плечами.— Говорят тебе, полно, шальной!

— Вот и пролезла! — сказал Максима, очевидно приписывая бабушкин успех своему искусству и энергии.— Глянь-ко, сколько тут! Я буду ломать, а ты вяжи!

— Погоди, погоди,— отвечала старуха, скидывая с плеч вязанку и опускаясь на траву,— совсем изморилась, чуть дышу... Коленушки дрожат....

Она с трудом вытянула исцарапанные ноги и, охая, начала потирать их сморщенными слабыми руками.

— А я вот сяду верхом, ловчее будет,— рассудил Максима.

Он охватил ножонками дубовый ствол и не мог утерпеть, чтобы несколько раз на нем не подскакнуть, как на верховой лошади, и не гикнуть.

— Цыц ты! молчи! молчи! — тревожно прикрикнула старуха.— Ах, горечко мое с ним! Никогда не возьму, и не просись! Застукают нас тут!

— Никто не слыхал,— проговорил Максима, сознавая, однако, что опасность быть застуканными существует и быстро, зорко, как соколий птенчик, оглядываясь кругом.

— Маня, пойдем,— сказал Владимир Петрович.

Маня повернулась, чтобы идти, но, повертываясь, зацепила платьем за сук и споткнулась. Владимир Петрович кинулся ее поддержать, и заколыхавшиеся кусты выдали их присутствие.

Прятаться дольше было неловко, да и незачем,— и они выступили на прогалину.

— Здравствуйте,— приветливо сказал Владимир Петрович.

При его появлении старуха помертвела, оттолкнула бросившегося к ней мальчика, хватаясь за траву, поднялась

и с воплем повалилась ему в ноги. Мальчуган громко заплакал.

— Что такое? Что такое? — говорил смущенный Владимир Петрович...— Пожалуйста, встаньте... Скажите, что вам нужно... я все с удовольствием сделаю, что могу...

— Не погуби! не погуби! — лепетала старуха,— от бедности... Бедность!.. Ох, тяжелая! тяжелая!

Она вдруг оставила попытки поймать его руки, приникла лицом к земле и громко, как внук, заплакала.

— Боже мой, что с ней? — недоумевал Владимир Петрович.— Послушайте, скажите мне...

— Встань, бабушка, встань поскорее! — сказала опомнившаяся Маня, схватывая обеими руками старуху и поднимая ее.— Чего ты нас испугалась? Ты и внука перепугала! Максима! чего ты расплакался? Нешто мы звери, кусаемся? Сядь вот тут, бабушка...

Максима перестал плакать и искоса окинул взглядом незнакомых людей.

— Ох, родимые! я думала — обходчик! — проговорила старуха, садясь на колоду,— думала, закогтит и потянет!..

— Топливо сбираете? — спросила Маня, садясь около старухи.

— Топливо, касатка. Без топлива не сварить, чем душу пропитать, ни водицы согреть, рубашонку помыть.

— Вы откуда?

— Из Градова, коли знаешь, князя Волконского крепостные были. А вы откуда? — спросила она, успокоясь и внимательнее поглядев на Маню и Владимира Петровича, который стоял все на том же месте, на конце прогалины, куда его загнали земные поклоны старухи, и не зная, что делать, вертел часовую цепочку.

— Я из Райского,— отвечала Маня,— а он из Дубровок.

Глаза у старухи забегали, и лицо выразило испуг.

— Тамошние господа?

Старуха поспешно, как позволяли силы, вскочила и, шатаясь, опять было хотела поклониться господам в ноги, чему Маня с большим трудом воспрепятствовала.

— Если вам нужно дров, придите в Дубровки, я дам,— сказал Владимир Петрович.

— Батюшка! Отец родной! Хоть рученьку пожалуй

поцеловать...— начала приставать старуха.— Пошли тебе господи счастье и здоровье за твои милости!

— Полноте, прошу вас...

— Ну, не буду, кормилец, не буду...

И старуха поспешно сложила на груди руки, стала, как вкопанная, и устремила глаза в упор на барина.

— Маня, пойдем, пора,— сказал Владимир Петрович.

— Пойдем,— отвечала Маня.

— Прощайте,— обратился Владимир Петрович к старухе, не сводившей с него подобострастных глаз.

— Приходите завтра в Дубровки.

— Приду, кормилец, приду...

— Какой у вас внук молодец! (он слегка дотронулся до косматой головенки Максима, который издали рассматривал господ с тем же недоверчивым интересом, с каким шевелил палочкой большую жабу, ужа, осу или другую какую ненадежную тварь, но погладил скорее по воздуху, чем по волосам). Он, верно, охотник до пряников? Я ему на пряники дам...

Он поспешно вынул из кармана кошелек, достал оттуда пять рублей и протянул их мальчику.

Максима, улыбнувшись при слове пряники, однако отступил за бабушку.

— Ах, ты глупый! Ах, кормилец! Что ж ты не берешь? Поцелуй ручку! Батюшка, отец родной! — бормотала старуха.— Вечные времена за тебя богу будем молить... Кормилец... солнышко красное...

— Какая жалкая старуха! — сказал Владимир Петрович, когда благодарственные пожелания старухи замолкли в отдалении.— Как развращает нищета! Этому бедному мальчику всего лет пять-шесть, а он уже знает, что такое кража! Что мудреного, если в двадцать он сделается записным вором. Да, нищета — ужасный бич наших деревень, виновница многих преступлений! — заключил он, словно нищета была какая одушевленная, коварная, порочная тварь, которая злодействовала в деревнях сама по себе, совершенно независимо от существующих порядков, и с которой никак не могло быть сладу.

Маня, шедшая все молча, вдруг проговорила:

— Господи! когда ж это будет?

— Что будет? — спросил Владимир Петрович.

— Всем хорошо,— ответила она,— когда это будет?

— Бедная моя! Это невозможно! — вздохнул Владимир Петрович, грустно улыбаясь такой наивной заботе.

— Как невозможно? Отчего невозможно? — воскликнула Маня.

Владимир Петрович начал развивать и развивал вовсе недурно, почему всем не может быть хорошо, но доводы его не убеждали Маню. Она, правда, была очень неопытна, очень наивна, но по природе своей не могла ставить и богу свечу, и черту кочергу, и подбить ее на это не властны были никакие хитросплетенные выводы; почти во всем она была невежда, но горячая, искренняя преданность тому, чему она служила, помогала ей находить такие ответы, заставляла ее ставить такие вопросы, которые подчас смущали самого искусного диалектика.

— Отчего ж ты не можешь? — возразила она Владимиру Петровичу на его тираду о наслаждении разливать вокруг себя довольство и счастье и невозможности этого сделать.— Кто тебе помешает? Разве ты не можешь вот отсюда прямо пойти и раздать хоть все свои деньги, хлеб, сено, землю — все, что ни пожелаешь? Ведь я правду говорю? Если ты этого хочешь, скажи, что тебя удержит?

Если бы Владимир Петрович решился ответить просто и совестливо, «наивно», он бы сказал, что его удержит мысль, как обедать без портвейна, как не переменять обивки на мебели, как носить старомодные сюртуки; но так просто отвечать было, конечно, зазорно, и он ограничился только примирительным восклицанием, которое выражало и нежное отношение к великодушному благородству неиспытанного и кроткое грустное отрицание его иллюзий:

— Какое ты дитя!

— Почему ты называешь меня дитятей? — пылко возразила Маня.— Разве я не понимаю, что говорю? Разве я говорю бессмыслицу?

— Маня! Неужто ты оскорбилась?

— Нет, я не оскорбилась, но скажи, почему ты называешь меня дитятей?

— Потому, что ты во все веришь, все тебе кажется возможным...

— Как я во все верю? Как все считаю возможным? Разве я верю, что могу оторвать вот эту гору и понести? Разве я считаю, что возможно сейчас же перевернуть весь свет, сделать, чтобы на камнях росли цветы, воскресить мертвых? Скажи... О, что ж ты все только улыбаешься!

— Ты веришь в неосуществимое, Маня...

— Неосуществимо дать то, что у меня есть? Да вот сейчас только ты дал этой старухе пять рублей... дал ведь? осуществимо было? Завтра, когда она к тебе придет, ты также ей можешь дать еще денег или чего хочешь, что у тебя есть... Что ж тут неосуществимого? Что?

— Дорогая моя энтузиастка,— ласково отвечал Владимир Петрович,— не сердись, если я скажу тебе еще раз, что ты — дитя.. совершенное дитя... Тебя манит сияющий шар, и ты тянешься к нему, с огорчением его требуешь, не подозревая, что шар этот только блестит издали, что, как ты возьмешь его в руки, он потускнеет и рассыплется... Есть много вещей, которые можно осуществить, но которые тем не менее я назову неосуществимыми... Я могу, например, завалить потолок в комнате; но этим я ведь только убью себя и тех, кто около меня будет...

— Что ты говоришь! Разве это похоже...

— Постой, я могу, например, дать больному человеку отраву, которая успокоит его страдания, но разве...

— О, не говори так! — прервала Маня.— Я глупа, я не могу взять этого в толк... Скажи мне прямо, без примеров, отчего нельзя тебе, если ты хочешь, устроить по-своему Дубровки... как ты, помнишь, говорил?

— Положим, я так бы сделал,— отвечал Владимир Петрович,— но я бы убавил, а не прибавил добра и света, я принес бы не пользу, а вред...

— Как вред? — вскрикнула Маня.

— Положим, я по евангелию раздаю все имение нищим... разделяю все, что у меня есть, между дубровскими мужиками... Дубровские мужики грубы, потребности у них только животные, стремления далеко не возвышенные,— ты это, верно, и сама сознаешь,— начнется пьянство, ссоры, драка... Разные пиявки, вроде Красухина, которого мы видели в Райском, вопьются с большим усердием в этот невежественный люд и скоро все высосут... Значит, я, собственно, отрекусь от всего для блага Красухиных... Для блага Красухиных я потеряю то, что у нас называется значение и вес в обществе, а вместе с ними и всякую возможность стоять за этот самый народ, возможность хотя медленней, но существенней завоевывать ему образование... Потому что ты знаешь,— ты на себе это испытала, моя бедная! — в нашей среде человек без веса и значения, то есть человек без состояния, как бы пламенно он ни желал что-нибудь

сделать, ничего не может... Его гонят и топчут... И меня стали бы гнать и топтать... Что же бы я тогда выиграл, что выиграли бы другие?

Он еще немало говорил на эту тему, но Маня уже только слушала, а не возражала. До сих пор ее путеводитель говорил ей о борьбе со злом и мраком, о служении добру, о необходимости простора и света, о долге человека неуклонно следовать по пути правды, но тут в первый раз выставил ей на вид не только трудности и тернии этого пути, но и наглядно указал, как опасно быстро по нем стремиться. Ей по-прежнему было противно ползти улиткою, по-прежнему хотелось бежать, бежать, пока не будет достигнута цель, к которой она стремилась, но если поспешность доводит только до беды? Немудрено и то, что мысль об изгнании и топтании дорогого ей человека тоже имела свое действие. Мало на свете петель, которые бы так быстро и беспощадно душили всякое геройство, как опасение за тех, в ком источник наших личных радостей и горестей.

— Мы с тобой так увлеклись разговором, что все время кружились около Княжего провала,— сказал Владимир Петрович, приостанавливаясь.— Как становится жарко! Верно, уж поздно.

Он посмотрел на часы.

— Маня, знаешь, который час?

— Который? — спросила Маня.

— Скоро два!

— Пора домой.

— Погоди несколько минут... Ужасно жарко! А вот здесь так свежо, смотри, точно зеленое гнездышко,— сказал он, указывая ей на три кудрявых дерева, выросших полукругом и заплетенных снизу сетями ползучек.

— Мне пора,— ответила Маня.— Останься здесь, а я пойду.

Владимир Петрович, который было с негой раскинулся в зеленом гнездышке, приподнялся и проговорил, омрачившись:

— Нет, уж в таком случае и я пойду...

— Но тебе жарко, у тебя от жары разбаливается голова...

— Ничего...

И он встал и надел шляпу.

— Ну, останемся вместе,— предложила Маня.

— Зачем же, если тебе этого не хочется? О Маня, я не люблю жертв!

— Что ты, какие жертвы? — проговорила, удивившись, Маня.

— Не затемняй наших отношений, Маня...

— Я не понимаю, что ты говоришь... Чем ты огорчился? Я потому хотела идти, что в последнее время Варвара Ивановна, ты сам замечал, все жалуется, что я беспорядок в доме произвожу... Вчера она сказала мне не опаздывать в другой раз к обеду...

— Маня! Прежде тебя не испугали бы никакие наставления Варвары Ивановны! — отвечал Владимир Петрович, вдруг теряя самообладание.— Дело в том, что прежде ты меня любила, а теперь я начинаю тебе прискучать... Как быстро, Маня! как быстро!

— Я тебя люблю,— проговорила Маня.

— Я ведь тебя не хочу упрекать,— к чему упреки? Да и виновата ли ты? Даже в глупой старой песенке говорится, что сердцу приказать нельзя, не послушается... Я давно замечаю, что ты уже не та... что ты задумываешься. Но, повторяю, я не виню тебя... и что бы ни было, на кого бы ни пал твой выбор, я всегда останусь твоим преданным другом... Пойдем домой, милая...

— Ты думаешь, что я тебя не люблю? — сказала Маня, отстраняя руку, которую он ей предлагал.— Я не хочу идти... не пойду... Как ты мог это сказать? Я тебя люблю...

— Да, ты ко мне и теперь привязана, я знаю,— отвечал Владимир Петрович,— но привязанность эта не заполняет всей твоей жизни... Это — не поглощающее чувство... от него не кружится голова... Бывают, Маня, чувства, которые завладевают всем нашим существом... когда любимый человек для нас все, когда мы по одному его слову готовы на всякое безумство... Когда скажи он: «Кинься в эту яму!» (Владимир Петрович указал на Княжий провал), и ты без колебаний, без размышлений кинешься... ну, что ж ты так на меня смотришь? — прибавил он с принужденной улыбкою.— Согласись, ведь скажи я тебе кинуться в Княжий провал, ты бы не кинулась? ты...

Он дико вскрикнул: Маня рванулась и без колебания, словно в реку купаться, туда кинулась. Он успел ухватить ее за платье, удержал от смертельного падения в провал, но не мог предохранить от тяжелого ушиба о первую гряду выступавших камней.

— Маня! Маня! — лепетал он, бледный, как полотно, смаргивая набегавшие слезы и дрожавшими руками то растерянно щупая, прочно ли стоит каменная глыба, на которую он уложил так для него неожиданно отличившуюся безумством девушку, то прикладывая платок к ее смочившимся кровью волосам, то покрывая ее поцелуями,— Маня! дорогая! милая! бедная!

Маня не была в обмороке, ее только ошеломило, и она скоро очнулась. Увидав наклоненное над нею бледное лицо Владимира Петровича, встретив его полные слез глаза, она обвила руками его шею и зарыдала.

— Я тебя люблю! я тебя люблю! — вырвалось среди рыдания.— Ты для меня — все на свете!

V

РАЙСКАЯ ГРОЗА

Расплох тароват живет.
Русская пословица

Уже много лет ключница Анна Ларивоновна совмещала в своем лице и министерство внутренних дел, и полицейское ведомство в Райском; но за последние годы и министерская, и полицейская ее деятельность значительно сузились, тех и других текущих дел стало гораздо меньше, и все они грешили печальным однообразием. Ум ее теперь часто бездействовал и административные таланты глохли. Да и могло ли быть иначе, когда народ сплошь испортился, а ее пенитенциарная система валялась, что называется, под лавкой, и если о ней еще вспоминала какая-нибудь Аксютка или Сашка, то беспечно, как об утратившей всякое жизненное значение. Анна Ларивоновна чуяла, что ее пора проходит, что она некоторым образом пала, и со всею своею энергиею,— а энергии у нее было достаточно — держалась за ту долю могущества, которое еще уцелело. Она обладала мастерским умением впадать в тон и артистически обрабатывать всякую мелочь. Даже из такого неблагодарного материала, как выписанные Варварой Ивановной немцы, она ухитрилась творить чуть не поэмы, а что, кажется, можно извлечь из существ, которые аккуратно каждое утро одинаковым тоном произносят «amen»

после молитвы, аккуратно каждый день наполняют до известной линии свою чашку кофе, аккуратно сметают пыль, аккуратно прогуливаются в праздник, аккуратно штопают чулки в будень и даже аккуратно крадут, только по четвергам, и в один четверг не больше и не меньше, чем в другой. Но если Анна Ларивоновна умела по всякой канве выводить затейливые узоры и их выводила, это еще не значит, чтобы всякая канва ее одинаково увлекала и одинаково заставляла биться ее сердце. Она осталась в девицах и, хотя очень этим гордилась, называя себя христовой невестой и с пренебрежением относясь к своим семейным сверстницам, но все, прямо или косвенно относящееся к смертным женихам и мужьям, имело для нее поглощающий интерес, и ее избранной, облюбленной специальностью было выслеживание романических историй. Она так же искренно скорбела об униженных господах, как и об утрате собственного прежнего значения, и со страстью вымещала, где и когда могла, свою скорбь на разных Катьках и Машках, считая их почему-то главными зачинщицами и виновницами крестьянской воли; но тут не было того духа захватывающего наслаждения, с каким она нападала на след романического свидания или, притаившись где-нибудь в углу коридора, по целым часам выжидала появлений недостойной, не устоявшей против искушений греховной любви.

Но теперь в райском доме — хоть шаром покати, исчез рой порочных, но дававших интерес жизни горничных, остались два немца. Правда, немцы, еще не успев доехать от Москвы до Серпухова, почувствовали взаимное влечение, а в Туле уже обменялись кольцами, но это был совершенно особый немецкий роман, нравоучительный и вместе жалкий, неспособный завлечь, в котором нечего было ни угадывать, ни подстерегать.

Когда, спустя недели две после приезда Луизы, Анна Ларивоновна саркастически заметила, что она, Анна Ларивоновна,— не простачка и видит, что видит, Луиза непочтительно, но спокойно ей ответила:

— Ну, да, мы имеем любовь и будем жениться.

Анна Ларивоновна попробовала обратиться к Гансу и смутить его сарказмом, но и Ганс отвечал:

— Ну, да, мы имеем любовь и будем жениться.

Анна Ларивоновна попробовала заменить сарказм дружелюбием и таки добиться тут капли какого-нибудь драматизма и стала закидывать намеки Луизе о непостоянстве

мужчин, а Гансу о ветрености женщин и обоим вместе о неверности земных благ и тщете людских надежд; но Луиза неизменно отвечала ей:

— О, Ганс меня не переменяет. Он имеет ум и может понимать, что я не бедняжка, что я маленький капитал имею!

А Ганс неизменно отвечал, что Луиза его не переменяет, что Луиза имеет ум и может понимать, что он не бедняжка и маленький капитал имеет, а оба вместе, хотя и не спорили, что земные блага неверны, людские надежды обманчивы, но по-прежнему безмятежно мечтали о покупке земли в русской провинции, постройке домика с балкончиком и поместительной кладовой, о цветничке с рабатками из английской мяты и особом способе приготовления земли под картофель для получения этого любимого припаса, по крайней мере, вдвое больше обыкновенного.

— У нас теперь не наживетесь,— стращала Анна Ларивоновна,— у нас теперь мужики хуже Мамая воюют!

— О, это ничего, это leeres Zeug [1], мужик не имеет ума и не имеет денег; он будет радоваться нам служить, когда мы будем рубль показывать,— отвечали непобедимые немцы.

И вот однажды, когда уныние и раздражение Анны Ларивоновны доходило до крайнего предела, Анна Ларивоновна нежданно-негаданно напала на роман,— на чудесный, драматический, потрясающий роман. Нечаянно обретенный клад до того ее поразил, что она чуть не заплакала от радостного смятения.

Затем явилось мучительное сомнение, не вообразилось ли ей, точно ли это сокровище — не мечта, не сон, а явь: она с трепетом принялась выслеживать и с упоением убедилась в истине своих догадок.

Ввечеру того же счастливого дня Анна Ларивоновна, разув лежавшую в постели барыню, стала в ногах барской кровати, сложила ладони на поясе, точно придерживала припарку под ложечкой, и сказала:

— Варвара Ивановна, прикажете не запирать на ночь балконную дверь?

В тоне этих слов было что-то до того таинственное, что Варвара Ивановна встрепенулась и с живостью проговорила:

---

[1] Совершенная глупость *(нем.)*.

— Как не запирать? Отчего не запирать? Что такое? Что ты видела?

— Да вот Марья Михайловна через балкон по ночам гулять ходят...

— По ночам гулять? Что это за новости? Когда она ходила?

— Вчера ходили.

— Ты сама видела?

— Сама, Варвара Ивановна, а то разве бы я осмелилась вам докладывать? Я в первом часу вышла в гостиную убрать пионные семена,— виновата, матушка, забыла с вечера (Анна Ларивоновна сделала свой быстрый, неслышный, скорпионовский оборот около кровати и чмокнула пухленькую барскую ручку) — выхожу и вижу — дверь на балкон не приперта. Ах! думаю, никто-то не бережет господского добра! А времена теперь такие, что, того и гляди, какой-нибудь разбой... И хочу запереть, и вдруг вижу, кто-то с балкона — шурух в аллею, и точно как Марья Михайловна. Глазам своим я не поверила, Варвара Ивановна! Ну, зачем, думаю, Марья Михайловна ночью в сад пойдут? Заглянула в их комнатку — пусто. Ну, что ж, думаю, оне у нас такие затейницы, что куда захотели, туда и пошли, а все-таки я должна их поискать, потому что если Варвара Ивановна препоручают мне за всем смотреть, так я не могу этого не исполнить. Какая же бы я после этого раба?..

— Где же ты ее нашла?

— Весь сад перешарила, Варвара Ивановна,— нету и нету, словно сгили и пропали...

— Не нашла? Да где же она была?

— Как же я смела не найти, Варвара Ивановна? Уж умерла бы, а нашла... Стою я около ограды, уж у самого леса, не знаю, куда мне обернуться, и вдруг слышу — разговаривают в кустах...

— Разговаривают! — вскрикнула Варвара Ивановна.— С кем же она разговаривала?

— Ох, не знаю, Варвара Ивановна. Похож как будто на Владимира Петровича...

— На Володю? Ты с ума сошла! этого быть не может. Перестань говорить глупости!

Тем не менее, Варвара Ивановна пришла в величайшее волнение.

— Ну же, говори дальше, что ж ты замолчала? — раздражительно приказала она Анне Ларивоновне, покорно запечатавшей уста после барского восклицания: «Перестань говорить глупости»...

— Я хотела послушать, Варвара Ивановна, да мало слышно... Хотела я поближе подойти, да побоялась: зашумели ветки, и Владимир Петрович сейчас вскочили и сказали: «кажется, кто-то идет». Слышала только, что Владимир Петрович про Княжий провал поминали и заверяли, что «никогда, мол, я того не забуду, как ты мне доказала любовь»...

— Боже мой! что ж это такое! — проговорила Варвара Ивановна, всплескивая беспомощно ручками.— За мою доброту, за мою...— Иди, позови ее ко мне!.. Нет, я лучше сама пойду... Обувай меня скорей!

Варвара Ивановна вскочила на постели и протянула ножки Анне Ларивоновне, которая в мгновение ока облекла их в чулки и туфли.

— Капот дай! капот дай! — торопила Варвара Ивановна,— и возьми свечу... проводи меня...

— Их теперь в комнате нету,— заметила Анна Ларивоновна, поспешно накидывая на барские плечи капот.

— Где ж она? Где ж она?

— Верно, в саду, Варвара Ивановна...

— Я в сад пойду!

И Варвара Ивановна мелкими шажками побежала через анфиладу комнат на балкон.

— Потише, Варвара Ивановна, ножку ушибете,— шептала следовавшая за ней Анна Ларивоновна,— и спугнете их.

— Куда? Куда идти! Где они?

— Сюда пожалуйте, по липовой аллейке...

Варвара Ивановна пустилась по аллее, как круглая козявочка, ее спутница скользила за нею быстрым скорпионом.

Ночь была тихая, теплая и не месячная; только звезды мерцали на безоблачном небе.

— Сюда пожалуйте, сюда своротите, Варвара Ивановна,— шепнула путеводительница,— в Белую беседку... Там сидят, вижу, там...

— Кто здесь? кто здесь? — взвизгнула, как пронзительный паровой свисток, Варвара Ивановна, вбегая в Белую беседку, путаясь ножками в высокой траве, подпрыги-

вая и вытягивая вперед шейку.— Кто здесь? Я вижу, что здесь кто-то есть!.. я вижу! Кто здесь?

— Я,— ответила Маня, поднимаясь с дерновой скамьи.

— Ты! одна ты? Зачем ты здесь? Не вздумай притворяться: я все знаю, все!.. Прекрасно ты мне отплатила, прекрасно! Я, впрочем, всегда это ожидала: telle mère, telle fille! Прекрасно! прекрасно! Это за то, что тебя облагодетельствовали? Да, да, telle mère, telle fille!.. [1]

— Моя мать...— начала Маня дрожавшим, совсем глухим голосом.

— Так правда? правда? — с визгом перебила ее Варвара Ивановна.— А, ты не признаешься! ты хочешь меня одурачить! Но меня одурачить нельзя! Я все знаю, все! Ты надеешься обмануть...

— Я не хочу обманывать,— проговорила Маня.

— Ах, какая ты вдруг стала святая! Ты...

— Владимир Петрович идут! — шепнула Анна Ларивоновна, прижавшаяся к изгороди так, что ее совсем нельзя было отличить от темной зелени.

— А, Владимир Петрович идет? Прекрасно, что идет! Я спрошу у него, зачем он сюда идет? Зачем он по ночам является в мой сад, бесчестит дом благородной женщины... дом тетки... Прекрасно! Прекрасно! Прилично благородному человеку! Похвально... Где ж он, Владимир Петрович?

Варвара Ивановна старалась храбриться, но храбрость ее неудержимо убегала, как воздух из прорезанной каучуковой подушки, и она тревожно вертела головкой во все стороны, повторяя:

— Где ж он, Владимир Петрович? где он?

— За кустами стали,— шепнула Анна Ларивоновна.

— А, прячется! прячется! — вскрикнула Варвара Ивановна.— Похвально, Владимир Петрович! В моем доме завести интригу! Quelle horreur! [2] Как благородно! Как...

Кусты справа зашевелились, и Варвара Ивановна запнулась.

Появился Владимир Петрович.

— Что такое? — проговорил он, окидывая глазами беседку.

---

[1] Какова мать, такова дочь... Какова мать, такова дочь... *(франц.)*

[2] Какой ужас! *(франц.)*

Он, разумеется, отлично знал что такое, но не приискал лучшего вступления.

— Et vous me demandez? — взвизгнула Варвара Ивановна.— Et vous... [1]

Владимир Петрович подошел к Мане, неподвижно остававшейся на месте, взял ее руку и поцеловал.

Варвара Ивановна так и присела мимо дерновой скамьи на траву.

— Прости меня, мой дорогой друг,— сказал Владимир Петрович Мане,— прости мне все это горе и унижение!

И он опять поцеловал ее руку.

Анна Ларивоновна, не веря ни глазам своим, ни ушам, высунулась из засады и так замерла, словно скорпион, которого кто сразу пришпилил.

— Ménagez-moi, Владимир Петрович! Ménagez-moi! — взвизгнула Варвара Ивановна и, цепляясь за дерн, царапая ручки, поднялась с травы.— Пощадите! При мне! на моих глазах! Ça n'a pas de nom! [2]

— Тетя! — предостерегательно произнес Владимир Петрович.

— Ça n'a pas de nom! Ça n'a pas de nom! Как вы могли себе позволить... в моем доме... Oh mon dieu! J'en mourrai! [3] Эта змея...

— Тетя! — еще предостерегательнее проговорил Владимир Петрович.— Я вам сейчас объясню... Маня, моя дорогая,— обратился он к Мане,— поди в аллею, подожди меня там.

— Я не позволю у себя в аллее свидания назначать! — прошипела, как внезапно испортившийся органчик, Варвара Ивановна,— не позволю! не позволю! не позволю! Cette indigne, cette effrontée... [4]

— Тетя! замолчите! — крикнул Владимир Петрович.

— Comment? [5]

— Замолчите! — повторил Владимир Петрович, задыхаясь.— Стыдитесь!.. Зачем здесь эта женщина?

(Анна Ларивоновна, которую он только тут увидал, юркнула в листву).

---

[1] И вы меня спрашиваете?... И вы... *(франц.)*

[2] Пощадите меня, пощадите... Этому нет названия! *(франц.)*

[3] Этому нет названия! Этому нет названия!.. О, боже! Я умру от этого! *(франц.)*

[4] Эта недостойная, эта бесстыдная... *(франц.)*

[5] Как? *(франц.)*

— Как могли вы так оскорблять...

— Я не позволю в своем доме!.. не позволю! не позволю!—лепетала Варвара Ивановна, заикаясь от ярости:— A! Telle mère, telle fille!.. telle mère, telle fille! [1]

— Маня! — сказал Владимир Петрович,— пойдем со мной!

Он взял ее под руку и хотел выйти из беседки.

— Я не позволю! не позволю! я велю позвать людей!— грозила Варвара Ивановна, стараясь заступить ему дорогу своим маленьким тельцем и спотыкаясь,— я... я... Володя, опомнись! объяснись!.. C'est infâme! [2] Как ты смеешь ее уводить!

— Я увожу свою невесту,— сказал Владимир Петрович, отстраняя ее, вышел с Маней из беседки и быстро скрылся между деревьями.

---

[1] Какова мать, такова дочь! Какова мать, такова дочь! *(франц.)*

[2] Это бесчестно! *(франц.)*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

РАЙСКАЯ ПОСЛАННИЦА

Disperse then to your post: be firm and vigilant;
Think on the wrongs we bear, the rights we claim.
Byron [1]

Месяца через два после драматической ночной сцены в райском саду около десятка закопченных, опаленных мужиков собрались ясным осенним полднем на зарубьевском дворе. Это были горемычные погорелые из ближней деревни Чудовки. Беда постигла их всего сутки, и они еще не успели придти в себя; глаза у них лихорадочно блестели, и лица беспрестанно подергивались и искажались. В ожидании хозяина, отлучившегося по делам, они стояли перед его супругою, Аполлинарией Федоровной, которая, сидя на ступеньке крыльца и щелкая кедровые орехи, расспрашивала их о пожаре.

— И это овцы погорели? — говорила она, ловко вышелушивая языком кедровое зернышко.

— Погорели,— отвечал пожилой мужик, стоявший впереди других.

— И это живьем?

— Живьем.

— Что ж, блеяли?

— Блеяли.

— И овины погорели?

[1] Ступай на свой пост, будь стойким и бдительным, подумай о несправедливостях, которые мы терпим, и о правах, которые мы требуем.
Байрон (англ.)

— И овины.
— И жарко горели?
— Жарко.
— И это вся деревня сгорела?
— Вся.
— И жарко горела?
— Жарко.
— И старик сгорел?
— Сгорел.
— Что ж, кричал?
— Не слыхали.
— Как же это он горел и не кричал?

Мужик ничего не ответил, только посмотрел на нее расширившимися глазами, как пытаемый на палача.

— Славу богу, что церква-то осталась цела! — продолжала Аполлинария Федоровна, доставая из кармана своего розового сарафана новую горсть орехов.— Сгори церква, так беда: помолиться бы вам, покаяться в грехах,— негде! А это вам все за ваши грехи... Что-то никак тарахтит?

Она подняла вверх свой многоугольный носик, сжала малиновые губы, вытянула белую шею и стала прислушиваться.

Действительно, тарахтели колеса.

— Евдоким Евдокимович едут,— проговорила она, вставая.

Мужики заволновались и тоскливо переглянулись.

Из-за угла сада показалась и повернула к двору новенькая тележка с резным задком, запряженная коренастой, сытой лошадкой, которой правил Евдоким Евдокимович.

Он бойко подкатил под крыльцо, еще издали одним взглядом распознал, что за посетители и зачем его ждут, ловко спрыгнул на землю, встряхнулся и крикнул батраку отпречь лошадь.

— Позвольте, Евдоким Евдокимович, я чуечку получше встряхну,— сказала Аполлинария Федоровна.

— Чего пожаловали? — спросил Евдоким Евдокимович, сбрасывая жене на руки щегольскую синюю чуйку и обращаясь к мужикам, которые уже в третий раз ему низко кланялись.

— К твоей милости, Евдоким Евдокимович,— отвечал неровным голосом пожилой мужик, сообщавший перед тем Аполлинарии Федоровне, жарко ли горела деревня.

— Чего ж это к моей милости?

Евдоким Евдокимович потирал свои белые руки, как человек, который только что обделал одно отличное дельце и сбирается обделывать другое, тоже изрядное; румянец у него играл во всю щеку, глаза сияли довольством, и, хотя он обращался к мужикам, как подобает к низкому народу, презрительно, в этой презрительности слышалась веселая нотка.

Веселая нотка как будто несколько ободрила просителей.

— Погорели, Евдоким Евдокимович,— начал все тот же пожилой мужик.— Все как есть погорело, дотла...

— Слыхал,— отвечал Красухин, садясь на крыльце и поглаживая свою волнистую бородку.

— Все дотла...— повторил мужик и остановился.

— И сгорел у них, Евдоким Евдокимович, старик,— вмешалась Аполлинария Федоровна,— и как горел, не кричал!

— Слыхал, слыхал,— повторил Евдоким Евдокимович.

— И как это он не кричал? — дивилась Аполлинария Федоровна.

— Так вот мы к твоей милости, Евдоким Евдокимыч,— опять начал мужик.

— Что ж к моей милости? — спросил Евдоким Евдокимович.

— Не поможешь ли...

— То есть это как же я помогу?

— До зарезу приходится, Евдоким Евдокимыч... Бабы в погребу сидят, не в чем на свет показаться... есть нечего... Помоги, Евдоким Евдокимыч!

— То есть это каким же манером я помогу?

— Уж мы тебе отслужим, как угодно... Уж какую работу ни прикажешь, мы справим...

— Да у меня и работ никаких нету. Какие работы теперь, когда уж зима на носу!

— Весною, Евдоким Евдокимыч, мы тебе, что прикажешь...

— До весны ждать далеко, до той поры, может, помрем.

— Помоги, Евдоким Евдокимыч! — проговорил мужик.

— И чего это я вам стану помогать? — спросил Евдоким Евдокимович.

— Уж и правда! — отозвалась Аполлинария Федоров-

на, снова усевшаяся на ступеньки крыльца и принявшаяся за орехи.— Все помогай да помогай вам!

— Или я к эвтому контрактом обвязался? — продолжал Евдоким Евдокимович.— Кажется, я контрактом не обвязывался!

— Совсем ведь пропадаем! — проговорил мужик.

— А какая ж мне об эвтом печаль? — возразил Евдоким Евдокимович.

— Не губи! — проговорил мужик.

— Не губи! — пробормотали другие.

— Не могу я понять, чего это вы ко мне идете! — продолжал Евдоким Евдокимович.— Удивляюсь тому! Чего это я вам надобен!

С минуту длилось молчание. Мужики стояли неподвижно. Евдоким Евдокимович щелчками сбивал пылинки с своих плисовых шаровар. Явственно слышно было, как Аполлинария Федоровна раскусывала каждый орешек.

— Евдоким Евдокимович! — опять начал пожилой мужик.

— Уж давно так зовут,— отвечал Евдоким Евдокимович.

— Помоги!

— Помочь?

— Помоги, Евдоким Евдокимыч! Какую хочешь работу задай, только помоги!

— И тебе помочь? — обратился Евдоким Евдокимович к сгорбленному старику.

Тот дрогнул, растерянно поглядел на обращенное к нему румяное лицо и начал кланяться.

— Что ж, помочь можно,— продолжал Евдоким Евдокимович,— отчего не помочь! Уж не знаю, как другим прочим, а тебе бы я от всей моей охоты...

— Заставь за себя бога молить! — пробормотал старик.

Он с тревожным недоумением принимал неожиданную благосклонность, но его увядшее, искаженное горем лицо все-таки просветлело.

— Да, тебе бы я от всей моей охоты,— повторил Евдоким Евдокимович.

— Заставь за себя бога молить! — снова пробормотал старик.

— Только вот, как ты от кровопивцы будешь помочь принимать? — продолжал Евдоким Евдокимович.— Кровопивца-то ведь кровь пьет! Нет, уж не выходит тебе от меня

помочь принимать — не рука! Уж тебе лучше идти да опять по кабакам славить, каков я кровопивца.

Старик побелел, что-то заговорил, но тотчас же смолк.

— Да как же это ты смел! — ахнула Аполлинария Федоровна.— Да ты знаешь ли, что тебе...

Евдоким Евдокимович оглянулся на нее через плечо и этим взглядом словно припечатал ее малиновые губы.

— Да тебе теперь сподручнее повернуть хоть бы в тот же дерновский кабак, да там и учить, каков я кровопивца,— продолжал Евдоким Евдокимович.— На этом больше, брат, выгадаешь. Кто послушает — похвалит, а ты с того какую важнейшую паневу-то своей бабе купишь — загляденье! И прокормишься тем, и пропоишься, одно слово, барином заживешь! Рысаков купишь, каменные хоромы поставишь...

— Прости! — вдруг проговорил старик и беспомощно заплакал.

— Уж не стал бы я на твоем месте у кровопивцы прощения просить! — отвечал, посмеиваясь, Евдоким Евдокимович.

Старик поклонился ему в ноги.

— Прости! прости! — бормотал он.— Старуха чуть жива... расшиблась...

— А я причем при твоей старухе? — отвечал Евдоким Евдокимович.— Хоть я — и кровопивца, а только я твоей старухи не расшибал. Я твоей старухе ничего худого не сделал. Кабы знатье, что ей расшибиться, я бы побежал да ей соломки подостлал...

Лай цепных собак возвестил появление нового лица и прервал юмористическую речь зарубьевского владельца.

В воротах показалась черная, сухая фигура в голубой с белыми и желтыми разводами шали и белой тюлевой косынке на голове и так быстро приближалась к крыльцу, словно подол ее коричневого платья прикрывал не две, а восемь ног.

— Цыцте! — крикнул Евдоким Евдокимович на собак и, встав навстречу гостье, приветствовал ее поклоном и улыбкою.

— Наше вам почтение, Анна Ларивоновна! Какая это счастливая планида вас к нам занесла? Милости просим!

— Милости просим, Анна Ларивоновна,— повторила Аполлинария Федоровна, непритворно обрадовавшаяся

посетительнице, от которой непременно предстояло узнать много текущих новостей.

— Здравствуйте, Евдоким Евдокимович, здравствуйте, Аполлинария Федоровна! — отвечала гостья.— Как вы, в своем здоровье?

Она запыхалась от торопливой ходьбы; на ее поблеклых желтых щеках выступило по яркому алому пятнышку и большие бегающие черные глаза блестели.

— Слава богу, Анна Ларивоновна, как вы, в своем? — отвечал Евдоким Евдокимович.

— Слава богу,— повторила Аполлинария Федоровна,— как вы, в своем?

— Милости просим, Анна Ларивоновна, пожалуйте! пожалуйте!

И Евдоким Евдокимович, слегка наклонившись и изогнув стан, не без грации простер руки к входным дверям.

— В гостейную пожалуйте, Анна Ларивоновна,— с поклонами приглашала Аполлинария Федоровна.

— Евдоким Евдокимович! — тоскливо окликнули мужики, видя, что он следует за женой и гостьей.

— Разве я могу с вами теперь заниматься, когда ко мне гости пожаловали? — ответил Евдоким Евдокимович, оборачивая через плечо голову к мужикам.

— Подождать прикажешь? — спросил пожилой мужик.

— Уж это — ваше дело: не терпится, так и не ждите. Я вас не держу.

— Как можно, Евдоким Евдокимович, мы подождем... Мы тут посидим...

— Экой народ бесчувственный! — обратился Евдоким Евдокимович к Анне Ларивоновне.— Того сообразить не может, что мне не до их глупых делов, когда такие редкие гости делают мне удовольствие, и я с ними желаю время проводить. Пожалуйте, Анна Ларивоновна, на диванчик покорно прошу...

Все уселись в бывшей гостиной отставного юнкера Караваева, где теперь на любимые гравюры покойного владельца, изображавшие турчанок с чубуками и без чубуков, проливался свет пятифунтовой малиновой хрустальной лампады, которая теплилась перед красивым большеглазым свежо написанным чудотворцем в позолоченной ризе.

— Уж как обрадовали, Анна Ларивоновна,— пропела хозяйка, втискивая свою объемистую фигуру в кресло.

— А вы все молодеете, Анна Ларивоновна,— начал разговор любезный хозяин.— Просто цветете, как цвет.

— Уж полноте насмехаться, Евдоким Евдокимович,— отвечала Анна Ларивоновна, развязывая бантик тюлевой косыночки, открывая большую, черную, как таракан, бородавку под подбородком и обнажая черную голову, украшенную высоким роговым гребнем, который придерживал на затылке свитую шариком косу, напоминавшую обмоченный в чернила грецкий орех средней величины.

— Как вы можете так обо мне предполагать, Анна Ларивоновна, это — даже обида-с! Я от чистой совести, от всей моей души вам правду говорю... Хотите, завтра вам женишка сосватаю!

— Ах, что это вы, Евдоким Евдокимович! Да сохрани меня боже! Да ни за что на свете!

— Напрасно, Анна Ларивоновна!

— Ах, нет, нет, и не говорите! Нет, я — христова невеста, Евдоким Евдокимович.

— Оно, конечно, Анна Ларивоновна, а все-таки, как женишок...

— Ах, нет, Евдоким Евдокимович!

— Отчего ж так не соглашаетесь? — промолвила Аполлинария Федоровна.

— Нет, нет... И не говорите!.. Я к вам по одному делу, Евдоким Евдокимович.

— Экие вы какие, Анна Ларивоновна! Нет того, чтобы вам погулять: все дела да дела! — отвечал Евдоким Евдокимович, при первом взгляде на гостью понявший, что она явилась не просто в гости.— А я вот так не люблю никаких делов. Дела — смерть моя!

— Я от Варвары Ивановны,— продолжала Анна Ларивоновна.

— Как они, в своем здоровье? — осведомился Евдоким Евдокимович.

— Слава богу, покорно вас благодарю... Варвара Ивановна приказали вас просить сейчас к ним приехать.

— Я завсегда рад служить Варваре Ивановне,— отвечал Красухин,— я с моим удовольствием, только вот теперь совсем время нету...

— Ах, боже ты мой! что ж это делать! — воскликнула Анна Ларивоновна.— Вас беспременно надо! Беспременно, беспременно!

Анна Ларивоновна пришла в большое волнение.

— Душою бы рад, Анна Ларивоновна, да не могу,— мягко отвечал Красухин.

— Хоть на минуточку, Евдоким Евдокимович.

— На минуточку-с? У нас такая пословица, что копеечка рубль бережет, а минуточка часик стережет, и эта пословица верная, Анна Ларивоновна.

— Варвара Ивановна не пожалеют, наградят вас...

— Чувствительно за то им благодарны, Анна Ларивоновна.

— Что ж, Евдоким Евдокимович, поедете?

Анна Ларивоновна начала задыхаться.

— Да что там у вас такое? — спросил Красухин.

— Да все то же дело...

— Какое ж это дело?

— Да про браслет...

— Что ж про браслет? Опять, что ль, отец Павел на меня доносит, что я краденое скупаю?

— Что вы, что вы, Евдоким Евдокимович! как можно! Да Варвара Ивановна и тогда этому не поверили... Они очень вас знают... И уж как ласково примут...

— Да что ж я, Анна Ларивоновна, причем при этом браслете? Я не понимаю.

— Варвара Ивановна желают, чтобы вы только судье ответили...

— Что я ему могу отвечать? Я ни при чем.

— Мужик к вам приходил продавать...

— Пришел, а я ему ворота показал — и только. Пущай уж судье отец Павел отвечает. Ему оно подобней, потому он у этого мужика товар забрал... Вы лучше отца Павла позовите.

— И отец Павел будет... Судья сказал, что всех надо.

— Значит, уж судье жаловались?

— Жаловались, жаловались... Варвара Ивановна писали записку, а потом сами два раза ездили. Говорит, надо беспременно, чтобы все свидетели собрались. Беспременно вас надо, Евдоким Евдокимович!

— Да что ж это, нешто тут Евдоким Евдокимович виноват? — проговорила Аполлинария Федоровна, у которой глаза округлились, и малиновые губы, вместо улыбки, представляли безукоризненное очертание червонного туза.

— Ах, боже мой! Кто ж говорит, что виноват! — воскликнула Анна Ларивоновна.

— Так чего ж его к судье ташшить? — спросила Аполлинария Федоровна и вся всколебалась, как гигантская молочная волна.

— Ах, кто ж тащит? — воскликнула Анна Ларивоновна.— Варвара Ивановна просят только ответить... только одно слово сказать... Они и сами там будут... и сами будут отвечать...

— И пущай сама отвечает! Бог с ними, с судьями! Им только попадись, так и засудят. Вон у нас купец Махоткин только издали, только одним глазком, говорят, видел, как чужого теленка резали, а совсем засудили... Всего имения решился, и жена померла... Нет, Евдоким Евдокимович, уж вы ни за что не ездите! На кого ж вы меня тогда покинете?

— Ах, боже мой! Ах, боже мой! Вы совсем это не так понимаете! совсем не так! — убеждала Анна Ларивоновна.

— Нет уж вы, Евдоким Евдокимович, ни за что не ездите! На кого ж вы меня тогда покинете? — повторяла Аполлинария Федоровна.

— Полно, полно! — сказал Евдоким Евдокимович, не без самодовольства видевший нежное беспокойство супруги,— как ежели совесть у меня чиста, так я ничего не боюсь.

— А вот купец Махоткин не виноват был! — возразила расколебавшаяся Аполлинария Федоровна.

— Полно, полно. Купец Махоткин — мне не пример.

— Что ж, Евдоким Евдокимович, неужели вы захотите огорчить Варвару Ивановну, неужели не поедете? — спросила Анна Ларивоновна.

От нетерпения и сомнений в успехе она вся нервно вздрагивала и чуть не до крови кусала свои тонкие губы.

— Да уж, право, не знаю, Анна Ларивоновна,— отвечал Красухин,— уж, право, не знаю... Время-то совсем недостаток!

— Уж вас наградят, поверьте моему слову! Уж будете довольны!

— Я не из каких-нибудь наградов, Анна Ларивоновна,— не без чувства возразил Евдоким Евдокимович,— а потому, что очень преданности много имею для Варвары Ивановны... Уж для них я на все готов!

— Только вы поскорее, Евдоким Евдокимович, они ждут не дождутся! Когда ж вы?

— Ехать, так ехать сейчас,— отвечал Красухин.

— Так поедемте, Евдоким Евдокимович! Подвезите меня, будьте такие добрые... Сюда шла — изморилась... И нога у меня болит; как заноет, так даже в сердце кольнет...

Христова невеста лукавила: ноги у нее были еще резвы и здоровы, как у козы; но она, по страстности своей натуры, не терпела никаких проволочек и могла только тогда успокоиться, когда держала добычу в руках.

— С моим удовольствием подвезу, Анна Ларивоновна,— отвечал Красухин и, обратясь к супруге, прибавил:

— Велите-ка, Аполлинария Федоровна, гнедую лошадку запречь.

— Не ездите, Евдоким Евдокимович! — начала было Аполлинария Федоровна.

— Довольно поговорили, Аполлинария Федоровна,— прервал супруг.

— Купец-то, Махоткин...— пробормотала Аполлинария Федоровна.

— И про купца Махоткина довольно. Вы бы лучше нам на дорожку закусочку спроворили!

— Нет, нет, Евдоким Евдокимович! Вы у Варвары Ивановны закусите! — воскликнула Анна Ларивоновна.

— Не обидьте-с, не побрезгайте нашим хлебом-солью,— настаивал любезный хозяин.

— Нет, нет, Евдоким Евдокимович, не могу! В другой раз, а теперь еда на ум не идет... сердце не на месте!

— Зачем же так печалиться! Не бережете своего здоровья, Анна Ларивоновна,— мило упрекнул Красухин.— Так не согласны?

— Нет, нет...

— Велите гнедую лошадку запречь, Аполлинария Федоровна.

Аполлинария Федоровна, очевидно волнуемая желанием снова напомнить о злополучной судьбе купца Махоткина, однако не осмелилась этого сделать и покорно отправилась приказывать запречь гнедую лошадку.

— У вас, Анна Ларивоновна, значит, кашка заварилась! — улыбнулся Красухин.

— Уж и не говорите, Евдоким Евдокимович! Такие теперь времена настали, что ужасти!

— Да-с, времена ужасные! — подтвердил Красухин, поглаживая бородку.

— Ведь это что же такое, Евдоким Евдокимович, ведь это жить невозможно, когда мужики самовольничают!

— Да-с, уж теперь все за мужиков, как за каких-то-нибудь принцов.

— Только пальцем их тронь, так сейчас грубости...

— Да-с, уж народ бесчувственный. Только эвту вашу кашку будет большое беспокойство расхлебывать!

— Какое беспокойство? Кому беспокойство?

— Варваре Ивановне преимущественно, потому оне все это затевают, а там и нам, грешным.

— Разве мы крали? Разве мы крали? — подпрыгнула Анна Ларивоновна.

— Помилуйте, Анна Ларивоновна, как можно! Только ведь эти суды просто бедовые: всякого могут оболванить, даже самого богатейшего генерала или графа! Я бы так советовал Варваре Ивановне, чтобы они это дело оставили.

— Что вы! что вы! да Варвара Ивановна ни за что на свете... да они скорей в гроб лягут!

— Беспокойство одно, Анна Ларивоновна, да напрасная трата.

— Пускай хоть смерть, а Варвара Ивановна свое докажут!

— Не стоит, Анна Ларивоновна...

— Как не стоит! Как не стоит! Неужели и вы уж за хамов, Евдоким Евдокимович? Неужели?

— Помилуйте, Анна Ларивоновна, за что так худо обо мне полагаете? Я не заслужил-с. Ежели я советую, то я для Варвары Ивановны, для ихней пользы.

— Не надо им никакой пользы! Оне одного желают... Да скоро ли же мы поедем?

— А вот, как запрягут лошадку.

— Может, уж запрягли.

— Оповестят-с, не преминут.

— Нет, Евдоким Евдокимович, уж ежели хамам дать волю или потачку, уж ежели...

Аполлинария Федоровна, вошедшая с докладом, что лошадь запряжена, прервала речь христовой невесты, которая быстро вскочила, быстро скрыла под тюлевой косыночкой высокий роговой гребень, косу в виде грецкого ореха и большую бородавку под подбородком, быстро троекратно чмокнула хозяйку в губы и устремилась на крыльцо.

— Не беспокойте себя напрасно, Аполлинария Федоровна,— сказал Евдоким Евдокимович провожавшей его

супруге, принимая из ее рук и на ходу одевая синюю чуйку,— целы и невредимы к вам возвратимся!

Супруга ахнула.

— Пустяками себе голову не забивайте, а лучше по хозяйству старайтесь,— добавил Евдоким Евдокимович, выходя на крыльцо.

При его появлении мужики, сидевшие неподалеку от крыльца на куче сваленных бревен, встали; но Евдоким Евдокимович не обратил на мужиков внимания и, любезно усадив свою спутницу в тележку, поместился около нее.

— Евдоким Евдокимович! — с сдержанным отчаянием окликнул его пожилой мужик.

— Я,— отвечал Евдоким Евдокимович.

— Как же ты нам прикажешь?

— Что прикажу?

— Да насчет того...

— Насчет чего?

Терпеливый мужик встряхнул волосами.

— Взялся, брат, быть запевалой, а не то что петь, и затянуть не умеешь,— пошутил Евдоким Евдокимович и стегнул вожжой лошадку.

— Евдоким Евдокимович! — крикнул мужик,— подождать, что ль, прикажешь?

— А что мне приказывать? — отвечал Евдоким Евдокимович, однако придерживая лошадку.— Вы мне не нужны. Я вас не держу.

— Ты когда воротишься-то? — спросил мужик.

— А когда мне то угодно будет. Может, через час.

— Мы подождем...

— Уж это как знаете.

— Подождем, подождем, отчего не подождать! — поспешно проговорил мужик.

— Отчего не подождать, подождем,— подхватили остальные мужики, кроме старика, которому Евдоким Евдокимович советовал опять идти славить, каков он, Евдоким Евдокимович, кровопивца, и который словно прятался за товарищей.— Отчего не подождать...

— Как знаете,— повторил самовластительный хозяин хутора Зарубье и обратился к своей спутнице:

— Хорошо ли уселись, Анна Ларивоновна?

— Хорошо, хорошо, Евдоким Евдокимович... Поедемте... ждут...— отвечала райская посланница.

— Едем-с, едем, Анна Ларивоновна.

Тележка покатилась со двора.

Аполлинария Федоровна следила глазами, пока тележка не скрылась за молодой рощицей, насквозь прохваченной осенним солнцем, потом вздохнула, потом, увидав гусей, пробиравшихся на огород и, вероятно, вспомнив наказ супруга не забивать голову пустяками, а лучше соблюдать по хозяйству, с пронзительным криком: «Киш! киш!» так резво ринулась наперерез потомкам спасителей Рима, что в воздухе только замелькали надувшиеся, как шары, рукава белой миткалевой рубашки и широкие подошвы козловых башмаков.

Мужики опять сели рядком на кучу бревен.

II

НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Jaką miała sukienkę, jaki strój na głowie,
Daremnie pisać, pióro tego nie wypowie,
Chyba pędzel by skreślil te tiule, ptyfenie,
Blondyny, kaszemiry, perły i kamienie,
I oblicze różane, i żywe wejrzenie.

A. Mickiewicz [1]

Владетель хутора Зарубье не без развязности вступил в райскую гостиную, поклонился хозяйке и спросил ее о здоровье не без грации.

Варвара Ивановна, представлявшая собою олицетворение микроскопической огнедышащей горки, пылала на голубом оттомане, и беспорядок шелкового пюсового капота и кружевного чепца достаточно давал понять, насколько сильно подземное пламя; еще выразительнее об этом свидетельствовал взъерошенный венчик мелких буколек, которые обыкновенно висели подобно веточкам плакучей ивы и придавали такое мечтательное выражение ее личику, а теперь разлетались вверх, вниз и во все стороны, что, вместе с алыми пятнами на щеках и сверкающими глазами, скорее напоминало туземца острова Фиджи, когда он готов

[1] Строфа из поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш»:

Прическа и наряд, все было здесь прекрасно,—
Пером не описать, рассказывать напрасно,—
И кисть художника нам передаст едва ли
Брильянты, кашемир, тончайший тюль вуали,
Румянец на щеках и томный вздох печали.

(Перевод С. Мар)

испустить крик: «рази, кроши — боги ожидают!», чем поэтические цивилизованные создания, воспетые французскими и русскими поэтами.

— Наконец-то! — воскликнула она.— Садитесь, пожалуйста... Завтра, в два часа — ровно в два — мы должны быть уже там... у Астафьева...

Евдоким Евдокимович, перегнувшись всем корпусом в сторону хозяйки, как будто она была магнит, его притягивающий, а к прочим он мог приближаться только понуждаемый всесильными законами общежития, с улыбкою на устах бочком подошел под благословение отца Павла, возвышавшегося на низком кресле подле оттомана, затем приветствовал Лушу, у которой щеки горели и глаза прыгали; затем сел, как человек, тонко понимающий приличия, на самый кончик кресла и отвечал:

— Слушаю-с, Варвара Ивановна, я с моим бы удовольствием все для вас готов-с... Только я не знаю, Варвара Ивановна, что я должен отвечать мировому судье, потому я в этом деле не виноват-с и ничего мне неизвестно-с...

— Как неизвестно? — воскликнула Варвара Ивановна.— Ведь к вам приходил мужик продавать браслет? Вы не можете от этого отпереться,— отец Павел, что ж вы молчите? Ведь приходил мужик? Ведь вы видели? Ведь вы там, на хуторе, и отобрали браслет?

— Там и отобрал,— отвечал отец Павел.

— Вы отпереться не можете! — продолжала Варвара Ивановна.— Не можете! не можете!

— Зачем же мне отпираться, Варвара Ивановна,— отвечал Красухин, все улыбаясь и все ласково глядя,— по какой причине? Мало ли ходит мужиков? Я к эвтому их хождению не причастен и ничего про него не знаю.

— Да как же вам неизвестно, когда отец Павел при вас взял браслет... при вас!..

— А я, может, и не заметил-с. Пришел мужик, показывает что-то, а я и внимания не обратил, потому мне не надо. Я и не видал, что он там продавал.

— Как? Как?

Голос Варвары Ивановны пресекся, и несколько секунд из ее уст вырывалось только какое-то булькотание, как из переполненной бутылки с узеньким горлышком.

— Так-с, не видал,— отвечал Красухин,— уж такой у меня характер-с рассеянный. Покажите вот сейчас мне эвтот браслет, так я его и не узнаю.

— За укрывательство попадают под суд! — воскликнула Варвара Ивановна.— Вы знаете, что за укрывательство...

— Как же эвтого не знать-с? Только я ничего не укрываю, потому мне нечего-с.

— Вас приведут к присяге!

— Это как вам угодно-с. Я завсегда могу принять присягу, потому я не причастен.

— Отец Павел, что ж это такое? — пролепетала Варвара Ивановна.

Личико ее начало подергиваться, ручки теребили носовой платок, и все это обещало близкую истерику.

— Полно, Евдоким Евдокимович,— внушительно изрек отец Павел.— Не криви душою, не греши! как пастырь, говорю тебе, действуй по совести, не уготовай себя геенне огненной! Не соблюдешь своей совести — во тьму кромешную попадешь, как пастырь твой тебе говорю!

— Это — воля божия-с, отец Павел, и как господь милостив и справедлив, так невинных не покарает-с,— отвечал Красухин.— А что насчет пастырев, отец Павел, так они тоже-с не все ангельским манером живут и не все в рай попадут-с...

— Господь не лицеприятен, пред его славою и князи мира главу преклоняют. За нечестие и первоосвященники получили воздаяние. Иона пребывал во чреве китове три дня и три ночи: помни это! — строго предостерегательным тоном сказал отец Павел, как будто сам отроду не заслуживал и одной ночи подобного заключения.

— Я все помню-с,— отвечал Красухин,— только очень бы лестно, как ежели б и другие прочие тоже помнили-с, а то, кажись, они много забывают-с.

— За нерадение и потерпел Иона,— наставительно заметил отец Павел.

— Варвара Ивановна, пожалуйте сюда,— проговорила Анна Ларивоновна, выглядывая из-за дверей, за которыми она до сих пор таилась.

— Что такое? — раздраженно спросила Варвара Ивановна.

— Пожалуйте, Варвара Ивановна, очень нужно-с,— рабски, но настоятельно звала Анна Ларивоновна, делая многознаменательные знаки бровями и глазами.

Варвара Ивановна порывисто вскочила с оттомана и скрылась за дверями.

Луша устремилась вслед за нею.

— Вы напрасно, отец Павел, все на Иону сваливаете,— начал Красухин.— На что нам Ионов искать? Мы можем ближе находить. Даже очень близко. За что вы меня, примерно, опозорить желали?

— Когда это? — спросил отец Павел.— Что ты, Евдоким Евдокимыч! перекрестись! Во сне ты, что ль, это видел?

— Вы мне за мою преданность и доброжелательность, можно сказать, ехидностью отплатили, отец Павел,— продолжал Красухин.

— Полно молоть, Евдоким Евдокимович.

— Первым делом вы пришли ко мне и обольстили меня эвтим покосом на Долгушином лугу и задаток взяли, а Долгушин луг вам и даван не был.

— Как не был? Обещали...

— Уж там обещали, нет ли, только даван он вам не был, а вы с него покос запродали.

— Ну, ошибся — и больше ничего. Эка важность! Стоит ли об этом толковать, Евдоким Евдокимович! А еще умным человеком называешься!

— Вторым делом: прошу я у вас назад задаток, вы не отдаете, а замест того, по ненависти, обносите меня перед Варварой Ивановной и перед всеми дворянами, что я краденые вещи скупаю.

— А ты зачем наябедничал, что я их у Федора отобрал? Вот, я же на тебя не сержусь, прощаю тебе.

— Я не ябедничал, а должен же я себя соблюдать или нет?

— А я тебе так скажу: если ты — верный приятель, так ты паче рыбы молчи.

— Посмотрю я на вас, отец Павел, так редкостный вы человек! Все можете говорить и даже не моргнете! Вы того не чувствуете, что я про крестик и про сережки даже виду не показал.

— Да полно тебе брюзжать, Евдоким Евдокимович! Ну чего нам с тобой ссориться?! Нам с тобой следует в согласии жить. Хочешь, я тебя таким дельцем угощу, что ахти!

— Нет, уж, отец Павел, много вам благодарен! Не надо мне, потому с вами невозможно, никакой верности у вас нету. Вы вот лучше задаточек-то отдайте.

— Отдам, отдам.

— Когда ж отдадите?

— Скоро... Жила ты, Евдоким Евдокимович! Ну, да бог с тобой! Ты вот что мне скажи: чего это ты артачишься, не хочешь мировому отвечать?

— Потому, что ж мне на чужом пиру похмелье?

— Да ведь рад не рад, потянут.

— На что меня тянуть, я сам пойду, только, как ничему не причастен, так немного с меня возьмут.

— Да уважь Варвару Ивановну! Ну что тебе стоит ее уважить? Не все тебе равно, что ни говорить мировому?

Шуршанье шелкового пюсового капота помешало Красухину ответить.

Вошла Варвара Ивановна, не успокоившаяся, но лучше сдерживавшая свое волнение и, очевидно, вооружившись на новый приступ новым оружием.

За нею вьюркнула Луша, села на кресло, тотчас же вскочила, села на другое, потом опять на то же, напоминая метущуюся муху, от которой сахарный пирог прикрыли стеклянным колпаком.

— Однако, надо непременно решить это дело,— сказала Варвара Ивановна, садясь на оттоман.— Вы — такой прекрасный человек, Евдоким Евдокимович, что сами не захотите потакать воровству.

— Помилуйте, Варвара Ивановна, как же могу я эвтому потакать-с? — отвечал Красухин.

— Ну, так вы покажите, что мужик Федор приносил к вам краденую вещь продавать, а вы его прогнали...

— Он говорил, Варвара Ивановна, что эти вещи Марья Михайловна подарили старухе Матрене-с,— заметил Красухин.

— Это—ложь! это — ложь! — вспыхнула Варвара Ивановна.— Марья Михайловна... (Варвара Ивановна поперхнулась этим именем, словно горькой хинной пылью). Марья Михайловна не могла дарить... не имела права...

— Не могу знать-с, Варвара Ивановна, потому я тут не причастен-с.

— Да вы только скажите, что мужик Федор приносил краденую вещь...

— А как ежели мировой судья меня спросят, почем я знаю, что она краденая?

— Ах, боже мой! Да ведь это понятно, это чувствуется...

— Уж, право, Варвара Ивановна, я бы с моею радостью готов для вас завсегда стараться, да только невозможно-с...

— Ах, боже мой! Что ж тут невозможного? Ну, полноте, полноте, не возражайте, я уверена, что вы не захотите покрывать такие черные проступки... Не правда ли? Да, да, я уверена... Я вот хочу еще о другом деле с вами поговорить... о пшенице... Я слышала, вы желаете купить у меня пшеницу?.. Я очень рада вам продать... и вам уступлю немножко, потому что вы — прекрасный человек... Вы сколько даете?

— Много вам благодарен, Варвара Ивановна,— без увлечения, хотя не без чувства, отвечал Красухин.— Очень бы мне лестно у вас купить-с, только я уж почитай что покончил с господином Яблоновским.

— Как же, вы говорили Анне, что желаете купить...

— Не помню-с, Варвара Ивановна. Так, может быть, свои мечтания говорил-с, без всякого намерения-с.

— Так вы не хотите у меня покупать? — спросила Варвара Ивановна, начиная снова раскипаться.

— Со всею бы моею радостью, Варвара Ивановна, только не могу-с, средств не имею-с...

— Я вам уступлю.

— И с уступкою не могу-с, наличных денег теперь не имею-с, а до весны ожидать вам будет обидно-с.

— Ничего, ничего, я подожду до весны.

— Да ведь ежели вы и до весны подождете, Варвара Ивановна, так я тоже не могу-с. Разве что еще уступочку сделаете, по крайности, хоть по пяти копеечек с рубля.

— Ну, хорошо... Вы — такой прекрасный человек, что я согласна...

— Уж я завсегда, Варвара Ивановна, для вас рад даже во всякую пропасть, во всякую пучину-с. Изволите мне записочку на пшеничку дать?

— Сейчас, сейчас. Вот подите сюда, продиктуйте мне, что писать.

Варвара Ивановна поспешно направилась в смежную комнату, представлявшую нечто вроде будуара и носившую название диванной, и поспешно села к письменному столику.

— Ведь это я все тебе устроил! — шепнул отец Павел, придерживая за полу Красухина, который, грациозно ступая на носках, хотел последовать за Варварой Ивановной.— Смотри же, магарыч будет!

— Беспременно-с, беспременно-с,— отвечал Евдоким Евдокимович, освобождая свою полу.

— Смотри же!..

— Беспременно-с...

— Что ж писать? — спросила Варвара Ивановна.

— «Я, нижеподписавшись»,— продиктовал Красухин необычайно мягким голосом, держась двумя пальцами за резную шишечку кресла, в котором сидела Варвара Ивановна, как будто это была роза, и изогнувшись полумесяцем над безмозглой головкой в букольках: — «удостоверяю, что доподлинно продала пятьдесят четвертей пшеницы мещанину Евдокиму Евдокимовичу Красухину, за кои деньги обязуюсь получить около Петрова дня». И подписаться побеспокойтесь: «помещица такая-то»... Теперь все как след, по закону-с.

— Только есть маленькая неправильность,— произнес отец Павел, который двумя шагами перешагнул гостиную и диванную и вдруг осенил собою и владетельницу Райского, и хозяина Зарубья,— маленькая, но важная.

— Это — какая же-с? — спросил Красухин совершенно спокойно, хотя слегка изменился в лице.

— А вот главного-то, кажется, не поставили,— отвечал отец Павел и простер было невообразимой длины и соразмерной с длиной толщины перст к записке, но Варвара Ивановна, в треволнениях совершенно забывшая о своих невыгодах, сунула роковой листок Красухину и вскочила с места, говоря:

— Так хорошо, так хорошо... Очень рада, Евдоким Евдокимович, с вами дело иметь... Так завтра вы приедете к Астафьеву в два часа, помните, ровно в два часа!

— Могу ли я забыть, Варвара Ивановна? — отвечал Евдоким Евдокимович.— А как ежели вы во мне сомневаетесь насчет записки, так извольте переписать, пущай отец Павел сами вас научат.

— Полноте, полноте, Евдоким Евдокимович, я вам совершенно верю... вы — такой прекрасный человек.

— Нет, нет, я ошибся, все как следует быть,— сказал отец Павел и выразительно подмигнул Евдокиму Евдокимовичу, как бы говоря:

— Надейся на меня, я уж тебя покрою!

Но Евдоким Евдокимович не захотел заметить этого подмигивания и с достоинством оскорбленной невинности повторил:

— Нет, Варвара Ивановна, как ежели вы сомневаетесь...

— Полноте, полноте, как вам не стыдно так думать! — воскликнула Варвара Ивановна.— Отец Павел, уверьте Евдокима Евдокимовича, что я о нем самого лучшего мнения... Закуска готова, прошу в столовую!

И с облегченным сердцем она засеменила в столовую, где был накрыт и уставлен всевозможными яствами стол, около которого быстро и неслышно вращалась черная фигура Анны Ларивоновны.

— Что ж, Варвара Ивановна, согласился? — спросила она.

— Да, да,— отвечала Варвара Ивановна.

— Ну, слава тебе господи, творец вседержитель! — проговорила Анна Ларивоновна, творя крестное знамение и обращая свои бегающие глаза на угол, откуда сиял лик бога-отца.— Слава тебе!

— Ах, слава, слава тебе! слава тебе! — подхватила влетевшая Луша.— Уж как я, Варвара Ивановна, мучилась! просто сердце мое на частички разрывалось!

— Завтра в два часа, ровно в два часа! — проговорила Варвара Ивановна, прижимая обе ручки к вздымавшейся груди.

А тем временем отец Павел, следуя за Красухиным в столовую, шептал ему скороговоркою:

— Ты только не понял, а я о тебе же пекся: сначала для виду сказал, что не так, а потом одобрил. Как ты этого не понимаешь, а еще умный человек считаешься!

— На удивление вы всей Рассеи, отец Павел, и даже я так полагаю, что и заморским странам,— отвечал Евдоким Евдокимович с спокойным сарказмом.— Ей-ей, совсем, почитай, уверили, что на вербе груши растут, а на осинке яблоки цветут.

— Не чувствуешь ты моего расположения, Евдоким!

— Очень чувствую, отец Павел, только уж вы не все свои сказания за раз тратьте, оставьте про запас! — усмехнулся Красухин, входя в столовую.

— Прошу закусить! прошу закусить! — начала угощать Варвара Ивановна.

Но не успел белобрысый Ганс, казавшийся еще белобрысее в лазоревом атласном галстуке, внести первое дымившееся блюдо, не успел деликатный Евдоким Евдокимович склониться на просьбы хозяйки и положить себе на тарелку крошечную рыбку, а деятельный отец Павел смолоть два куска ветчины и конец кулебяки, как раздался

лошадиный топот, стук колес, и под крыльцо райских хором подкатился легкий щегольский кабриолет.

— Кто это? — воскликнула Варвара Ивановна и вся похолодела.

Ей почему-то представилось, что приехал Владимир Петрович.

— Незнакомая дама,— отвечал Ганс, выглянув из окна и поспешая в переднюю.

— Анна! кто? — воскликнула Варвара Ивановна.

— Не успела разглядеть, Варвара Ивановна,— отвечала Анна Ларивоновна, едва не пробившая носом оконного стекла.— Сейчас пойду посмотрю...

Но в смежной комнате уже слышен был стук маленьких каблучков и шелест шелкового платья, дверь в столовую распахнулась и впорхнула какая-то лучезарная сильфида, внесшая с собою целые волны тонких ароматов и благоуханий.

— Наденька! Наденька! — воскликнула Варвара Ивановна.

— Я, милый друг, я! — прозвучал вкрадчивый, мягкий голосок.

Две прекрасных руки в безукоризненных шведских перчатках обвились около шейки Варвары Ивановны, шелковые оборки скрыли ее пюсовый капотик, алые губы прижались к ее бесцветным губкам, и целый каскад темных кудрей засыпал ее увядшие щечки.

— Милый, бесценный, добрый друг! Как я счастлива, что опять вас вижу! — звучал голосок, прерывая каждое слово целым градом поцелуев.— Милый, милый друг!

— Ах, Наденька, сокровище мое! — воскликнула Варвара Ивановна.— Сокровище мое... друг...

И она истерически разрыдалась...

— Дорогая, успокойтесь! Как можно встречать меня слезами? Выпейте воды. Милая моя, добрая!.. Нельзя, нельзя плакать, я не позволяю! О, бесценный друг, как я рада, что опять с вами! Да что вы, моя бедненькая, так похудели! О, я буду за вами ухаживать, беречь вас, лелеять... Успокойтесь, бесценная! Еще выпейте воды.

— Ты — мой ангел-хранитель, Наденька! — прошептала Варвара Ивановна, глотая воду.

— Отец Павел! здравствуйте! Я так обрадовалась, что у меня в глазах помутилось, и сначала я ничего не видала, кроме моей милой крестной... Благословите же меня!

Она сдернула перчатку и подставила нежную руку с розовыми ногтями.

— С приездом, Надежда Львовна,— благословив, поклонился отец Павел.

— Спасибо, спасибо... А это — ваша Луша?.. Милая Луша, здравствуйте! Как вы похорошели!

— Ах, Надежда Львовна!

— Прелесть! прелесть!

И алые губы чмокнули обе пухлые весноватые Лушины щеки, как будто они действительно были прелесть.

— А вот новый наш сосед, Наденька,— сказала Варвара Ивановна,— Евдоким Евдокимович Красухин. Прекрасный человек... Евдоким Евдокимович,— это — моя крестница, Надежда Львовна Солнцева.

Евдоким Евдокимович встал и низко поклонился.

— Я очень рада с вами познакомиться,— сказала Надежда Львовна, улыбаясь и протягивая ему свои розовые пальцы.— Я очень люблю хороших людей, хорошие люди лучше всего на свете! Правда?

— Истинная-с,— отвечал Евдоким Евдокимович.

— А теперь я завладею своей дорогой крестной! Вы не рассердитесь?

— Помилуйте-с! как же мы можем даже об эвтом и подумать-с!

— Я ведь ее так давно не видала! Вы окончили завтрак? нет еще? Ну, мы оставим Лушу вас угощать. Луша, голубушка, угощайте гостей, а мне дайте мою крестную!

И, подарив всех сияющими лаской взглядами, она увлекла охающую, вздыхающую и восклицающую Варвару Ивановну из столовой.

Она была до того очаровательна, что отец Павел, вместо того, чтобы тотчас же приняться снова за кулебяку и наливки, несколько секунд смотрел ей вслед и всхрапывал, как конь, которого с пыльной дороги неожиданно ввели под навес зеленых ветвей, а Евдоким Евдокимович, расширив ноздри и поводя масленой головкой, с улыбкой помахивал на себя рукою воздух, вдыхая тонкое благоухание «Bouquet de l'impératrice» [1], оставшееся после нее в комнате.

— Кушайте, Евдоким Евдокимович, пожалуйста, кушайте! Варвара Ивановна и Надежда Львовна очень вас

[1] «Букет императрицы» — модные духи *(франц.)*.

просят,— говорила Луша, между тем как перед ее умственными взорами носились дотоле невообразимые оборки, зубчики, банты, плиссе, биэ, тюники и баски.

— Ну, что, Евдоким, какова краса? — спросил отец Павел, начав, наконец, снова работать ножом и вилкою.

— Вполне-с! — отвечал Евдоким, наливая рюмку наливки.

— Вот, ведь и за это следовало бы с тебя магарыч!

— Это за что же-с?!

— А за такое прекрасное знакомство!

— Так это, значит, где я, к примеру, в поле цвет увижу или где на стенке картину — все вам магарыч должен представить?

— Да ведь через меня ты сюда попал!

— Через свои собственные средствия-с, отец Павел, потому как ежели бы я никому не нужен был, так никто бы меня и знать не пожелал-с.

— Неблагодарный ты человек, Евдоким! — меланхолически укорил отец Павел.— Не благословит тебя господь!

— А не пора ли нам ко дворам отъезжать? — сказал Красухин, утираясь салфеткою и расправляя бородку.— Госпожам теперь не до нас.

— Погоди, чего спешить, они выйдут,— отвечал отец Павел.

— Ах, как же возможно не попрощавшись, Евдоким Евдокимович! — заметила Луша.— Я вот сейчас пойду скажу, что вы собираетесь ехать.

Она пулей пролетела по всем комнатам и нашла Варвару Ивановну и Надежду Львовну в спальне, где они сидели, обнявшись, на низеньком диванчике, и Варвара Ивановна, всхлипывая, изливала свои огорчения на груди прекрасной утешительницы.

— Ты только представь себе, Наденька, только представь! — говорила, задыхаясь, Варвара Ивановна.— В моем доме? Ведь это ужасно! ужасно! C'est une horreur! N'est ce pas? n'est ce pas?.. [1]

— Oh, chère, cela va sans dire... [2], но вы его пожалейте! Он, верно, так раскаивается!

— Раскаивается? Нет, друг мой, нет! Я была больна,

---

[1] Это ужас! Не правда ли? Не правда ли? *(франц.)*

[2] О, дорогая, это само собою разумеется... *(франц.)*

je croyais mourir [1], и он не приехал, даже не прислал узнать о здоровье!

— Но, может быть, он не знал?

— Знал! знал!

— Быть может, ему помешали. Les hommes sont si faibles! [2] Что вы, милая Луша?

— Ничего-с, Надежда Львовна,— отвечала Луша, остановившаяся в дверях.— Папенька домой сбираются...

— О, я уверена, что *она* помешала! — воскликнула Варвара Ивановна. — Oh, quelle créature!.. Quelle dépravation! [3]

— Vraiment, chére? Elle avait l'air si innocent... [4] — проговорила Надежда Львовна.

— О, это — такая иезуитка! Да чего же ожидать? Telle mère, telle fille! За все, что я для нее сделала, за все мои благодеяния... C'est une vipère! [5]

— Уж подлинно бесчувственная! — с увлечением вмешалась Луша.— За все благодеяния Варвары Ивановны как ужасно отплатила! Уж я и не знаю, Надежда Львовна, какой ее после этого казнью казнить надо! И не стыдится ничего, точно каменная! Даже величается! И всем распоряжается в Дубровках! На прошлой неделе пьяный дьякон опять расшибся, так опять велела его в хоромы втащить и этакого грязного положила на диван... И уж как носится с дьяконовой сестрой,— а уж эта сестра такая глупая, такая низкая! Я ею всегда гнушалась... книжки ей читает! И казачка Аполлошку читать учит! — просто даже стыдно говорить! Никакого благородства у нее нет! Вот теперь что-то перестали, а то с зари до зари разные самые нищие бабы так и валили в хоромы... Федосей Егорович просто горел, говорит, со стыда, глядючи, как она с этими побирушками, как с княгинями какими...

— Каково это, Наденька, подумать, что в Дубровках распоряжается внучка садовника Захара! — с горечью проговорила Варвара Ивановна.

— Милая, полно, не огорчайтесь так! — нежно отвечала Надежда Львовна.

---

[1] Я думала, что умру *(франц.)*
[2] Мужчины так слабы!.. *(франц.)*
[3] О, какая тварь!.. *(франц.)*
[4] Правда, дорогая? У нее вид такой невинный *(франц.)*
[5] Какова мать, такова и дочь.., Это змея!.. *(франц.)*

— J'en mourrai! j'en mourrai! [1] — простонала Варвара Ивановна.

— Уж как Варвара Ивановна страдают! — вздохнула Луша.— Другая на ее месте чувствовала бы, что благодетельница огорчены, и все бы спокойствие потеряла!

— Друг мой,— проговорила Надежда Львовна,— забудьте вы о нем! Бог с ним, пусть его себе женится!

— Женится? женится!—завопила Варвара Ивановна.— Non, c'est trop fort! [2] Нет, этому не бывать!

— Но, милая, ведь он ее назвал вам, вы говорите, своей невестой,— возразила Надежда Львовна,— да? Значит, он думает на ней жениться...

— О, Наденька, Наденька! я этого не перенесу! Нет! нет! О, нет!..

— Неужели ж Владимир Петрович решатся! — воскликнула Луша.

— Tu crois, Наденька, tu crois? [3] — пролепетала Варвара Ивановна.

— Je n'en sais rien, chérie [4], — отвечала Надежда Львовна.— Посмотрите, как эта славная Луша волнуется! Добрая! как она любит мою дорогую крестную!

— Ах, уж я так к Варваре Ивановне предана,— вздохнула Луша,— просто их обожаю!

— О, друг мой, Наденька! — простонала Варвара Ивановна,— неужели мне суждено испить эту чашу!

— Дорогая, зачем же прежде времени отчаиваться?..

— Je deviens folle! Je deviens folle! [5] — пролепетала Варвара Ивановна.

— Вы обожаете, голубушка, мою крестную,— обратилась с улыбкою Надежда Львовна к Луше,— я ее тоже обожаю и потому надеюсь, что вы и меня немножко полюбите — да?

— Ах, Надежда Львовна, всею моею душою, всем сердцем!

— Проведайте меня, я вам привезла маленький гостинец...

— Ах, какие вы добрые!

---

[1] Я умру из-за этого! Я умру из-за этого! *(франц.)*
[2] Нет, это слишком! *(франц.)*
[3] Ты думаешь... ты думаешь?.. *(франц.)*
[4] Я ничего об этом не знаю, дорогая *(франц.)*
[5] Я схожу с ума! Я схожу с ума! *(франц.)*

Луша пламенно чмокнула плечо, прикрытое блестящим шелком.

Варвара Ивановна вдруг перестала всхлипывать: ее озарила блестящая мысль.

— Наденька! Я просто напишу губернатору, что это — разврат...

— Ma chérie [1], я, право, тут ничего не могу посоветовать,— отвечала Надежда Львовна.— Ах, Луша,— вспомнила она вдруг,— ведь вы зачем-то сюда пришли?

— Ах, да-с! — спохватилась Луша.— Папенька и Евдоким Евдокимович желают с вами проститься.

— Слышите, дорогая? — обратилась Надежда Львовна к Варваре Ивановне, у которой высохли слезы и которая, судя по сжатым бровкам, стиснутым губкам и неподвижно уставленным в ковер глазкам, уже в уме строчила письмо губернатору.— Слышите, дорогая, отец Павел и Евдоким Евдокимович хотят с вами проститься...

— Ах, чтобы они завтра не опоздали! — воскликнула Варвара Ивановна, бросая мысленное письмо к губернатору.— Ровно в два часа... Ровно в два!

Она было устремилась к дверям, но Надежда Львовна обхватила ее рукою и удержала.

— Погодите, милая, вам надо оправиться. Луша, голубка,— обратилась она к поповне,— подите скажите им, что мы сейчас выйдем...

Луша скрылась.

— Посмотрите, воротничок совсем набок,— сказала Надежда Львовна, расправляя своими нежными и быстрыми пальцами уголки воротничка.

— Ничего, Наденька, ничего... пойдем,— отвечала Варвара Ивановна.— Завтра, ровно в два часа... ровно в два часа... Oh! j'espére que cela lui apprendra!.. Oh! cela va le vexer! [2]

— Mais pas trop, chére [3], — заметила Надежда Львовна,— что ему за дело до всего этого? Это его не касается. Конечно, неприятно, но не больше...

— Как не касается? Как не касается? — с азартом перебила Варвара Ивановна.— Воровство — и она замешана...

---

[1] Дорогая моя *(франц.)*.

[2] О, я надеюсь, что это его научит! О! Это его заденет! *(франц.)*

[3] Но не слишком, дорогая... *(франц.)*

et elle est compromise!.. on ne peut plus compromise!.. [1]

— Чем же, милая?

— Ах, Наденька!

— Да я-то понимаю, но ведь мировой судья посмотрит иначе и оправдает...

— Оправдает!

— Милая, мне так жаль вас огорчать, но я думаю, что оправдает...

— О, если...

— Впрочем, не знаю, милая, может быть, и не оправдает... Но это никак не помешает ему жениться!

— Он не решится опозорить своего имени. Ce serait monstrueux! [2]

— Oh, ma pauvre amie, les hommes sont si bêtes! [3]

— Но, Наденька, я с ума сойду!

— Но, милая, если вы хотите его спасти, зачем же вы его оставляете под дурным влиянием?

— Что ж мне делать! Что ж мне делать!

Варвара Ивановна отчаянно заломила ручки.

— Постараться как можно скорее с ним увидеться.

— Увидеться?!.. После всех оскорблений, после всех унижений...

— В таком случае, старайтесь забыть о нем и предоставьте его судьбе.

— Но он сам не захочет со мной видеться!

— Это еще неизвестно, милая.

— Не захочет!

— Тогда постарайтесь с ним встретиться как будто случайно. Сколько я его помню, он — человек мягкий... Да, вероятно, вы встретитесь завтра у мирового судьи.

— Ты думаешь, что он туда приедет?

— Непременно.

— Судья его не вызывает.

— Ее вызывает, милая.

— Ты думаешь, он решится вместе с нею?!. Oh, ça n'a pas de nom! [4]

— Нет, он ее, вероятно, не пустит, а приедет один.

---

[1] И она скомпрометирована... Нельзя более скомпрометировать! *(франц.)*

[2] Это было бы чудовищно! *(франц.)*

[3] Ох, мой бедный друг, мужчины так глупы! *(франц.)*

[4] О, этому нет названия! *(франц.)*

— Quelle rencontre, Наденька! [1]

— Courage, ma pauvre chérie! [2] Кто знает? все, быть может, отлично устроится...— ободряла Надежда Львовна, подходя к зеркалу и поправляя волосы.

— Но что же я ему скажу, Наденька? С чего начать?

— О, милая! сердце вам подскажет. Сердце — самый лучший адвокат...— начала было Надежда Львовна, но, увидав из-за своих кудрей отразившееся в зеркале личико Варвары Ивановны, очевидно, усомнилась в ее искусстве пользоваться каким бы то ни было адвокатством и прибавила:

— Мы еще об этом посоветуемся, милая.

— Je te bénis, Наденька, je te bénis! Ты меня воскресаешь! Tu es mon bon ange, ma bonne fée! [3]

— Une pauvre pétite femme qui vous aime, voilà tout... [4] А теперь пойдем к отцу Павлу и этому Евдокимовичу,— они ждут. Отправим их поскорее. Ведь они вам более не нужны сегодня?

— Нет, нет,— только вот надо им сказать, чтобы завтра ровно в два часа...

— Il parait que c'est une fine mouche? [5]

— Qui, mon ange? [6]

— Се Евдокимович [7].

— О, нет! он ужасно глуп, ничего ему не втолкуешь... Mais c'est un brave homme [8].

— Я знаю, отец Павел, вы меня простите, что я так долго задержала крестную,— сказала Надежда Львовна, входя в гостиную.— Ведь простите?

— Бог простит, Надежда Львовна, бог простит.

— И вы тоже простите, Евдоким Евдокимович,— обратилась она к Красухину.

— Помилуйте-с, Надежда Львовна, смею ли я даже помыслить...

— И приедете ко мне пшеницу покупать?

---

[1] Какая встреча! *(франц.)*

[2] Смелее, моя бедная, милая! *(франц.)*

[3] Благословляю тебя, благословляю тебя! Ты мой добрый ангел, моя добрая фея! *(франц.)*

[4] Жалкая маленькая женщина, которая вас любит, вот и все... *(франц.)*

[5] Кажется, это хитрая бестия? *(франц.)*

[6] Кто, мой ангел? *(франц.)*

[7] Этот Евдокимович *(франц.)*.

[8] Но это честный человек *(франц.)*.

— За счастье почту-с...

— А вы, отец Павел, отслужите у меня послезавтра молебен? Луша, голубушка, помните, что вы обещали меня проведать!

Ее лицо, ее фигура, ее улыбки, взгляды, манера говорить, повертываться, наклонять и откидывать голову, поднимать брови, складывать прекрасные руки были до того очаровательны какою-то особою новоизобретенною вкрадчивой и беззаветной мягкостью, что Евдоким Евдокимович, давным-давно красневший только на огне да на холоде, вспыхивал, как зарево, когда она к нему обращалась, а отец Павел, которого он подвозил до дому, так и уехал с бородою наподобие раскинутого веера-монстра, с концами усов чуть не за ушами, сверкая обоими рядами приятно оскаленных зубов, и версты две не поминал о магарыче. Самые радужные мечты вились над домокра напомаженной головкой Луши. Легковерная поповна воображала, что приобрела не только неиссякаемый источник модных оборок, модести, бантов и прочего такого, который будет в совершенном ее распоряжении и из которого она может черпать сколько душе угодно, но достигла и самого центра несравненных наслаждений. Ей уже мерещились званые обеды, балы с музыкой и даже с офицерами, серебряные подносы с мороженым, бряцание шпор... и среди всей этой роскоши она, Луша, в самом модном платье, в самом обольстительном венке столичных цветов, закрываясь букетом, слушает объяснение в любви прекраснейшего в свете красногрудого усача и говорит ему: «Ах, перестаньте! ах, перестаньте! Это — все насмешки!»

— А что твои дела, Наденька? — спросила Варвара Ивановна, когда они остались вдвоем, и она досыта наплакалась и нажаловалась на свои напасти.— Что твой тиран? Писал он тебе?

— Да. Требует, чтобы я приехала повидаться, иначе не выдаст позволения ехать за границу.

— Он все в пустыни?

— Да. Все обещает постричься.

— Oh, l'infâme![1] Он только обещает! И ты поедешь к нему?

— Должна ехать.

---

[1] О, бесчестный! *(франц.)*.

— Pauvre ange! Quelle tyrannie! quelle indigne tyrannie! [1]

— Я уже привыкла, милая, и давно не жалуюсь,— вздохнула Надежда Львовна.

III

КУМИР ПОШАТЫВАЕТСЯ

Слывет нравно море синее,
А нравней того ретиво сердце,
Что без крыл летит и без ног бежит,
Без огня горит и без ран болит.

Русская песня

Было чудесное солнечное осеннее утро.

Аполлошка сидел на крыльце дубровских хором и, подперев щеку рукою, глядел вперед, как глядят те, чьи мысли заняты совсем не картиной, раскидывающейся перед их глазами.

В хоромах царила тишина,— там, по-видимому, еще покоились сном. На господском дворе тоже было тихо. Появлявшиеся дворовые перекликались на несколько тонов ниже обыкновенного; повар Антон, и в хмелю помнивший, что барский покой следует блюсти, трагическим шепотом приговаривал, таская за вихор своего юного помощника Гришку: «Я тебе посулил? посулил я тебе?» Гришка молил о помиловании, взвизгивая и рыдая тоже под сурдиной. Из сада слышалось щебетание птиц и шуршание листвы всякий раз, когда ее шевелил теплый ветерок, всюду проносившийся веселыми порывами и быстро обнажавший кусты и деревья.

За последние два месяца Аполлошка заметно похудел и вдруг как будто постарел несколькими годами. В это утро лицо его было гораздо бледнее обыкновенного и, невзирая на его умение скрывать душевные движения под наружным спокойствием, выдавало сильную тоску и горькое волнение.

Дочка скотницы, черноглазая Людмила, следовавшая вприпрыжку за матерью, поравнявшись с крыльцом, не без удовольствия показала Аполлошке свой красный, особым,

---

[1] Бедный ангел! Какое тиранство! Какое гнусное тиранство! *(франц.)*

известным ей способом чуть не в нитку вытянутый и трепещущий, как жало, язычок, но Аполлошка, к великому ее недоумению, ответил на это только рассеянным взглядом.

Немало недоумевал и Сенька, однолеток и давний приятель, исправлявший теперь должность господского водовоза, когда при его сообщении о потешной драке кучера Парфена с птичницей Ивановной Аполлошка выказал не более интереса, чем водовозный преклонных лет конь, всегда ходивший понурив голову и даже от оводов отмахивавшийся, как будто по нравственному долгу или по давно укоренившейся привычке, а не по собственной потребности избавиться от несносных крылатых кровопийц.

Недоумение Сеньки скоро перешло в негодование, и он не задумался бросить приятелю горькое замечание насчет того, что новая куртка с синим кантом — еще не все и не дает права зазнаваться.

Но и это не подействовало на Аполлошку, обыкновенно весьма чувствительного ко всяким критическим замечаниям на его счет, и он ответил равнодушным и тем более оскорбительным советом: не болтать пустяков, а лучше ехать по воду.

Жестоко уязвленный Сенька, прикрывая душевную бурю саркастическим смехом и выдавая ее энергичными ударами кнута по впалым бокам водовозного коня, удалился, и Аполлошка снова начал глядеть вдаль.

Пестрая шавка Сорочка на этот раз оказалась сообразительнее Людмилки и Сеньки. Она поместилась на задних лапках против Аполлошки и, не докучая обычными ласками, даже не виляя хвостом, не спускала с него зорких карих глаз, как бы желая сказать:

«Я почитаю твое расположение духа и не надоедаю тебе, но я — все та же шавка Сорочка, которая тебе неизменно и глубоко предана».

Тронуло ли Аполлошку такое почтительное отношение к его расположению, или он это сделал машинально, только, когда после вторичного появления Сеньки с полной бочкой воды и новыми ядовитыми замечаниями насчет курток, не дающих права зазнаваться, глаза его упали на смиренного песика, он улыбнулся и ласково щелкнул пальцами.

Песик, очевидно, сомневаясь, принять ли этот знак за настоящую ласку или просто за рассеянное движение, приблизился на несколько шагов, вильнул хвостиком, но от дальнейших сердечных излияний воздержался и снова уселся на задние лапки.

И умно поступил: рука Аполлошки тотчас же опустилась, глаза опять устремились бесцельно вдаль, и опять он забыл и о сарказмах Сеньки, и о существовании бедной шавки.

Накануне ввечеру он слышал, как Владимир Петрович сказал: «Маня, мы после нашей свадьбы сейчас же отсюда уедем», и эти слова поразили его в самое сердце. Много горячих слез кануло в ночной тиши на старый валик от турецкого дивана, служивший Аполлошке подушкой, и очень горькие рыдания он удушал этим валиком. Утро не принесло облегчения и, смирно сидя на крыльце, он горел нетерпением узнать, куда она поедет и когда, и холодел, думая о разлуке.

«Не будет ее! не будет ее!» — твердил он мысленно и, когда ему представлялись прежние пустые дубровские хоромы, сердце его начинало до того нестерпимо сжиматься, что он чуть не вскрикивал, крепко стискивал зубы и впускал в голову ногти подпиравшей ее руки. Одна за другою развертывались убогие картинки предстоявшего жалкого существования под управлением Федосея Егоровича. Ее дверь будет заперта, и когда он подойдет послушать, он ничего не услышит. Никто ему уж не скажет доброго слова. Да без нее не надо ему ничьих добрых слов, и ничего не надо. Уедет! уедет!

Ему представилось, как подкатывается под крыльцо дубровская, недавно поновленная коляска, кучер Парфен, всегда недовольный, когда его отрывают от любимых занятий перепелами, угрюмо осаживает вороных лошадей, растворены настежь все двери в доме, таскают укладывать в экипаж дорожные вещи, вот остается всего несколько минут до отъезда, вот наступает и последняя минута; она выходит на крыльцо, покрытая своим белым платком, и садится в коляску; мягкий голос Владимира Петровича говорит Парфену: «С богом!», и коляска катится со двора,— и им вдруг овладело такое отчаяние, что он вскочил с места и хотел бежать, словно коляска, действительно, укатилась, и надо было ее догонять.

Опомнившись, он опять сел на ступеньку крыльца. У него родилась новая мысль, за которую он ухватился, как утопающий за соломинку. Отчего ему не бежать туда, куда она едет? В этом нет ничего страшного, а только одна радость. Куда она поедет, туда и он пойдет. Правда, она, верно, поедет по железной дороге, а он пойдет пешком — по железной дороге, говорила она, в час проезжают по три-

дцати, а то и по пятидесяти верст, а пешком не пройдешь этого и в целый день, но это ничего, все-таки когда-нибудь дойдешь. А может, если попроситься, так и возьмут с собою? Надо будет просить *его*...

Яркая краска прихлынула к щекам Аполлошки, затем он еще больше побледнел. Он решил, что попросит *его*, и начал обдумывать план действий. Прежде всего, надо бы у нее спросить, когда назначен отъезд, и откладывать этого нечего: может, она теперь одна.

Аполлошка тихонько юркнул в хоромы, проскользнул по ряду комнат, остановился у ее двери и прислушался.

Все было тихо. Он заключил, что она еще спит: вчера с вечера она долго читала, потом долго сидела у окна и о чем-то думала, потом долго ходила по комнате и опять читала. А может, и *он* тут, и они оба сидят молча, как в воскресенье после обеда, когда они часа два сидели на балконе и не промолвили слова.

Шаги Федосея Егоровича, раздавшиеся по коридору, который вел из барского кабинета, заставили Аполлошку вздрогнуть и опрометью кинуться в прихожую.

И то, и другое предположение Аполлошки было ошибочно: Маня не спала и была одна в своей комнате, которую Владимир Петрович озаботился убрать ковром, новой мебелью и цветами и превратить в род будуара, достойного возбудить зависть самой прихотливой из любительниц хорошеньких мягких, уютных уголков. Она сидела на розовой кушетке, с книгой в руках, но чтение, очевидно, не в силах было отвлечь ее от каких-то своих собственных неотвязных мыслей, как она об этом ни старалась. Быстро пробежав несколько страниц и спохватившись, что занимается только процессом чтения, она снова начинала их перечитывать, останавливаясь на каждой фразе, но скоро незаметно опять переходила к процессу чтения. Наконец, много раз безуспешно попытавшись сосредоточить внимание на смысле печатных строк, она положила книгу, встала, с минуту оставалась неподвижна, потом подошла к открытому в сад окну и посмотрела кругом, как бы ища чего-нибудь нового, чего еще тут не видала,— яркое солнце пронизывало пестревший осенним пурпуром и золотом сад; скрытая летом узенькая тропинка чернелась сквозь поредевшую листву; полуоблетевшие липовые аллеи из темных превратились в светлые; ворох ярко-желтых листьев окружал белый ствол старой березы и издали представ-

лялся золотым обручем на еще свежей и зеленой траве; две красногрудые птички быстро перепархивали в высоком бузиннике, осыпанном целыми букетами темно-фиолетовых ягод; прямо против ее окна, на большом обнаженном кусте розанов, одиноко блистала несвоевременно распустившаяся роза.

«Ах, как это теперь расцвела роза!» — подумала она и вдруг почувствовала сильное удовольствие и, кроме того, даже какое-то облегчение, точно неожиданный расцвет розы служил ручательством, что неожиданно расцветет еще многое в жизни.

Но и роза ненадолго отвлекла ее от прежней неотвязной мысли или заботы, которая опять незаметно подкралась и незаметно ею опять овладела.

Она, однако, продолжала отбиваться: обошла кругом комнату, поправила оборки и розетки на портьерах, поглядела, который час показывают изящные каминные часы, украшенные статуйками «Дня» и «Ночи» Микеланджело, начала припоминать, как Владимир Петрович переносил эти часы из своего кабинета, как убирал ее комнату, потом, как она в первый раз очутилась в этой комнате, как быстро они шли ночью из Райского, какая была эта ночь тихая, теплая и звездная, как встретил их Федосей Егорович со свечой в руке, как его пергаментное лицо исказилось изумлением и как, оправившись, он поклонился ей, и, безмолвно идя вперед, распахивал перед ними двери, как почтительным голосом спросил, прикажет ли Владимир Петрович подать чай, как Владимир Петрович ему сказал: «Поздравьте меня, Федосей Егорович, я женюсь,— вот моя невеста», и как он поджал губы и, не поднимая глаз на невесту, проговорил: «Имею честь поздравить, Владимир Петрович», как Владимир Петрович увел ее в цветник, говоря, что сегодня у него великий праздник и он желает украсить чайный стол цветами, как, возвращаясь из цветника, они столкнулись с Аполлошкой, который был словно испуган и посмотрел на нее своими сверкающими глазами, точно не верил, она ли это, как Владимир Петрович, сжимая ее руки в своих, уверенно говорил: «Ты будешь счастлива, Маня! ты будешь счастлива!»

Эти припоминания как-то вдруг ее утомили: она опять посмотрела, который час, потом стала вглядываться в статуйку «Ночи», задавая себе вопрос, что за человек был

Микеланджело и как горько ему было, когда он написал свое «grato m'è 'l sonno» [1].

— «Non veder, non sentir m'è gran ventura» [2],— проговорила она и прибавила: — может быть, но ведь этого нельзя.

Послышались шаги. Маня встрепенулась и обратила глаза на двери. Но дверь не отворилась. Несколько секунд она прислушивалась. Всякий звук особенно далеко и звонко разносился в утреннем воздухе, веселая птичка, энергично чирикавшая где-то в саду, казалось, чирикала почти на ухо, мельничные колеса шумели точно не под горою, а гораздо ближе,— по временам долетал даже скрип какой-то телеги, пробиравшейся дальним проселком.

— Кто и куда это едет? — рассеянно задала себе вопрос Маня, все прислушиваясь, не раздадутся ли опять шаги.

Но шаги не раздавались.

Ей вдруг показалось душно в комнате и захотелось в сад. Она тихо отворила дверь, но едва успела ступить несколько шагов, как перед нею, словно из полу, вырос Федосей Егорович и, поджимая свои тонкие губы, не поднимая на нее глаз, точно она какая языческая богиня, на которую благочестивому человеку, не желающему осквернять себя, глядеть не подобает, доложил, что кофе готов.

— Хорошо,— проговорила Маня, вспыхнув до корня волос, и вместо сада, быстро пошла назад в свою комнату.

«Какая я глупая! — подумала она.— Чего я бегу от этого старика? Ну что мне за дело, как он на меня смотрит, любит ли меня или ненавидит?»

Думая это, она улыбалась, но все-таки поспешно воротилась в свою комнату и, когда стала поправлять перед зеркалом косы, руки у нее слегка дрожали.

— Марья Михайловна! — окликнул ее из-под окна несколько басистый, но приятный и без заискивающих ноток ласковый голос.— Встали вы?

— Давным-давно, Поля,— отвечала Маня, обрадовавшись и кидаясь к окну.— Идите ко мне!

— Вы одни? — спросила Поля, приближаясь к самому подоконнику и понижая голос до шепота.

---

[1] Правильно «Caro m'è'l sonno» — «Отрадно спать» — сонет Микеланджело «Ночь» (сонет CIX) *(итал.)*

[2] «Не жить, не чувствовать — удел завидный» — строка из сонета «Ночь» *(перевод Ф. Тютчева) (итал.)*

Маня утвердительно кивнула головой.

— Я через балкон пройду, можно? — спросила Поля, снова давая волю своему приятному мягкому басу.

— Можно, можно,— отвечала Маня и принялась освобождать мраморный столик от книг, которые его заваливали.

Бывшая наперсница поповны Луши приобрела за последнее время немало самоуверенности и, может быть, вследствие этого, веселости. Она еще ходила в черном балахончике, над которым так глумилась Луша, но уже концы черного платочка, прежде покрывавшего ее голову по самые брови, не были затянуты наподобие какой-то узды под подбородком, и славные густые волосы свободно завивались многочисленными колечками и топырились на висках и на лбу, образуя нечто вроде мягкого темного щитка над свежим лицом; глаза не смотрели, как прежде, исподлобья или искоса, а прямо и открыто, и теперь можно было видеть, что это — добрые и ясные карие глаза, густо опушенные слегка загнутыми вверх ресницами; широкий утиный носик нисколько не портил впечатления, а, напротив, придавал миловидность физиономии, особенно когда красные губы смеялись, белые здоровые зубы блестели и появлялись ямочки на щеках.

— Вот и я! — сказала она, входя к Мане.— Урок свой так уж вытвердила,— как прочитаю, скажу!

— Увидим,— улыбнулась Маня,— садитесь...

— Прежде только поцелую,— отвечала Поля, обеими руками обхватила Маню, крепко, звонко ее поцеловала, затем уселась перед столиком, на котором Маня уже приготовила тетрадку чистописания и, вооружившись пером, начала прилежно выводить буквы.

— Много прочли? — спросила Маня, садясь около ученицы.

— Да почти что до конца дочитала,— отвечала Поля,— только имена все мудреные, никак не запомнить, как кого зовут!

И, откинувшись от столика, прибавила:

— Беда мне с этими ониками! как стараюсь, а все кругленько не выведу! Даже они мне снятся! Нынче ночью вижу, что такие я их пишу аккуратненькие, точные бублики,— и так скоро пишу, почти и не гляжу,— а вот как наяву, так и не даются!

— Сразу нельзя,— сказала Маня, облокачиваясь на столик и обозревая ряды неправильных кружков, испещрявших тетрадку.

— Погодите-ка, погодите! вот, кажись, хорошенький будет!

Поля начала тщательно выводить пером, сбочив голову и выделывая эволюции губами, но вдруг непокорное перо скользнуло, и на бумаге образовалась самая непредставительная кривулька.

— Ах! — с сокрушением ахнула Поля.— Вот тебе и хорошенький!

— Может, другой лучше выйдет,— обнадежила Маня.

— Ну да, уж хоть целый год буду выводить, а таки выведу! — решила Поля, с спокойным азартом обмакивая перо в чернильницу и снова принимаясь за писание.

Дверь приотворилась, и вошел Аполлошка. Маня, все рассеяннее и рассеяннее следившая за трудами своей решительной ученицы, опять встрепенулась.

— Что ты так опоздал? — сказала она.— Вот твоя тетрадь.

— Покажи-ка, как ты вчера написал? — сказала Поля.

Аполлошка показал.

— Ишь какие у него кругленькие,— с завистью вздохнула Поля.— Скажи ты мне, как это ты так ровнехонько выводишь их...

— Не знаю,— отвечал Аполлошка.

— Да что ты точно сердишься!

— Нет,— проговорил Аполлошка, призывая на помощь всю силу характера,— чего ж мне сердиться...

— А отчего ты такой бледный? — спросила Маня.— У тебя что-нибудь болит? Или... что такое, скажи мне!

— Ничего, ничего,— отвечал Аполлошка, расправляя ладонями тетрадь и пристально глядя на прыгавшие перед глазами линейки.

— Может, опять Федосей Егорович? Скажи! — настаивала Маня.

— И Федосей Егорович ничего,— отвечал Аполлошка.

— Уж этот старый сыч! — проговорила Поля, снова усердно выводившая свои оники.

— Нам ведь уж недолго теперь учиться! — с наружным спокойствием сказал Аполлошка и тоже начал писать.

— Отчего, ведь только восемь часов,— отвечала Маня.

— Я не про нынешний день говорю,— возразил Апол-

лошка, не поднимая головы от тетради,— а что вы скоро уедете.

Маня ничего не ответила, но лицо ее покрылось легкой краской.

— Вы когда уедете? — спросил Аполлошка твердым голосом, но побелев, как бумага, по которой он в эту минуту бессознательно писал.

— Не знаю,— отвечала Маня.

— А надолго вы уедете? — продолжал Аполлошка.

— Не знаю,— повторила Маня.

— Может, и никогда не воротитесь? — продолжал Аполлошка.

— Ну вот, выдумывай еще! — вмешалась Поля, но тотчас же вздохнула и прибавила: — а может, и вправду не воротитесь, наперед загадывать, — только после докука!

— А все-таки загадываем! — улыбнулась Маня.

— Уж таковы мы грешные, что не можем с своим сердцем совладать! — опять вздохнула Поля.

— Я попрошусь, чтобы Владимир Петрович взял меня с собой,— продолжал Аполлошка и поднял глаза на Маню.

Но Маня ничего на это не сказала, она несколько наклонила голову и, казалось, внимательно следила за писанием Поли.

«Тоже не знает!» — подумал Аполлошка.

— Так тебя и взяли! — отозвалась Поля, начиная вторую страницу ников.

— Отчего ж не взять? — отвечал Аполлошка, глядя на Маню,— ведь и там будет надобен казачок...

— А может, и не будет надобен,— возразила Поля.

— А не возьмут, так я сам пойду,— продолжал Аполлошка, все не спуская с Мани глаз...

— Ну, что это ты плетешь! — укорила Поля,— и куда тебе...

— Я не плету,— прервал Аполлошка,— я говорю, как будет... Я пойду туда, где будет Марья Михайловна... Я всегда там буду, где она...

Аполлошка приостановился и, замирая, ждал, не скажет ли чего Маня.

Она и теперь ничего не сказала, но взглянула на него и улыбнулась.

Аполлошка очень хорошо понял, как мало в этой улыбке выражалось надежды на успех его предприятия, но все-

таки это была улыбка, и у него вдруг точно выросли крылья.

— И в Петербург пойдешь? — посмеялась Поля.

— И в Петербург! — отвечал Аполлошка с радостной энергией.

— Ах ты — бреда! — ахнула Поля.— Ну, где тебе до Петербурга дойти!

— Отчего ж мне не дойти? — с увлечением возразил Аполлошка.— Доходили ж люди! И сколько людей! Ноги и у меня есть... И дорога для всех проложена!

— Полно городить! — убеждала Поля.— Ну куда ты там на чужбине голову приклонишь? С голоду да с холоду помрешь!

— Не помру! — уверенно отвечал Аполлошка.

— Кто ж тебя напоит-накормит? Ну кто?

— Я приду к Марье Михайловне...

Он приостановился, но не от сомнения в ней,— она молчала, но она глядела на него и все ему улыбалась,— он приостановился, потому что ему пришла мысль, что от нее, собственно, мало зависит всякая вещественная помощь. Эта мысль не привела его, однако, в уныние, и он также уверенно добавил:

— И сам себе добуду.

— Ну, как ты сам себе добудешь?

— А как люди добывают? Кабы никто ничего не добывал, так все бы там перемерли, никто бы туда не стал и заглядывать... А туда всякий желает...

— Желает, да только ручки поджимает! — менее решительно проговорила Поля и, перестав выводить оники, призадумалась.

— А я их поджимать не стану!

— А вот как жалко кого покинуть, так подожмешь! — вздохнула Поля, снова принимаясь за свои оники.

— Мне никого не жалко!

— Так ты и не много чего смыслишь,— поучительным тоном перебила Поля.— Пока в Петербург-то зазвонишь, писал бы, а то вон страничка, как снег, белеется!

— Сейчас вас догоню! — пригрозил Аполлошка, и под его пером быстро начали воздвигаться ряды оников.

— Догоняй, догоняй,— отвечала Поля,— очень поспешишь, так только людей насмешишь...

Дверь отворилась, и вошел Владимир Петрович.

Маня вся вспыхнула и быстро поднялась с места.

— Здравствуй, Маня,— сказал Владимир Петрович, целуя ее руку.

Он говорил улыбаясь и ласково, но Поля мгновенно как-то застыла и так же напоминала только что философствовавшую Полю, как напоминает снежный ком сверкающую на солнце струю; все сияние исчезло с лица Аполлошки, и даже Маня словно смутилась.

— Что это у вас, класс чистописания? — спросил Владимир Петрович.

— Да,— отвечала Маня.

— Но он скоро кончится?

— Да, скоро,— отвечала Маня.

— Я велел сюда подать кофе: у тебя здесь уютнее,— продолжал Владимир Петрович, опускаясь на кушетку.— А вот и кофе!

Появился Федосей Егорович с огромным подносом в руках и, найдя стол занятым, с мученическим спокойствием остановился с ношей.

Аполлошка в мгновение ока исчез с своею тетрадкой. Поля, забыв свое недавнее наставление: очень поспешишь, только людей насмешишь — очень поспешила, разроняла книги, споткнулась и ушла вся пунцовая, заставив Владимира Петровича улыбнуться ей вслед и шутливо сказать:

— Ах, Маня! какими увесистыми неуклюжими мешками ты наполняешь свое гнездышко!

— Она — славная девушка! — проговорила Маня.

— Не спорю, но без нее разве нам не лучше?

Он привлек ее к себе, посадил около себя, поцеловал в глаза, потом в губы и спросил:

— Отчего у тебя такие холодные губки? Ты сегодня как будто не рада мне?

Маня обвила руками его шею и прижалась щекой к его щеке. Она хотела, но не имела духу сказать ему, что радость эта подавляется чем-то гнетущим. Она как-то страшилась всякого разговора, который мог бы повести к какому-либо анализу, старалась не заглядывать в себя, ничего не доискиваться в своем внутреннем мире и испытывала нечто подобное тому, что испытывает человек, который несет драгоценное хрупкое сокровище и боится взглянуть на него, мучительно предчувствуя, что не найдет его в целости.

— Ты не видал, какая в саду роза расцвела! — сказала

она, вдруг обрадовавшись, что нашлось что сообщить,— расцвела теперь, когда нельзя было совсем ожидать...

— Мне до розы в саду нет никакого дела,— отвечал Владимир Петрович, приглаживая ее вьющиеся волосы,— у меня вот своя роза и гораздо лучше садовых. С тех пор как она у меня, я очень счастлив. Меня только одно немножко огорчает...

— Что? — спросила Маня, быстро поднимая голову.

— Меня огорчает, что мы... мало бываем вместе...

— Как мало бываем вместе? — спросила Маня.

Сердце у нее начало быстрее и быстрее биться, руки тихонько отпали от его шеи, и, несколько отклонившись назад, она смотрела ему в лицо.

— У нас слишком много времени отнимают... времени, которое мы могли бы провести вместе... я хочу сказать, Маня, что ты напрасно теряешь целые часы с этой глупой Полей...

— Она совсем не глупа,— возразила Маня,— она только очень застенчива...

— Положим, что она даже умна, но зачем ее вводить в нашу жизнь? Зачем она приходит к тебе, когда ей вздумается, и отнимает у нас целые часы?

— Она очень несчастная,— отвечала Маня,— и у нее никого нет... Она очень любит брата, а брат пьет... Ей хочется учиться...

— Милый мой друг, если ты хочешь ей помочь, я рад это сделать,— сказал Владимир Петрович.— Дай ей, что тебе угодно, но не отдавай себя, то есть своего времени... Мальчика тоже можно пристроить... Если у него есть охота учиться, мы его поместим в училище... В нашем городе, я слышал, училище прекрасное... Это будет гораздо полезнее...

— А ты помнишь? — проговорила Маня и не окончила. Краска, несколько раз заливавшая ее лицо в продолжение его монолога, теперь сбежала, и ее глаза смотрели не на него, а на ковер.

— Что помню ли, Маня? — спросил Владимир Петрович.

— Ты говорил, как мы будем учить, как будем утешать... Ты говорил, что одними деньгами нельзя ничего сделать...

Маня проговорила это медленно и очень отчетливо, но не поднимая глаз; ресницы ее слегка вздрагивали.

— Я помню и опять готов повторить,— отвечал Владимир Петрович, делая такое движение, будто почувствовал, что у него за обшлагом рубашки таракан или нечто подобное,— но зачем же... зачем же утрировка, Маня? Ты могла бы, пожалуй, и учить, и утешать, но не утрируя... Ведь у тебя нет ни одного дня свободного. На урок должен быть назначен известный час, и, как час этот пройдет, следует их отправлять,— чего не успеешь им объяснить, объяснишь в другой раз...

— И утешать так? — проговорила Маня, продолжая рассматривать ковер.

Владимир Петрович вспыхнул, принужденно засмеялся и сказал:

— Я вижу, что Маня моя недовольна и придирается. Я отложу до другого раза этот разговор, а теперь предлагаю пить кофе, который стынет...

Он встал с редко проявлявшейся у него порывистостью и подошел к столу, на который был подан кофе.

Маня не возражала и тоже подошла к столу.

«В ней иногда проявляется что-то железное!» — подумал Владимир Петрович, принимая из ее рук чашку кофе, и сказал вслух:

— Ты как-то говорила, что желала бы поглядеть на пустынь,— сегодня чудесный день, и я распорядился, чтобы экипаж был готов. Если ты расположена, то поедем.

— Поедем,— отвечала Маня.

— А не утомит тебя эта поездка?

— Нет... Отчего ж утомит?

— Ведь она продолжится дня два — не наскучит тебе?

— Нет, я очень рада... Там, говорят, хорошо...

— Прелестное местечко! особенно весною... Я помню там один уголок, который весь зарос черемухой... И я нигде не видал таких величественных дубов... Самый монастырь очень интересен... Он очень древний... и много в нем перебывало людей, с счастливою верою притекавших изливать свои печали или радости... Там я прочел надпись на откосе одного окна: «Я все потерял и ничего не хочу находить»... И подумал: если бы заговорили эти серые стены, они бы много могли рассказать о разрушенных надеждах, несбывшихся мечтаниях и тяжелых потерях... неизвестных тебе нехороших вещах, Маня,— прибавил он, взяв ее руку и ласково сжимая в своей.

Маню смутила и тронула эта ласка; ей захотелось обнять его, сказать ему, как благодарна за его доброту, как ее радует его любовь, как много она сама его любит, но она почему-то не имела силы этого сделать и только слабо улыбнулась.

— И не знай их никогда, моя дорогая! — вздохнул Владимир Петрович, продолжая насчет нехороших вещей — разрушенных надежд, несбывшихся мечтаний и тяжелых потерь.— Никогда не имей о них и понятия, как до сих пор не имела.

Точно ли она до сих пор не имела о них понятия? Да, она не могла указать ни на что подобное, а между тем, далека была от той уверенности, с какою сказочный царь посмеялся в душе над Берендеем, когда грозный старик согласился выпустить его бороду под условием получить вместо выкупа то, чего он не знал в своем царстве. В ее царстве, то есть в ее внутреннем мире, за последнее время появилось, она чуяла, много такого, чему она не решалась, что называется, посмотреть в глаза, но от чего, она тоже чуяла, ей не убежать, и что ей откроет, пожалуй, вещи ничуть не лучше тех, которых Владимир Петрович желал ей никогда не ведать.

— Как славно ты улыбнулась! — сказал Владимир Петрович.

— Когда же мы поедем? — спросила Маня.

— Я велел приготовить экипаж к двенадцати часам. Так ты довольна моим распоряжением?

— Очень довольна,— отвечала Маня и с отрадою подумала, что сейчас оставит свою розовую комнату и потеряет из виду все знакомые предметы и места.

Вошел Аполлошка и подал исписанный полулист почтовой бумаги, доложив, что прислано от судьи Астафьева.

— От кого? — спросил Владимир Петрович.

— От судьи мирового, от Астафьева,— повторил Аполлошка.

Владимир Петрович пробежал листок и заметно изменился в лице.

Пока он читал, адрес, написанный крупным писарским почерком, бросился Мане в глаза.

— Это адресовано мне? — изумилась она.

— Да, тебе,— отвечал Владимир Петрович.— Не беспокойся, я поеду и объяснюсь. Тут какое-то недоразумение.

Он говорил уж чересчур сдержанно и тем выдавал свое волнение.

— Можешь идти,— обратился он к Аполлошке, стоявшему у дверей.

Аполлошка вышел.

— Что такое? — спросила Маня.

— Не беспокойся, это — какое-то недоразумение... которое объяснится... Но я теперь кстати скажу тебе, Маня, что ты себя не бережешь... ты слишком доверчива, слишком увлекаешься... Ты, моя бедная, везде видишь только идеалы...

— Что такое? Чем ты огорчен? Покажи мне эту записку! — просила Маня.

— Ты слишком легко приближаешь к себе всех, кто тебе кажется несчастным... Ты поставила себя в такие странные отношения с разными нищими, что они на тебя смотрят, как на своего человека... Можно помогать всякому, но приближать к себе всякого нельзя, Маня... Ты не видишь, что наглые люди злоупотребляют твоею добротою, твоим великодушием... Сегодня, например, является старуха и требует тебя, именно требует! Кричит: «Я — Матрена, я не пойду, пока ее не увижу!» Согласись...

— Ее прогнали? — спросила Маня.

Она вдруг так побледнела, что в лице ее, казалось, не осталось ни кровинки.

— То есть ей сказали уйти.

— Ты приказал?

— Да, Маня, я. И я был прав... Это тебе докажет глупое послание Астафьева!

Волнение Владимира Петровича дошло до того, что он сделал жест, как будто хотел швырнуть листок по столу. Он, однако, вовремя его подхватил и подал Мане.

То было нечто среднее между письмом и повесткой от мирового судьи, вызывавшего Марию Михайловну Михайлову свидетельницей по делу крестьянки села Дубровок, Матрены Кузьминой, и крестьянина того же села, Федора Матюхина, обвиняемых по жалобе помещицы деревни Райской, Варвары Ивановны Князевой, в краже золотого браслета.

— Ты видишь, в какую историю тебя замешали! — сказал Владимир Петрович.— Но не тревожься, я сейчас поеду к Астафьеву и переговорю с ним... Куда же ты? Маня!

— Пусти меня! — проговорила Маня, отстраняя его,— пусти...

— Но ты так взволнована...

— Пусти меня... Я должна идти сказать, что я дала ей браслет...

— Маня, подумай, что ты хочешь делать! — воскликнул Владимир Петрович.— Маня, ради бога!.. Подумай, в какую историю ты хочешь вмешаться! подумай, что ты хочешь обвинить себя в уголовном деле! Великодушие заставляет тебя терять голову... Ты все забываешь... Я этого не допущу... Есть проступки, которых нельзя на себя принимать... Да потом это и бесполезно: все равно виновная будет уличена... Это невозможно...

Он говорил быстро, запинаясь на каждом слове, был почти так же бледен, как Маня, и не выпускал ее рук.

— Я дала ей этот браслет! Я! — повторила Маня, стараясь освободиться.

— Маня! все имеет пределы! Пойми, что твое великодушие с Матреной ставит меня...

— Я ей дала браслет, я говорю правду! Я тебя не обманываю... Я дала ей браслет!..

Она задыхалась, и из глаз ее брызнули слезы.

— Ты дала? — проговорил Владимир Петрович.— Ты?

— Я.

— Маня! заклинаю тебя всем, что тебе дорого и свято, скажи мне правду! Маня, друг мой, дорогая моя!.. Ты дала ей этот браслет?

— Да...

— Но когда же?

— Уж давно... когда я еще жила в Райском...

— Браслет Варвары Ивановны?

— Мой браслет... который Варвара Ивановна мне подарила.

— И Варвара Ивановна этого не знала?

— Не знала.

— Маня, милая моя, дорогая, не вырывайся... Обсудим все вместе... Оказывается, что дело пустое, и Матрена нисколько не потерпит... Но надо действовать без увлечений... осмотрительно... Ты знаешь, какие наши суды, какие наши судьи... Мы еще с тобой недавно читали... помнишь? А этот Астафьев еще хуже других... он известен как самый взбалмошный человек на свете... Но я сумею с ним сладить...

и дело сегодня же окончится... Матрену оправдают... И мы ей поможем... Мы ее устроим. Маня, неужто ты думаешь, что я равнодушно смотрю на страдания народа? Неужели ты могла думать?.. Но я, к несчастью, опытен... А не я ли первый тебе говорил о народе? О, моя дорогая Маня! пойми меня лучше!.. Успокойся, моя ненаглядная, я сейчас еду к Астафьеву, а потом, вероятно, в Райское... и все устрою.

Он нежно сжимал ее холодные руки, целовал их, целовал ее бледное лицо, тихонько усадил на кушетку, сел с нею рядом и, не выпуская ее из объятий, просил рассказать ему со всеми подробностями, когда и кем был дан Матрене браслет.

Когда Маня рассказала ему со всеми подробностями, он ей улыбнулся и опять повторил, что все устроит.

— Я сейчас еду,— сказал он,— а ты обещай мне не волноваться... Бедные мои ручки! совсем холодные!..

Он опять прижал ее руки к своим губам.

— Поезжай,— проговорила Маня.

— Сейчас, сейчас... Где твой колокольчик?

Он встал, позвонил и приказал появившемуся Аполлошке велеть немедленно заложить и подать экипаж.

— Поскорее,— прибавила Маня.

— Полно же, моя дорогая Маня, успокойся! — снова начал уговаривать Владимир Петрович, как только скрылся Аполлошка.— Положись на меня... Неужто ты во мне сомневаешься? Неужто ты думаешь, мне не жаль этой бедной старухи? Но, моя ненаглядная идеалистка, все-таки не надо забывать, что она взросла совершенно в иной сфере, в иных понятиях и приближать ее к себе... то есть сближаться с нею, как с человеком равным — невозможно... Потому невозможно, что мы совсем иначе на все смотрим... Безусловное равенство между нами поэтому немыслимо... Я пробовал, Маня, и увидал, что это ни к чему не ведет... Что это вводит только в искушение и развращает... Оно так и должно быть: неразвитой человек, терпящий нужду, смотрит на все, как на средство к наживе... Разумеется, я не отрицаю исключений, но они очень редки... Прежде всего, надо воспитывать народ... научить его быть... быть человеком... А теперь у него только животные инстинкты развиты... нравственное чувство только в зародыше... Ты не прими моих слов за отчуждение, за равнодушие... Поверь, мне нелегко!.. Но что же делать!..

Он прошелся по комнате и пытливо взглянул на Маню. Она сидела неподвижно, с опущенными глазами. Ему показалось, что лицо ее вдруг чрезвычайно как-то переменилось. И переменила его не одна бледность, а его новое выражение. Выражение чего? Он не мог определить. То ему казалось, что с него что-то сбежало, то, что на нем появилось что-то небывалое.

«О женщины! — мысленно воскликнул он.— Кто вас разберет!»

И, еще раз пройдясь из угла в угол, опять начал о народе, но его прервал Аполлошка, явившийся с докладом, что экипаж подан.

Маня быстро встала с своего места и, хотя ничего не сказала, но это движение ясно показало, что она желает поторопить выезд,— что несколько уязвило Владимира Петровича.

— Я еду, еду,— сказал он,— и все устрою. Положись на меня и будь спокойна...

— Ты можешь идти,— обратился он с заметным раздражением к Аполлошке, который оставался в дверях и, когда тот скрылся, проговорил:

— Что за несносный мальчик! вечно глядит в глаза! Никак не могу ему внушить, что такая услужливость ненадобна... Ну, прощай, Маня, так ты не будешь волноваться?

— Нет,— отвечала Маня.

— И не будешь сомневаться во мне? — добавил он тише, поднося ее руку к своим губам и глядя ей в глаза.— Не будешь судить меня по словам, которые... которые вышли у меня неясны?.. Ты ведь понимаешь меня?.. И любишь?.. Прости, моя Маня, этот вопрос: ты дала мне такое доказательство любви, о котором я никогда не забываю... о котором и теперь не могу подумать без ужаса и вместе глубокой радости... Прости мне этот вопрос, моя ненаглядная! Обними меня, и я уеду...

Маня обняла его, как на долгую разлуку, которая неизвестно сколько должна продлиться и после которой неизвестно что может быть,— обняла крепко, с тоскою и тою всеотпускающею нежностью, какая овладевает вами при расставании с людьми, долгое время служившими для нас источником радости и горя.

— Милая моя, дорогая Маня! — проговорил Владимир Петрович,— ненаглядная моя... моя Иоанна д'Арк... Ну,

прощай, надо поскорее выручить бедную Матрену... Прощай, моя радость... я скоро возвращусь...

Он вышел с прояснившимся лицом, сел в коляску и уехал.

Проводив его, Маня несколько секунд прислушивалась к стуку удалявшихся колес, потом, когда уже нельзя было уловить этого стука, еще мысленно следила за ним, как он, откинувшись в коляске, быстро катится по дороге. Мучительная смесь горечи и нежности, негодования и преданности заставляла чуть не до разрыва биться ее сердце; ни одной ясной определенной мысли не было в голове, а мелькали беспорядочно и отрывочно какие-то картинки из прошлого житья,— свидание с отцом, давние томительные вечера в Райском, угол, где стояли ее пяльцы, яркий узор раковины, наполненной цветами, по которому она вышивала подушку, задавая себе вопрос, точно ли так уж трудно дойти до Иерусалима, любимая ее тенистая узенькая дорожка в лесу, где она думывала о своем одиночестве, когда ей было так страшно очутиться вдруг без ожидания, что вот он в такой-то час появится, и так удивительно, что все кругом идет своим чередом по-старому — на небе ни тучки, все те же у всех дневные заботы, все так же пестреют георгины в цветнике.

— Марья Михайловна! — окликнул ее Аполлошка.

— Что? — ответила она, обертываясь и улыбаясь ему, как улыбаются трудно больные люди детям, которые нерешительно подходят к их мучительному ложу.

— Нынче, как мы учились, приходила Матрена...

— И ее прогнали? Я знаю.

— И про браслет знаете?

— Знаю. Владимир Петрович поехал и все устроит... Отчего ты такой печальный?

Она подошла к нему и, положив ему руку на плечо, заглянула в глаза.

«Господи! как у нее глаза блестят! — подумал Аполлошка.— А, кажется, они помирились!»

— Отчего такой печальный? — повторила Маня.— Ну, скажи!

— Я боюсь, что Владимир Петрович не возьмет меня с собою,— сказал Аполлошка и замер, ожидая ответа.

— Куда не возьмет? — спросила Маня.

— В Петербург... Попросите, чтоб он взял! Попро́сите?

— Хорошо...

— Прикажете подавать завтрак или подождать Владимира Петровича? — проговорил, появляясь на пороге, Федосей Егорович с опущенными глазами.

До завтрака еще было далеко, но он находил особое горькое наслаждение как можно чаще появляться перед этой беззаконницей, на которую он смотрел бы гораздо снисходительнее, если бы она походила на тех беззаконниц, каких он привык видеть у господ, и казнить тем себя и ее.

— Нет, подождите Владимира Петровича,— отвечала Маня.

— Слушаю-с.

И, удаляясь торжественным шагом, он кинул Аполлошке:

— Ступай к садовнику за фруктами.

— Сейчас иду, Федосей Егорович,— отвечал Аполлошка тоном самого благовоспитанного казачка, что тотчас же было замечено Федосеем Егоровичем и от чего старое его сердце взыграло.

«А! — подумал он.— Господь внял моей грешной молитве: утром было дозволение прогнать старуху, теперь ее любимец поет другим голосом! Заступил меня великий чудотворец Николай».

И, давая обет завтра же отслужить новый молебен заступнику чудотворцу, он еще ледянее прибавил:

— И в фруктовую корзину свежих листьев положи!

— Положу,— отвечал Аполлошка.

«Да, иным голосом поет!» — подумал Федосей Егорович, торжествуя.

«Шипи не шипи, а не на что будет тебе жаловаться!» — думал Аполлошка, начавший петь иным голосом по собственному грешному расчету — примерным поведением расчистить себе путь к Петербургу.

Маня оглянула свои розовые стены, весело и мягко освещенные солнцем, пробивавшимся сквозь розовые занавеси; прекрасный портрет Владимира Петровича грустно смотрел на нее своими задумчивыми глазами из изящной бронзовой рамки. Точно так же каких-нибудь полчаса назад смотрел на нее оригинал, когда говорил ей о необходимости оградить свой покой и назначить час в неделю для приема всех, кто нуждается в помощи и утешении.

Маня накинула на себя платок, вышла из дубровских хором и быстро пошла по дороге к селу.

IV

НЕУДАЧА

В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно,
Теперь плачу безумству дань.

А. Пушкин[1]

Не успел Владимир Петрович отъехать и четверти версты, как лицо его, прояснившееся на прощаньи с Маней, снова омрачилось пуще прежнего.

Неприятнее истории не могло случиться. Как щекотливо входить в объяснения с этим сумасбродом Астафьевым! Как несносно толковать с Варварой Ивановной, видеть ее слезы и истерики! Нет, самое лучшее скорее уехать из Дубровок и отдохнуть где-нибудь подальше от всех этих деревенских дрязг. Мечта и эта не сбылась,— жизнь, как он хотел, не устроилась. Кто в этом виноват? Не он. У Мани нет того женского чутья, которым угадывается невысказанное... В ней мало женственности... Что она сделала с этой бедной розовой комнатой, которую он так заботливо и так изящно убрал! Вороха книг, чернильные пятна. Да, в ней мало женственности... Она готова говорить по целым часам о таких вещах, от которых другие женщины только вздрагивают... Впрочем, он сам виноват отчасти: зачем он давал ей без разбору читать всевозможные книги? Но кто мог предвидеть, чтобы сухие статьи могли так действовать, могли так увлекать молодую любящую женщину? Когда женщина любит, у нее вырастают крылья, она отрешается от всего окружающего, она поглощена своим чувством: ей не до митингов в Манчестере, не до расположения крестьянских изб... Разумеется, женщина должна всему сочувствовать, должна все понимать... должна страдать страданием народа, помогать... но... не вдаваться в педантизм... не проповедовать кстати и некстати... не отравлять каждого поцелуя напоминанием, что у Марфы повалился забор или околел поросенок... не забывать, не игнорировать, что есть другие страдания, быть может, более жгучие, потому что они более осмысленны, страдания, которые не так легко вознаградить, как потерю поросенка!

---

[1] Строфа из поэмы «Полтава».— *Ред.*

Владимир Петрович перекинулся из одного угла коляски в другой.

А между тем, она любит! Сомнения тут невозможны. Тому свидетель Княжий провал. Можно ли теперь поверить, что она недавно чуть не убила себя из-за того, что он только усомнился в ее любви? Теперь она или возражает ему, или молчит, но так, что это молчание хуже всяких возражений. А сегодня как она себя держала! Она, кажется, и не подумала, как может быть неприятна для него эта история, в какое неловкое положение она может его поставить... Она заботилась только о Матрене... А эта мысль бежать самой объясняться с Астафьевым! Где же женская стыдливость? Разумеется, она уверена в нем, Владимире Петровиче, что он женится, но пока ее положение все-таки ложное и щекотливое, и она хорошо понимает, какие бы взгляды на нее обратились... И это ей нипочем! Непонятно, как могла в ней развиться такая... такая беззастенчивость! Его, мужчину, иногда смущают ее выходки... Как она глядела, как отвечала сегодня! И как он, Владимир Петрович, непозволительно вел себя: хотел ей объяснить правильный взгляд на вещи, а вышло то, что он перед ней точно оправдывается, точно боится, что она сочтет его за какого-то плантатора... Зачем было уверять ее в своем сочувствии народу, в своей готовности служить ему? Зачем было допрашивать, не сомневается ли она в нем? Зачем было сравнивать ее с Иоанной д'Арк?

Владимир Петрович покраснел, и в нем поднялось новое, почти враждебное чувство к Мане.

Не много утех готовит ему жизнь с этой Иоанной д'Арк. Но поздние сожаления ни к чему не ведут. Прошлого не воротишь. Они связаны неразрывно, и отступить он не может... И не отступит, разумеется, хотя бы впереди его ожидало худшее. Он безропотно понесет кару за свое безумие. Страдать для него—не новость. Есть люди, которые на это только и обречены, и он принадлежит к этим людям. Они, может быть, слишком многого требуют от жизни и сами виноваты... Но зачем же, как сказал поэт, они наказаны жаждою идеала, или зачем мир, где они вращаются, так не подходит к идеалу?

Последняя мысль — мысль принадлежать к классу избранных страдальцев — была капелькой бальзама, поусмирившей раздражительность Владимира Петровича и заставившей его умилиться над собою.

Но что же теперь ему предпринять? Конечно, спешить выездом из Дубровок. Свадьба у них назначена через неделю, но разве нельзя этого сделать раньше? Или нельзя перевенчаться в другом месте? Это, пожалуй, будет и лучше: избавит от всех любопытных взглядов, от всех несносных поздравлений... В таком случае можно бы уехать хоть завтра же... Но куда ехать? В Петербург или в Италию? В Италию было бы полезнее для Мани, это бы развило в ней чувство изящного... Жаркое южное солнце растопило бы кору пуританизма и, может, из педантки превратило бы ее в настоящую женщину... Но для него Италия полна горьких воспоминаний... Там могила его лучших надежд, его самых светлых мечтаний, его счастья... Но разве нет особого грустного наслаждения ходить между дорогими могилами и тревожить старые раны?

Несомненно, что грустное наслаждение в этом было, и Владимиру Петровичу так захотелось испытать его, что он порешил ехать в Италию.

Как только посмотрит на это Маня? Он вчера только рисовал ей картину жизни в Петербурге... и, видя, как она радуется, он сделал несколько таких глупых штрихов, которые теперь могут возбудить опять эти невыносимые вечные вопросы: «Помнишь, что ты говорил? Разве ты забыл свои слова?» Впрочем, убедить ее, конечно, можно, а после она сама будет довольна... Удивительно, как она, при своей неопытности и будучи поставлена в такое положение — положение все-таки крайне щекотливое — так смело во все вмешивается и все судит! Что это, наивность или отсутствие деликатности? Но и у самых наивных бывает чутье, бывает врожденный такт...

Показавшаяся из-за стриженых тополей красная крыша усадьбы Раковки, где жил и судил судья Астафьев, обратила его мысли на предстоящее щекотливое, по его мнению, объяснение с служителем Фемиды, и он начал приискивать, какою бы фразою дебютировать.

Парфен осадил лошадей перед фасадом длинного одноэтажного кирпичного дома с двумя широкими крыльцами под остроконечными навесами; у одного из этих крылец стоял толстый зеленый столб, над которым возвышалось нечто вроде колпачка, долженствовавшего, вероятно, защищать от ненастья овальную лакированную белую дощечку с круглой черной надписью, гласившей, что тут пребывает

мировой судья, и укрепленный под дощечкой фигурный ящик для писем.

— К которому крыльцу прикажете? — спросил Парфен.

После минутного колебания Владимир Петрович приказал подъехать к крыльцу без столба и надписи, на котором гладко причесанный, быстроглазый, губастенький, беленький мальчик лет десяти, в красной русской рубашке, белых шароварах и высоких сапогах, строгал перочинным ножичком березовый сук. Он непринужденно расшаркался с Владимиром Петровичем и сказал:

— Вы судиться? так надо на то крыльцо.

— Я желал бы переговорить с Алексеем Сергеевичем,— отвечал Владимир Петрович.

— Хорошо, я вас к нему проведу. Он, кажется, в оранжерее. У нас расцвело сегодня одно редкое растение с острова Мадеры, знаете, откуда добывают вино мадеру...

— Вы, верно, сынок Алексея Сергеевича? — спросил Владимир Петрович, следуя за ним в сени, а оттуда через боковую дверь в садовую аллею.

— Да, я — его старший сын, Алеша. Меня назвали так и в честь папаши, и в честь дедушки, генерал-майора Алексея Григорьевича Сорокина, который два раза одержал победу над турками.

Пройдя несколько шагов молча, Алеша спросил:

— Вы, верно, приехали переговорить о мужиках?

— Почему вы так думаете? — спросил в свою очередь Владимир Петрович.

— Потому что все за этим ездят,— отвечал уверенно Алеша,— мужики всем причиняют убытки. Недавно помещику Маслову причинили на восемьсот рублей... или производят бесчинства. Вы знаете, даже к нам раз пришли два пьяных мужика и начали плясать в камере. Папаша их гонит, а они говорят: «Не пойдем, пока не допляшем», и пляшут! Папаша надел цепь, показывает им на нее, угрожает предать суду, а они лезут его целовать. Тогда мы пришли к нему на помощь — я и мамаша, и велели кучеру оттащить их в овраг. Папаша, впрочем, сам виноват: он сначала избаловал мужиков. Он очень добрый, и кто перед ним расплачется, всегда его разжалобит, и он начнет уговаривать, а надо меры строгости... А вы знаете, стоит только с мужиками начать запанибрата, они сейчас привяжутся и чего-нибудь просят. Папаше не было от них отбою. И они сделались так фамильярны, что одна баба преспокойно

стала звать его милуном. Как увидит: «Ах милун ты, милун!» Мамаша говорит: «Ну, что ж после этого!» Впрочем, теперь папаша сам видит, что ошибался. Но мамаша все-таки ему уж не доверяет и всегда присутствует сама при разборе мужицких дел. Мамашу это очень утомляет, но она не жалеет себя, чтобы оградить мужа, то есть папашу; без нее он наверно забудется, и опять выйдет какой-нибудь скандал. Нет, когда я буду мировым судьей, так мой участок будет в примерном порядке!

«Какой смешной мальчик!» — подумал Владимир Петрович, который обдумывал предстоящее объяснение, и слушал рассеянно, но все-таки уловил самоуверенность тона, бойкость и складность речи.

— А вы хотите быть мировым судьею? — спросил он.

— Да,— отвечал Алеша.— Я уж и теперь знаю устав о наказаниях... Вон папаша выходит из оранжереи.

И он звонко крикнул:

— Папаша! к вам по делу... Как ваша фамилия? — обратился он к Владимиру Петровичу.

— Хрущев,— отвечал Владимир Петрович, вглядываясь в показавшуюся между деревьями довольно тучную фигуру в бархатном пиджаке и серой шляпе.

— Господин Хрущев желает с вами переговорить! — крикнул опять Алеша.

— К вашим услугам,— проговорил Астафьев, приближаясь и раскланиваясь.

Он и кланялся, и смотрел, и говорил как-то знаменательно, что, при его узком лбе, головке толкачиком и добродушных толстых губах выходило так, как будто он, желая посмешить, строит, что называется, рожи.

— Извините великодушно, Алексей Сергеевич, что я позволил себе явиться к вам за советом,— начал Владимир Петрович.— Я не имею никакого права утруждать вас, я это знаю, но я рассчитывал на то, что развитой и просвещенный человек, как вы, не откажете в содействии... в содействии восстановить истину.

— И не ошиблись,— отвечал Алексей Сергеевич, который, видимо, одобрил прилагательные развитой и просвещенный.— Не угодно ли вам присесть вот на ту скамеечку и рассказать, в чем дело,— прибавил он, указывая на дерновую скамью невдалеке и вынимая папиросницу.— Не угодно ли покурить?

— Нет, благодарю вас,— отвечал Владимир Петрович.

Он сел на дерновую скамью; Астафьев поместился около него справа, а Алеша, не отставший ни на шаг, слева.

— Я вас слушаю,— сказал Астафьев, закуривая папиросу.

— Я желал бы вам передать это дело наедине,— сказал Владимир Петрович.

— Да мы и то наедине,— ответил Астафьев.

— Я не знаю...— сказал Владимир Петрович, оглядываясь на Алешу.

— О, вы Алешей не стесняйтесь,— успокоительно ответил Астафьев,— он у меня все дела слушает. Я, знаете, прочу его тоже в мировые и загодя приучаю.

— Я не знаю, удобно ли при мальчике...— заметил Владимир Петрович.

— А что? разве что-нибудь такое? — спросил Астафьев.

Он приклонился к уху Владимира Петровича и прикрывая рот ладонью, как щитком, шепнул:

— Обольщение девицы? Сильные краски? Яркие подробности?

Алеша насмешливо вздернул плечами.

— Нет,— отвечал Владимир Петрович, покрываясь легкой краской,— вовсе нет...

— Ну, так чего ж, валяйте, батенька!

Владимир Петрович, однако, все еще колебался «валять».

— Дело, о котором я желаю с вами посоветоваться, назначено у вас на сегодня...— начал, наконец, Владимир Петрович.

— Позвольте-ка, что у меня сегодня? А! знаю! знаю! А! так это... Понимаю! понимаю! Весьма прискорбно! весьма прискорбно!

Он сжал губы в бутон, нахмурил брови, росшие у него кустиками, и поглядел на Владимира Петровича, как бы говоря: неужто вы надеетесь меня чем бы то ни было подкупить?

— Дело это очень просто,— продолжал Владимир Петрович, и краска сильнее выступила на его лицо,— но, вместе с тем, крайне...

— Я беспристрастен-с, беспристрастен, как сам закон!— перебил Астафьев.

— Я не пытаюсь делать подрыв вашему беспристрастию,— отвечал Владимир Петрович, улыбаясь и уже крас-

нея до ушей от досады,— я не имею ничего сказать о каком-либо снисхождении, я только желаю передать вам некоторые обстоятельства...

— Где пропадает нерадивый блюститель правосудия?— раздалось вдруг из боковой аллеи.

— А! Вячеслав Андреевич! мое почтение! — сказал Астафьев, вставая навстречу желтолицему изношенному брюнету с красивыми чертами, потухшими холодными глазами, с опущенными, как пустой кошелек, углами рта, с висячими, длинными усами, с эспаньолкой в виде огромной запятой, в изящном костюме пепельного цвета и черной фуражке с красным кантом.— Позвольте вас познакомить: Владимир Петрович Хрущев...

— Вячеслав Полянов, честь имею представиться,— сказал изношенный брюнет неприятно резким голосом, приподнимая фуражку, наклоняясь с той небрежной грацией, которою отличаются служившие в гвардии, щелкая каблуками и подавая Владимиру Петровичу руку, затянутую в серую лайковую перчатку.— Очень приятно-с.

— Очень приятно,— отвечал Владимир Петрович, донельзя огорченный и раздосадованный неожиданной помехой.

— Здравствуй, скороспелка! — обратился Полянов к Алеше.— Что ты, еще не поступил в звание мирового судьи? Поспешай, брат, поспешай! вакансии есть!

Алеша, очевидно, не любивший подшучивания над собою, холодно расшаркался.

— Да-с,— продолжал Полянов, садясь на дерновую скамью и обращаясь к Владимиру Петровичу,—вообразите, приезжаю я сюда в первый раз, встречает меня этот пузырь, занимает разговором и отпускает для начала такую фразу: «Папаша облечен властью мирового судьи!» Как вам это покажется? Ха-ха-ха!

Резкий, металлический смех неприятно раздражил слух Владимира Петровича, но благоприличие заставило его ответить хотя улыбкою, и он ею ответил.

Алеша отошел, пожимая плечами.

— Да, пребойкий мальчишка! — сказал Астафьев, с самодовольною улыбкою глядя вслед удалявшемуся Алеше,— хотя и мой сын, а не могу этого не признать... Память, сметка — удивительные! Из него выйдет дельный мировой судья!

— А это не он один прочит себя в мировые,— вы тоже его прочите? — спросил Полянов.

— Разумеется, батенька,— отвечал Астафьев.— Деятельность мирового судьи — деятельность самая почтенная и, можно смело утверждать, самая полезная в России!

— Блажен, кто верует! — отвечал Полянов, закуривая сигару.

— Нельзя не веровать-с! — возразил Астафьев и вдруг закипел, как тонкий жестяной чайник, который всунули в груду горячих угольев,— нельзя-с! нельзя-с! Кто охраняет права народа? Кто?..

— Никаких вы прав не охраняете,— с желчным спокойствием отвечал Полянов.

— Не охраняю? не охраняю?

Астафьев вскочил с дерновой скамьи.

«Когда ж, наконец, я отсюда вырвусь!» — подумал Владимир Петрович.

— Разумеется, не охраняете,— отвечал Полянов.— Да и что такое «права народа»? У дикого народа не может их быть — ему надобны не права, а исправительные меры.

— Однако...— проговорил Владимир Петрович, которому в эту минуту было, собственно, не до прав каких-либо диких или цивилизованных народов, но который, в качестве просвещенного европейца, считал своей прямой обязанностью возразить.

— Нет-с, права народа священны! Права народа священны! — восклицал Астафьев, подбрасывая руки кверху, как в гимнастике,— и я их охраняю-с! свято охраняю-с!

— Ничего вы не охраняете!

— Охраняю-с! — восклицал Астафьев, начиная уже и ногами выделывать гимнастику,— топать, приседать, брыкать и подкидывать песок, усыпавший площадку перед дерновой скамьей.— Под охраной мировых учреждений народ отдыхает-с! Мировой судья ограждает его от притеснений, от лихоимства, от злоупотребления власти-с, от...

— Оградите от меня моего конюха Прошку,— прервал Вячеслав Полянов.

— Огражу-с! — подпрыгнул Астафьев.

— Как оградили, когда я его побил?

— Да-с! Вы были приговорены к уплате штрафа!

— И после приговора, побив оного Прошку вторично и больнее, прислал вам двойную сумму, дабы избавить вас от труда снова постановлять решение и повторять приго-

воры! — желчно засмеялся Вячеслав Полянов.— И сегодня изобью, если мне вздумается. Что ж мне ваш штраф?

И он презрительно вздернул угловатыми плечами.

— Позвольте-с, позвольте-с! — пробормотал Астафьев, начиная моргать и вскидывать головой, словно ему кто с размаху плеснул в лицо холодной водой,— позвольте-с! Бесчеловечное обращение...

— Какое тут бесчеловечное обращение? — с небрежной злостью опять перебил Вячеслав Полянов.— Когда я выезжаю своего Сокола и хлещу его арапником — это ведь не называется бесчеловечным обращением, а все Прошки в тысячу раз глупее и подлее его заднего копыта!

— Позвольте-с, позвольте-с! — замахал руками Астафьев, точно на него, после всплеска водою, еще накидывался рой пчел,— позвольте-с, власть мирового судьи...

— Не позволяю, не позволяю горячиться! — пропел женский голос, не из самых сладкозвучных.

«Еще!» — с огорчением мысленно воскликнул Владимир Петрович.

Явилась дама, поразительно напоминавшая осеннего разжиревшего дрозда, увеличенного тысяч в триста раз, плотно обернутого в пеструю шотландскую материю с черными бархатными отворотами и увенчанного палевой шляпкой с виноградными гроздьями.

— Алина Семеновна! — проговорил Астафьев, кланяясь и кидая тревожный взгляд в глубину идущей от дома аллеи, как бы в ожидании, что вот оттуда покажется нечто, далеко превышающее власть мирового судьи.— Алина Семеновна!

— Не позволяю горячиться! — повторила Алина Семеновна, улыбаясь, подавая руку Астафьеву и Вячеславу Полянову, приветствуя Владимира Петровича, вместо поклона, двукратным извивом корпуса и впиваясь в него блестящими круглыми, с желтым ободком глазами.— О чем у вас спор?

— О том, как обыкновенно, о чем не стоит спорить,— отвечал Вячеслав Полянов.

— Не стоит?

— Нет-с, стоит, и очень стоит! Он отвергает пользу мировых судей! — начал было снова закипать Астафьев, но тотчас же погас, опять кинул взгляд в глубину аллеи и закончил тем, что попросил Алину Семеновну садиться и дунул на предлагаемое ей место на скамье.

— Отвергаете пользу мировых судей? — повторила Алина Семеновна — Ах, какой! Нет, мировые судьи очень, очень, очень полезны! Они распространяют просвещение... Ах, нет, они очень, очень, очень полезны! У нас в России теперь вообще много полезного... La Russie marche à présent avec les pas de géant!.. avec les pas de géant! [1]

Алина Семеновна проговорила это быстро, то закрывая, то открывая круглые блестящие глаза, словно клевала какую сладкую ягоду и спешила, елико возможно, пользоваться лакомым кормом.

— Я предлагаю тоже marcher avec les pas de géant [2],— сказал Вячеслав Полянов, ударяя на avec les pas и акцентируя французскую фразу совершенно так, как ее акцентировала Алина Семеновна; затем, вставая и низко ей кланяясь, прибавил отличнейшим выговором:

— Madame, vous avez toutes mes sympathies [3].

— Non, non, je ne crois pas, vous êtes un homme sans foi, vous êtes un homme sans coeur! [4] — пропела Алина Семеновна, которая, хотя хорошо заметила небрежную насмешливость тона, но сочла за лучшее сделать вид, что ничего подобного не замечает.

— Итак, marchons [5] в гостиную,— сказал, не слушая ее, Вячеслав Полянов,— я намерен засвидетельствовать мое почтение Поликсене Павловне и выпросить у нее вас на охоту,— обратился он к Астафьеву.

— На охоту? на какую охоту? — встрепенулся Астафьев.

— Мой доезжачий наследил волков.

— Волков?

— Да, волков, и мы через час отправляемся.

— Экое горе! — вздохнул Астафьев.

— Какое? — спросил Вячеслав Полянов.

— Сегодня у меня разбирательство!

— Ну, отложите ваше разбирательство.

— Как же отложить, что вы!

— Придумайте казус,— неявка свидетеля, упущение

---

[1] Россия в настоящее время идет гигантскими шагами! Гигантскими шагами! *(франц.)*

[2] Идти гигантскими шагами... *(франц.)*

[3] Мадам, вам — все мои симпатии *(франц.)*

[4] Нет, нет, я не верю, вы человек без веры, без сердца! *(франц.)*

[5] Идемте... *(франц.)*

какого-нибудь пункта,— так, что ли, это у вас говорится? Одним словом, вывернитесь.

— Полноте говорить пустое,— отвечал Астафьев.— Есть вещи, над которыми шутить непозволительно-с!

— Неужто есть? Ну, да не в том дело: вы, следовательно, на охоту не едете.

— Отложите до завтра! Что вам значит один денек! — начал убеждать Астафьев.

— Не отложу и на полденька, батюшка. У меня облава готова.

«Наконец-то он уберется! — думал Владимир Петрович.— Но уберется ли этот монстр?»

А монстр, то есть Алина Семеновна, поблескивая глазами на Владимира Петровича, в это время думала:

«Дурак Астафьев не представил его мне. Заговорит ли он со мной? Неужто он так влюблен в эту глупую девчонку, что даже говорить не может?!»

— Да отложите! — убеждал Астафьев Вячеслава Полянова.

— Говорю вам, что облава готова,— отвечал тот.— Честь имею кланяться!

— Экое горе! Экое горе! — твердил Астафьев, провожая удалявшегося гостя.

— Вы понимаете наслаждение охотиться за волками? — спросила Алина Семеновна, оставшись вдвоем с Владимиром Петровичем и потеряв надежду, что он когда-нибудь с нею сам заговорит.

— Нет, я — не охотник,— отвечал Владимир Петрович.

— Мне кажется, человек, который любит поэзию, не может быть охотником. Это не наполняет души,— вздохнула Алина Семеновна, принимая задумчивую позу,— n'est ce pas? [1]

Владимиру Петровичу не оставалось другого выхода, как ответить:

— Разумеется...

— Но у нас такая все проза! — продолжала Алина Семеновна.— Не с кем поделиться чувствами, не с кем слова сказать... У нас все вроде Полянова. Он, верно, вам не понравился? Признайтесь!

— Я его так мало видел, что...

— О, не скрывайте! я сейчас же угадала! Ваше сердце

---

[1] Не правда ли? *(франц.)*

не обмануло вас: он — ужасный человек! Он свою жену в клетку сажает!

— Как в клетку? — спросил Владимир Петрович.

— У него есть от обезьяны клетка, и он сажает туда жену... Да! да! как рассердится, так и посадит!

— Я не думал, что подобные вещи возможны,— проговорил Владимир Петрович.

— О, для него все возможно! Он не дорожит ничьим мнением, ничего не боится... Не правда ли, ужасно?

— Ужасно,— отвечал Владимир Петрович, с тоскою поглядывая, не покажется ли возвращающийся Астафьев.

— И вообразите, есть женщины, которые от него без ума!

— Неужели?

— Без ума, без ума! Вам я могу все сказать, потому что вы — человек с душою, человек избранный...

— Я боюсь...

— О, я знаю, знаю вас... и понимаю... Жена Астафьева была в него страстно влюблена!

— Неужели? — повторил Владимир Петрович.

— Да, да, письма писала, ревновала... Вообразите, даже ко мне! А я уж, кажется, совершенно безопасна.

Владимир Петрович не имел духу не только сказать, что она, напротив, очень опасна, но даже выразить это улыбкою и бесцветно опять повторил:

— Неужели?

— Да, да! и ненавидела меня ужасно! Перестала у меня бывать, не пускала даже мужа... Бедный Астафьев ведь ее боится, как огня. Она ему никогда не дает больше рубля... C'est vulgaire, n'est ce pas? [1] А вы знаете, что она очень интересуется вами?

— Мною?

— Да, да, вами! Я сидела с ней, и вдруг входит Алеша и говорит, что приехал... называет вашу фамилию. Она так взволновалась! Все твердила, как бы желала вас видеть, но у нее флюс, и она ни за что на свете не хочет вам показаться с флюсом. У нее слабость — заботиться о красоте! Вы знаете женщин!

Астафьев все не показывался.

Владимир Петрович решился нарушить правила светской вежливости и посмотрел на часы.

---

[1] Это вульгарно, правда? *(франц.)*.

Он ужаснулся: было половина третьего.

— Я не знаю, что мне делать,— обратился он с слабой улыбкой к новой знакомой,— господин Астафьев исчез, а между тем, я должен с ним немедленно переговорить...

— Ах, он, верно, о вас забыл,— отвечала Алина Семеновна.— Он — такой чудак! Ужасно забывчив и рассеян! Он все путает и забывает, раз даже тещу забыл на ярмарке.

— Я должен с ним немедленно переговорить...

— Немедленно? Ах, понимаю, понимаю... Je vous comprends [1]. Но вам надо бы с его женою переговорить: она тут — все, а он ничто... Но она с флюсом ни за что на свете не покажется!

— Мне остается идти его разыскивать... но я в большом затруднении, потому что в первый раз здесь и мне все незнакомо...

— Пойдемте, я буду вашей путеводительницей... я очень, очень рада, что с вами познакомилась!

Она схватила его за руку и так ее сжала, что сама побагровела.

— Я очень, очень рада!.. Мы не были представлены друг другу, но я — враг церемоний... Вы, быть может, и не знаете, кто я?

— Не имею удовольствия,— проговорил Владимир Петрович, которого уже бросало в пот.

— Ваша соседка и близкая, Алина Семеновна Бродова. Надеюсь, вы меня посетите в моем Журкове? Вы во мне найдете полное сочувствие... Je comprends tout! tout, tout, tout! [2] А теперь следуйте за мною!

«Назначено в два часа,— думал с волнением Владимир Петрович, не слушая путеводительницы, которая начала что-то о своем умении отличать людей,— но не мог же Астафьев в самом деле забыть, что я его жду! Это уж было бы чересчур! Только в России могут случаться подобные вещи!.. И всем уже известно! Уездные сплетни меня, разумеется, не трогают, но... Нет, скорее, скорее отсюда! Только бы развязаться с этой глупой историей — и сейчас же заграничный паспорт...»

Выйдя из садовой калитки, они увидали Алешу, расхаживавшего около судейского крыльца.

— Алеша! — крикнула Алина Семеновна.

---

[1] Я понимаю вас *(франц.)*.

[2] Я понимаю все! все, все, все! *(франц.)*

Алеша приблизился.

— Где папаша?

— Разбирает.

— Уж началось! — вырвалось у Владимира Петровича.

— Мужайтесь! — шепнула ему Алина Семеновна.— Oh, je vous comprends! [1]

— Давно началось,— отвечал Алеша,— но нет никакого толку. Во-первых,— упущения. Обвиняемую бабу нашли только сейчас,— она все пряталась; — повестки папаша забыл разослать вовремя. Потом с райской помещицей Князевой делаются истерики. Князева — это истица. А вы, кажется, тоже причастны к этому делу? — обратился он к Владимиру Петровичу, слегка прищуриваясь и, вероятно, желая окончательно убедить господина, не решавшегося при нем объясняться, что ему, Алеше, действительно, все дела известны.

— Entrons, entrons! [2] — сказала Алина Семеновна, впрыгнула в сени и отворила дверь в камеру.

Владимир Петрович приостановился.

«Входить или не входить? Но как не войти? Это будет похоже на бегство... Потом надо же, наконец, узнать, надо добиться... О, Маня! Маня!»

— Entrons, entrons! — шептала Алина Семеновна.

Большая зала с колоннами служила камерой. На передней скамье помещалась всхлипывавшая истица, которой Анна Ларивоновна чем-то примачивала виски, отец Павел, разряженная Луша и Красухин, подальше в углу ответчики — угрюмый мужик в сером зипуне и старая Матрена, на двух других скамьях — незнакомая, немногочисленная публика, большею частью дамы, между которыми бросилась в глаза молодая дама, похожая на шпиговальную иглу, и крошечная, злорадно поглядывавшая старушка.

Увидав Астафьева, восседавшего в цепи и принявшего более чем когда-либо знаменательный вид, Владимир Петрович почувствовал почти ненависть.

Но что почувствовал он, когда Астафьев произнес: «Ввести свидетельницу Михайлову!», и из боковых дверей вышла Маня.

— Je vous comprends, je vous comprends! [3], — шептала ему на ухо сидевшая рядом Алина Семеновна.

---

[1] О, я понимаю вас! *(франц.)*

[2] Войдем, войдем! *(франц.)*

[3] Я понимаю вас, я понимаю вас! *(франц.)*

— Свидетельница Михайлова, знаете ли вы этот браслет?

— Это — мой браслет, который я дала крестьянке Матрене,— отвечала Маня.

Ее утренняя бледность была ничто в сравнении с бледностью, которая теперь покрывала ее лицо: но в ней не было заметно ни тени смущения, или колебания, или робости. Она говорила несколько медленно, как будто с трудом переводила дыхание, но внятно, только голос ее так изменился, что, не видя ее, можно было принять его за чей-то чужой.

— Когда вы дали его крестьянке Матрене?

— Я не помню числа, месяца три назад, летом.

— Как достался вам этот браслет?

— Мне его подарила на именины Варвара Ивановна Князева.

Истерические восклики, начавшиеся при появлении Мани, так усилились, что сделалось невозможно продолжать допрос.

— Ах, им дурно! дурно! — раздался вопль Анны Ларивоновны.

— Спирту! спирту! — зашумело в публике.— Гофманских капель! Лучше холодной воды!

— Ах, ничего не помогает! — пронесся дискант поповой Луши.

— На свежий воздух ее! на свежий воздух! — советовал какой-то низенький помещик, приподнимаясь на цыпочках.

— Отворите окно! отворите окно!

— Крестом бы, крестом бы осенить! — приставала к отцу Павлу крошечная старушка с злорадными взглядами.

— Не беспокойтесь! не беспокойтесь! — увещал ее отец Павел.

— Из ковшика бы плеснуть, и вскочили бы, как встрепанные! — шепнул ему Евдоким Евдокимович, пряменько и скромненько сидевший на своем месте.

— Покорнейше прошу публику не шуметь! покорнейше прошу! — взывал Астафьев.

— Свидетельница Михайлова, вы сказали, что браслет был вам подарен госпожой Князевой?

— Да.

— Я хочу говорить! я! — взвизгнула Варвара Ивановна и вдруг вскочила на ноги.— Я хочу сказать... Я призрела эту... эту...

Она дрожащей рукой указала на Маню.

— Госпожа Князева! прошу вас...— начал Астафьев.

— Я призрела... Я облагодетельствовала! — взвизгивала Варвара Ивановна,— и она... и она...

Варвара Ивановна истерически зарыдала и почти упала на руки Анны Ларивоновны.

— Ах, бедная, бедная! — зажужжало несколько женских голосов.

— Каково это, такая черная, черная неблагодарность!— вздохнула дама, красная и сухая, как перечный струк, сидевшая недалеко от Владимира Петровича, впереди, и все время метавшая на него в полуоборот высокомерные взоры.

— Да, ужасно! — отвечала ей соседка, которая оберты-валась к нему будто нечаянно, щурилась и дергала крючковатым носиком.— Как молода и как порочна! Похитить вещь у благодетельницы!

— Неужто она в самом деле решилась?

— Да, да! мне сама Варвара Ивановна говорила! Эта глупая баба, Матрена, только служила ей ширмами! Да разве вы не слыхали, что говорила на допросе эта Матрена? Она ведь прямо сказала, что ее *отуманили!* Понимаете, отуманили! О, ее непременно осудят! Все свидетели против нее! Даже священник — духовное лицо! Да вы только на нее посмотрите, что у нее за вид! никакого раскаяния!

Владимир Петрович чувствовал, как у него холодеют руки и ноги.

— O! Je vous comprends, je vous comprends! — шептала ему на ухо Алина Семеновна.

Он не сводил глаз с Мани. Он мучительно желал защищать ее, верил в ее чистоту, ждал только удобной минуты беспощадно посрамить Варвару Ивановну и всех, кто осмеливался чернить ее, но вместе с тем в нем все сильнее и сильнее поднималась гневная, едкая горечь, и он мысленно твердил: «Вот что она сделала с нашей жизнью! вот как мало она дорожит домом, который я ей дал! Она превратила его в какую-то богадельню, в какой-то приют! Сделала притчею во языцех!»

«Ты сам толковал ей о приютах и богадельнях»,— опять шептал ему внутренний голос.

«Да, да,— опять отвечал он этому голосу,— и это прекрасно, и этим следует заниматься, но... но всему есть свои пределы! Человек имеет право на отдых, на свой неприкосновенный уголок. А что она сделала с этим уголком?»

И перед ним снова мелькала, так сказать, профанированная розовая комната, а в розовой комнате неуклюжая Поля, выводящая каракульки и пятнающая мебель чернилами, и только что вымывший тарелки Аполлошка с книгою в руках.

— Свидетельница Михайлова, вы утверждаете, что браслет был подарен вам госпожою Князевой и что вы его, в свою очередь, подарили крестьянке села Дубровок, Матрене Кузьминой!

— Да,— отвечала Маня.

Как она бледна! как она должна страдать! Она сознает себя правою в этой скверной истории и жестоко оскорбленною, но ей и в голову не приходит, вполне ли она права перед ним, Владимиром Петровичем Хрущевым! Да она теперь, вероятно, и не думает о нем, она вся поглощена Матрениным оправданием!

— Не можете ли вы припомнить, при каких обстоятельствах получили вы браслет от госпожи Князевой?

— На мои именины.

— Вы после этого считали себя в праве им располагать, как своею собственностью?

— Да.

— О чем неизвестно было госпоже Князевой?

— Неизвестно.

— Обман! обман! — выкрикнула Варвара Ивановна,— предательство! Я ничего не подозревала... Это за все, за все... за все мои благодеяния... Вот благодарность! благо... дар... ность!..

Последний слог разнесся пронзительным писком; затем последовал истерический хохот.

— Принимая во внимание болезненное состояние госпожи Князевой,— сказал Астафьев, вставая,— я считаю нужным отложить разбирательство этого дела до следующего четверга, в который прошу покорно всех свидетелей явиться.

Он поклонился и мелкими проворными шажками поспешил к двери, находившейся в углублении залы, позади его стола, с приятнейшей мыслью тотчас же надеть зеленый бархатный казакин, который велел себе приготовить, и отправиться на охоту за волками.

Владимир Петрович кинулся к Мане. Она быстро шла к выходу. В публике, поднявшейся с мест, слышалось: «Вот

она! вот она!» Дамы ахали и отскакивали от нее в сторону, как от прокаженной.

— Маня! — окликнул он, догоняя ее уже у дверей,— Маня!

Она обернулась. Глаза ее горели, и она с ног до головы дрожала.

— О, зачем было сюда приходить тебе! О Маня! — прошептал он, исполняясь жалостью.— Дай руку, поедем!

— Оставь меня! — проговорила она,— ты — трус и обманщик!

У него потемнело в глазах и показалось, что пол под ногами заколебался.

Она ушла, и его окружила публика. Слова ее многие слышали, он это видел по окружающим лицам, по шушуканью и улыбкам, по тому, что отхлынули от Варвары Ивановны и прихлынули к нему. Какой-то баритон даже громко сказал: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» и засмеялся. Он на это улыбнулся, хотя того не желал и был тем недоволен, но как-то сделалось невольно. Он тоже вовсе не хотел больше вступать в разговор с Алиной Семеновной и решил избегнуть ее; но вдруг сам к ней подошел, заговорил и обещал посетить ее в Журкове. Он с такою благосклонностью приветствовал отца Павла, тоже вовсе того не желая, так любезно принял конфиденциальное сообщение, что он, отец Павел, всегда верно служивший его предкам, верно служит и ему, Владимиру Петровичу, и на допросе побдел ему и Марье Михайловне, что тот тотчас же перешел к Долгушиному лужку. Он спросил Красухина, тоже не желая, как он поживает и, получив в ответ: «Слава богу-с», сказал, что очень рад. У него все проносилась мысль отплатить Мане великодушием, оградить ее от новых оскорблений, вознести ее, возвеличить, и его интересовало, что о нем думают все, слышавшие ее слова. Он вдруг спохватился, что, прежде всего, надо ее отыскать и увезти домой и, решив, что она, вероятно, там, где Матрена,— при этом он усмехнулся, как усмехаются при мысли о неисправимом капризе доброго ребенка,— стал осматриваться, у кого бы спросить о Матрене.

Но в эту самую минуту за ним прохныкал голос Анны Ларивоновны:

— Батюшка, Владимир Петрович, Варвара Ивановна совсем кончаются! Пожалуйте, батюшка, Владимир Петрович!

Он не поверил, но очутился возле скамьи, где Варвара Ивановна, свалившись головкой на плечо Луши, вздрагивала в истерическом припадке, и стал щупать ее пульс, задавая себе вопрос: должен ли он был подходить к той, которая так жестоко оскорбила Маню? Разумеется, должен, только не затем, чтобы щупать пульс, а затем, чтобы объясниться, высказать, как недостойно ее поведение, требовать прекращения этого глупейшего, безобразнейшего дела и публичного извинения перед Маней. Да, он настоит на публичном извинении; он добьется его во что бы то ни стало,— пустит в ход угрозу завести дело о клевете, убеждения, ласки... Нет, ласки были бы оскорблением Мане, выставили бы, что он как бы милости просит — он должен быть холоден и требовать,— конечно, он не будет груб; даже можно допустить некоторую мягкость, если в этом встретится необходимость, но так, чтобы всем было ясно, как он чтит Маню...

Он еще не успел нащупать пульса на скорченной ручке в пюсовом шелковом рукаве, с кружевной оборкой, как все эти мысли вихрем пронеслись у него в голове, и он решил сейчас же требовать, чтобы Варвара Ивановна ему назначила свидание,— Маню лучше теперь оставить: иначе опять выйдет сцена при посторонних, что падет на нее же.

— Царь небесный! Царь небесный! — сокрушенно шептала Анна Ларивоновна,— спаси и помилуй, и заступи! Мать пресвятая богородица!

— Ах, как оне страдают! — томно восклицала Луша, которая сама втайне страдала, чувствуя, как мнутся оборочки, украшавшие ее лиф.

— Вот спирт! вот спирт! — заговорила Алина Семеновна, подскакивая с флаконом,— отличный, сейчас же приведет ее в чувство! Я достала у madame Астафьевой, которая тоже часто страдает истерикой... Сейчас же поможет! сейчас же!..

Спирт madame Астафьевой, действительно, оказал благодетельное действие: как только Алина Семеновна подсунула его под носик Варвары Ивановны, та тотчас же замотала головкой, закашлялась, расчихалась и пролепетала:

— Будет... будет... довольно...— и открыла глаза.

— Володенька! Володенька! О, какое свидание! О Володенька!

— Я покорнейше прошу вас уделить мне несколько минут для объяснения,— ледяным тоном отвечал на эти вопли

Владимир Петрович,— и назначить, когда я могу к вам явиться.

— Володенька! как ты со мной говоришь! Володенька, ты убиваешь меня!

— Потрудитесь назначить час, когда я могу к вам явиться для объяснения,— еще ледянее произнес Владимир Петрович.

— *Она* извратила в тебе все человеческие чувства! *Она*....

— Так как вам не угодно отвечать на мой вопрос, то я позволю себе откланяться и письменно изложить дело, по которому я требую объяснения...

С этими словами Владимир Петрович отвесил ледяной поклон и хотел удалиться, но Варвара Ивановна уцепилась за него обеими ручками и с плачем запищала:

— Володенька! пощади! я умру... не убивай меня... Поедем в Райское, сейчас поедем... Ведь ты поедешь сейчас? О Володенька...

— Я готов ехать сейчас же,— отвечал Владимир Петрович.

— О Володя! оставь этот ужасный тон! Поедем! поедем! Анна! где же Ганс? Коляску! коляску! Володенька, куда же ты? Подожди меня, подожди!.. Я изнемогаю... я падаю!.. Не бросай меня... ты не можешь меня бросить!

Она повисла у него на руке, и вырываться от нее значило бы только тешить публику, которая уже выходила из камеры, но, заслышав драматическую сцену, быстро повернула назад, а потому он счел за лучшее довести ее до коляски.

— Adieu! Adieu! — зачастила ему вслед Алина Семеновна. — Не забудьте Журкова! я вас жду! Je vous attends!.. [1]

Белобрысый Ганс стоял у дверец коляски, и с его помощью Владимир Петрович усадил Варвару Ивановну.

— Куда же ты, Володенька? — взвизгнула она.— Куда же ты? Ты обещался в Райское! Володенька! Володенька!

Она хотела его поймать, но он вовремя отступил, и она поймала только воздух.

— Я не заставлю вас ожидать,— сказал Владимир Петрович с поклоном,— я еду отсюда в Райское.

---

[1] Прощайте! Прощайте!.. Я вас жду!.. *(франц.)*

— О, не убивай меня этим ужасным тоном! Володя, садись со мной! поедем вместе! Володя!..

Но Владимир Петрович уже спешил, под огнем провожавших его дамских взглядов, к своему экипажу.

— В Райское! — приказал он Парфену,— и, пожалуйста, как можно скорее.

— Уж не беспокойтесь, Владимир Петрович, живо доедем,— отвечал Парфен, который успел приобрести от астафьевского поваренка какую-то особенно голосистую дудочку для подманивания птиц и был в отличнейшем расположении духа.

Он взмахнул кнутом, и вороные понеслись.

V

ВСТРЕЧА

Die Geisblattlaube — ein Sommerabend —
Wir sassen wieder, wie ehemals, am Fenster —
Der Mond ging auf, belebend und labend —
Wir aber waren wie zwei Gespenster.

Zwölf Jahre schwanden, seitdem wir beisammen
Zum letzen Male hier gesessen —
Die zartlichen Gluten, die grossen Flammen,
Sie waren erloschen unterdessen.

H. Heine[1]

До слуха Владимира Петровича долетели еще несколько жалобных воплей Варвары Ивановны, несколько восклицаний, раздавшихся в публике, но скоро стриженые тополи остались далеко позади, и он помчался по тихому проселку.

[1] Отрывок из стихотворения Г. Гейне «Свидание» цикла «Романцеро»:

Беседка. Жимолость. В сумраке сада
Опять у окна мы в тиши запустенья,
Всходила луна, струилась прохлада,
Лишь мы были с нею, как два привиденья.

Двенадцать лет уж прожито нами
С тех пор, как здесь мы вдвоем сидели;
И нежный пыл, и жаркое пламя
За этот срок остыть успели.

(Перевод А. Ефременкова)

«Сейчас же потребую, чтобы было написано письмо»,— мысленно повторял он и старался сосредоточиться на обсуждении, как успешнее действовать, но никак не мог этого сделать. Сначала его развлекали косые полосы света, который заходящее солнце бросало на верхушки кустов, густо росших по одну сторону дороги, сухое деревцо, которое чернело в яркой озими, необозримо расстилавшейся по другую ее сторону, непрошенное воспоминание об Алине Семеновне, о разных, только что мельком виденных незнакомых физиономиях; затем вдруг все это затмилось и выступило бледное лицо с горящими глазами. «Ты — трус и обманщик!» — так явственно прозвучало в его ушах, что он даже слегка вздрогнул и оглянулся.

В первый раз в его жизни ему были брошены такие слова,— и неужто их бросила та самая Маня, страстно любящая, беззаветно преданная, ловившая каждое его слово, радостно вспыхивавшая при его появлении?

Впрочем, в последнее время она изменилась. Она иногда смотрела на него как-то пытливо. Да не сомневается ли она в нем? Не боится ли, что он ее бросит? Он сегодня же предложит ей перевенчаться, не откладывая, и успокоит ее на этот счет. Затем он передаст ей часть имения. Она будет отказываться, но он настоит. Или, еще лучше, он ей даже не скажет, пока это не будет устроено законным порядком.

Им овладело нетерпение привести свои планы в исполнение, нетерпение увидать ее, услыхать, что она скажет, как объяснит жестокие слова, которые ему бросила, увидать, как она будет поражена тою платою, какою он ей за них отплатит...

— Что, скоро доедем? — спросил он Парфена.

— Скоро-с,— отвечал Парфен,— вон уж господская крыша виднеется.

— А что же это коляска Варвары Ивановны отстала? Кажется, ее не слышно?

— Да они взяли в объезд, потому Варвара Ивановна боятся косогора.

— Куда же это в объезд?

— А через Бабино, там дорога ровная.

— Это много дальше?

— Подальше будет.

— Как подальше?

— Да версты на три.

Владимиру Петровичу чрезвычайно было это неприятно; нетерпение увидеть Маню одолевало его все сильнее и сильнее и начинало переходить в какую-то томительную тоску.

«Придется ожидать, быть может, целый час!» — думал он, всходя на райское крыльцо.

Его встретила Луиза и, сделав книксен, объявила, что gnädige Frau нет дома. Он отвечал, что это ему известно, что он подождет, отправился в гостиную и начал ходить из угла в угол, с шляпою в руках.

Он шагал уже минут десять, когда легкий шелест шелкового платья заставил его поднять голову: он взглянул и словно прирос к полу.

На пороге стояла знакомая прелестная и ужасная фигура, таинственно и эффектно освещенная меркнувшими лучами заката.

— Что это, галлюцинация? — спросил себя Владимир Петрович.

— Здравствуйте! — произнес памятный мягкий голос.

Он взял протянутую ему атласистую руку, но не имел силы пожать ее, подержал и выпустил.

— Садитесь, пожалуйста. Варвара Ивановна, вероятно, скоро приедет.

Он поклонился и сел.

Равнодушная улыбка слегка раздвигала ее розовые губы: очаровательные глаза блестели ровно и глядели прямо: они даже не выразили того простого интереса, с которым люди взглядывают после долгой разлуки на тех, кто, хотя и сделался им чужд, но когда-то был близок.

Она непринужденно поместилась около него. Тонкий запах знакомых духов подействовал на него раздражающим образом; как-то болезненно сладко и вместе гневно сжалось сердце. Память былого счастья, вместе с памятью последовавших за ним былых мучений, живо воскресла.

— Варвара Ивановна ужасно вам обрадуется,— сказала Надежда Львовна, слегка наклоняя, потом откидывая голову, причем ее шелковистые душистые кудри прелестно рассыпались — ему был хорошо знаком этот жест.— Она встретила меня горькими слезами и жалобами, что вы ее покинули. Бедная старушка очень добра, но немножко эгоистка, как и все отжившие люди.

«Она все уже знает!» — промелькнуло в уме Владимира Петровича.

Да, она, несомненно, все знала, но это, очевидно, так же мало занимало ее, как и любое уездное известие.

— Я приехал в Райское единственно по делу,— отвечал неровным голосом Владимир Петрович,— вынужденный необходимостью требовать у Варвары Ивановны объяснения...

— Да? — произнесла Надежда Львовна, как будто с легким удивлением.

— Варвара Ивановна позволяет себе самые недостойные вещи,— продолжал Владимир Петрович, из всех сил стараясь говорить спокойнее.

— Не слишком ли вы к ней строги? — отвечала Надежда Львовна.— Я не сомневаюсь, что вы имеете причины ее осуждать и даже не решаюсь ее защищать, но я хочу вам напомнить, что с нее нельзя взыскивать, как с других: она, бедняжка, никогда не блистала особенным умом и многое может себе позволить, но... по непониманию.

— Есть вещи, которых ничем нельзя извинить! — проговорил Владимир Петрович.

— Вы думаете?

Она так остановила на нем глаза, что он на это мгновенье потерял способность думать, хотя и ответил:

— Да, думаю.

— К тому же, она по-детски вспыльчива,— продолжала Надежда Львовна,— и, вспылив, может наговорить и наделать многое, о чем после сама горько будет жалеть, но я считаю ее неспособной обидеть муху спокойно, de gaîté de coeur... [1]

Владимир Петрович вдруг испугался, не приняла ли она его последней фразы за намек; она взглянула на него как-то особенно, не то печально, не то с укором. Неужели она может предполагать, что он снизойдет до намеков?

— Согласитесь,— начал он,— что эта история с браслетом,— она вам, вероятно, тоже известна?

— Да, Варвара Ивановна мне рассказывала,— отвечала Надежда Львовна,— история очень неприятная, очень печальная, но я уверена, что Варвара Ивановна поволнуется и кончит тем, что простит этих людей...

— Простит?! Тут нет виновных!

— Нет виновных? А те, у которых нашли этот несчастный браслет?

— Они не виновны: тут недоразумение...

---

[1] Беспричинно... *(франц.)*

— А! Бедные! как жаль! Варвара Ивановна постарается вознаградить их...

— Вы полагаете, что за все можно вознаградить?

Он опять испугался, не остановятся ли на нем ее глаза, как пред тем остановились, и почти со злобою упрекнул себя в неуместных оборотах речи.

Но глаза Надежды Львовны на этот раз взглянули на него без всякого знаменательного выражения, и она отвечала с улыбкою:

— Я не полагаю, но Варвара Ивановна полагает. Впрочем, есть, к сожалению, немало людей, которых *можно* вознаграждать... c'est triste, mais c'est vrai! [1]

«Что это, камень в мой огород? — подумал Владимир Петрович.— Нет, это бы не имело никакого смысла!»

Он, однако, хотел приискать ответ спокойный и вместе парирующий, но Надежда Львовна не дала ему на это времени.

— Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, какие теперь здесь цены на имения?

— Не знаю,— отвечал Владимир Петрович,— но не думаю, чтобы были высокие...

— Говорят, тут все теперь скупает новый помещик Красухин?

— Да, он много скупает...

Он отвечал ей с наружной безмятежностью, но в душе горько смеялся.

Ожидал ли он, что когда-нибудь они с нею так встретятся и будут вести такие разговоры?

Иногда у него мелькала мысль, что и она, быть может, также горько этому смеется, и его начинало дразнить желание убедиться, точно ли это так.

Он узнал, что она приехала всего два дня, что случилось это неожиданно для нее самой, что она пробудет здесь с неделю, что желает продать имение, что думает на неопределенное время поселиться в Италии. Прямо она ничего ему не сказала, но в ее рассказе о встрече с Красухиным, о впечатлении, которое Красухин на нее произвел, промелькнули фразы, заставившие его придти к таким выводам.

Но не в пример больше открыли ему даже не эти, вскользь брошенные фразы, а ее грациозные движения и

---

[1] Это грустно, но это правда! *(франц.)*

очаровательные жесты. По тому, как она только повела головой, он заключил, что ей тягостно здесь оставаться, по тому, как она сложила на коленях руки и устремила глаза вдаль, он увидел, что она мыслью уже стремится в Италию, по другому движению этих самых прекрасных глаз и рук он угадал, что и продажа имения, и поселение в Италии — для нее вещи второстепенные, а что томит ее какая-то тайная забота, какое-то тайное горе. Новый взгляд, новая улыбка заставили его подумать, что он ошибся, что, напротив, она вся проникнута какою-то радостью, и сбили его с толку.

Что же, томила ее тайная забота, тайное горе, или это ему так только показалось, и она теперь довольна и счастлива?

Старая игра в загадки, за которую он давно не брался и от которой отрекся, опять его влекла. Как карточного игрока, давшего себе зарок не брать в руки карт, тянет к зеленому столу, так тянуло и его, невзирая на то, что он говорил себе: «Мне это все равно,— какое мне теперь до этого дело?»

«Наконец-то!» — подумал он, когда Надежда Львовна указала ему на подъехавшую к крыльцу коляску, которую он не заметил, как приблизилась,— и вздохнул, будто давно желал освободиться от тягостной беседы, но в сущности эта беседа была для него, быть может, мучительна, но не была тягостна, и мысленно восклицая: «Наконец-то!», он испытывал нечто похожее на сожаление и досаду.

— Я пойду ее встречу,— сказала Надежда Львовна и оставила его одного.

Он не выказал нетерпения, даже не обратил внимания, как долго возились, высаживая Варвару Ивановну из экипажа, и затем, как медлила Варвара Ивановна своим появлением, и просидел, не двигаясь и не сводя глаз с одной пуговки на диване, пока его не пробудил голос Анны Ларивоновны, просившей пожаловать в спальню.

— Варвара Ивановна так ослабели, что не могут держаться на ножках, и легли в постель,— прибавила сокрушенно христова невеста, прижимая костлявые руки к белой косыночке, крестообразно сложенной на ее сухой груди.

Подходя к спальной, он услыхал истерический шопот Варвары Ивановны и тихий говор Надежды Львовны. Надежда Львовна как будто в чем-то убеждала.

Он на заграничный манер постучал в двери. Надежда Львовна ему отворила.

— Володя! Володя! — тотчас же запищала Варвара Ивановна, от которой из-за оборчатых подушек и покрывал видна была только кругленькая головка в высоком чепце, вздымавшемся наподобие хохолка.

Надежда Львовна указала ему на кресло, стоявшее около кровати, и сделала шаг к дверям.

— Наденька! Наденька! не уходи! не уходи! Володенька, останови ее!

— Я ничего не имею против того, чтобы Надежда Львовна присутствовала при объяснении, которого я требую,— сказал Владимир Петрович холодно и спокойно.

Надежда Львовна грациозно уютилась в другом кресле, прямо против него.

Владимир Петрович медленно и внятно заговорил:

— Я приехал объясниться по делу, начатому вами у мирового судьи, потому что к этому делу примешали мою невесту — Марию Михайловну Михайлову.

— Невесту! — взвизгнула Варвара Ивановна.

— Да, мою невесту,— повторил Владимир Петрович.

Сердце у него начало стучать, и он чувствовал, что бледнеет.

— Володя!

— Я требую, чтобы вы немедленно написали письмо, в котором бы перед нею извинились...

— Письмо?! извиниться?!

Варвара Ивановна забилась в подушках, как будто под нее вдруг подсунули горячую сковородку.

— Да, я этого требую. Вы, вероятно, не знаете, что ваше странное поведение во время разбирательства подало повод к самым недостойным толкам, которые вы обязаны опровергнуть...

— Я всему миру скажу, что она тебя погубила, что она — змея, интриганка! — прошептала Варвара Ивановна, подскакивая на постели.— Я скажу всему миру! всему миру!

— Вы должны написать в этом письме, что завели дело по недоразумению и, узнав, что браслет, подаренный вами, был отдан Мариею Михайловной крестьянке Матрене, спешите прекратить иск и извиняетесь, что доставили беспокойство Марии Михайловне, которая была вызвана в качестве свидетельницы...

Владимир Петрович проговорил это, не переводя духу и незаметно для себя возвышая и возвышая голос.

— Не напишу! не напишу! никогда не напишу! — лепетала Варвара Ивановна.

Слезы у нее вдруг высохли, и она твердо села на постели и сжала кулачки.

— Я требую, чтобы вы написали! Известно ли вам, какую тень вы бросаете на Марью Михайловну! Нашлись люди, которые подозревают ее в похищении браслета!

— Не напишу! не напишу! — продолжала лепетать Варвара Ивановна, стискивая кулачки.

— Так вы умышленно желаете ее чернить?

— Не напишу! не напишу!

— Я считаю излишним объяснять вам, как недостоин подобный образ действий. Я понимаю, что мне теперь остается одно,— подать иск и преследовать вас за клевету. Я это сделаю!

Он встал, поклонился Надежде Львовне (во все продолжение этого разговора он на нее не глядел, но чувствовал, что она на него глядит, слышал, невзирая на сильный запах гофманских капель в душной спальне, аромат от ее одежды) и вышел, не внимая крикам Варвары Ивановны, умолявшей его воротиться.

Он быстро перешагал несколько комнат и вдруг остановился в диванной: его догоняли легкие шаги и окликал мягкий голос:

— Владимир! Владимир!

— Не может быть! — проговорил он вслух.

Да, он ошибся. Его окликали полным именем, и отчество, вероятно, как-нибудь замерло в отдалении.

— Вы меня зовете? — спросил он.

— Да,— отвечала Надежда Львовна,— да... Я переговорила с Варварой Ивановной... Она напишет... Скажите Мане, что я этого добьюсь во что бы то ни стало... Не удивляйтесь, что я говорю так неспокойно, меня возмутила Варвара Ивановна... Она совсем иначе передала мне это дело... Какая низость!.. Бедная, милая Маня!.. Скажите, что я завтра же у нее буду... она когда-то меня любила...

— Мария Михайловна, без сомнения, будет вам чрезвычайно признательна за ваше участие,— проговорил Владимир Петрович.

— Скажите, чтобы она была покойна, чтобы не думала об этом позорном деле... Прощайте!..

Она мгновенно задумалась и забыла свою руку в его руке.

Он боялся пошевелиться,— каждое его движение могло быть объяснено не так,— или желанием ее оттолкнуть, или страхом ее прикосновения, а он хотел, чтобы она видела его только равнодушным и строго почтительным.

— Да, скажите Мане, что я все устрою и тотчас же к ней приеду,— проговорила, наконец, Надежда Львовна, как бы очнувшись и выпуская его руку.— Прощайте...

Владимир Петрович поклонился, но, подняв голову, увидал, что она все еще стоит перед ним,— ее очаровательная фигура представлялась в полуоборот, как будто она пыталась удалиться, но непреодолимая сила вдруг приковала ее на месте.

— Когда вы женитесь? — спросила она.

Голос ее был тих и глух, как голос тех тяжелораненых, которые не выдают своих мук стонами и жалобами.

— Завтра,— отвечал Владимир Петрович уж чересчур спокойно и приостановился, ожидая, не угодно ли ей будет сделать еще какой-нибудь вопрос.

Но она ничего больше не спросила, проговорила едва внятное «прощайте» и скрылась.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

АПОЛЛОШКА ВЫГАДЫВАЕТ

И прямиковая душа в разбежку пошла,
Как взголодала да прямика не нашла.
Русская пословица

Наступил мягкий, теплый осенний вечер и, как ни ярко сверкали высыпавшие на чистом небе звезды, как ни зорки были Полины глаза, а все-таки читать у окошка стало невозможно и приходилось сложить интересную книгу, что Поля и сделала со вздохом.

Ее убогая тесная каморка, пропитанная спиртным запахом, проникавшим из-за тонкой досчатой перегородки, которая отделяла помещение отца-дьякона, не имела особой привлекательности, и оставаться в ней без дела не представляло ничего приятного. Поля предпочла посидеть на своем ветхом крылечке, осененном двумя старыми развесистыми липами. Она бережно завернула книгу в белый платочек и спрятала ее под тугую розовую ситцевую подушечку, на которую перепадало немало ее горючих слез в бессонные ночи, когда она поджидала загулявшего отца-дьякона, и на которой немало было передумано и о горемычном житье-бытье, и о черничестве, и о лихих людях, и о загробных наградах за терпение на земле, и об ониках, и о мудреных словах в книжках; потом поправила крошечную лампадку, чуть-чуть освещавшую кусочек какого-то фольгового святого и отбрасывавшую бледное пятнышко на почерневший потолок, накинула на себя большой платок и вышла.

Но на крылечке тоже оказалось невесело. Она поглядела на частые звезды, сверкавшие сквозь безлистые ветки лип и подумала, что ночь все-таки темная и что хмельной

брат опять, пожалуй, попадет в какую-нибудь яму. Из-под горы доносилось унылое, монотонное кваканье лягушек; где-то далеко лаяли собаки. Она покинула крылечко и, рассудив, что успешней всего разгонит тоску, побеседовав с Маней, направилась к хоромам.

— Что это у вас в хоромах огня не светится? — спросила она у Аполлошки, которого встретила у подъезда.

— Никого дома нет,— отвечал Аполлошка.

— И Марьи Михайловны нету?

— Нету.

— Где ж она?

— Не знаю. Должно быть, пошла *ему* навстречу...

— Я с тобой хоть посижу, Аполлоша,— сказала Поля,— дома тоска смертная — одна-одинехонька, как утя на море...

— Садитесь,— отвечал Аполлошка, который, очевидно, ничего не имел против ее общества.

— *Он*-то куда ж это поехал? — спросила Поля.

— К мировому, чтобы Матрену на суд не тянул,— отвечал Аполлошка.

— И что это за напасть такая! С чего эту Матрену обговорили?

— Все — райская,— отвечал Аполлошка,— она, кабы могла, так всех мужиков и баб так бы и сглодала.

— Вот совести-то нету! — вздохнула Поля.

— Захотели у кого совести искать! — сказал Аполлошка.

— А уж что эта бесстыжая Луша про Марью Михайловну славит! — продолжала Поля.— И все это, чтобы я услышала: подбежит под наш забор — и давай корить что ни есть хуже на свете. Мы знаем, говорит, кто браслетку-то сцапал! Вот, говорит, как поволокут, говорит, барских полюбовниц в острог, так и балахонницам на орехи достанется!

— А вот как я ее пришибу камнем из-за угла, так она у меня прикусит язык! — сказал Аполлошка.

— Я хотела давно сказать Марье Михайловне, да что, думаю, тревожить? Собака брешет — ветер носит! А уж нонче, как я пришла с чистописания, что она плела! Только завидела, что я на порог, подскочила к забору: «Сейчас едем! сию минуточку судить будем!» Так и сигает, так и сигает, как змей какой! Мне даже боязно стало. Чего доброго, думаю, еще стрясется какая беда!

— Никакой беды не стрясется,— отвечал Аполлошка,— я слышал, как *он* говорил Марье Михайловне: «Не беспокойся, это — пустяки, ты имела право подарить свою вещь».

— Так это браслетка Марьи Михайловны?

— Ее.

— И она Матрене подарила?

— Подарила, а райская пигалица этого не знала и нажаловалась, что Матрена украла. *Он* говорит: «Это — пустяки, сейчас поеду и все улажу».

— Ну, слава богу! — вздохнула Поля.— А все мне чего-то словно тяжко... Не знаешь, когда положили в Петербург-то ехать?

— Скоро, Марья Михайловна обещалась попросить, чтоб и меня взял...

Это обещание наполняло таким удовольствием сердце Аполлошки, что оно просилось на излияния.

— То-то ты такой, точно живою водицей умытый! — сказала Поля.— Ну что ж, дай тебе бог! Ну, а мы и дома посидим! Укатишь, так небось и не вспомнишь, какая такая деревня на свете есть, какие такие там люди живут! Все забудешь!

— Зачем забывать! — отвечал Аполлошка, в своем довольстве не сознававший, что уже и теперь он, собственно, забыл, то есть отрешился от всех местных интересов и занят единственно будущим житьем на чужбине.

— Поехала бы и я с вами! — вздохнула Поля.— Полетела бы, да нельзя!

— Отчего нельзя? — сказал Аполлошка.— Попросите Марью Михайловну...

— А на кого я брата-то покину? — отвечала Поля.— Его без меня совсем заклюют. Запьет он вот как теперь, да потом сляжет — кто за ним приглянет? А тут еще отец Павел не по дням, а по часам лютеет. Прежде говорил: мне такого дьякона и надо — ни спору, ни брани с ним,— а теперь грозится — выживу! Все эта подколодная Луша подбивает!

— А вы бы Марье Михайловне сказали,— посоветовал Аполлошка.

— Ох, Аполлоша,— отвечала Поля,— несмыслен ты еще, не видишь, что не все по Марьи Михайловниному делается! Не замечаешь ты, что перед твоими глазами, как картина, стоит!

— Чего я не замечаю? — спросил Аполлошка.

— А того, что *он* (Поля подразумевала Владимира Петровича) Марью Михайловну в другую сторону тянет... Ты на то не полагайся, что он нам усмехается! Ты только погляди-ка хорошенько на него, как он входит к Марье Михайловне, да нас увидит: точно к меду спешит, а ему, заместо меду того, пчелиные жалы... И начнет это по потолкам да по стенкам глазами волочить, и носом во все стороны водит, точно чад какой слышит, и повертывается, и оглядывается, и жмется, и поджимается, точно кот на вязкой глине... Я уже давно это замечаю. Я еще тогда заметила, как, помнишь, брат расшибся, и его в хоромы внесли... Помнишь, как его на диван положили, и Марья Михайловна все к нему подходила, а *он* все ее заверял, что «лучше в покое оставить»? Помнишь, и за доктором посылает, и денег мне сует, а я все-таки свое замечаю... И потом, как взяли брата из хором да домой понесли, так он ажно вздохнул, ровно воз вез, да из-под хомута вышмыгнул. Марья Михайловна бежит за нами, а он: «Маня! Маня! не тревожь больного!» Так и воротил.

— А все-таки он ее слушается и по ее делает! — возразил Аполлошка.

— А что ж это наделал он по ее? — отвечала Поля.— Покажи ты мне эти дела-то? Помнишь ты или нет, что сначала-то говорили? А что с тех разговоров-то вышло? Только хоромы разубрали да дорожки в саду прочистили! Нет, он только мягко стелет, а ты ляг на его пухи-то, так бока тебе всю правду скажут!

Эти замечания расстроили Аполлошку. Да, не все делается по Марьи Михайловниному. Не дальше, как в этот самый день поутру прогнали Матрену. Значит, и просьба взять его, Аполлошку, в Петербург может быть не исполнена.

«А после он все-таки поскакал к мировому!» — мысленно попробовал он себя утешить.

Несколько минут длилось молчание.

— Неужли ж это все Матрену судят?—сказала Поля.— Уж ночь на дворе.

— Может, в гостях у мирового сидит,— отвечал Аполлошка, занятый какой-то мыслью.

— А Марья-то Михайловна где ж?

— Может, к Матрене пошла.

— Ох, не любит он этого! — усмехнулась Поля.—

И, должно быть, он что-нибудь Марье Михайловне уже говорил, потому она вот уж сколько времени никуда не ходила. И все огорчалась, все задумывалась, хоть и не хотела признаваться,— скажешь ей: «Что вы, Марья Михайловна?», так и встрепенется, точно с какого сна вдруг разбудили.

— Вы думаете, что ему денег жалко? — спросил Аполлошка.— Вот не угадали: ему деньги, как сор...

— Я знаю, что ему денег не жалко и что он деньгами сорит,— прервала Поля,— а жалко ему, что Марья Михайловна все по-своему хочет. Он — как архиерей: протопопов хоть побалует, а чтоб помнили, кто владыка!

Аполлошка угрюмо смотрел на ступеньку крыльца и не возражал. Он, очевидно, все более и более сознавал, что в замечаниях Поли есть порядочная доля правды.

— И Марья Михайловна все это чует,— продолжала Поля,— небось теперь у нее глаза-то не так блестят, как прежде, и почти она ничего не говорит, ничего не загадывает. А хоть и начнет про что, так сейчас слово у нее точно острый нож пересечет — вздохнет и смолкнет. Недавно я поминаю ей про эту школу, что сулились беспременно к осени. «Не знаю, ответила: Владимир Петрович обещал устроить, как только будет можно...» И таково это тихо выговорила, таково смирно, не то что прежде — с огнем да с полымем. «Владимиру Петровичу надо, говорит, съездить в Петербург; сразу невозможно устроить; надо, говорит, погодить» — не то, что прежде: вынь да положь, да чтоб все сейчас и прялось, и ткалось, и росло, и цвело... Уж как теперь чего просить — так не через Марью Михайловну, а прямо ему кланяться. Вон Михей, как догадался его подстеречь да прямо ему в ноги бухнул, так он сейчас ему и денег и лесу: не надо было «годить» — сразу «устроил».

— Так чего ж вы прямо к нему не пойдете? — сказал Аполлошка.

Поля помолчала, потом проговорила:

— Нет, уж бог с ним совсем!

— Да ведь вы думаете, что как прямо к нему, так он лучше всего послушает? — настаивал Аполлошка.

— Думаю, а пойти к нему — не пойду,— отвечала Поля.

— Отчего ж? — как будто даже с досадой спросил Аполлошка.

— Так... Уж такое у меня сердце, что тяжело очень... тошно очень...

— Да ведь и теперь все одно тяжело,— рассудил Аполлошка,— так уж лучше зараз оттерпеть да что-нибудь выгадать.

— Нет, уж не могу, Аполлоша, уж такое у меня сердце, что не могу...

Снова наступило молчание и длилось довольно долго.

— Все-таки лучше что-нибудь выгадать,— вдруг произнес Аполлошка.

Тон у него был решительный.

— Все это сама знаю,— ответила Поля,— да ведь сказано тебе, что уж такое у меня сердце...

— Так что ж, что такое сердце! — возразил Аполлошка таким тоном, будто в добрых руках сердце было не более, как мячик, который можно как угодно и куда угодно перешвыривать.

— Несмыслен еще ты — потому так и говоришь,— наставительно заметила Поля.

— Нет, я как след говорю! все-таки лучше выгадать!— заспорил Аполлошка, но вдруг встрепенулся, умолк, прислушался и вскочил, вскрикнув:

— Едет!

— Ох, побегу домой через сад, чтоб не видал! — вскрикнула Поля и быстро юркнула в боковую садовую калитку.

Аполлошка отряхнулся, обдернулся и, когда коляска подкатилась к крыльцу, был наготове подхватить под локоть выходившего барина. Лицо его выражало твердую неуступную решимость; казалось, он мысленно твердил:

— Все-таки лучше выгадать!

— Что это у нас так темно? — сказал Владимир Петрович, входя в переднюю.

— Я сейчас свечи подам,— отвечал Аполлошка и со всех ног кинулся за свечами.

Владимир Петрович прошел к Мане.

«Она, вероятно, ожидает упреков, объяснений, а я только скажу ей, что прошу завтра со мной обвенчаться!»

И он грустно улыбался, представляя, как она изумится, как будет поражена и растеряна.

Розовая комната была темна. Он постоял с минуту на пороге, словно ожидая, что ему выйдут навстречу, что, по крайней мере, подадут какой-нибудь знак присутствия, потом тихо окликнул, потом, не получив ответа, зажег спичку и убедился, что розовая комната пуста.

Допуская Полино сравнение Владимира Петровича с архиереем, можно сказать, что в эту минуту он находился в положении архиерея, который, распустив величественную мантию, шествовал на торжественное служение, и вдруг святотатственная рука выхватила ковер из-под его ног и кощунствующий голос закричал: «Погоди начинать — еще рано!»

Но Владимир Петрович так успел войти в роль кроткого, великодушного мученика, что у него, если и шевельнулась желчь, то на одно мгновенье.

«И это перенесу!» — как будто говорила его грустная улыбка.

В столовой, на накрытом к обеду столе, уже горели свечи в высоких серебряных шандалах, стоял Федосей Егорович с салфеткой в руке, а за ним в струнку вытягивался Аполлошка.

— Прикажете кушать подавать? — спросил Федосей Егорович.

— Нет, Федосей Егорович, подождите,— ответил Владимир Петрович.— А вот вы, пожалуйста, сходите к отцу Павлу и передайте ему, что завтра он мне нужен... то есть, что я прошу его завтра никуда не отлучаться.

— Завтра они служат молебен у Надежды Львовны,— заметил Федосей Егорович.

— А! — проговорил Владимир Петрович.— Но в котором же часу этот молебен?

— В два-с,— отвечал Федосей Егорович.

— Так попросите отца Павла не отлучаться до часу. Он мне будет нужен, вероятно, в десять или в одиннадцать...

— Слушаю,— ответил Федосей Егорович и удалился.

Владимир Петрович прошелся по комнате.

«Завтра, когда он придет служить молебен, *она* узнает, что я уже женат,— подумал он.— Что она при этом почувствует? Неужто в ней ничто не проснется? Этого не может быть!»

Глаза его упали на Аполлошку, стоявшего у притолоки, и он спросил:

— Марьи Михайловны нет дома?

— Нету-с,— отвечал Аполлошка.— Они скоро за вами ушли и еще не приходили-с.

— Не приходила?

— Нет-с, не приходили-с... да, верно, уж скоро при-

дут-с... они намедни об эту пору пришли-с...—отвечал Аполлошка.

Он отвечал какой-то несвойственной ему до сих пор угодливой скороговоркой, моргал, семенил ногами, вытягивался. Владимир Петрович, невзирая на поглощавшие его мысли и чувства, заметил, что он как будто сбирается о чем-то просить.

«Маня воображала, что этот мальчик меня боится, смотрит на меня только как на барина, никогда не решится обратиться ко мне с искренним словом,— подумал он.— Увидим!»

— Ты, кажется, что-то имеешь мне сказать? — спросил Владимир Петрович и спросил мягко, ласково, даже несколько заискивающе.— Говори, пожалуйста, не стесняйся.

Аполлошка сделал шаг вперед, но волнение его было так сильно, что он сразу ничего не вымолвил, только пошевелил губами.

— Чего ж ты робеешь? — еще мягче, еще ласковее, еще заискивающе продолжал Владимир Петрович.— Неужто ты меня боишься? Разве я — зверь?

Он, улыбаясь, подошел ближе к Аполлошке и шутливо повторил:

— Разве я — зверь? Ну, скажи, разве я похож на зверя?

— Нет,— ответил Аполлошка. Он побледнел, как платок.

— Так чего ж ты так смущаешься? — улыбнулся Владимир Петрович.— Тебе что-нибудь надобно? Я все рад для тебя сделать, что могу. Ты ведь это понимаешь? Да? понимаешь...

— Понимаю,— ответил Аполлошка.

— Ну, говори же! Я рад... я очень рад сделать для тебя все, что могу... Это — моя обязанность... Люди должны помогать друг другу, иначе что же будет! Мы ведь все братья... Мы все...

Аполлошка вдруг кинулся ему в ноги.

— Возьмите меня в Петербург! — замолил он с напускной плаксивостью и неудержимою страстью,— возьмите! будьте отцом родным! помилуйте сироту! Ни отца, ни матери!.. Вы одни!..

— Что ты! что ты! — вскрикнул Владимир Петрович, схватывая просителя за плечи и стараясь приподнять.—

Разве это можно?.. Человек не должен так кланяться другому человеку... Встань... Иначе я рассержусь на тебя... Успокойся и будем разговаривать... Ты желаешь ехать в Петербург, да?

— Я буду служить... буду стараться... я заслужу...— говорил Аполлошка, задыхаясь от волнения и притворно всхлипывая.

— Ты желаешь в Петербурге учиться? — продолжал Владимир Петрович.— Это прекрасно, и я с удовольствием исполню твое желание. Я уже говорил Марье Михайловне, что тебя следует поместить в хорошее учебное заведение. В Петербурге это всего удобнее... И чем скорее это устроится, тем лучше, ты — уже большой мальчик... Мы, вероятно, послезавтра выедем — сбирайся в дорогу. А вот тебе на сборы,— прибавил он, доставая из своего портмоне две десятирублевые ассигнации и подавая их Аполлошке.

Невзирая на огненную, удушающую радость, охватившую Аполлошку при выигрыше его дела, невзирая на неожиданно свалившееся, для него баснословное, богатство, он не потерялся. Сердце, казалось, того и гляди выскочит у него из груди; ему хотелось закричать, завизжать, завертеться, запрыгать, но он имел силу помнить, что ему необходима рабская наружность, и сохранил эту наружность, поймал барскую руку и поцеловал. Впрочем, это было ему трудно только потому, что приходилось сдерживать свою бурю ликования, а все тяжелое и горькое потонуло в этом ликовании. С размаху он бы в эту минуту, без спора, поцеловал лягушку, пень, попову Лушу, мазилку, которой только что мазали дегтем колесо — что угодно и кого угодно.

— Что ты! — вскрикнул Владимир Петрович.— Какой ты!.. Прошу тебя никогда этого не делать! никогда...

— Век за вашу милость буду бога молить! — прохныкал Аполлошка.

— Ну, теперь ты, кажется, уверился, что я—не зверь?— пошутил Владимир Петрович.— Можешь ты теперь мне обещать, что всегда, во всех твоих нуждах будешь обращаться прямо ко мне? Будешь обращаться прямо ко мне?

— Буду,— отвечал Аполлошка.

— И помни, что я всегда готов для тебя все сделать, всегда рад тебе во всем помочь... Теперь ты можешь идти — когда будет нужно, я позову.

Очутившись в прихожей, Аполлошка заплясал, как

исступленный дервиш, потом подскочил к свече и развернул полученное сокровище.

Да, так и есть — красненькие! И одна — с растрепанным уголком — точь-в-точь такая, как он видел на ярмарке у цыгана.

Аполлошка показал язык живо воскресшему в его памяти белозубому, черномазому цыгану и, вспоминая лошадь, которую тот заставлял выделывать курбеты, начал выкидывать такие, какими вряд ли когда удавалось отличиться самому необузданному четвероногому, фыркающему на вольных степях, среди родного табуна.

— Покатим! покатим! покатим! — шептал он, в неистовом упоении стискивая кулаки, корчась, как одержимый, и скрежеща зубами.

— Стой! смирно! — проговорил он и, в одно мгновение устремившись по этой команде, осторожно расправил ассигнации, бережно сложил их, спрятал в карман и потормошил карман, пробуя, не вывалятся ли они. Ассигнации лежали плотно, но в важных случаях излишняя осмотрительность не мешает, и Аполлошка приблизился к угловому шкафику, отворил его, раскрыл хранившуюся там на верхней полке картонку с праздничными манишкой и галстуком Федосея Егоровича, вытащил из этих парадных украшений две запасные булавки и сколол ими края кармана. Затем он присел на корточки перед нижней полкой, которая была отведена ему для хранения его собственности, помещавшейся в линялом, синем, затрапезном мешочке, связанном веревочкой, начал было отбирать, что стоит взять в дорогу, но на него вдруг налетел новый неудержимый порыв ликования: он все скомкал, сунул на место, прихлопнул шкафчик, выскочил на крыльцо и, поймав за передние лапки бросившуюся к нему шавку Сорочку, понесся с нею, бешено кружась по двору. Сорочка быстро перебирала лапками, падала и взвизгивала испуганно и незлобиво, как добродушная, мягкосердая старая тетушка, которую баловень племянник мчит в вальсе.

«Опомнись, безумный, опомнись, ведь я стара!.. Я рада, но я стара!.. Полно, полно, не то рассержусь! Ах, совсем затрепал!» — словно говорил ее визг.

Завертевшись до головокружения, Аполлошка повалился на землю. Сорочка пронзительно взвизгнула и вырвалась.

— Эка шальной! — сказал кучер Парфен, который сидел в ожидании ужина с водовозом Сенькой на лавочке около людской, с неудовольствием прерывая свой рассказ о предполагаемой ловле синиц.

— Модничает! — ответил с горечью Сенька, не простивший Аполлошке его утреннего нетоварищеского поведения.

Аполлошка подкатился к ним кубарем.

— Нет, дядя Парфен,— заговорил он, одним движением, точно был весь складной, садясь перед ними по-турецки,— нет, все это не то! Вы говорите: надо на зорьке? Нет, когда угодно и просто-напросто: подошел, взял ее за хвост и поймал!

— А за хохол не хочешь? — строго спросил дядя Парфен, не любивший легкомысленных шуток, когда дело касалось священных для него вещей, протягивая большую массивную руку и сгребая в горсть аполлошкины густые курчавые волосы.

Аполлошка закричал по-перепелиному и вдруг, обхватив одной рукой солидный стан Парфена, а другою жиденькую талию Сеньки, начал их трясти, щекотать, щипать и даже кусать.

— Полно! слышь, полно! Ошалел ты? Полно, пострел, не то все космы вырву! — ежась и отбиваясь, грозился Парфен, уже выпустивший космы и теперь тщетно пытавшийся их снова поймать.

— Нечего вам, хоромным курточникам, к нам, черноте, лезть,— вырывался Сенька, вообразивший, что Аполлошка явился, собственно, с целью загладить свою вину перед ним, и несказанно приятно тем удивленный, но напрягавший все силы казаться равнодушным и даже холодным.— Да ну, ну! нечего, нечего!

— Что тут у вас? что тут у вас? — выскочил поваренок Гришка с суконкой, которою чистил кастрюли.

— Ой, пусти, леший! — уже кричал тяжеловесный, неповоротливый Парфен, ужасно боявшийся щекотки,— Ой, пусти! Ну погоди, погоди! Вот тебе...

Он рванулся, неловко встал и грохнулся наземь.

— Оставь! оставь! — вскрикнул Сенька, падая нарочно и притворяясь, что его свалили.

Аполлошка в одно мгновение ока очутился верхом на обоих.

Поваренок Гришка засмеялся и побежал было дочищать

кастрюли, но вдруг остановился, глянул на борющихся, глянул на освещенное окошко, из которого ежеминутно могла показаться голова его взыскательного шефа, мгновение поколебался и вдруг, решительно сунув в карман суконку, ринулся назад и стрелой налетел на Аполлошку.

Аполлошка радостно завизжал и с наслаждением стиснул нового противоборца.

— Пустите, бешеные, совсем измолотили! Ох, пустите! — беспомощно барахтался Парфен.— Аполлошка! разбойник! пусти!

— Вали его! вали его! — кричали Сенька и Гришка.

— Вали его! вали его! — кричал Аполлошка.— Ух, славно! Ух, славно!

II

ПРИМИРЕНИЕ

> Как побежит своевольная лань, какова бы ни была быстрота ее резвых ног, когда на ней железный ошейник? Мудрецы сказали: тот, чье сердце прилепилось к любимому предмету, похож на человека, который легкомысленно позволил капризному великану схватить себя за бороду и защемить ее в железной горсти.
>
> *Сади (Саади)*

Маня вышла из камеры мирового судьи отуманенная, ослепленная, оглушенная. Земля, казалось ей, колебалась под ее ногами, как волна: все вокруг кружилось и она, шатаясь, с мучительным нетерпением спешила вперед.

Вдруг она ощутила пахнувшую на нее струю свежего воздуха, другую, третью. Этот воздух точно рассеивал тесно ее окружавшее и душившее, помрачающее горячее облако.

Она приостановилась и с радостью оглянулась, как человек, который, вырвавшись из пытки, кинулся зря и неожиданно попал именно туда, куда в данную минуту ему было всего лучше попасть.

Наступал теплый осенний вечер, обнаженное тихое поле широко раскидывалось во все стороны; по нем мягкими извивами чернелся дубровский проселок.

Маня села на окопе, около дороги.

Головокружение прошло, но мысль как-то замерла; время от времени представлялся вопрос: что же делать? как жить? Являлись какие-то ответы, как будто и дельные, но она в них не вникала; являлись какие-то стремительные, неопределенные порывы, но все это было бессильно, вдруг пропадало, словно в темной пропасти, не оставляя ни искорки света.

Послышались шаги. Она подняла голову и узнала дубровского Федора и Матрену. Они, очевидно, возвращались домой и тоже ее увидели и узнали. Федор продолжал идти своей обычной ровной и твердой походкой, но Матрена кинулась в сторону, сначала убавила шагу, потом пошла шибче, насколько позволяли слабые больные ноги, и начала охать и стонать.

«Или он прав, и я, в самом деле — дитя, мечтательница? — подумала Маня: — в самом деле, между нами и народом существует такая бездна, что только века, как он говорит, могут ее засыпать? Вот Матрена любила меня, называла меня своей радостью, а сегодня отреклась от меня, почти обвинила меня, будто я ее хотела погубить, будто я ее подводила, туманила. Не почти, а просто обвинила: «Меня подвели, меня отуманили злые люди!» Да, она так говорила, это — ее слова. А когда ее Астафьев спрашивал, что она хочет этим сказать, она плакала и отвечала: «Бог с ними, с моими злодеями, пусть их бог судит!» Да, это были ее слова. И все поняли, что я подводила, я туманила. Но, может быть, она так говорила, не желая, не понимая? Она растерялась, испугалась. Но разве хороший человек может, как бы ему ни было жутко, позорить другого, того, кто его любил, кто о нем плакал? Она знает, она уверена, что я никогда ее не подводила, не туманила, что я только желала ей помочь. Как же она могла так безжалостно поступать, так лгать? Или и прежде, когда она целовала меня, называя радостью, она лгала? Господи! неужто она тогда лгала? Господи! хоть бы этого не было! Да этого и не было — тогда она не притворялась. А если притворялась, чтобы побольше вытянуть, как он говорит? Неужто это так? Нет, нет, не может быть. Она просто растерялась. Она по слабости это сделала. Ведь люди многое делают по одной слабости, а потом им самим совестно и мучительно. Так мучительно, что они потом сами видят, что лучше все, чем это. Я на себе это знаю. Сколько раз, когда я ему не решусь чего-нибудь сказать прямо, про-

молчу, как будто согласна, и в ту же минуту пожалею и начну мучиться и мучусь, пока не сберусь с силами и не скажу всей правды. И Матрена теперь мучится. Она теперь мучится, так как она передо мной виновата, и ей хочется как-нибудь это загладить. Вот она сейчас со мной поровняется и остановится и заговорит. Я даже знаю, с чего она начнет. Она начнет с того, что она — глупая старуха, что она с горя и с хворобы одурела. И заплачет,— и так ужасно беспомощно заплачет. Я ее успокою и доведу до дому. Вот они всего уже в пяти шагах от меня. Да, ей совестно, ей мучительно, она отвертывается, не имеет духу на меня взглянуть. Вот они сейчас поровняются. Вот-вот...»

Они поровнялись.

Федор снял шапку, Матрена, не повертывая головы, простонала, и оба пошли дальше.

«Не остановилась и даже не взглянула! — сказала себе Маня.— Но это и показывает, что она мучится. Она хочет заговорить со мной, но не решается, не знает, как ей это лучше сделать».

— Что, домой идете? — спросила Маня, быстро вставая с места и догоняя их.

— Домой,— отвечал Федор.

— Ох, ох! — жалобно проохала Матрена.

— Я пойду с вами,— сказала Маня.

Федор посторонился, уступая ей, где дорога была поглаже: Матрена продолжала стонать и охать и как будто не слыхала.

Несколько минут все трое шли молча.

Мане вдруг показалось, что ей не надобно было подходить.

«Зачем я пристаю? — думала она.— Я тут лишняя, чужая. Я чувствую, что я только в тягость, и больше ничего».

— Нет,— сказала она вслух,— я с вами не пойду — мне через лес ближе.

Говоря это, она приостановилась, и Федор тоже приостановился, но Матрена, все не оглядываясь, поспешила вперед.

— Через лес-то несподручно теперь,— отвечал Федор. Намедни ливень был, так в яру, должно полагать, размокрило, да и по межам-то, поди, вязко.

— Ничего,— улыбнулась Маня и вдруг спросила:

— Что это Матрена точно на меня сердится? Или мне так показалось?

— Она еще с перепугу никак не опомнится,— отвечал Федор,— ну и дурит.

— Так это мне не показалось? она сердится на меня? за что же?

Голос у Мани задрожал и оборвался.

— Да кто ее знает? — отвечал Федор.

— Нет, за что же? — настаивала Маня.— Ты сам рассуди — за что? Рассуди. Разве я тут виновата? Я ее всегда любила и всегда желала ей добра. Ты сам ведь знаешь? Знаешь?

— Знаю, знаю,— ответил Федор.

— За что же она сердится? — продолжала Маня; голос ее теперь сделался ровнее, но сама она начала дрожать.— За что? Я ведь ничем не виновата. Я ничего этого не ожидала. А как узнала, я сделала все, что могла. Только не удалось. Разве мне легко, что это не удалось? Я у нее сидела, когда за ней пришли от мирового, и она видела, каково мне это было. Я ведь не бросила ее, я пошла с нею вместе. Надо мной там все смеялись, никого у меня там не было, кто бы меня пожалел, да мне все это было ничего — я все-таки с радостью там стояла. И я опять в четверг пойду с радостью и буду ее защищать. За что же она на меня сердится? Это не по правде. Как же можно поступать так с теми, кто нас любит и жалеет? Как же можно?..

Она вдруг остановилась.

Потухшие, спокойные, угрюмые глаза добро на нее глядели, но как будто говорили: «Охота тебе так долго и много об этом толковать. Хорошо тебе, что тебе все в диковинку, а мы много видели пожутче этого. Ты — ничего себе барышня, спасибо тебе, сердечная, только ты совсем нашего дела не смекаешь. Это дело, ох, какое тяжелое да трудное, а ты захотела его, как клубочек, взять да размотать».

— Я не виню, не виню,— начала она, как будто в объяснение и оправдание,— а мне только больно, как это она говорила у мирового, что я ее подвела, отуманила. Ведь это всякому бы стало больно. Ты ведь это сам понимаешь.

— Да, я говорил ей, зачем путала,— отвечал Федор,— не след путать, нехорошо.

— Что ж она сказала?

— Да ничего толком не сказала,— отвечал Федор.—

Пришиби ты, говорит, меня, лучше мне будет. Я, говорит, пропадаю, свет мне постыл. С перепугу наплела: и сама, может, не рада.

— Твоя правда, твоя правда,— сказала Маня.— И, верно, она думает, что я ее осуждаю? Пойдем, я догоню ее и скажу, что напрасно она так думает.

Маня быстро пошла по дороге.

— Я ведь так и догадывалась,— продолжала она,— и только ждала, чтобы она заговорила. Я слышала, как вы подходили: она с тобой разговаривала, а мимо меня прошла — мне ничего.

— Я-то ей — свой человек,— как бы пояснил Федор.

Маня сбиралась сказать, что она понимает и то, почему Матрена с ней не заговорила, но слова Федора сомкнули ей уста.

«Значит, я — не свой, я чужой человек? — пронеслось у нее в голове.— Чего ж я точно не понимаю? это очень просто. Это мне и прежде он говорил. Я ему не хотела верить. Теперь сказал Федор».

— Нет, я пойду домой,— проговорила она вслух,— а ты сам скажи Матрене, что я...

Она запнулась.

«Может быть, он позовет с собою? — мелькнула у нее мысль.— Может, я хоть не своя, но не совсем чужая?»

Но Федор стоял и ждал, очевидно, не имея подобного намерения.

— Скажи ей, чтобы она не боялась,— договорила Маня,— что все устроится.

— Хорошо,— ответил Федор.

Маня свернула на межу и пошла, не оглядываясь, к лесу.

«Да, чужая, чужая! — думала она.— И как это я не понимала, не видала этого прежде. Ведь очень ясно было. Господи! сколько я мучилась из-за этой Матрены: спать не могла, забывала свою любовь, иногда почти ненавидела того, кто для меня дороже всех в мире — сегодня, когда я его увидала в камере, я совсем его ненавидела — и вдруг, я — даже не свой человек! Где же я свой человек? Ведь и с ним, тем, кого я люблю, мы — не свои люди. Я все готова для него сделать, все перенести, но мне бывает с ним тяжело, душно. Я много говорю с ним и боюсь за каждое его слово, за каждое свое. Я люблю, а точно

подсматриваю за ним, точно желаю ловить его на трусости, на лжи».

Она вдруг зажала себе ладонями уши и проговорила:

— Ах, этот ветерок! какой он теплый и как тихо веет! Хоть бы лес скорей, хоть бы не глядеть на это поле! А! Вот и лес!

Она почти бегом кинулась к лесу, чтобы скорее попасть в него, оставив в стороне обходную тропинку около болота, которое разливалось тут узеньким озерком, легко и уверенно, как лунатик, перебежала по тоненькой гнувшейся, как прут, березе, упавшей мостком с одного берега на другой.

— Здесь хорошо! — проговорила она и прислонилась к первому попавшемуся дереву.

Уже стемнело. Месяц не всходил еще, но звезды блестели в тихой стоячей воде. Дул очень теплый ветерок, и в высоком тростнике, который рос густыми кущами у берегов, словно кто-то позванивал; время от времени, когда эти тростниковы кущи распахивались и склонялись по ветерку, между их влажных корней открывалась неподвижная водная полоска или кружок, и в них тоже засвечивались звезды. В лесу, где-то неподалеку, жалобно пустовала пустушка.

«Зачем эта пустушка? — подумала Маня.— Может, и правда, что она умеет вещевать. В самом деле, она точно выговаривает: пусто, пусто! А главное, и тут этот теплый ветерок!»

Она вдруг повернулась лицом к дереву, около которого стояла, обхватила его обеими руками и зарыдала.

Сначала она рыдала с какой-то жадностью, как терзаемый жаждою пьет из холодного ключа, и это как будто доставляло ей облегчение, но потом ей становилось все больнее и больнее и, наконец, боль эта сделалась так невыносима, что она вскрикнула.

Когда она пошла по лесу, ей казалось, что грудь у нее разбита вдребезги и что каждый шаг ее бередит.

«Это все ничего,— думала она,— а главное, ветерок. Главное — этот теплый тихий ветерок. Поскорей бы от него уйти!»

Этот ветерок несказанно ее мучил и раздражал. Он еще шумел в ее ушах, когда она вошла в свою розовую комнату.

Освещение показалось ей необыкновенно ярко, и она невольно закрыла глаза руками.

— Маня,— сказал дорогой голос.— Как давно я тебя жду!

«Слава богу, нет больше этого теплого ветерка! — подумала она.— Теперь — его голос и какой-то звон. И как будто все вдруг тает — и грудь, и голова...»

Она очнулась на своей розовой кушетке. Около нее сидел Владимир Петрович и держал ее руки в своих руках. Она чувствовала, что виски у нее смочены холодной водой и чувствовала большую слабость во всем теле, но ей было хорошо.

«Вот так бы всегда,— подумала она,— не то живешь, не то нет, не можешь и не хочешь подняться: все кругом — как в дымке; все болит потихоньку. Да, так хорошо!»

— Как ты теперь себя чувствуешь, Маня? — спросил, наклоняясь к ее лицу, Владимир Петрович.

Она слабо улыбнулась, и глаза ее переполнились слезами.

— Успокойся, успокойся,— стал уговаривать Владимир Петрович.— Ты ведь знаешь, что я — твой друг... преданный друг... Ты ведь знаешь?

— Да, да,— проговорила она с усилием, и, точно от этого усилия, слезы покатились по ее лицу.

— Маня моя, прошу тебя, успокойся! — уговаривал Владимир Петрович, еще больше наклоняясь и целуя ее в разбившиеся волосы,— забудь все горькое, моя дорогая... Я горького не хочу помнить: я забыл...

Он почему-то непременно ожидал, что Маня кинется ему на шею и прошепчет: «Прости меня! прости меня!» — и тогда в ответ ей хотел просить о забвении всего горького, и уверить, что он все горькое забыл. Но Маня не кинулась ему на шею, заготовленные слова вырвались преждевременно и как-то пропали, не обозначились, не внушили.

«Она, кажется, еще не пришла хорошенько в себя»,— подумал он, всматриваясь в Манино лицо.

Глубокая, искренняя жалость, несколько минут тому назад, когда он приводил Маню в чувство, заставлявшая биться его сердце, начала убывать, и к ней стала примешиваться раздражительная досада не то на Маню, не то на себя.

— Ты неловко лежишь,— сказал он, оправляя около нее подушки.— Или тебе лучше сесть? — он приподнял ее и усадил.— Вот так. Хорошо?

— Хорошо,— ответила Маня.

— Не прикрыть ли лампу абажуром?

— Да.

Владимир Петрович взял с этажерки розовый абажур и надел на лампу. Комната вдруг словно наполнилась розовой мглой.

— Так хорошо? — спросил он.

— Хорошо,— отвечала Маня.

Владимир Петрович выпил стакан воды, сел около нее на краю кушетки и сказал:

— Маня, я хочу с тобой поговорить.

У Мани замерло сердце.

О чем поговорить? Поговорить, значит: опять думать, опять заглядывать в него, в себя, во всех и во все и опять мучиться. Вот и в голове начинает опять проясняться, вот и слабость проходит — сейчас опять все вспомнится, опять все начнет жечь и терзать.

Она приподнялась.

Владимиру Петровичу показалось, что она хочет кинуться ему на шею и прошепчет ожидаемое: «Прости меня!», и он слегка к ней наклонился.

Но Маня только глядела на него тоскливыми глазами.

— Чего ж ты так встревожилась, Маня? — сказал он, принуждая себя улыбнуться.— Что ж ты на меня так смотришь, точно ожидаешь чего-то ужасного? У меня только есть к тебе одна просьба.

Он взял ее за руки.

— Или ты не расположена теперь меня слушать?

— Нет, скажи,— проговорила Маня.

— Я прошу тебя завтра со мной обвенчаться, Маня,— тихо, но отчетливо сказал Владимир Петрович, глядя ей прямо в глаза.— Завтра же. Ты согласна на это — да?

Он чувствовал, как дрогнули ее руки в его руках, и видел, какая яркая краска залила ее бледное лицо.

— Согласна? — повторил он и тихо, как будто с нежностью, сжал ее руки, но нежности в эту минуту было у него немного.

«Уж не придется ли упрашивать?» — подумал он с горьким изумлением.

— Ты ничего мне не отвечаешь, Маня? — сказал он, выпуская ее руки.— Или ты разлюбила меня? Я уже тебе не дорог? не нужен?

— Нет, нет, я тебя люблю! я тебя люблю! — вскрикнула Маня.— Ты — мой милый, дорогой, добрый, хороший!

Слезы брызнули из ее глаз.

— Ненаглядная моя, о чем же ты плачешь? — сказал Владимир Петрович, привлекая ее к себе.— Или ты думаешь... Тебе жаль, что ты оскорбила меня? Полно, милая! Ты не вникла в дело и вспылила — вот и все. Забудем это...

— Ты — хороший! Я никогда, никогда никого не видала, никого не знаю лучше тебя, никого не знаю добрее тебя! Нет, нет, никого, никогда! И я люблю тебя! люблю! люблю! — со страстью, точно желая кого-то переспорить, говорила Маня.

— Дорогая моя энтузиастка! — улыбнулся Владимир Петрович.

Но, в сущности, он не был удовлетворен этим, как он называл, энтузиазмом. Маня была, очевидно, тронута, взволнована, потрясена, но не так потрясена, как он ожидал — не поражена, не растеряна, не уничтожена. Она уверяла в том, что он ей дорог, в том, что она никого лучше его не видала, но это было все не то, далеко не то.

«А у нее нет той тонкости чувства, какую я предполагал! — подумал он.— Я напрасно в ней его предполагал».

Он начал говорить о близком отъезде из Дубровок, о том, что за последнее время она похудела и побледнела, что прежде всего необходимо поправить здоровье и что, по его мнению, хорошо было бы отправиться в Италию и пожить там месяца два-три.

Маня со всем соглашалась.

— Ты отдохнешь, окрепнешь,— говорил Владимир Петрович,— и тогда мы поселимся на некоторое время в Петербурге, а потом... а потом — где ты захочешь. Мы это на досуге обдумаем и решим. Да?

— Да,— ответила Маня.

— А в Италии,— продолжал Владимир Петрович,— мы проедем во Флоренцию, потом в Неаполь. Или еще лучше: остановимся в каком-нибудь маленьком глухом городке... Как ты думаешь, а?

— Как хочешь,— ответила Маня.

— Да, я забываю, что ты ведь не знаешь этих глухих итальянских городков. Хочешь, я тебе постараюсь их описать?

— Опиши,— сказала Маня.

— Ну, слушай,— начал он терпеливо,— раздражение

в нем улеглось, и он опять со вкусом входил в роль мученика.— Прежде всего, вообрази себе мягкий, нежащий воздух... Потом представь себе, что ты идешь по тихой почти безлюдной улице, мимо высоких старых домов, из окон выглядывают черноглазые женщины, в ворота видны поросшие травою зеленые дворы. В стороны разбегаются несколько других улиц, иные круто поднимаются, иные обрывисто опускаются, с такими же старыми высокими домами и зелеными дворами. Ты прошла несколько шагов и очутилась под темной аркой; в стене ниша, где перед маленькой алебастровой мадонной слабо теплится лампадка и благоухают пышные розовые цветы в черепке от пестрой вазы. Дальше — площадь — piazza [1]; блестят на солнце гладкие камни, проросшие яркой зеленью, сверкают струи фонтана, и из-за водяных алмазных брызг точно смеются мраморные лица; в глубине piazz'ы старый собор; ты поднимаешься на высокое лоснящееся крыльцо с широкими ступенями, и из распахнутых дверей церкви тебя обдает прохладою; ты вступаешь под величественные своды; кругом таинственная мгла; шаги твои внятно отдаются; тусклыми точками мерцают лампадки перед ликом мадонны, увешанной гирляндами свежих роз; лик этот, точно живой, выделяется среди окружающего полусвета: большие темные глаза, кажется, глядят прямо на тебя... За собором еще улица, те же старые высокие дома, те же зеленые дворы, то же безлюдье, те же коротенькие переулки — иной заканчивается кузнею, откуда вырывается пламя и слышен стук молота, иной — развалившимися стенами, снаружи и внутри увитыми плющом, иной прямо сбегает в какое-то зеленое ущелье, из которого поднимаются деревья, пышно цветущие кусты. Дальше — опять piazzetta [2], опять брызжущий фонтан, опять в глубине какое-нибудь старинное здание, церковь или массивный мрачный palazzo [3]... Пройдешь еще немного — и конец городку; ты на окраине горы, перед тобою расстилается голубое море... Мы с тобою поселимся в каком-нибудь подобном городке... Да?

— Да,— отвечала Маня.

— И нам там хорошо будет? Да?

— Да.

Несколько минут длилось молчание.

---

[1] Площадь *(итал.)*.

[2] Маленькая площадь *(итал.)*

[3] Дворец *(итал.)*

— А какие там ночи, Маня! — начал опять Владимир Петрович.— Когда я жил в Амальфи, я по ночам не спал. Из моего окна было видно и море, и горы, и долина, и развалины в зелени и цветах, и когда все это обливалось лунным светом, я просто замирал. Я никогда не мог привыкнуть к этому. Хочешь, мы с тобой поселимся в Амальфи? Я буду тебя катать по морю...

Он остановился, увидав появившегося на пороге Федосея Егоровича с подносом в руках.

— Что, Федосей Егорович? — спросил он.

— Письмо от Надежды Львовны Солнцевой,— доложил Федосей Егорович, протягивая поднос, на котором лежало письмо в атласистом изящном конверте.

— А! хорошо! — проговорил Владимир Петрович с наружным спокойствием, вставая и подходя к лампе.

«Что она пишет? Мане может показаться это странным»,— думал он, распечатывая конверт.

В конверте было письмо от Варвары Ивановны к Мане.

Владимир Петрович быстро его пробежал и стал закуривать сигару.

— Будет ответ? — спросил Федосей Егорович.

— Разве посланный ждет ответа? — спросил Владимир Петрович.

— Ждет-с,— отвечал Федосей Егорович.

— Ему велено ждать ответа?

— Должно полагать, что приказание было.

— Пойдите и, пожалуйста, узнайте, велено ли ему ожидать,— нетерпеливо сказал Владимир Петрович, и, когда Федосей Егорович вышел, обратился к Мане:

— Маня, это — тебе письмо.

— Мне? — спросила Маня.— От Надежды Львовны?

— Письмо не от Надежды Львовны, а от Варвары Ивановны. Не тревожься, в этом письме нет ничего неприятного. Вот прочти.

Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Марья Михайловна!

Спешу изъявить свое сожаление о недоразумении, которое произошло по поводу вашего браслета. Предполагая, что браслет похищен, я, по долгу нравственности, желала наказать виновных, но теперь, убедившись, что браслет был

вами подарен, я написала об этом господину мировому судье и просила прекратить дело.

Готовая к услугам
Варвара Князева».

— Маня, чего ж ты так волнуешься? — сказал Владимир Петрович.— Это глупое дело кончено, и ты можешь быть совершенно спокойна. Или тебя еще что-нибудь тревожит? Скажи, что? Ты опять побледнела. Что с тобой?

— Я рада,— проговорила Маня.

— Тебя, может быть, удивляет, почему Надежда Львовна прислала это письмо? — вдруг спросил Владимир Петрович и пытливо на нее взглянул.

— Да, почему Надежда Львовна его прислала? — отвечала Маня, очевидно наведенная только его вопросом на это обстоятельство.— Я не знала, что она приехала.

— Я тоже не знал,— сказал Владимир Петрович,— и никак не ожидал встретить ее в Райском... Она была свидетельницей моего объяснения с Варварой Ивановной... Ее тоже глубоко возмутило это дело... Я после расскажу тебе все это подробно,— прибавил он, обрадовавшись возвращению Федосея Егоровича.

— Приказания ожидать ответа посланный не получал,— доложил Федосей Егорович,— а только от себя думал, что изволите, может, дать ответ.

— А! — сказал Владимир Петрович.— Ну, хорошо.

— Так прикажете ожидать ответа? — спросил Федосей Егорович.

— Нет, ответа не будет. Посланный может ехать.

— Слушаю-с. Чай подавать прикажете?

— Да, да... Только подайте сюда... Маня, ведь лучше чай подать сюда?

— Сюда лучше,— отвечала Маня.

— Так слышите, Федосей Егорович? Сюда подайте.

— Слушаю,— ответил Федосей Егорович.

— И, пожалуйста, поскорее,— прибавил Владимир Петрович.

— Слушаю-с.

— Пожалуйста, поскорее,— подтвердил Владимир Петрович.— И дайте еще чего-нибудь...

— Чего прикажете?

— Чего-нибудь... Ну, котлету... Хорошо бы бульону...

— Слушаю-с,— отвечал Федосей Егорович, удаляясь с отчаянием в душе.

«Это — все ее кормить!» — говорил он себе.

— Ты, моя бедная Маня, ведь сегодня не ела ничего! — сказал Владимир Петрович,— ты совсем ослабела! Тебе необходимо подкрепить силы...

Он приблизился к ней и несколько раз крепко поцеловал ее.

— Да, ты совсем ослабела! Как ты не бережешь себя, милая! Не грешно ли так не беречь себя?

Говоря это, он думал:

«Кажется, она подозревает: у нее особенно блестят глаза и бледна она... и с такой странной улыбкой на меня смотрит... Я как-нибудь себя выдал... Тяжелое будет объяснение... Впрочем, к чему мне объяснять?»

— О чем ты все раздумываешь? — спросил он.

— Я не раздумываю,— отвечала Маня.

— Я вижу, у тебя в эту минуту какая-то мысль... тебя как будто что-то еще тревожит...

— Нет, нет,— отвечала Маня,— я рада письму Варвары Ивановны, рада, что это дело устроилось... Рада, что я возле тебя... Мне хорошо теперь...

— Посмотри мне в глаза! — с нежной шутливостью сказал он.

Маня посмотрела.

«Нет, она ничего не подозревает! — успокоился он.— Тем лучше! Тем лучше».

— Не удивляйся моей придирчивости,— пояснил он с улыбкою,— я так бы желал покоить тебя, охранять, лелеять...

Вбежал Аполлошка с чайным прибором и суетливо начал накрывать стол к чаю.

— А, вот это хорошо! — сказал Владимир Петрович.— Постой, я тебе помогу,— прибавил он, поднимая со стола лампу и захватывая атласистый конверт.

— Не извольте беспокоиться,— кинулся к нему Аполлошка.

— Ничего, ничего... Ты поскорей самовар давай. Марья Михайловна голодна...

— Сию минуту-с,— произнес Аполлошка, вылетая, как муха, и действительно, в ту же минуту возвращаясь с самоваром.

— Вот и прекрасно,— сказал Владимир Петрович, успевший для самого себя неожиданно ловко похитить и спрятать в карман атласистый конверт,— ему было любопытно рассмотреть хорошенько надпись, которая, показалось ему, сделана как будто нетвердой рукой и убедиться, справедливо его предположение или нет.— Вот и прекрасно... Ты, Маня, не беспокойся, я сам разолью чай; ты сиди смирно... я подкачу кушетку к столу...

Заваривая чай, Владимир Петрович с улыбкою обратился к Аполлошке.

— Ну, что ж ты, сбираешься?

— Как же-с,— отвечал Аполлошка,— я уж собрался-с, уж готов-с...

— Ну, молодец! Ты знаешь, Маня? он едет в Петербург учиться...

— Едет? — повторила Маня и тоже с улыбкою обратила глаза на Аполлошку.

— Да, мы с ним это сегодня порешили,— сказал Владимир Петрович.— Я уверен, что он будет отлично учиться... Ведь так? — обратился он к Аполлошке.

— Как же-с, Владимир Петрович, я со всею радостью. Уж я так буду стараться, Владимир Петрович...— умильно отвечал Аполлошка.

«Что с ним? отчего у него вдруг такое гадкое лицо?» — подумала Маня.

— Я уверен, я уверен,— сказал Владимир Петрович благосклонно.— Да не забудь, скажи Федосею Егоровичу, что тебе нужна теплая одежда на дорогу. Ну, ты теперь можешь идти...

Аполлошка исчез, точно барское приказание сдунуло его за двери.

— Опять задумалась, Маня? — спросил Владимир Петрович.

— Нет,— встрепенулась Маня.

— Ты можешь сказать, что ты спокойна, довольна... что тебе хорошо? — добивался он.

— Могу,— отвечала Маня.

Но вслед за этим ответом в ней неожиданно поднялось какое-то горькое, томительное чувство.

Она не стала разбирать, что это за чувство, а поспешила его подавить.

— Расскажи мне еще про Италию,— попросила она.— Помнишь, ты говорил, видел лазуревый грот. Расскажи мне о нем...

Владимир Петрович начал рассказывать о лазуревом гроте.

Маня слушала и улыбалась, и твердила себе: «Да, хорошо поехать туда, посмотреть на голубое небо, на голубое море, на развалины в плюще и в цветах»... но упрямое горькое чувство опять незаметно подкрадывалось и тихонько начинало душить.

«Это — все ребячество, это пройдет»,— успокаивала себя Маня.

Они расстались далеко за полночь.

— Завтра, по русскому закону, я приобрету на тебя страшные права,— улыбаясь, сказал на прощание Владимир Петрович.— Ах да, а кольца? У нас колец нет! Как же быть? Какая досада! Я думал, что мы завтра перевенчаемся и послезавтра уедем!

— Уедем и перевенчаемся после,— сказала Маня.

— Нет, нет, я завтра пошлю за кольцами, и мы перед отъездом перевенчаемся... А теперь, моя ненаглядная, усни спокойно... Усни скорее.

Дверь за ним затворилась.

— Да, да уснуть скорее,— проговорила Маня.

Она вдруг почувствовала нестерпимую усталость, поспешно разделась, легла и закрыла глаза.

— Сейчас усну,— говорила она себе,— сейчас... Надо только лежать неподвижно и не открывать глаз... Вот и засыпаю... вот... вот...

Она впала в какое-то томительное забытье. Неотступно и медленно кружились в ее голове одни и те же мысли — даже не мысли, а одни и те же повторения затверженного доказательства; представлявшиеся образы мучительно подавляли своею отчетливостью и близостью: они словно приникали к ней, к ее лицу, глазам, губам и мешали ей дышать.

«Амальфи, голубое небо, голубое море, цветы — это хорошо,— мысленно твердила она.— Разве это не хорошо? Все хорошо, только бы опять не идти по пустому полю, не чувствовать того тихого, теплого ветерка, не слыхать, как пустует пустушка в лесу, не видать, как блестят звезды в неподвижной воде».

Она вдруг замирала: весь Амальфи со своими развалинами, цветами, утесами стоит у самого ее лица, какие-то белые колонны, оцепленные яркими цветочными гирляндами и яркой зеленью, наклоняются все ниже и ниже и, кажется, вот коснутся ее лба; сквозь темную арку приливает ослепительное голубое море. И вдруг все точно проваливается, медленно выплывает широкое, тихое, пустое поле, полуобнаженный лес, полоса стоячей воды с блистающими в ней звездами, перекинутое через нее хрупкое деревцо, высокие, чуть-чуть движущиеся по берегам камыши, темная лесная дорожка, засыпанная шуршащими листьями. Дорожка вдруг обрывается и опять надвигается сияющий Амальфи.

Она пыталась отбиваться, встать, бежать, но все члены ее были словно скованы.

Наконец, она очнулась, покрытая холодным потом.

Косые лучи восходящего солнца ударяли в ее окно, розово-золотистый столб света падал сверху на пол.

Первое ее чувство была радость свободно вздохнуть, видеть знакомые предметы. Она накинула капот и несколько раз прошлась по комнате, потом остановилась около портрета Владимира Петровича и долго вглядывалась в каждую черту хорошо знакомого лица.

Вдруг ей вспомнились как-то сказанные им в разговоре слова: «Мы слишком самонадеянны и все сбираемся совершить невозможные подвиги. Отсюда — недовольство, разочарования. Если бы мы ограничились более скромным уделом — например, если бы мы положили силы свои не на химерные стремления осчастливить весь мир, а каждый заботился бы о счастье одного близкого ему человека, жизнь наша была бы плодотворнее».

Она несколько раз мысленно повторила эти слова и подивилась, как она тогда же не поняла их справедливости.

— Теперь я признаю их справедливость,— проговорила она с уверенностью, и эта уверенность ее вдруг успокоила и даже развеселила.— Да мне не только спокойно, мне весело! — с радостью изумилась она,— просто весело!

III

НОВОСТИ ДНЯ

Отаке-то на сім світі
Роблять людям люди!
Того в'яжуть, того ріжуть,
Той сам себе губить...
Т. Шевченко [1]

На следующее утро, именно в ту самую минуту, когда Владимир Петрович окончательно решил вопрос о том, что надпись на атласистом конверте сделана нетвердой рукой, и перейдя к вопросу, приедет ли Надежда Львовна к Мане, как вчера сказала, или нет, лежал в кровати и держал перед собою тот самый фотографический портрет в кружевном покрывале, который несколько месяцев тому назад собирался сжечь и который он накануне вынул со дна письменного ящика, как путеводную звезду среди всех pro и contra [2], дверь спальни медленно и как-то торжественно отворилась, и вошел бледный и торжественный Федосей Егорович со связкой ключей в руке.

— Что скажете, Федосей Егорович? — спросил Хрущев, сунув портрет под одеяло.

— Вы изволили приказать мне через казачка, чтобы ему зимнее платье купить? — отвечал в вопросительном тоне Федосей Егорович, как будто еще не решаясь доверять такому распоряжению.

— Да, Федосей Егорович, да,— подтвердил Хрущев,— и, пожалуйста, поторопитесь: я хочу выехать непременно на этой неделе. Пожалуйста, поторопитесь и с продажей хлеба. Подшивалова нечего ждать — покончите с Красухиным. Поторгуйтесь с ним, а не даст больше — нечего делать, уступите. Покончите с ним и насчет лугов, только с уговором, чтобы он не притеснял крестьян — иначе я не захочу входить с ним в дело на следующее трехлетие... Так ему и скажите...

Федосей Егорович стоял, не шевелясь, как крепко вбитый кол, и поджимал свои тонкие, бесцветные губы. Он, очевидно, имел доложить что-то решительное и только ожидал окончания барской речи, прерывать которую считал неблагопристойным.

---

[1] Строфа из поэмы «Катерина».— *Ред.*
[2] За и против *(лат.)*.

«Как надоел этот несносный старик с своими торжественными минами!» — подумал Владимир Петрович и прибавил вслух:

— Так вы, пожалуйста, со всем этим поторопитесь, Федосей Егорович.

— Я, Владимир Петрович, пришел просить вашей милости,— сказал Федосей Егорович.

— Что такое? Говорите,— нетерпеливо отвечал Владимир Петрович, предвидя какую-нибудь жалобу на мужиков и при этом неизбежное нравоучение по поводу мужицких пороков и беззаконий.

Федосей Егорович приблизился к столику, стоявшему у барской кровати, положил на него связку ключей и, снова отступив к дверям, проговорил:

— Извольте меня отпустить, Владимир Петрович.

— Как отпустить? куда отпустить? — спросил Владимир Петрович.

— Извольте меня отпустить из вашей службы.

— Что вы, Федосей Егорович? Бог с вами! Что такое? почему? я ничего не понимаю!..

Ни один мускул не тронулся на пергаментном лице Федосея Егоровича, но все оно прониклось горечью.

— Воля ваша,— проговорил он так же торжественно,— а я прошу вашей милости отпустить меня.

— Полноте, Федосей Егорович,— подавляя досаду, убеждающим тоном начал Владимир Петрович,— что это вам пришло в голову? Если вы желаете прибавки жалованья, я с удовольствием готов вам прибавить — я сам об этом думал...

— Воля ваша, Владимир Петрович, извольте меня отпустить,— непоколебимо проговорил Федосей Егорович.

— Да хоть объясните мне, в чем дело! — вскрикнул Владимир Петрович.— Объясните мне, чем вы недовольны, чего вы желаете... Я готов, повторяю вам, сделать для вас все, что могу... Ну скажите мне, чего вы желаете?

— Я ничего не желаю, Владимир Петрович, только извольте меня отпустить.

— Подумайте, Федосей Егорович... Наконец, как же вы меня оставляете в такое время, когда я собрался уехать! На кого же я оставлю имение?

— Воля ваша, Владимир Петрович, только извольте меня отпустить.

— Не ожидал я этого от вас, Федосей Егорович!

— Воля ваша...

— Так вы решительно не хотите у меня остаться?

— Нет-с, не останусь. Извольте меня сегодня отпустить.

Владимир Петрович возмутился.

— Как знаете,— сказал он.

— Извольте принять от меня вещи — у меня все в сохранности.

— Хорошо, хорошо...

— Счеты по имению тоже...

— Хорошо, хорошо. Я сейчас встану и займусь этим.

— Слушаю-с,— ответил Федосей Егорович и отворил дверь, за которой оказался отец Павел, тотчас же поспешивший проникнуть в спальню, где в ту же минуту раздался его бас, свободно, развязно, как звон колокола.

— Хорошо ли почивали, Владимир Петрович, все ли в добром здоровье? Неустанно воссылаю молитвы ко всевышнему о вашем преуспеянии; всякую обедню уж я непреложно за вас заздравную часточку...

— Извините, отец Павел, я сейчас встану,— сказал Владимир Петрович.— Пройдите в кабинет.

— Лежите, лежите, а я вот тут присяду,— успокоительно отвечал отец Павел, присаживаясь на кровати.

— Мне, право, совестно,— начал было Владимир Петрович.

— Грешно, грешно, Владимир Петрович,— прервал отец Павел с укоризной,— ведь я — не чужой, я вас на руках носил, когда вы вот еще каким были (отец Павел простер ладонь в уровень своего колена). Как вижу вас в оборчатом этаком чепчике — родную дочь, кровь от крови моей, плоть от плоти моей, не могу себе мысленно так изобразить, как вас себе изображаю! Совершенный вы были херувим — только крылышек не хватало — красоты необыкновенной, ума необыкновенного! Что вы ежитесь? Неловко? Или холодно? Я сейчас оправлю. Лежите смирно!

И подхватив беззащитного Владимира Петровича под пятки одной рукой, он другою начал подсовывать выбившееся из-под ног одеяло.

— Отец Павел, помилуйте! — запротестовал Владимир Петрович, тщетно пытаясь вырвать ноги и приподняться.— Ради бога, оставьте...

— Оставил, оставил — не брыкайтесь...

— Пройдите, сделайте милость, в кабинет, я сейчас встану...

— Не согласен,— решительно перебил отец Павел.— И не обижайте меня, Владимир Петрович! Обидеть служителя господня легко, но для души не полезно... не полезно, Владимир Петрович, истинно говорю вам!

Он расправил бороду и посмотрел на Владимира Петровича своими блестящими цыганскими глазами.

— Помилуйте, отец Павел, мне неприятно принимать в постели...

— Не согласен, не согласен,— повторил отец Павел, простирая над Владимиром Петровичем свои массивные руки и как бы намереваясь схватить его при первой его попытке приподняться.

— Да помилуйте, отец Павел, я вас просил придти по серьезному делу...

— И я пришел,— перебил отец Павел,— спешил с ликованием в сердце. И ожидаю приказаний, как манны небесной! И приму их, как манну небесную! — прибавил он, вздымая массивные руки и затрепетав ими в воздухе, точно птица крыльями.

Как ни досадно было Владимиру Петровичу, он не мог не улыбнуться. К тому же он все время помнил, что отец Павел в два часа служит молебен у той, чей портрет лежал у него под подушкою, и невольно, непреднамеренно, не зная, зачем и почему, старался его задабривать.

— Так как вы решительно не позволяете мне встать,— сказал он с улыбкой,— то делать нечего... Вам ведь известно, что я хочу жениться...

— Благое дело,— одобрил отец Павел,— сам господь заповедал...

— Вы меня перевенчаете...

— Со счастием несказанным...

— Я желал бы избежать всяких формальностей; ведь это, я думаю, можно?

— Можно, можно.

— Я думал венчаться сегодня,— продолжал Владимир Петрович,— но еще колец нет...

«Она, пожалуй, не поверит, что отложено из-за колец»,— подумал он.

— Кольца завтра будут, и завтра вы меня перевенчаете...

— На все готов для вас, Владимир Петрович — там пусть меня хоть судят, пусть хоть расстригают...

Отец Павел махнул рукой, как будто давно примирился с мыслью, что его великодушие послужит к его пагубе.

— Помилуйте, отец Павел! — сказал Владимир Петрович.— За что же тут судить и даже расстригать?

— Как за что, Владимир Петрович! У нас эти формальности велено строго соблюдать.

— Мы, кажется, не хорошо понимаем друг друга. Что вы разумеете под формальностями?

— Я сказал, что на все готов для вас, Владимир Петрович, и слово мое — мне закон.

— Однако...

— Знаю, что и вы меня не обидите. Долгушинский лужок тогда пожалели — я и не роптал, потому что тогда я еще мало заслужил. А заслужу, так и не пожалеете.

— Я не могу предоставить вам Долгушинского лужка, потому что я уже обещал его крестьянам...

— Неужели, Владимир Петрович, превознесете крестьян над служителем господним?

— Это — дело решенное, отец Павел,— сказал Владимир Петрович,— и бесполезно о нем говорить.

— Ведь наг я, Владимир Петрович, наг и сир... Милосердие покажите! Помогите!

— Я готов помочь, чем могу, отец Павел. Перед отъездом я все соображу, увижу...

— Всегда уповал на вашу добродетель, Владимир Петрович, знал, что не посрамите убогого! Верую, внушит вам господь, то и Долгушинского лужка не пожалеете.

— Отец Павел, я уже сказал вам, что обещал...

— Что же, что обещали, Владимир Петрович. Я вот тяжкий грех на душу беру,— вздохнул отец Павел.

— Я вас не понимаю.

— А насчет формальностей-то...

— Послушайте, отец Павел, перестаньте... шутить! — сказал Владимир Петрович, начиная терять терпение.— Если вы считаете несоблюдение пустых формальностей таким важным делом, то соблюдите их...

— Без позволения родителя невесты — так сказать, тайный брак! — проговорил отец Павел, понизив голос и подняв указательный палец кверху.

— Помилуйте, отец Павел! Вы очень хорошо знаете, что родитель Марьи Михайловны давно пропал без вести... по всем соображениям — давно умер...

— Удостоверения не имеем, Владимир Петрович. К тому

же — против воли воспитательницы! — продолжал отец Павел, еще выше поднимая палец.

— Я считаю лишним доказывать вам, как все это неосновательно,— возразил Владимир Петрович, стараясь говорить спокойно.

— На свою ведь ответственность беру, на мою совесть камнем ляжет...

— В таком случае, чтобы не обременять вашей совести, я избавлю вас от всех хлопот,— прервал Владимир Петрович, теряя терпение.

— Это каким же образом? — встрепенулся отец Павел.

— Очень простым: я перевенчаюсь не в Дубровках, а в Петербурге.

— Не гневайтесь, Владимир Петрович, не гневайтесь. Я ведь это так к слову, а я готов для вас в геенну огненную... Не верите? Попробуйте... прикажите... Ну, попробуйте, прикажите... Приказываете?

Отец Павел выпрямился, точно как раз против него была эта геенна огненная, и он ждал только знака, чтобы в нее ринуться.

— Одним словом, отец Павел...

— Одним словом — готов на все, Владимир Петрович. Пропаду, но совершу венчание... А вы уж, уповаю, меня не обидите... Не обидите, Владимир Петрович! Предкам вашим служил, в трудах и скорби состарился!..

Отец Павел собрал, точно на шнурок, и выпятил свои красные, как у вампира, губы, сморщил крупный нос, и маленькая, с булавочную головку, бесстыдная слезка выжалась под правым глазом.

Владимиру Петровичу хотелось вытолкать его за двери, но он, разумеется, этого желания не только не попробовал исполнить, но даже выразить, и сдержанно сказал:

— Я сделаю для вас, что будет можно, отец Павел.

— Я буду ожидать со смирением, Владимир Петрович, хотя ожидать не могу: погибаю от убожества — можно сказать, от нищеты!

Он приложил руку к груди и энергическими эволюциями личных мускулов заставлял скатиться слезу, но слеза не повиновалась и сидела под глазом, как капелька смолы.

— Перед отъездом я все соображу,— начал Владимир Петрович.

— А скоро изволите выезжать? — спросил отец Павел, бросив справляться с непокорной слезой.

— Сбираюсь на этой неделе,— отвечал Владимир Петрович,—но не знаю, удастся ли. Федосей Егорович отходит, и я должен искать нового управляющего.

— Федосей отходит? верный ваш слуга отходит? — изумился отец Павел, который знал об этом обстоятельстве, потому что, явившись по зову Владимира Петровича, остановился под дверями и подслушал почти наполовину его разговор с Федосеем Егоровичем.— Прикажите ему остаться, Владимир Петрович!

— Как же я ему прикажу?

— Оставайся — и конец! Я ему внушу...

— Нет, зачем же удерживать, когда он, видимо, не желает у меня служить. Он не в первый раз уже заявляет мне о таком нежелании, и это уж мне, признаюсь, надоело. К тому же у него беспрестанные истории с крестьянами, что мне чрезвычайно неприятно... Не знаю, как быть, на кого оставить имение... Не придумаю, где искать управляющего... А если и найду, то какой еще попадется?..

— Владимир Петрович! — сказал отец Павел.

— Что такое? — спросил Владимир Петрович, который, вспомнив об отходе управляющего, в эту минуту исключительно поглотился заботою о предстоящих хлопотах и скорее говорил с собою, чем со своим собеседником.

— Для вас я готов... (отец Павел закатил глаза в потолок, так что остались на виду только вершковые белки). Прогоните неблагодарного раба Федосея и поручите имение мне! Соблюду, как зеницу ока!

— Послушайте, отец Павел, это несовместимо с вашим саном...

— Отчего? Все совместимо! А мужиков я люблю. От господа бога пастырь, а они — овцы, и, как пастырь добрый, душу свою полагаю за овцы... У меня они процветать будут.

— Это невозможно, отец Павел,— перебил Владимир Петрович,— я никогда на это не соглашусь.

— Ну, я найду вам управляющего,— предложил сговорчивый отец Павел.— Я бескорыстен. Господь, читающий в сердцах наших, видит мое сердце; но о вас пекусь, Владимир Петрович...

«Подсунет какого-нибудь жестокого плута! — подумал Владимир Петрович.— Впрочем, где же гарантия, что я найду перл добродетели? И как я найду, и когда найду, и где

стану искать? А он всех знает... Да и потом, я ведь всегда могу не согласиться, если мне не понравится».

— Очень вам буду благодарен, отец Павел,— сказал он вслух.— Если у вас есть кто-нибудь на примете, то пошлите ко мне... И чем скорее, тем лучше: я желал бы, как я уже говорил вам, на этой неделе выехать. Нельзя ли сегодня?

— Сейчас, с этого места и отправляюсь,— ретиво отвечал отец Павел, вставая и хватаясь за свою шляпу.

— Очень обяжете, отец Павел...

— Ни о чем не беспокойтесь, будет исполнено,— отвечал отец Павел, на ходу разметывая бороду и исчезая за дверью.

Хрущев с облегчением вздохнул и проговорил:

— Насилу отделался! Что за бессовестный поп! А управляющего-то он все-таки может приискать. Кто знает, может, попадется и порядочный! Наконец, я могу согласиться и не согласиться. Как, однако, все это несносно!

Он тоскливо закрыл глаза и с минуту так лежал, потом открыл их, поглядел в пространство, вынул из-под подушки портрет и горько усмехнулся.

— Удивительно, как все проходит! — сказал он себе.— Остается след, но какой след!

Он закинул руки за голову и начал насвистывать песенку, которою когда-то надоедал ему старый уличный певец в одном французском городке:

Tout lasse, tout casse,
Tout passe et trépasse! [1]

В кабинете начали бить часы. Он насчитал десять и поспешил встать.

Мысли его обратились к Мане: он вспомнил вчерашний вечер и опять остался ею недоволен. Потом его осадили неприятные заботы о необходимости самому хлопотать с продажею хлеба, с приисканием нового управляющего. Среди этих забот время от времени всплывал нерешенный вопрос: приедет *она*, как сказала, или нет?

Он нашел Маню в столовой, и она, как ему показалось, очень обрадовалась его приходу.

— Лучше себя чувствуешь? — спросил Владимир Петрович.

[1] Все надоедает, все ломается,
Все проходит и умирает! *(франц.)*

— Да,— отвечала она,— гораздо лучше... Совсем хорошо...

— Однако ты еще бледна... Скорей, скорей отсюда. А тут, как нарочно, неприятный сюрприз: Федосей Егорович подал в отставку!

— Это нас надолго задержит? — спросила Маня.

— Пожалуй, на неделю или на две,— отвечал Владимир Петрович.

— На две! — проговорила Маня.

— Что ж делать, моя дорогая!.. А я очень рад, что тебе тоже хочется отсюда поскорее... Впрочем, нет худа без добра,— ты в это время похлопочешь о своем туалете... Ведь у тебя нет еще теплого платья на дорогу!

— Ах, правда,— сказала с живостью Маня, словно спохватилась об очень приятной заботе.

— Знаешь, я думаю, во всей нашей губернии не найдется такой женщины, как ты,— пошутил Владимир Петрович,— ты решительно пренебрегаешь нарядами! Я полагаю, дело пойдет успешнее, если я за тебя займусь этой статьей.

— Нет, нет, я сама,— улыбнулась Маня.— Какое лучше сделать? Я думаю, темное?

— Ты ведь у меня — монашенка...

— Или лучше светлое? Как ты думаешь?

— Я думаю, что следует сделать и темное, и светлое: этим ты и сразу разрешишь сомнения, и удивишь меня, и доставишь мне большое удовольствие.

— В самом деле, надо сделать два! — согласилась Маня.— И, знаешь, как я их сделаю?

Она с живостью начала ему рассказывать свои предположения касательно фасона, отделки, цвета материи.

— Признаюсь,— с улыбкою сказал, выслушав ее, Владимир Петрович,— я никогда не подозревал даже, что ты настолько посвящена в тайны модного искусства! Ты меня изумляешь и заставляешь припомнить чье-то мудрое старое изречение, что женское сердце подобно таинственной стране, в которой, как ни изучай, все-таки останется многое неисследованным.

Он говорил шутливо, но, не шутя, дивился.

«Что это за превращение? — спрашивал он себя.— Куда девалась упорная страсть ходить чуть не в рубище? Давно ли приводила чуть не в ужас всякая пустая обновка?

Или это она для меня жертву приносит? Но нет, улыбается, оживлена, говорит с увлечением... Однако, я неловко сделал, что начал шутить: она как будто сконфузилась и, чего доброго, опять уйдет в свои дикости»...

Опасения его, однако, были напрасны: Маня в дикости не ушла, а охотно начала вместе с ним составлять список, соображаясь с которым уездный поставщик Дубровок должен был прислать на выбор товары. Владимир Петрович нарочно удлинял этот список и включил в него несколько совершенно ненужных вещей, и она не противоречила.

С этим списком Парфен был немедленно отправлен в город.

— Ах, да, Маня,— сказал Владимир Петрович,— я забыл тебе передать, что Надежда Львовна велела тебе кланяться и хотела к тебе приехать.

«Надо ж ей это сказать,— думал он,— *она* может приехать, и покажется странным, что я не предупредил»...

— Хотела приехать? — с удивлением повторила Маня.

— Да... Она ведь, кажется, всегда была к тебе расположена?

— Не знаю,— отвечала Маня, видимо, недоумевая,— может быть...

— Как я тебе говорил, она присутствовала при моем объяснении с Варварой Ивановной и, кажется, была глубоко возмущена.

— И сказала, что приедет?

— Да, повторила несколько раз. Но если тебе это неприятно, то ведь можно, я думаю, избежать, если не первого, то второго посещения...

— Нет, нет, я очень рада,— перебила Маня,— я очень рада. Поедем к ней сейчас!..

Владимир Петрович не поверил своим ушам.

— Поедем к ней! — повторила Маня.

«Да что ж это за превращение? — мысленно спрашивал Владимир Петрович.— Куда девалась ее нелюдимость? Куда девалось ее отвращение ко всему, что — не изба и не Матрена?»

— Мне кажется,— отвечал он,— тебе лучше подождать ее приезда... Она, быть может, сейчас приедет...

«Что ж, ведь это может случиться? — думал он.— Что ж! я ничего против этого не имею, пусть приедет, пусть посмотрит... Да не приедет!»

— Я очень буду рада,— повторяла Маня,— очень, очень рада. Какая она добрая! Я не ожидала, не знала... А какая она красавица! Какие у нее глаза, какие руки! Я, бывало, всегда на нее смотрю и дивлюсь, какая она красавица... Я ни одной картины лучше ее не видала... Знаешь, если она сегодня не приедет, то мы завтра к ней поедем...

— Хорошо,— отвечал Владимир Петрович.— А пока прощай! меня ждет Федосей Егорович.

«Кажется, мне не избежать еще одного свидания,— думал он, пробегая глазами листки отчетной книги, исписанные неровным славянским почерком Федосея Егоровича,— а может быть, даже не одного, а нескольких... Если даже она не приедет, то Маня поедет к ней. Я, конечно, могу помешать, но это покажется странным. Но что за превращение с Маней? Или вчерашний урок сразу ее образумил? Урок жестокий и образумить мог...»

«А вдруг опять на Маню нападет прежнее юродство?»— пришло ему в голову.

«Тогда она не поедет, и свидания, пожалуй, не будет! Да неужто я желаю этого свидания? Ну, да, желаю... Я так равнодушен, что даже этого могу желать... Все былое так умерло, что даже горечь улеглась... Первая неожиданная встреча после пережитых мук могла меня взволновать,— это понятно; но вторая, как бы ни была она неожиданна, не шевельнет во мне ничего... кроме грустного любопытства... Да и она, вероятно, тоже... Ее могла бы мучить совесть за разбитую жизнь, но если ее это и мучило, то теперь она имеет право сказать себе: он увлекся новым чувством, счастлив, женится...»

Наконец, отчетные книги были просмотрены, и он окончательно простился с Федосеем Егоровичем.

— Ну, прощайте, Федосей Егорович,— сказал он,— благодарю вас за службу и желаю вам всего хорошего...

Федосей Егорович, остававшийся неподвижно у дверей, пока продолжался просмотр отчетов, сделал несколько шагов вперед и начал ловить барскую руку. Владимир Петрович обнял его и поцеловал.

— Напрасно вы от меня уходите, Федосей Егорович! — сказал он.— Еще есть время, подумайте!

— Нет, воля ваша, а извольте меня отпустить,— ответил Федосей Егорович, бледный, как платок, но с прежнею непоколебимостью.

— У вас есть место? — спросил Владимир Петрович.

— Нет-с, места нет.

— Куда ж вы уходите?

— Хочу, многогрешный, поклониться святым угодникам.

— На богомолье?

— Точно так-с.

— Вы помолитесь, а потом опять вернитесь ко мне...

— Нет, Владимир Петрович, не могу-с.

— А может, вы подумаете?...

— Нет-с, Владимир Петрович.

Он вновь поклонился и, так же прямо держась, такими же твердыми шагами удалился.

Tout passe, tout lasse,
Tout casse et trépasse! —

начал насвистывать Владимир Петрович.

— Сюда, сюда,— раздался бас отца Павла и вслед затем в дверях показалось его бородатое широкое лицо.

«Неужто уж успел разыскать?» — подумал Владимир Петрович.

— Нашел, нашел,— сказал отец Павел, входя и отступая несколько в сторону,— вот он!

К большому и неприятному удивлению Владимира Петровича, из-за обширной массы отца Павла выступила щеголеватая фигура Евдокима Евдокимовича Красухина и, с улыбкой кланяясь и потирая руки, пред ним остановилась, с любезною вопросительностью во взгляде.

— На что вам лучше? — продолжал отец Павел.— Уж за него могу поручиться головой: исправен, нелицеприятен, бессребренник...

— Отец Павел не хорошо меня понял и поспешил,— обратился Владимир Петрович к Красухину,— я не думаю, чтобы мы с вами сошлись, я боюсь, что он вас напрасно побеспокоил!

— Помилуйте, какое ж тут беспокойство? сколько угодно-с! — без малейшего смущения, все с тою же ласковою улыбкою отвечал Красухин.

— Отчего не сойдетесь? — пробасил отец Павел.— Да вы, Владимир Петрович, имение свое пожалейте...

— Позвольте, отец Павел, позвольте! — перебил Красухин, мягко приподнимая правую руку.— Как ежели вы

ошиблись и Владимир Петрович не имеют в предмете меня управляющим поставить, так их воля и как им угодно. А вот у меня другое дельце до них.

— Какое? — спросил Владимир Петрович.— Да что ж мы стоим у порога? — прибавил он.— Садитесь, пожалуйста.

— Не извольте беспокоиться,— любезничал Евдоким Евдокимович, ступая по полу, точно по яйцам, бочком пробираясь к креслу и усаживаясь на самом его кончике,— не извольте беспокоиться...

— Пожалейте вы свое имение! — басил отец Павел, опускаясь на софу,— свое родовое пожалейте, наследие от предков пожалейте! На кого ж вы его покинете? Ведь Федосей уже ушел. Мы его встретили — надел котомку за плечи и замаршировал...

— Да-с,— подтвердил Красухин,— в пустынь отправился, в монашеской жизни, говорит, спокою хочу искать...

— Какое же дело? — холодно повторил Владимир Петрович, порешив выпроводить обоих посетителей как можно скорее.

— А насчет продажи хлеба-с,— отвечал Красухин, склоняя набок свою гладко расчесанную голову.

— А! — произнес Владимир Петрович.— Ну, что ж вы скажете? Желаете купить?

«Узнал, что деньги нужны и хочет воспользоваться случаем прижать,— подумал он.— Что ж делать! придется уступить»...

— Желание большое имею, Владимир Петрович,— с застенчивой скромностью отвечал Красухин, перегибая голову на другой бок,— только не знаю, удостоюсь ли.

— Какая ж ваша цена? — небрежно спросил Владимир Петрович.

— Цена настоящая-с, Владимир Петрович, по совести-с...

— Вы за овес предлагали по три с полтиной, кажется?

— По три с полтиной; только теперь, как я знаю, что овсы в цене поподнялись, так по совести своей этого утаить не могу и должон накинуть по копеечке на рубль.

Владимира Петровича, которого заботила мысль, как бы собрать побольше денег к отъезду, и который ожидал прижимки, чрезвычайно приятно изумили эти слова.

«Тут что-нибудь не так, надо остерегаться! тут, верно, какое-нибудь плутовство!» — подумал он, но тем не менее пришел в лучшее расположение духа.

— Право, не знаю, что вам сказать, Евдоким Евдокимович,— отвечал он.— Ко мне должен был приехать купец Подшивалов...

— Я от эвтого приезда никакого страха не имею-с, Владимир Петрович,— улыбнулся Красухин,— потому я всегда согласен против его цены копеечку на рубль набавить-с...

— Да Подшивалова нечего и ждать,— вмешался отец Павел,— он разорился. Мне помещик яблоновский сказывал: разорился, говорит, вконец; так за ним и пропала, говорит, моя тысяча!

— Вы тоже слышали, что разорился? — спросил Владимир Петрович, обращаясь к Красухину.

— Нет-с, не слыхал-с,— отвечал Евдоким Евдокимович,— и все это, доложу вам, может один только поклеп-с... Как ежели вы сомневаетесь продать, так извольте подождать-с.

— Какой поклеп! — заспорил отец Павел,— говорят тебе, разорился вконец!

— Не всякому слуху верьте, отец Павел,— заметил Красухин.

— Нельзя не верить, чудак ты! — возразил отец Павел, но уже гораздо хладнокровнее.

«Неизвестно, когда приедет и приедет ли Подшивалов,— подумал Владимир Петрович,— да, притом, он — такой же плут, а я могу упустить случай выгодной продажи. Да и приятнее поскорее развязаться со всеми этими дрязгами».

— Я готов и вам продать, Евдоким Евдокимович,— сказал он.

— Осчастливите бесконечно-с, Владимир Петрович (Евдоким Евдокимович привстал и поклонился). Позволите сумму вручить-с? За двести четвертей-с?

— Да.

Красухин подошел к столу и, вынув из большого сафьянного бумажника пачки ассигнаций, деликатно послюнил пальцы и начал считать.

— Ну, вот и благое дело совершили! — осклабился отец Павел, у которого при виде денег ноздри начали раздуваться и глаза загорелись, как карбункулы,— благое дело! благое дело!

— А насчет пшенички и ржицы какое будет ваше желание-с? — спросил Красухин, с грациозным изгибом стана вручив Владимиру Петровичу отсчитанную сумму.

— Я очень рад,— отвечал Владимир Петрович.— Вы почем дадите?

— Я через Федосея Егоровича докладывал-с...

— Это очень дешево...

— Помилуйте, Владимир Петрович! настоящая цена-с, по совести-с... Ну, извольте, я накину по копеечке на рубль...

«А с ним вовсе не так неприятно вести дело, как я воображал!» — подумал Владимир Петрович и согласился.

Снова был вынут большой сафьянный бумажник и отсчитаны деньги Владимиру Петровичу.

— Вседержитель неба и земли! — меланхолически вздохнул отец Павел,— коль неравномерно распределил еси блага земные! Одного превознес богатством, другого же оставил нага и боса! Но не о себе пекусь и сокрушаюсь, пекусь и сокрушаюсь о церкви святой, денно и нощно взываю ко господу о ниспослании благодетельного жертвователя на храм христианский! К вам, Владимир Петрович, осмелюсь вознести чающие длани. Ужели не пожертвуете от щедрот ваших? Ужели отринете?

— Не отрину, отец Павел,— отвечал Владимир Петрович, улыбаясь.

— Невозможно даже отринуть-с,— улыбнулся Красухин,— ишь, как отец Павел вздыхают-с — просто дубравы клонют-с!

— Не о себе, не о себе, но о храме всевышнего! Не о своих нуждах, но о благолепии дома божия! — так же меланхолически и с таким же сверканием в глазах сказал отец Павел, пряча полученные от Владимира Петровича ассигнации в одну из тех пропастей своего подрясника, которые он выдавал за карманы.

— А теперь прощенья просим-с, Владимир Петрович,— низко поклонился Красухин.

— Да погоди ж, погоди! — воскликнул отец Павел.— А насчет управительства-то?

— Что ж насчет управительства?—отвечал Красухин.— Как если Владимир Петрович сомневаются...

— Чего сомневаться...— начал было отец Павел.

— Я полагаю,— прервал Владимир Петрович, обращаясь к Красухину,— что вы и сами нашли бы неудобным место моего управляющего...

— Не сочтет он, не сочтет! — воскликнул отец Павел.

— Отец Павел, повремените, окажите такую милость,— сказал Красухин, мягко поводя рукою,— позвольте мне поговорить с Владимиром Петровичем...

— Ну, говори, говори,— с неудовольствием отвечал пламенный отец Павел, очевидно, чувствуя, что красухинские разговоры успешнее, чем его собственные, подвинут дело к желаемому исходу.

— Осмелюсь спросить, Владимир Петрович, отчего вы так изволите полагать, что я найду для себя неудобным-с?— с почтительною любознательностью спросил Красухин.

— Я, видите ли, в этом отношении чрезвычайно требователен,— отвечал Владимир Петрович,— чрезвычайно требователен...

— Что ж? дело справедливое-с, так и следует-с...

— У меня на этот счет совершенно иной взгляд, иные желания... не похожие на то, что вы видите у других помещиков...

— Так-с.

— Совершенно непохожие...

— Так-с,— с терпеливою ласковостью повторил Красухин.

— Другие помещики обыкновенно заботятся только о том, как бы побольше получить дохода с имения и совершенно забывают о крестьянах... то есть о нуждах крестьян...

— Так-с...

— Но я помню об этих нуждах, я считаю моим долгом о них помнить... Я не допускаю никаких притеснений, я требую, чтобы крестьяне были довольны...

— Да будут довольны! — не утерпел сказать отец Павел.

Красухин, не сводя глаз с Владимира Петровича, безмолвно двинул рукою в сторону отца Павла, снова делая ему знак повременить с своим вмешательством.

— Мне главное, чтобы крестьяне были довольны,— продолжал Владимир Петрович,— чтобы они всегда находили у меня помощь в свои трудные минуты... Я буду меньше получать дохода, но это ничего...

— Наполовину меньше,— опять не утерпел отец Павел,— но господь воздаст вам сторицею...

«Какой, однако, наглец этот поп!» — подумал Владимир Петрович, на которого невольно произвели неприятное впечатление слова «наполовину».

— Нет, зачем же-с так уж наполовину, отец Павел! — возразил Красухин.— Как если порядок и аккурат в имении, так все это приятнее обойдется-с — самую малость-с... Как все в свое время-с, да в свой час, так оно даже заметинки не будет иметь-с. Как, примером, бор прорубаете, да в эту оказию леску на избу дать, так и ничего-с,— только мужичку-с благодеяние, а как ежели теперь вдруг зря повалить для него что ни наилучшие деревья-с, так уж это — не резон-с; себе убыточно-с и мужичку не прибыль-с, потому все одно, он их продаст за грош-с или погноит-с...

«А он, однако, отлично знает сельское хозяйство!» — подумал Владимир Петрович.

— У вас верный взгляд на эти вещи,— сказал он вслух,— но, к несчастью, редко на деле так выходит, как на словах...

— Изволите сомневаться, что я только языком говорю-с, а потом могу проштрафиться-с?

— Вы извините меня, но...

— Помилуйте-с, сколько угодно-с... И как ежели вы имеете в предмете верного человека-с...

— В том-то и горе, что не имею!

— А как ежели не имеете-с, то все одно, хоть меня, хоть другого на риск возьмете-с! На глаз, значит-с, кто показнее будет-с. А как на глаз, так на кого ни кинь, все трудно-с; обман может случиться со всяким-с, я так понимаю-с... Как ежели человека требуется доподлинно узнать-с, так надо с ним пуд соли скушать-с... Да и то, бывает, обочтешься-с...

«Он прав! — подумал Владимир Петрович.— Действительно, где же ручательство, что мне не попадется плут? Ведь кушать мне с ним бочку соли некогда!»

— Да у нас тут такие разбойники,— начал отец Павел, очевидно зацепив самой черной краски на свою кисть, но Владимир Петрович его прервал.

— Я, впрочем, подумаю,— сказал он Красухину.— Зайдите ко мне завтра пораньше утром...

На всей физиономии отца Павла так и выступило лучами слово магарыч, но Красухин, без всякого поспеха, так же спокойно и почтительно-любезно ответил:

— За счастие-с почту...

— А теперь извините,— прибавил Владмир Петрович,— я должен...

— На молебен к Надежде Львовне! — перебил отец Павел.— Я часиком опоздал — ничего, покаюсь, скажу, для Владимира Петровича хлопотал... В коляске поедете? Так меня бы...

— Я не еду на молебен,— холодно перебил Владимир Петрович.

— Отчего так?

— У меня есть дело; я занят,— еще холоднее отвечал он.

— Отец Павел! время-с! — напомнил Красухин.

— Иду, иду,— ответил отец Павел.— Так на молебен не пожалуете?

— Я уже сказал...

— Ну, ничего, ничего; я скажу Надежде Львовне, что никак нельзя, сам, скажу, видел, что никак нельзя. Имел, скажу, сердечное желание, но не мог... кланяется и просит не посетовать...

Владимира Петровича словно паром обварило. В смятении он чуть не крикнул вслед отцу Павлу: «Не упоминайте моего имени!», но во-время спохватился, что последнее будет, пожалуй, хуже первого, и так рассердился, что даже сжал кулаки и, кажется, первый раз в своей жизни заскрежетал зубами.

Несколько успокоив себя увериениями, что она (то есть Надежда Львовна) несомненно оценит отца Павла по достоинству или примет его слова за бесстыдную ложь, или предположит, что он, Владимир Петрович, вынужден был так говорить pour sauver les apparences [1], он отправился к Мане и нашел ее перед зеркалом. Она хлопотливо примеривала какой-то черный шарф на голову и не слыхала, как он вошел.

Он с удовольствием увидел, что беспокоившее его опасение насчет прочности Маниного «превращения» неосновательно, и спросил, что она примеривает.

— Хочу устроить себе капюшон, да никак не слажу,— отвечала Маня, обращая к нему улыбающееся лицо и не отнимая от головы рук, придерживавших складки шарфа.

Черный кашемир мягко спадал на ее гладкий белый лоб, покрывая грудь и плечи; темные глаза блестели уди-

[1] Чтобы сохранить видимость *(франц.)*.

вительным блеском; лицо дышало каким-то особенным, как будто лихорадочным оживлением.

«Как она сегодня хороша!» — подумал Владимир Петрович, невольно ею любуясь.

Розовая комната тоже заметно преобразилась и теперь подходила к идеалу будуара прекрасной женщины: тяжелые лексиконы стояли рядком на этажерке, показывая красивые корешки сафьянных переплетов; тетрадки с Полиным и Аполлошкиным чистописанием, чернильные пятна, грифели и прочий учебный сор исчезли с мраморного столика, и вместо них на нем стоял в прозрачной фарфоровой вазе благоухающий букет оранжерейных цветов; жардиньерка, где в последний раз Владимир Петрович нашел какие-то выписки о лечении гнойных ран и язв, тоже была наполнена свежими цветами; на круглом столике у кушетки, на котором обыкновенно были безобразно нагромождены книги, красовался альбом.

— Ты сегодня не давала уроков? — спросил Владимир Петрович.

— Нет,— отвечала Маня, продолжая улаживать складки капюшона, и, закидывая концы шарфа за плечи, прибавила: — а что? вот так хорошо будет?

— Очень хорошо,— отвечал Владимир Петрович,— чрезвычайно оригинально... прелестно.

— Надо еще кружева,— сказала Маня.

— Я желал бы посмотреть на тебя в черном кружевном платье,— сказал Владимир Петрович, — ты была бы великолепна в черном кружевном платье... с бледной розой в волосах и на груди...

Маня улыбалась.

После обеда они уютно поместились в розовой комнате читать новый роман, в котором удивительно тонко разбирались любовные чувства, удивительно изящно описывалась природа.

— Что за шум? — вдруг спросил Владимир Петрович, приподнимая голову с спинки кушетки, на которой он полулежал, и прислушиваясь.

— Шум? — проговорила Маня, прерывая чтение.

— Да, мне послышались как будто крики... Да, там во дворе или в саду какой-то шум... Ну, да бог с ним, читай...

Маня снова принялась за прерванное чтение.

Вдруг явился Аполлошка, очевидно, возбужденный каким-то только что совершившимся происшествием.

— Что такое? — спросил Владимир Петрович.

— Дьякона принесли,— отвечал Аполлошка,— мертвого...

— Как принесли? откуда? — проговорил Владимир Петрович, вставая.

— Захлебнулся в Калиновом яру, в луже...

— Как, до смерти? В луже? Не может быть, чтоб до смерти...

— Как есть захлебнулся... Уж окоченел-с... Это он с вечера-с... Иван-мельник нынче только его нашел-с... Еду, говорит, а он лежит... Тут, говорит, на спуске пенек, так он, верно, говорит, на пенек свалился... Так, говорит, вниз лицом, носом в воду и руки растопырил,— рассказывал Аполлошка, наклоняя лицо к полу и раскидывая руками в стороны.

— Все-таки надо попробовать,— сказал Владимир Петрович,— надо скорей за доктором...

Он оглянулся на Маню. Она сидела, крепко сжав в руке развернутую книгу, неподвижная и бледная, как мраморная.

— Можно ли вбегать с такими вестями! — обратился он к Аполлошке с укоризною.— Посмотри, как ты перепугал Марью Михайловну!

— Виноват-с, Владимир Петрович,— проговорил Аполлошка, кидая взгляд на Маню.

— Иди, распорядись, чтобы скорее за доктором... Да, Парфен в город уехал... Ну, кого-нибудь пошли... или хоть сам поезжай... скорее, скорее... каждая минута дорога! — крикнул он вслед побежавшему Аполлошке.

— Боже мой,— начал он и вдруг увидел около себя Маню.

— Маня! куда ты? — вскрикнул он.

— Пусти, пусти,— с трудом вымолвила она.

— Нет, Маня, нет... Зачем ты туда пойдешь? зачем смотреть на это ужасное зрелище?

— Пусти! — вскрикнула Маня с силою.

«Вот она дикость-то, воротилась!» — мелькнуло у него в голове.

— Маня, милая моя! умоляю тебя! — проговорил он.— Я сейчас пойду, я все сделаю, что возможно... Умоляю тебя!

— Пойду! пойду! — почти вскрикнула Маня.

— Дай мне, по крайней мере, руку... По крайней мере, накинь на себя что-нибудь... Дай же мне руку, ты вся дрожишь...

Солнце ярко светило с безоблачного неба, и мягкие осенние лучи, проникая сквозь обнаженные ветви двух старых лип, движущейся сеткой падали на высокий порог дьяконова жилья. Низенькая закопченная дверь была распахнута настежь, и сквозь нее видны были толпившиеся в жилье дворовые люди.

При появлении Владимира Петровича с Маней все почтительно отхлынули к стенке, и смешанный говор, восклицания и аханья мгновенно смолкли.

— За доктором послали? — спросил Владимир Петрович у повара, который случился ближе всех к дверям.

— Поскакал Аполлошка-с,— отвечал повар,— да уж доктор-с ничего не поможет: как след покончился-с...

Покойник уже лежал на столе, покрытый чем-то белым; в головах у него жарко горела тоненькая темно-желтая восковая свечечка, и при каждой струе свежего воздуха из дверей ее красное пламя быстро вздрагивало и колебалось на мертвом свежевымытом лице, на котором застыло выражение мучительной беспомощной тоски; в ногах тихо, горько и спокойно плакала Поля.

Увидав Маню, глаза ее как будто сказали: «Я всегда этого ожидала».

Владимир Петрович вполголоса начал отдавать повару какие-то приказания; потом обратился к Поле с выражением сочувствия, причем деликатно дал понять, что она может быть уверена в его помощи и поддержке.

Маня смотрела на мертвое лицо. Это лицо точно говорило ей:

«Зачем вы теперь сюда пришли? Зачем вы сюда пришли, когда уж для меня все кончено? Вы меня замучили, заели, да, все вы, все до одного — и ты тоже — и теперь пришли!»

— Маня! тебе дурно? — с испугом спросил Владимир Петрович.

— Нет, нет...— проговорила Маня,— но здесь душно, выйдем поскорей на свежий воздух...

IV

СТАРОЕ ЯРМО

Жил-был поп,
Пошел до броду,
Стал на колоду,
Упал в воду,
Уж он в воде мок, мок,
Уж он в воде кис, кис,
Вымок, выкис,
Высох, вылез,
Стал на колоду —
Опять в воду!

Докучная сказка

Владимир Петрович счел долгом человеколюбия присутствовать на похоронах дьякона. Когда горемычный пьяница был зарыт в узенькую могилку, он подошел к Поле и, взяв ее под руку, повел в хоромы, что произвело впечатление на всех, но преимущественно на попову Лушу, явившуюся на печальную церемонию в новой шляпке с вуалью, подарке Надежды Львовны.

— Это — тяжелое испытание, любезная Пелагея Ивановна,— ласково говорил Владимир Петрович, идя тихими шагами,— но мужайтесь... Не забывайте, что у вас есть друзья...

Поля ничего не отвечала и шла потупившись. Ей было неловко, тошно его внимание и участие; перед нею проносилось несчастное, дорогое, навеки исчезнувшее лицо.

— В могилке ему лучше! в могилке ему лучше! — твердила она, словно унимая накипавшую тоску,— там уж ему ни насмешек, ничего...

— Бедная Маня глубоко огорчена вашим горем,— продолжал Владимир Петрович,— даже заболела... Она ждет вас, и вам с нею будет легче...

— Маня,— сказал он, тихонько отворяя дверь розовой комнаты,— Пелагея Ивановна пришла.

Маня сидела, опершись на стол руками и положив на них лицо. При словах Владимира Петровича она вздрогнула и быстро встала.

— Я думаю, Маня, что Пелагее Ивановне лучше переселиться к нам на некоторое время,— продолжал Владимир Петрович.

— Да, Поля, переселяйтесь к нам,— проговорила Маня.

— А потом мы вместе обсудим, как вам устроиться...—

продолжал Владимир Петрович.— Заботу об этом мы берем на себя... И я вас прошу, Пелагея Ивановна, обращаться к нам во всех затруднениях, как к друзьям...

— Покорно благодарю, Владимир Петрович,— проговорила Поля.

— Мы скоро уедем, но мы вас не забудем...

— Покорно вас благодарю, Владимир Петрович,— повторила Поля.

— Помилуйте, Пелагея Ивановна, за что же?

Вошедший Аполлошка доложил о приходе Красухина, с которым Владимир Петрович в это утро почти поладил насчет управления Дубровками.

— А я тут — не жилица, Марья Михайловна,— сказала Поля, как только они остались одни,— я в Петербург собралась.

— В Петербург? — повторила Маня.

— Да. Какие есть лохмоты продам — и в Петербург. Уж я так положила. Хоть пешком, а там буду... Теперь я тут никого не покину, некого жалеть...

Слезы тихо заструились по ее лицу; она их отерла и продолжала:

— Ведь это я хорошо надумала, Марья Михайловна, а? Что ж дураком-то жить? Да и вы там будете... Хорошо ведь надумала?

— Разумеется, хорошо, Поля, — отвечала Маня,— очень хорошо... И что вам понадобится, Владимир Петрович все сделает... Он мне говорил...

— Покорно благодарю, Марья Михайловна.

— Поля! неужто вы могли в нем сомневаться? — вдруг с жаром спросила Маня.

— Нет, Марья Михайловна, я не то, чтобы сомневалась, а так... У меня там, в Петербурге, родня есть — двоюродная сестра замужем за кладбищенским священником, за Минервиным,— так я рассудила прямо к ним. Мы с этою двоюродною девчонками знались,— как мои родители живы были, так она часто у нас гащивала. Добрая такая была, веселая, точный котенок на солнышке. Я у нее и на свадьбе была, как она выходила за Минервина. И он ничего, глазастый этакий, показной; все цветы, помню, нюхал, так с каким-нибудь цветочком в руке и ходил. Он — родня соборному благочинному, а благочинный — родня архиерею, так вот ему и промыслили место в Петербурге. Я еще о прошлом рождестве слышала, что живут они там хорошо, а

вот теперь и вспомнила про них и думаю: пойду прямо к ним, осмотрюсь, а там и увижу, как мне дальше быть. Наперед-то хорошенько не сообразишь, а вот, как осмотришься, тогда понятней станет, виднее. Правда, Марья Михайловна?

— Правда,— отвечала Маня.— Как Владимир Петрович придет, мы ему скажем, что вы сбираетесь в Петербург, и он похлопочет, устроит... Вы когда думаете?

— Да я бы хоть завтра, Марья Михайловна.

— Завтра? Так скоро! — вскрикнула Маня.

— А что ж откладывать-то? Уж как надумала, так чем оно скорее, тем легче.

— Да, да, правда... Мы скажем Владимиру Петровичу, и он похлопочет...

В Мане шевельнулось что-то похожее на зависть.

«Завтра! — думала она,— захотела завтра — и может завтра! А я?..»

— Вы-то что такие, Марья Михайловна, как с креста снятые? — сказала Поля, глядя на нее своими ясными заплаканными глазами.— Или очень нездоровы?

— Нездорова,— отвечала Маня.

Поля тихонько наклонилась к ней и, обняв ее одной рукой за плечи, тихонько, как больную, поцеловала в щеку.

Маня встрепенулась, обвила руками около ее шеи, прижалась к ней.

— Выздоравливайте, голубчик,— проговорила Поля.— В Петербурге-то каких мы чудес навидаем... Я каждый день, каждый час вас туда ждать буду. Вы ведь скоро приедете?

— Скоро,— отвечала Маня.

— Ну, вот и чудесно! Головка-то у вас какая горячая — так и жжет!

— Это ничего, это скоро пройдет,— сказала Маня.

Она встала, слабо улыбнулась, потом опять села и заговорила о Полиных сборах в Петербург.

Владимир Петрович, заставший их на этом разговоре, одобрил Полино решение, и снова повторил, что берет на себя заботу об ее устройстве.

— Она хочет завтра ехать,— сказала Маня.

— Завтра? — удивился Владимир Петрович.— Успеете ли вы собраться?

— Да мои сборы недолгие,— отвечала Поля.

— В таком случае, я сегодня же (Владимир Петрович хотел сказать: «вручу вам деньги на прожитье», но счел

это неделикатным)... сегодня же всем распоряжусь. Вы завтра можете ехать...

Он сидел рядом с Маней и при этих словах почувствовал, что она украдкой крепко сжала его руку. Это его раздражило, он вообще все это утро был неопределенно раздражен и только напрасно старался подавить раздражение.

«Что ж ты до сих пор не верила мне? — подумал он.— Опять сбиралась почтить титулом труса и обманщика?»

Он как будто нечаянным движением, но не резким, высвободил свою руку и прибавил, обращаясь с улыбкой к Поле:

— Я не говорю слов на ветер, не даю пустых обещаний — вы в этом когда-нибудь, надеюсь, убедитесь!

Поля посмотрела на него исподлобья, перебирая кончик своего шейного платка.

«Какая деревяшка!» — мысленно воскликнул Владимир Петрович.

— У вас ведь никого знакомых нет в Петербурге? — спросил он.

— У меня там родня.— отвечала Поля.

— А! прекрасно... Вам не будет так одиноко... Но если вы так скоро сбираетесь в путь, так надо немедленно позаботиться о дорожных принадлежностях. Наш поставщик теперь здесь, и вы бы выбрали себе что-нибудь... плэд, например... Это необходимо в путешествии... Я сейчас велю его позвать... Ты позволишь, Маня? — обратился он к Мане.

Его взгляд, казалось, говорил: «Да, я не говорю слов, а делаю дело — дело не химерное, а настоящее».

Но Маня не замечала ни взглядов, ни интонаций. На ее губах блуждала слабая улыбка, какая бывает у человека, когда его что поглощает и он улыбается, словно желая этим загладить свое невнимание к добрым собеседникам. Маню поглощала какая-то еще неопределившаяся, только что зарождающаяся мысль, которая чуть засвечивалась, как слабая, отдаленная точка среди мрака.

Прибежавшему на звон колокольчика Аполлошке приказано было ввести купца с товарами, и явился обремененный тюками купец, лысый человек в долгополом сюртуке, с бегающими глазами, до противности моложавым и умильным лицом, проворными, бойкими ухватками и длинными, какими-то липкими руками.

— Самый наилучший товар-с! Самой свежей моды-с! — запел он фальцетом, одним взмахом разложив несколько штук материй и каждую выставив на свет.

— Золотых дел мастеру тоже прикажете войти?—спросил Аполлошка.

— Да, позови и его,— сказал Владимир Петрович.

Явился и золотых дел мастер, крошечный старичок в венгерке, распомаженный розовой помадой, подвитой, с оттопыренной нижней губкою и лакированным длинным ящиком в беленьких ручках, с большим перстнем на пальце, и тоже показал свой товар.

— А, да вы и часы привезли! — сказал Владимир Петрович.

— Да-с,— отвечал старичок,— теперь, знаете, часы необходимы для всякого, как пища-с или как воздух-с...

Владимир Петрович купил Мане дорогие часы и дорогую цепочку. Затем он выбрал венчальные кольца. Глядя на эти кольца, Владимир Петрович думал:

«Через каких-нибудь три-четыре часа я буду перевенчан. И слава богу,— прибавлял он мысленно,— и слава богу, все это прекратится!»

Что «все» — он себе не объяснял: когда же являлся ему такой вопрос, он спешил повторить: «все! все!» и начинал или ходить по комнате, или напевать неотступно засевшую ему в память песенку:

Tout casse, tout lasse,
Tout passe et trépasse.

Мало-помалу он, однако, овладел собою и, когда они остались с Манею вдвоем, весело взял ее за обе руки и сказал:

— Ну, Маня, сейчас явится отец Павел... Теперь пять часов; он должен явиться в шесть — значит, через час. Что ж ты такая не нарядная? Погоди-ка, я тебя уберу немножко...

Он накинул на нее часы с цепочкой и надел ей на палец кольцо.

— Да, да, через час... Ты не боишься?

— Нет,— отвечала Маня, губы у нее вдруг задрожали,— но я нездорова...

Она сжала его руки и с мольбою на него посмотрела.

— Но, Маня, ведь это не будет утомительно,— возра-

зил Владимир Петрович,— отец Павел перевенчает нас здесь, в этой комнате. Ни докучных свидетелей, ни...

— Но я нездорова! я нездорова! — повторила Маня.— Посмотри, какая у меня горячая голова...

Она прижала его руку к своей голове. Действительно, голова у нее горела.

— Если ты этого непременно хочешь, Маня,— проговорил Владимир Петрович,— то я пошлю сказать, чтобы отец Павел не трудился приходить.

Он вдруг почувствовал облегчение, но не признался себе в этом и оскорбился.

«Вот как мало это имеет для нее значения! — воскликнул он мысленно,— какая-нибудь головная боль заставляет ее откладывать!»

— Не сердись... не сердись, милый, дорогой! — сказала Маня, вдруг бросаясь к нему на шею.— Прости меня! Погоди, я поправлюсь... Я больна, больна...

Она вдруг зарыдала.

— Маня, милая, ты в самом деле больна! — сказал Владимир Петрович.— Я пошлю за доктором.

— Нет, нет, не уходи...— проговорила Маня.— Это так пройдет... это — нервы... Да, это — нервы! — повторила она, как будто обрадовавшись этому слову.— Ничего более, как нервы. И я скоро, скоро поправлюсь...

Она откинула голову, хотела посмотреть на него с улыбкою, но рыдания вырвались снова, и она опять припала к его груди.

— Ты не беспокойся... ты не уходи от меня... это сейчас пройдет...— говорила она сквозь рыдания.

Действительно, она скоро успокоилась и сказала:

— Вот и прошло... Только голова все болит...

И крепко сжала обеими руками себе голову.

— На сколько же мы отложим наше венчание? — спросил Владимир Петрович.

— На несколько дней,— с живостью ответила она,— только на несколько дней.

— На два? на три?

— Да, на три... Ты ведь не сердишься?

— Нет, Маня,— отвечал Владимир Петрович,— но я на тебя смотрю как на жену с той самой минуты, как ты переступила порог этого дома, и мне хотелось бы положить конец всяким нелепым толкам и пересудам. Мне хотелось раз навсегда оградить тебя от неприятных столкновений с

общественными обычаями... Мнением каких-нибудь бессмысленных людей дорожить бы, конечно, не стоило, если бы не приходилось с ними, с этими людьми, жить... Разве ты поручишься, что тебя не огорчит глупое слово, глупый взгляд или усмешка?

— Теперь мне все равно,— отвечала Маня.— Прежде... прежде — да, а теперь все равно...

— Так кажется, милая! Да оно и понятно: человек чувствует себя чистым, а его грязнят... Так через три дня? — спросил он.

— Через три,— отвечала Маня.

Наступил вечер, и они опять принялись за начатый роман.

На этот раз читал вслух Владимир Петрович и то залпом прочитывал по нескольку глав, то прерывал чтение на каждой странице и начинал или уличать автора в незнании человеческого сердца, или рассуждать о человеческом сердце вообще, о его неизмеримых тайниках, непонятных загадочных капризах, чутье и проч. и проч.

Маня все выслушивала с тою же слабою безучастною улыбкою и глядела в окно на сад, ярко освещенный месячным светом, безлистый и безмолвный.

Вдруг в двери постучались каким-то особенным стуком.

— Кажется, стучат? — проговорил Владимир Петрович беспечным тоном и изменившимся голосом.

— Да,— отвечала Маня.

«Я просто скажу: войдите,— дверей не отворю, останусь в кресле, как будто не узнал!» — поспешно решил он в голове и, в то же самое время, как таким образом решал, он вставал, подходил к дверям и отворял их.

На пороге появилась Надежда Львовна, вся в черных кружевах, бледная, как мраморная нимфа, сияя чудесными глазами и прелестно улыбаясь.

— Здравствуй, Маня, здравствуй, милая моя! — проговорила она, обнимая Маню своими прекрасными, гибкими и цепкими руками и нежно прижимаясь губами к ее лицу.

— Ты не забыла меня? Рада меня видеть?

— Нет... рада...— отвечала Маня.

Владимир Петрович в эту минуту дорого бы дал за то, чтобы Маня вдруг или в обморок упала, или ногу сломала, вообще за какое-нибудь происшествие, которое затушевало бы ее неловкость и непредставительность. Как она бес-

цветно улыбалась в ответ на эти блистательные улыбки! Какими безвыразительными взглядами встречала эти сияющие взгляды! Какой деревянной стояла она в этих грациозных объятиях! И как на зло, в этот день даже обычная бесспорная прелесть ее лица точно вдруг скрылась — утомление на нем было, какая-то растерянность, вместо свежести — синеватая бледность; даже ее великолепные волосы как-то так были откинуты, что теряли половину своей роскоши и красоты. И, при этом — измятое, мешковатое платье! И зачем он надел на нее эти глупейшие часы! Дурак! Дурак!

«Вот следствия дружбы с Матренами!» — мысленно воскликнул он с гневом.

В эту минуту он смотрел на Маню, как на врага, который хотел его унизить и достиг этого вполне.

— Как ты выросла! как похорошела! — продолжала Надежда Львовна, не выпуская Маню из объятий, мягко увлекая за собою на диван и сажая около себя.— Ну, как же ты поживаешь? Я по лицу вижу, что хорошо... О, милая, как я рада!

— Здравствуйте, Владимир Петрович,— обратилась она к нему.

Владимир Петрович притронулся к протянутой ему атласистой руке, низко поклонился и сел в стороне.

— А я к вам пешком пришла...— продолжала Надежда Львовна,— и нечаянно: я уже отложила свое посещение до завтра, но пошла гулять и очутилась около вашего сада... Ну, скажи же, Маня, рада ты мне?

— Я очень рада,— отвечала Маня.— Я как услыхала... я хотела к вам...

— Отчего ж не приехала? Недобрая, церемонная! Ты такая и осталась, как была, нелюдимка? Я ужасно это в тебе люблю! А я не хуже татарина? Знаешь: не в пору гость... Вы, кажется, что-то читали? (Она указала на книгу, которую бросил Владимир Петрович развернутою на столике). С друзьями церемониться — грешно... Если я помешала, надо мне прямо сказать...

— О, нет! нет! — сказала Маня.

«Женщина, которая блаженствует, не так бы выговорила это: «Нет! нет!» — подумала Надежда Львовна.— Да и бледна она и как будто недавно плакала... Или она знает? Нет, не так бы встретила... Он не болтлив... Наконец, если бы он ей сказал, он бы предупредил меня... дал бы

мне понять... Или уже начались сцены? А недурна! Но Dieu des dieux [1] как она не умеет этим пользоваться! Что за костюм! что за прическа!»

— Я тебе верю,— улыбнулась она Мане.

«Что уместнее — уйти или оставаться?» — мысленно решал Владимир Петрович, сидя, как прикованный, в кресле.

— Вы сюда надолго? — спросила Маня.

«Ничего оригинальнее не выдумала!» — с желчью внутренно засмеялся Владимир Петрович.

— О, нет, моя прелесть,— отвечала Надежда Львовна,— каждую минуту ожидаю окончания этих гадких хозяйственных хлопот и тогда сейчас же уезжаю... А как хорошо в деревне даже осенью! Так тихо все, так мирно! Кажется, тут люди иные, иначе живут, не знают страстей, не знают страданий... Сельская природа такая ласковая... Здесь, кажется, и не может случиться никакой беды, ничего грустного...

— Это только так кажется,— заговорил, сам того не ожидая, Владимир Петрович с отчаянием, казнясь бесцветной улыбкой, которою Маня отвечала на поэтическую тираду.— Не дальше, как вчера у нас разыгралась очень печальная драма...

— Неужто? Какая же? — спросила Надежда Львовна.

— Простая, но очень печальная... Утонул наш дьякон (Владимир Петрович не захотел сказать «захлебнулся в грязи» — это претило его понятиям о драме), оставил сестру, молодую девушку, совершенно одинокою и беспомощною...

— Ах, боже мой! Pauvre petite! Quel malheur! [2] — проговорила Надежда Львовна, которая в тот же день знала во всех подробностях о случившемся от поповой Луши.— Le malheur est dons partout! Воображаю отчаяние этой бедной девушки! Elle doit être accablée, anéantie! [3]

— Она с удивительной твердостью переносит свое горе,— отвечал Владимир Петрович,— pas une plainte! [4] Ни единой жалобы,— поправился он, неизвестно почему досадуя на выскочившее у него французское выражение.— Очень спокойно рассуждает о своем будущем устройстве в Петербурге...

---

[1] Всевышний! *(франц.)*
[2] Бедная малютка! Какое несчастье! *(франц.)*
[3] Горе повсюду! Она должна быть подавлена, унижена! *(франц.)*
[4] Ни одной жалобы! *(франц.)*

— Да? Mais je comprends ces souffrances muettes... [1] — задумчиво произнесла Надежда Львовна, словно вдруг уносясь в свой внутренний мир.— Так она сбирается в Петербург? — спросила она, как бы принуждая себя оторваться от внутреннего созерцания.

— Да,— отвечала Маня,— она едет завтра...

— Бедная! как ей, должно быть, грустно покидать все родное... ce petit coin de terre si frais, si tranquille! [2]

— Напротив, она стремится отсюда,— сказал Владимир Петрович (его решительно из себя выводила Манина «деревянность»).— Петербург, кажется, представляется ей обетованной страной...

— Да? Но можно стремиться, можно бежать с отчаянием в душе...— возразила Надежда Львовна.— Я это понимаю... Трудно оторваться от мест, где мы были счастливы, где жизнь нам улыбалась, l'espoir nous berçait de mensonges... [3] Как сиротливо ей покажется в холодном Петербурге! — обратилась она к Мане.— У нее, верно, там нет ни души знакомой?

— Есть двоюродная сестра,— отвечала Маня.

— Да, но она эту сестру несколько лет не видала, и бог весть, как они встретятся, как сойдутся,— сказал Владимир Петрович.— Я тоже опасаюсь, не раскаялась бы она в этой поездке!

— Да она зачем туда едет? — спросила Надежда Львовна.

— Учиться,— отвечал Владимир Петрович.

— Учиться? Alors son affaire est faite! Пусть прямо едет к Серафиме Андреевне Малакановой, и та ее встретит à bras ouverts [4].

— Серафима Андреевна Малаканова? — спросил Владимир Петрович.

— Да, да... Ведь вы, ее, кажется, знаете? Elle est si malheureuse, la pauvre femme! [5]

— Да, я ее знаю,— сказал Владимир Петрович,— но...

— Oh, elle est bien changée! — продолжала Надежда Львовна.— Она не живет более для себя: она живет для

---

[1] Но я понимаю эти немые страдания... *(франц.)*

[2] Этот маленький земной уголок, такой свежий, такой спокойный! *(франц.)*

[3] Надежда убаюкивала нас выдумками... *(франц.)*

[4] Тогда ее дело сделано... с распростертыми объятиями *(франц.)*.

[5] Она так несчастна, бедная женщина! *(франц.)*

других... Помогать другим,— это ее единственное желание, c'est un baume pour son pauvre coeur meurtri [1]. Она теперь — святая, совсем святая... У нее свое целое общество, свои заседания; каждый день у нее собираются на совещания, как помочь бедным молодым девушкам, которые желают учиться... Она сама всюду ищет таких девушек... Раз, при мне, входит горничная и докладывает, что пришла какая-то неизвестная, которая хочет учиться — горничная уж привыкла к этому — и она сейчас ее приняла, усадила, стала расспрашивать... И потом несколько дней ездила, хлопотала, сзывала заседания... Святая женщина!

— Как ее зовут,— с живостью спросила Маня,— я не расслушала ее имя...

— Серафима Андреевна Малаканова. Хочешь, я дам ее адрес?

Маня быстро встала, нашла бумагу и карандаш, подошла к Надежде Львовне и проговорила:

— Напишите здесь.

«Чего встрепенулась так эта маленькая гусыня, чего засуетилась? Или она занимается тоже только благодеяниями, comme cette pauvre bourrique [2] Серафима Андреевна?» — думала Надежда Львовна, не спуская с Мани грустных, как казалось Владимиру Петровичу, глаз.

— Да, хочешь, я дам к ней письмо? — сказала Надежда Львовна, взяв поданый листок.— Она, разумеется, и без письма все готова сделать, но уж ей столько раз за ее доброту платили самою ужасною неблагодарностью, что это не могло не оставить впечатления... Я дам письмо твоей protégée... [3] Как ее зовут?

— Пелагея Ивановна Знаменская.

— Хорошо... Я напишу и пришлю тебе письмо.

— Она завтра едет,— сказала Маня.

— Cher ange [4], я не вспомню адреса, но не беспокойся, он у меня есть, и завтра поутру письмо будет у тебя... Или даже сегодня... Вы будете так добры, проводите меня домой? — обратилась она к Владимиру Петровичу.

— С большим удовольствием,— отвечал Владимир Петрович, чувствуя, что он бледнеет.

---

[1] О, она очень изменилась!.. Это бальзам для ее бедного разбитого сердца *(франц.)*.

[2] Как эта жалкая ослица *(франц.)*.

[3] Протеже, т. е. пользующаяся покровительством *(франц.)*.

[4] Дорогой ангел *(франц.)*.

— Merci [1]. Я вам вручу письмо и адрес. Впрочем, письмо я напишу сейчас... Хорошо, Маня?

— Да... хорошо...— ответила Маня,— вот чернильница... вот перо...

«Qu'a-t elle donc, cette petite fille? — опять спросила себя Надежда Львовна. — Voilà qu'elle devient rouge comme une cerise [2]. Глаза ее вдруг засветились. Почему это ее так занимает, так волнует?»

Она быстро написала письмо к Серафиме Андреевне Малакановой, подала его Мане и сказала, вставая:

— А теперь пока прощай, милая...

— Вы уж домой?

— Да, пора... Я сегодня очень устала... Завтра я жду тебя... Приезжай обедать — приедешь?

— Приеду...

— Ну, смотри же!

Она прикоснулась губами к Маниному лицу, потом оглянулась на Владимира Петровича.

— Я велю заложить коляску,— сказал Владимир Петрович, направляясь к дверям.

— О, нет, нет! пожалуйста, не беспокойтесь; я предпочитаю идти пешком... У меня немного голова болит, и это будет самое лучшее лекарство... До завтра, Маня?

— До завтра,— отвечала Маня и, нечаянно зацепив своей цепочкой кружево на рукаве Надежды Львовны, поспешно и неловко начала его освобождать.

— Не беспокойся, не беспокойся,— сказала Надежда Львовна,— оборви его! Вот так!

Она протянула прекрасную руку, и ее блестящие пальцы быстро разорвали сетку кружева.

Владимиру Петровичу было хорошо известно, какое огромное количество разных кремов, неаполитанских перчаток, ореховых pâtes [3] и тому подобных изобретений изведено, сколько времени положено для достижения восхитительного блеска и нежности этих прекрасных рук, и в принципе он осуждал такие вещи; но принцип не избавил его от неприятного чувства при сравнении этих прекрасных рук с нехолеными руками Мани, которые еще недавно казались ему красивыми..

---

[1] Благодарю *(франц.)*.

[2] Что с ней, с этой девчушкой?.. Вот она стала красная, как вишня *(франц.)*.

[3] Паста, крем *(франц.)*.

— До завтра! — повторила Надежда Львовна, завертываясь в бархатную тальму, накидывая капюшон на свои шелковистые локоны и с легкостью сильфиды направляясь к балкону.

Владимир Петрович последовал за нею.

Быстро и безмолвно прошли они облитый месячным сиянием сад, полянку и вошли в лес. Здесь Надежда Львовна несколько замедлила шаги, но не прерывала молчания.

Так достигли они поворота с дорожки в Райское на дорожку в Зубовку, усадьбу Надежды Львовны.

«Неужто она ни слова не скажет? — думал Владимир Петрович.— Может быть, я должен заговорить? О чем? Скажу, что хороша ночь... Нет, это некстати... Спрошу, не устала ли она? Нет, это неуместно... глупо...»

У него, как наперебой, стучало в висках и в груди, и он испытывал нечто подобное тому, что испытывают, когда идут по окраине пропасти и говорят себе: главное, чтобы не закружилась голова, а то никакого случая быть не может — и, говоря это, чувствуют, что вот-вот начнется это опасное головокружение, что уж какие-то легкие тени пробегают перед глазами, что все звуки кругом как будто замирают.

Показалась усадьба Зубовка.

Владимир Петрович приостановился. Она, по-видимому, этого не заметила и шла вперед все тою же легкой грациозной походкой.

«Хорошо, что не заметила!» — обрадовался Владимир Петрович и быстро догнал ее. Неужто ничего не скажет? Ничего, ни одного слова?»

Ничего, казалось ему в эту минуту, не могло быть невыносимее этого молчания; все другое — упреки, насмешки, жалобы, даже самые обыкновенные фразы о красоте природы, самые пустые вопросы были бы предпочтительнее. Это молчание словно заковывало его, словно мешало ему дышать, доводило его до безумного желания схватить ее за руку и сказать ей: к чему эта пытка?

Боковою аллеею, которую во дни оны Надежда Львовна называла Allée des bienheureux [1], они пробрались до балкона и вошли в дом.

Комнаты были освещены. Проворная, щеголеватая гор-

[1] Аллея счастливейших *(франц.)*.

ничная, очевидно поджидавшая возвращения госпожи, выскочила навстречу, ловко подхватила сброшенную на ее руки тальму, приняла пальто Владимира Петровича и скрылась.

— Присядьте, Владимир Петрович,— сказала Надежда Львовна, вводя его в знакомый ему будуар,— а я сейчас отыщу адрес Малакановой.

Голос ее был ровен и певуч, как всегда; лицо, несколько разрумяненное ходьбой, спокойно.

Она скользнула в смежную комнату, а он опустился в кресло и неизвестно зачем посмотрел, который час на его часах.

Ничего не изменилось в этом будуаре с тех пор, как он был здесь в последний раз; та же серая шелковая мебель с яркими букетами, тот же ковер; таким же тонким ароматом духов пропитан воздух и такой же бледно-розовый свет разливается от знакомой висячей лампы с смеющимися бронзовыми амурами.

«И прекрасно, что она все время молчала! — вдруг решил Владимир Петрович.— Неужто обмениваться фразами о месячном свете или о хозяйственных хлопотах? Так лучше... Впрочем, на прощание, она, верно, что-нибудь мне скажет, пожелает счастия, выразит надежду, что мы останемся друзьями... Что ж ей больше сказать, когда чувство ее давно умерло, давно похоронено, когда другая любовь, быть может, поглощает ее... Да и поглощает наверное: недаром же она сбирается на житье в Италию!»

Красивое матовое лицо с шелковистою черною бородою вдруг точно заглянуло ему в глаза своими томными картинными глазами, и почти по-старому мучительно стеснилась грудь и защемило сердце.

— Вот адрес,— раздался голос Надежды Львовны.

Он взял протянутый ему листок, сказал, что очень благодарен, и встал.

«Она ничего больше не скажет — тем лучше!» — пронеслось у него в голове.— Всякое объяснение было бы невыносимо»...

— Кланяйтесь Мане, скажите, что завтра я ее жду,— продолжала Надежда Львовна.

— Непременно... непременно,— проговорил он и почему-то счел, что ему необходимо, для выражения своего спокойствия и равнодушия, раскланяться медленно и низко: он наклонил голову, но в то же мгновение дернул

ее вверх, как от внезапно обрушившегося удара: знакомые атласистые руки схватили его за плечи.

— Так это — правда? это — правда? Ты разлюбил меня? — прошептала Надежда Львовна.

— Я...— начал было ошеломленный Владимир Петрович.

— Этого не может быть! — перебила она со страстной запальчивостью.— Не уверяй, я не поверю! О милый мой... Да, да, *мой!* Ты ведь любишь меня, как я тебя люблю... глубже, нежнее, пламеннее прежнего... О, как я счастлива! Как я страдала без тебя, как тосковала, плакала, сходила с ума! Но ты опять около меня — вот ты, я тебя держу (она крепче стиснула его за плечи и с беззаветным блаженством улыбнулась), ты опять мой — и все забыто, вся тоска, все страдания, все муки...

Прекрасные руки обвились вокруг его шеи, очаровательное лицо прижалось к его груди.

— Вы меня истерзали, вы попрали мое чувство,— проговорил, задыхаясь, Владимир Петрович,— вы... Как вы можете...

— Ты меня любишь, любишь, любишь,— твердила она, словно в упоении.

— Надежда Львовна...

— Или ты ее любишь? — спросила Надежда Львовна, вдруг выпрямившись, как ужаленная.— Говори, говори, или я тебя задушу (атласистые руки порывисто сжали его шею). Говори, милый! умоляю тебя! О, ты не знаешь, что такое ревность!

— Знаю,— с горечью проговорил Владимир Петрович.

— А! ты упрекаешь меня? О, не вырывайся! я тебя не пущу... выслушай... Упрекай, убей меня за мое безумие, но помни, что меня безумствовать заставляла любовь к тебе!

— Ко мне? — проговорил Владимир Петрович.— Надежда Львовна...

— Да, к тебе! О, не вырывайся! я держу тебя крепко... Я хотела видеть, как ты ревнуешь... Мне казалось, что ты охладел... Я тайно мучилась и решилась возбудить твою ревность... Неужто ты думаешь, что я когда-нибудь могла его любить? Неужто ты думаешь, что я могла кого-нибудь любить, кроме тебя? Неужто ты смеешь это думать? Я отдала тебе всю душу, всю жизнь свою, отдала невозвратно... Ты хочешь доказательств? Я дам тебе доказательства!

Я покажу тебе *его* письмо... Сейчас... Как ты уехал, я его возненавидела, не могла видеть, прогнала. Ты хочешь сказать, что я тебя прогнала? Да, но я тебя прогнала с отчаянием в душе! А, думала я, *вот* как он меня любит! Он может со мной расстаться, а я, я умерла бы у его ног!.. Это было безумие — я знаю, но я жестоко наказана... О, как жестоко! Ты видишь, я забываю женскую гордость, я умоляю тебя... Разве *она* может тебя любить, как я? Ты ей не нужен... Она целые дни занята какими-то мальчишками, девчонками, старухами... Я все знаю! И ты страдаешь, и ты любишь не ее, а меня!

— Надежда Львовна!

— Да, да, ты меня любишь! Отталкивай меня, убей, но ты меня любишь... Любишь, любишь!

Она вдруг зашаталась, ее прелестные глаза закрылись.

Владимир Петрович сам не опомнился, как прижал ее к своей груди и припал губами к ее лицу.

— Ты любишь? — воскликнула она с безумной радостью.— Скажи, скажи это... Повтори еще!.. Ах, теперь бы умереть!..

Несколько часов спустя Надежда Львовна говорила, нежно разглаживая волосы Владимира Петровича.

— Ну, теперь уходи... до завтра! Твоя свадьба через три дня... Эти три дня наши... мои! Потом ты женишься, потом я не знаю, что будет; но эти три дня мои, мои нераздельно! Не пускай *ее* завтра ко мне. Скажи, что я больна, что у меня дела — что хочешь придумай, но не пускай ее ко мне. Я не могу ее видеть... О Владимир! Владимир!

— Ты думаешь — мне легко? — вздохнул Владимир Петрович,— мне приходится дорого искупать свое заблуждение, но я должен его...

— Знаю, знаю! Ты благороден, ты высок, но я слаба! Уступить тебя, моего бога, мою жизнь, другой! Но будь, что будет дальше, а эти три дня будут наши... Наши?

— Наши,— отвечал Владимир Петрович.

Проводив его, Надежда Львовна подошла к зеркалу, посмотрелась и осталась очень довольна собой.

«Этой свадьбе не бывать! — подумала она.— В крайнем случае, я сама переговорю с этой маленькой гусыней — nous sommes susceptibles, à ce qu'il parait, et magnanimes [1]... А затем... затем я его увезу»...

---

[1] Мы обидчивы, кажется, и благородны... *(франц.)*

Она потянулась, как кошка, пригретая солнышком, зевнула и позвонила горничной.

— Спать! спать! — проговорила она.— Раздевай меня скорее...

V

НЕОЖИДАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

От ликующих, праздно болтающих,
Омывающих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Н. Некрасов[1]

Когда затворились балконные двери за гостьей и провожавшим ее Владимиром Петровичем, Маня взяла рекомендательное письмо к Малакановой, еще раз его прочла и побежала к Поле.

— Марья Михайловна! — подскочил к ней в прихожей Аполлошка, возведенный на место Федосея Егоровича в сан метрдотеля, что его, кстати сказать, не мало занимало и что подавало поступившему к нему в помощники Сеньке повод к новым язвительным замечаниям,— чай когда прикажете?

Маня вдруг остановилась.

«Какое у него стало гадкое лицо,— подумала она,— гадкий голос»...

— Чего ты так вертишься? — с живостью заговорила она,— чего ты заглядываешь всем в глаза? Отчего ты не просишься, чтоб тебя скорее отпустили в Петербург? Ведь Владимир Петрович обещал... Или ты хочешь лакеем остаться?

— Я с вами поеду,— пробормотал Аполлошка, изумленный небывалой резкостью ее тона.

— С нами поедешь? Почем ты знаешь, когда мы поедем? Тебе бы должен каждый день быть мукой; ты бы должен рваться отсюда! А ты заглядываешь в глаза, ты тут прислуживаешься... Вот Поля — та едет! Отчего ты не едешь с нею, завтра? Или тебе лакейства твоего жаль? Сколько раз я тебе говорила, что надо учиться, надо хорошим человеком быть, а ты — вот как! Если ты не уедешь

[1] Строфа из стихотворения «Рыцарь на час».

с Полей, я тебя знать не хочу! Что ж, поедешь ты с Полей, говори мне?

— Я бы с вами,— пробормотал Аполлошка.

— Поезжай завтра же! — почти крикнула Маня,— а то я знать тебя не хочу! Поезжай, поезжай ты, мой милый мальчик (она вдруг схватила его за голову и осыпала ее поцелуями), ты там выучишься, будешь хорошим человеком... Поезжай! Что ж здесь-то? Разве тебе не стыдно так подслуживаться, так усмехаться? Прежде ты не такой был! Зачем ты теперь так кидаешься на каждое слово Владимира Петровича, зачем таким голосом с ним говоришь?

— Да я ему угождаю, чтобы с собою взял,— объяснил Аполлошка.

— Так не надо угождать... никогда не надо! Поезжай завтра! Ну докажи, что ты — хороший, что добрый, что меня любишь, поезжай! Поедешь?

— Поеду,— скрепя сердце, отвечал Аполлошка.

— О, мой хороший мальчик! мой хороший, умный, милый! спасибо тебе, спасибо!

Поцелуи снова посыпались на его голову.

— А вы скоро приедете? — спросил Аполлошка.

— Скоро, скоро,— отвечала Маня.— А теперь побежим к Поле, отнесем ей письмо...

Она схватила его за руку и пустилась бежать к дьяконову жилью.

— Это — письмо к одной хорошей женщине,— говорила она на бегу,— которая тем и живет, что помогает всем, кому надо... кто хочет учиться. Вот и ты ее увидишь... Она тебя научит, как лучше тебе пристроиться... А у Поли огонь светится! Поля! Поля!

Она быстро застучала в дверь.

Поля отворила дверь и радостно вскрикнула:

— Марья Михайловна! Вот не ожидала-то! Вот уж золотая вы, что пришли на прощанье!

— Поля! — проговорила Маня, запыхавшись от шибкого бега.— Я вам принесла письмо к одной хорошей-хорошей женщине. Вы прямо к ней и ступайте, как приедете... Она вам все скажет, всему научит...

— Покорно благодарю, Марья Михайловна,— отвечала Поля, взяв письмо.

— Еще адрес вам дам,— продолжала Маня.— Владимир Петрович принесет сейчас... Вы уже совсем собрались?

— Совсем, Марья Михайловна,— вздохнула Поля, оглядывая свое опустелое жилье, где еще сохранился запах ладана и ничего не осталось от убогого хозяйственного хлама, кроме хромого стола, на котором тоскливо горела тонкая свечка и лежал небольшой, увязанный в дорогу мешок, да еще уцелела лампадка, по-прежнему освещавшая уголок фольгового угодника и трепетавшая бледным пятнышком на почерневшем потолке.— Ишь, пустота какая! Только и сесть, что одна лавочка! И ты, Аполлоша, пришел! Ну, молодец!

— Он с вами поедет,— сказала Маня.

— Со мною?

— Да, с вами. Чего ж ему ждать? Чем скорее, тем лучше!

— И правда. А как же Владимир Петрович без слуги останется? Ведь Сенька неумелый...

— А мне что? — сказал Аполлошка.— Как не захочет пускать, так я без спросу уйду: ведь я — не крепостной лакей!

Аполлошка сообразил, что Мане не понравилось его угодничество,— и теперь разом его с себя сбрасывал.

— Владимир Петрович не станет тебя удерживать,— сказала, вся вспыхнув, Маня.

— Ах ты озорной, озорной,— проговорила Поля, покачивая головою,— ничего-то ты не боишься, ничего-то ты не страшишься!

— Чего ж бояться, Поля? — с жаром возразила Маня.

— Не то, чтобы бояться, Марья Михайловна, а уж очень он безоглядный!..— отвечала Поля, усмехаясь.— Я вот все раздумываю, как и что, а он так и садит — без думы и без печали, точно жеребенок по лугу... Отчаянный! Ну, что ж, покатим вместе, вместе веселей будет,— прибавила она.

«Очень ты мне нужна!» — с горестью подумал Аполлошка.

— Конечно, вместе веселее,— сказала Маня.

— И как это подумать, что завтра об эту пору где мы будем! — продолжала Поля.— Какая ж это такая добрая-то, вы говорили, Марья Михайловна, к которой нам там идти? Вы ее почем знаете?

— Надежда Львовна говорила,— отвечала Маня,— да я и прежде слыхала, что есть в Петербурге такие женщины... Они бросили барскую жизнь и трудятся для других...

Над ними насмехаются, но это им ничего... Они — как святые...

— И так-таки нам прямо к ней идти? — спросила Поля.

— Разумеется, Поля! Она вам все скажет, поможет...

— Ну, хорошо, пойдем к ней,— отвечала Поля.— Аполлошу-то куда вы метите?

— Там она скажет... Владимир Петрович хотел его в какое-то училище, где приготовляют в гимназию...

— Вот ты какие чины-то получишь! — обратилась Поля к Аполлошке.— Да что ж ты, как нагорелая свеча, сидишь, ишь брови-то словно шатры напустил! Видно, скучно по родимой-то деревнюшке!

— А все-таки он должен радоваться, что едет,— сказала Маня, кладя руку на голову Аполлошки.— Правда?

— Правда,— отвечал Аполлошка, боявшийся сплоховать в глазах Мани и тотчас же приободрившийся.— Я туда с охотою...

— А знаете, Марья Михайловна, что я надумала? — сказала Поля.

— Что? — спросила Маня.

— Надумала я, Марья Михайловна, что хорошо бы мне в лекарки идти, а? Вот и от вас я слышала, что многие идут, и еще прежде я видела одну такую лекарку, как ездила на праздник в Горки, к покойнице тетке. Гостила она, эта лекарка, у тамошней управительши, у своей сестры. И тогда же мне завидно стало, как это она и от лихорадки, и от кашлю, и от разных болей лечит. Пришла раз к ней баба, этакая, кажись, совсем ветерок ее валит, сколько месяцев хворала, а она ее в неделю поправила. Мы диву дались: как это вы так, Анна Семеновна, вылечили? говорим. И целый я тогда день все думала: вот кабы я так умела лечить! Пришла бы ко мне такая хворая, а через неделю бы она у меня оживела... Потом я сдуру и забыла про все про это, а вот нынче, сидючи тут да раздумываючи, и вспомнила. Очень бы я любила этак лечить! Только вот боюсь, что непонятлива я, не научусь!

— Научитесь, Поля, научитесь,— с жаром сказала Маня.— Ну, мне пора домой. До завтра, Поля. Вы ведь рано?

— Да пораньше бы надо,— отвечала Поля.

— Да, да... До завтра! — проговорила она и быстро пошла к дому.

— Значит, мы через шесть дней и в Петербурге,— сказал Аполлошка, видя, что она как будто о нем забыла и спешит в свою комнату.

— Да, да,— отвечала она, опять схватила его за голову, крепко поцеловала и затворила за собою дверь.

Аполлошка стиснул себя обеими руками за горло и заплакал. Он плакал несколько минут совершенно беззвучно, стоя на одном месте и все стискивая себя за горло, затем возвратился в прихожую к Сеньке, делая вид, что засорил глаза.

— Ты бы водой,— посоветовал Сенька.

— Без воды хорошо будет,— ответил он и тут же объяснил, что завтра едет в Петербург.

— Ну, ври! — сказал удивленный Сенька.

— Увидишь! — небрежно кинул Аполлошка.

— Да ведь барин еще не едет?

— Без барина еду!

— Посылает, стало быть?

— Без посылу еду! Я ведь — не крепостной! В ученье еду!

— Вот как! — проговорил Сенька.— Ну, прощай... Сердце-то небось мрет!

— Чего ему мереть! — отвечал Аполлошка.— Совсем ему нечего мереть!

Очутившись в своей комнате, Маня села к столу и склонилась на руки, как будто стараясь что-то обдумать и окончательно решить. Мысль, которая накануне явилась ей, как отдаленная, неопределившаяся, как едва приметная светлая точка среди мрака, не оставляла ее, сначала являясь робко, словно подкрадываясь, пугая ее и мгновенно исчезая, но с каждым разом все яснее и полнее обозначаясь, пока, наконец, не предстала ясная, как день, и не потребовала обсуждения и решения.

«Да что ж обдумывать? Что решать?» — сказала себе Маня,— ей показалось, что она уж все обдумала и все решила еще тогда же, когда в первый раз вздрогнула и похолодела от этой мысли.

Она быстро написала письмо, не перечитывая, запечатала его, подписала и спрятала в карман.

Было всего около полуночи.

Она перешла к окну и стала ожидать утра.

Время точно остановилось. Месячный свет был ослепителен. Звезды, казалось, не меркли, а горели все ярче и ярче.

«Ожидание несносно,— думала она,— но все — не так, как обыкновенно представляют».

Она положила себе не смотреть на часы, пока они не пробьют полночь. Наконец, они пробили, и тогда она положила себе не глядеть в окно, пока часовая стрелка не подвинется на двадцать минут вперед. Потом она сказала себе, что просидит десять минут, глядя на небо, не заметила, как пробила половина, и когда, не выдержав, оглянулась, увидала, что уже скоро час. Это ее чрезвычайно обрадовало. Она опять начала глядеть на небо в надежде, что опять не заметит, как пробьет половина второго, пробовала даже схитрить с собою, занять свое внимание какой-то чуть блестевшей звездочкой, но это ей не удалось. Пропели вторые петухи; яркий месячный свет стал бледнее.

«Если бы заснуть! — подумала она,— во сне скоро время проходит!» — и закрыла глаза. Нахлынул целый рой каких-то мыслей; но мысли эти бежали, как быстрые волны, и она не могла ни одной уловить.

Стук колес заставил ее открыть глаза; где-то тарахтела телега. Ей казалось, что прошло всего каких-нибудь несколько минут, и она радостно изумилась, увидав светло-золотистую полоску на горизонте.

Наконец, блеснули первые утренние лучи; во дворе начало все пробуждаться.

Она прибрала свою комнату, полила цветы, переставила покрасивее книги на этажерке, пересмотрела каждую бумажку в письменном столе.

Пробило семь часов.

Явилась Поля, одетая по-дорожному, за нею Аполлошка, тоже готовый в путь.

— Ах, Поля, как вы долго! — сказала Маня.

— На могилку ходила прощаться,— отвечала Поля.

— А лошади готовы?

— Готовы.

— Ну, поедемте, поедемте! — заторопила Маня, поспешно одеваясь.

— Вы нас проводите? — радостно вскрикнула Поля.— Ах, голубчик вы наш!

Аполлошка вспыхнул, как зарево.

— Только скорее, скорее! — проговорила Маня.

— Марья Михайловна, письмо-то вы мне дали, а где искать-то? — спросила Поля.

— Ах да, адрес! — спохватилась Маня.— Как же это

я забыла адрес? Как же теперь быть? — проговорила она, бледнея.

— Да что ж, погодим, пока Владимир Петрович встанет,— сказала Поля, дивясь, что ее так смущает подобное обстоятельство.

— Он не спит и не ложился целую ночь,— сказал Аполлошка.

— Отчего? — живо спросила Маня, и щеки ее покрылись яркой краской.

— Он почти-что на рассвете воротился,— отвечал Аполлошка,— я его ждал, сказал ему, что, мол, поеду завтра... А потом он все ходил по комнате... Вот он...— прибавил Аполлошка, заслышав шаги Владимира Петровича и понижая голос.

Маня быстро распахнула дверь.

— Адрес принес? — спросила она.— Где он? Дай...

— Вот адрес,— отвечал Владимир Петрович, тщетно старавшийся казаться спокойным, подавая ей листок.— Надежда Львовна насилу его отыскала... и я должен был ожидать несколько часов.

— Я еду их провожать,— сказала Маня.

— Провожать? — удивился Владимир Петрович.— До города?

— Да, да...

— Но тебе придется возвращаться ночью, Маня!

— Это ничего...

— Хочешь, я с тобой поеду? — предложил Владимир Петрович, уверенный, что она не согласится, но тем не менее замирая.

— Нет, нет...

— По крайней мере, я прикажу заложить коляску...

— Нет, нет... Пойдемте же, пойдемте... Где ж лошади?

— Сейчас,— проговорил Аполлошка и кинулся из комнаты.

— Тарантас-то стоит за господским двором,— сказала Поля.

— А! ну, пойдемте же...

Она схватила Полю за руку и почти добежала до тарантаса. Аполлошка уже поместился около Парфена на козлах.

— Садитесь же, Поля, садитесь...— заторопила она.

— Маня, простись же хоть со мной! — принуждая себя улыбнуться, сказал Владимир Петрович, следовавший за ними без шапки.

Она обернулась, обняла его, крепко прижала свои губы к его губам, потом почти его оттолкнула и проговорила:

— Поедемте! поедемте!

Лошади тронулись, и тарантас покатился.

— Прощайте, Дубровки! — вздохнула Поля, высовываясь из тарантаса и оглядываясь назад.

— Поля, вы упадете,— проговорила Маня (губы у нее слегка дрожали).— Посмотрите-ка вперед, как хорошо!

Впереди раскидывался простор. Косые лучи утреннего солнца бросали на землю золотой свет и длинные темные тени; по сторонам зеленели и чернели поля; опушка ближнего высокого леса сверкала, как золото с чернью; под горою, сквозь расплывавшийся туман, просвечивала река; дорога уходила из глаз в синюю даль.

— Хорошо! — вздохнула Поля.

— А я не провожать вас, я — с вами,— прошептала Маня,— с вами в Петербург!

Поля только тихонько ахнула.

— Да, да, я с вами в Петербург! — повторила Маня.

Аполлошка обернулся, белый, как мел.

— Скажи, чтоб пошибче,— проговорила Маня.

— Шибче, шибче! — звонко вскрикнул Аполлошка и, выхватив кнут из рук Парфена, погнал лошадей.

На следующее утро Владимир Петрович встал поздно и тотчас же начал повторять в уме загодя сочиненную им ложь о том, как ему пришлось целый день проскучать у Надежды Львовны, просившей помочь ей в переговорах с покупщиком имения, который явился только ввечеру.

Ложь была повторена, но он все еще медлил идти в розовую комнату.

«Как она странно вчера вела себя! — подумал он.— Отчего эта лихорадочная торопливость? Неужто только отъезд учеников так ее волновал? И этот поцелуй при свидетелях... la pudeur lui manque... [1] Не подозревает ли она? Как дорого я плачу за свое безумие!»

Он позвонил. Явился Сенька.

— Марья Михайловна встала? — спросил Владимир Петрович.

Сенька посмотрел на него недоумевающими глазами.

---

[1] Ей не хватает стыдливости... *(франц.)*

— Что ж! разве ты не понимаешь, что я спрашиваю? — раздражился Владимир Петрович.— Марья Михайловна встала?

— Марья Михайловна в городе остались, письмо прислали-с,— отвечал Сенька.

— Где?

— Вот я тут положил-с на столе, когда вы еще почивали-с...

Сенька кинулся к столу и, схватив письмо, подал Владимиру Петровичу.

— Хорошо, можешь идти... Уйди!

Сенька скрылся.

— Узнала! — решил Владимир Петрович.— Но что ж это за комедия? к чему это бегство в город?

Он разорвал конверт.

«Милый,— писала Маня,— я бегу от тебя. Прости меня, прости! Я бегу потому, что так лучше, скорее, потому, что боюсь с тобой прощаться, боюсь твоего горя. Я не хочу так жить, как жила, не могу. Пробовала, старалась, не могу. Я измучилась, а теперь решила — и легко. Ты уверяешь, что я — дитя, мечтательница — нет: правда, добро — не мечты. Ведь были же люди, есть же и теперь люди, которые для правды не жалеют ни себя, ни своего счастья; ты сам знаешь, что есть, и сам прежде ставил их в пример. Я чувствую, я знаю, что ты не пойдешь, куда меня тянет, и потому лучше нам расстаться. Ты думал, что меня испугала и исправила история с Матреной. И это правда: я испугалась, говорила себе, что я — мечтательница, что лучше всего ехать в Италию, поселиться с тобой в Амальфи. Прощай, прости меня за горе, которое тебе делаю. Не зови меня, не уговаривай. Не мучь меня, не старайся воротить. Я не ворочусь, и мы только измучимся. Я напишу тебе после, когда опомнюсь, а теперь я еще ничего хорошенько не знаю, что со мною будет».

Владимир Петрович опустился, как ошеломленный, в кресло. Этого он никак не ожидал.

Через два дня у Варвары Ивановны Князевой, в Райском, был родственный обед.

Хозяйка сияла счастьем; при взгляде на Владимира Петровича глаза ее наполнялись слезами, и она шептала Надежде Львовне:

— Опять обретено мое сокровище!

Надежда Львовна улыбалась; Владимир Петрович целовал ручку у любящей старушки.

Все так были довольны и веселы, что отец Павел, служивший перед обедом молебен и затем благословивший трапезу, счел не лишним поднять вопрос о Долгушинском лужке.

— Я опять должен повторить вам, что этот лужок уж обещан мною крестьянам,— отвечал Владимир Петрович с улыбкою, не негодуя, а только потешаясь типичностью просителя.

Но тут вступилась Надежда Львовна.

— Не огорчайте нашего доброго отца Павла,— сказала она.— Дайте ему лужок; — разве вы не можете вознаградить крестьян чем-нибудь другим?

— Да, Володенька, уж не нарушай общей радости,— прибавила Варвара Ивановна,— уж утешь доброго отца Павла!

— Я отказываюсь дольше бороться с вами, отец Павел: вы победили! — улыбнулся Владимир Петрович.— Евдоким Евдокимович этим распорядится...

— Господь воздаст вам сторицею! — торжественно пробасил отец Павел, поднимая к потолку свои цыганские глаза.

Мечты и действительность

Из записок дворянина

Я был тогда молод и легко танцевал мазурку.

Фаддей Булгарин

У б-ского уездного предводителя, Петра Петровича Порыгина, был бал...

Но прежде представлю благосклонному читателю нечто вроде своего тогдашнего формулярного списка и опишу два знаменательных для меня дня перед этим балом.

Я, сын столбовых дворян, Сергей Павлович Коротнев, изрядно окончил курс университетских наук (филолог к вашим услугам), холост, перебиваюсь родительскими крохами, благоприобретенного не имею ни атома, но у меня в виду наследство от дяди. Мне двадцать восемь лет, я росту высокого, телосложения здорового, волосы у меня на голове и бороде русые, глаза голубые, нос, рот и подбородок умеренные, особых примет, кроме родинки на правой щеке, никаких. Я говорю чисто, по отзывам приятелей, даже увлекательно, перечитал несметное множество книг, думал о всех вопросах дня и насущных требованиях времени, состою членом во всех местных обществах и комитетах, характера чрезвычайно мнительного, крайне впечатлителен, не могу похвалиться строгою последовательностью действий, горю желанием приносить пользу отечеству и сбираюсь служить в земстве.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Я не могу с достоверностью судить, насколько стремление служить обществу сильно у людей других наций, у французов, например, у немцев и проч., но думаю, что никто на свете не бросается на эту службу жаднее нас, русских дворян, и никто о ней больше не думает и не говорит.

У нас это нечто вроде болезни, которая редко у кого переходит в хроническую и отличается обыкновенно острым характером, свойственным горячечным недугам. Мы горим, пылаем, бредим: потом местные лекарства прогоняют жар и бред, и от них в большинстве случаев ничего не остается, кроме воспоминания о перенесенном кризисе и сетования на прошлую неосмотрительность и увлечения.

У меня, впрочем, болезнь перешла в хроническую, и я осужден сойти в могилу с хроническою заботою служить обществу, как другие сходят в нее с хроническим катарром желудка или воспалением дыхательных путей.

Сколько я думал о службе обществу, об успешнейшем применении своих сил и знаний на этом пленительном поприще! Думал до кровавого пота, до помрачения ума, выступал на поприще, и всегда выходило нечто комичное, что сначала поражало, потом бесило, потом навсегда оставляло прескверное, неискоренимое ощущение, чувство беспощадного стыда и раздражительного уныния.

Особенно жестоко грызло меня это чувство в последних числах мая 187* года, когда я подъезжал в тряском почтовом тарантасе к уездному городу Б-ву.

Незадолго перед этим я снова попробовал выступить на поприще и снова вынужден был комически отступить.

«В который это раз? — спрашивал я себя с унылой злобой,— в который раз? И это не в последний! Что выйдет из того, если даже удастся поступить в земство? То же, что выходило до сих пор!»

Я закрывал глаза, опускал голову на подушку и оставался неподвижен, тупо считая толчки и встряхивания тарантаса. Потом я приподнимался, начинал глядеть на мелькающие по сторонам дороги зеленые поля, грустно умилялся — никто так легко не умиляется, как русские дворяне — потом меня опять начинало коробить.

Наконец, часов около четырех вечера ямщик осадил лошадей на главной улице уездного города Б-ва, у подъезда грязновато-желтого двухэтажного каменного здания гостиницы «Москва».

На крыльцо тотчас же высыпали хозяин гостиницы и двое половых.

— Есть свободные номера? — спросил я.

— Пожалуйте, пожалуйте-с! — подскакивая к экипажу, умильной скороговоркой ответил хозяин, тучный, но юркий старик в коричневом пальто-сак и пестром атласном гал-

стуке, с неестественно добродушным и улыбающимся бритым огромным лицом, украшенным седыми завитушками на висках, маленькими глазками и носиком и толстыми губами.— Пожалуйте, номера есть наилучшие-с!

Как человек, знающий тонкое обращение, он несколько отступил от дверец тарантаса и, прикрыв рот тремя пухлыми пальцами, внушительно крикнул:

— Ванька! Сенька! Что ж вы вещи не берете? Неумытые вы!

Затем снова подскочил ко мне и поддержал меня под локоть при выходе из экипажа.

Ванька и Сенька принялись проворно выбирать мои дорожные вещи.

Я спросил, много ли приезжих.

— Не могу бога гневить,— отвечал хозяин «Москвы»,— довольно приезжают-с... Какой прикажете номерок? В два или в три рубля?

— На чаек, барин,— ласкающим распевом протянул спрыгнувший с козел ямщик.

— Ах, какой вы народ! — воскликнул хозяин «Москвы».— Совести у вас совсем нет! Какой номерок прикажете? — обратился он ко мне совершенно другим голосом.

Я попросил дать, который получше.

— Есть отличный, в три рубля. Вот пожалуйте, извольте сами поглядеть!

— Главное, чтобы почище,— пояснял я, следуя за хозяином по лестнице.

— Уж такой, что чище невозможно! — с жаром ответил хозяин.— На той неделе их сиятельство князь Мышецкий занимали и остались очень довольны.

— Клопов нет? — спросил я.

— Клопов?! — воскликнул хозяин таким тоном, как будто у него спросили, нет ли бенгальских тигров.— Помилуйте-с! Да у нас и не слыхать об них. Мы даже не понимаем, какой такой клоп на свете... Кушать пожалуете в зало или прикажете подать в номер? Есть суп-пюре, цыплята под белым соусом, котлеты с бетамелем, бламанже...

В эту минуту дверь, мимо которой мы проходили, распахнулась и показался благообразный, кудрявый мужчина с окладистой русой бородой, напевая из «Руслана», он мельком взглянул на меня, я на него; вдруг он встрепенулся и радостно вскрикнул:

— Сергей! Ты ли это? Откуда?

Я тоже встрепенулся, быстро поднял голову, узнал своего дальнего родственника, давнего приятеля и однокашника, Алексея Ивановича Перышкина, и в свою очередь радостно вскрикнул:

— Алексей! Каким образом ты здесь?

Мы дружески обнялись и поцеловались.

— Я был уверен, что ты заграницей,— сказал я.

— А я был уверен, что ты в Москве! — отвечал Перышкин.— Откуда и куда тебя бог несет? Ты здесь проездом?

— Нет, не проездом. Я именно сюда и ехал...

— И чудесно! Да что же мы в коридоре стоим? Пойдем ко мне.

Хозяин «Москвы», которого, судя по сбочившейся направо голове и по тону, каким он произносил вполголоса: «Ах, боже мой! Вот господь и привел увидеться после разлуки!» — встреча наша невыразимо умилила, по деликатности не последовал за нами в комнату, а только, приподнявшись на цыпочки у порога, мягко спросил, обращаясь ко мне:

— А вещи прикажете внести в тот номерок, что я докладывал?

— Да, да,— отвечал я.

— Слушаю-с. А кушать в зало пожалуете или прикажете...

— Нет, нет,— перебил Перышкин,— распорядитесь, чтобы нам подали обедать сюда, ко мне... Да шампанского!..

— Слушаю-с, слушаю-с, сию минуту-с,— ответил хозяин, исчезая.

— Выпьем за нашу встречу,— сказал Перышкин.— Я ужасно рад тебе, Сергей! Мы целый век с тобой не видались. Сколько воды уплыло, и сколько эта вода поглотила!.. И сколько нового! И лучшего! Я теперь в земстве... земец, как у нас зовут... Помнишь, как мы с тобой раздумывали, сомневались, не знали, за что взяться? Теперь уж я не сомневаюсь! Теперь путь мне виден, и я иду по нем уверенно, припеваючи...

— Припеваючи? — повторил я, который и теперь еще далеко не порешил с сомнениями.

— Да, припеваючи, Сергей!

— Завидую тебе!

— Конечно, у меня не без печальных ноток,— продолжал Перышкин.— Иногда, брат, просто волком вою. Интриг всяких, гадостей, пошлостей, оскорблений — не обе-

решься. У нас в земстве, как и везде, большинство — дрянь,— господа, которые всеми силами стараются затереть тех, кто хочет не на словах, а на деле служить обществу! У нас теперь две враждебные партии и беспрестанные стычки... Наш воротило, Порыгин, отъявленный мерзавец, и на каждом шагу делает нам тысячу мерзостей... Трудна, Сергей, на Руси всякая деятельность... Но все это ничего! Главное — я вижу путь, знаю, что он ближе своего ведет меня к моей цели!

— Да, это главное,— проговорил я.

Мы не садились, а быстро ходили взад и вперед по номеру — обширной комнате, обезображенной обоями густого синего цвета с малиновыми разводами и меблированной: кроватью за вылинявшими розовыми ширмами, исцарапанным волнистым клеенчатым диваном, ломберными столами, картиной, писанной масляными красками и изображающей турчанку, которой кто-то проколол вилкой щеки, тюлевыми гардинами, от времени принявшими оранжевый оттенок, и двумя большими, в старинных рамах, зеркалами, до того потерпевшими от времени и места, что, невзирая на их величину, ни один предмет не мог в них отразиться в своем настоящем виде.

— Ну, а ты что? — спросил Перышкин.— Рассказывай! Что твои Бугорки, что твоя школа?

Этими словами он меня словно холодной водой обдал.

— Из школы ничего путного не вышло,— ответил я,— и, вдобавок, я из-за нее чуть не попал под суд. Бугорки я продал. Мне, как видишь, не повезло,— прибавил я, улыбаясь.

— Сергей! — сказал Перышкин, приостанавливая хождение по комнате.— Неужто ты до сих пор не убедился, что у нас в России может действовать не бесплодно только тот, кто имеет голос в земстве?

— Нет, убедился,— отвечал я, тоже приостанавливаясь,— и сам думаю попытать счастья в земской службе...

— Наконец-то, наконец-то! — воскликнул Перышкин.— Да ты не шутишь?

— Не шучу.

— Ты ничем не мог меня больше утешить! Я, признаюсь, в душе не переставал упрекать тебя, как это ты, с твоим пониманием вещей, миришься с прозябанием в Бугорках, когда перед тобой открыта животворная

деятельность! Впрочем, я всегда был уверен, что рано или поздно ты примкнешь ко мне!

— Не знаю еще, какая удача будет,— сказал я.

— Какая же может быть неудача?

— Я приехал сюда,— продолжал я,— именно с целью познакомиться с земцами, посмотреть, оглядеться...

— Я тебя сведу со всеми нашими передовиками,— подхватил Перышкин (мы опять заходили взад и вперед по комнате).— Сегодня же сведу! Мы сегодня сговорились собраться ввечеру у меня, кое о чем потолковать. Мы...

Стремительно отворившаяся дверь, чуть не задевшая нас по голове, прервала его речь и заставила проворно податься в сторону.

Появился неумеренно напомаженный половой, в туго накрахмаленной манишке с плоскими оборочками, одной рукой прижимая к груди солонку, ножи, вилки, ложки, рюмки, стаканы, салфетки, скатерть и салатник с салатом,— на другой колебля для соблюдения равновесия груду тарелок, графин с водою и судок с водками,— дверь он распахнул ударом пяты, мгновенно накрыл стол, исчез и снова появился с суповой чашкой и двумя бутылками шампанского.

— Выпьем, Сергей,— сказал Перышкин,— и за нашу неожиданную встречу, и за твое обращение на путь истинный.

— Ты, однако, не повествуешь мне обстоятельно, как тебе жилось эти два года,— начал Перышкин, когда мы после обеда закурили сигары и расположились на балконе гостиницы «Москва».

— Невесело,— отвечал я.

— Откуда ты теперь?

— Из Розмариловки, от дядюшки.

— А, почтеннейший Аркадий Аркадьевич! Что он поделывает?

— Рассуждает о планах Пия IX, ссорится с мелкопоместной Анной Климовной, уличает ключницу в коварстве. Я пробыл у него три месяца, и каждый день мы вместе нюхали его котлету и вели дебаты, насколько свежо масло, в котором ее поджарили.

— Три месяца! Помилуй, что тебе была за охота там сидеть!

Я пояснил ему, что был дяде должен, и рассказал, как он водил меня с покупкою Бугорков, и до того изму-

чил, что я, наконец, заболел... Ввечеру, например, мы окончательно порешим, а на другой день, я еще в постели, а уж казачок приносит мне письмо, в котором заявляется, что он раздумал, и на четырех страницах следуют объяснения, почему раздумал. И так изо дня в день три месяца!

— Я равнодушно не могу вспомнить этих пыток,— прибавил я.— Повествуй лучше о своем житье.

— И у меня не все розы, Сергей, есть и тернии,— вздохнул Перышкин.— Я уже говорил тебе, что у нас в земстве смуты, что мы разделились на два лагеря и что большинство не на нашей стороне, что на нас общество смотрит враждебно. Нигде сочувствия, ни от кого помощи, поддержки, напротив,— всякий норовит нам ногу подставить. Порыгин никакими средствами не брезгает...

— Что это за Порыгин? — спросил я.— Не тот, что служил в гусарах, заводил крахмальный завод, разорился?

— Тот самый,— отвечал Перышкин,— но теперь он один из самых крупных б-ских землевладельцев. Он овдовел и вторично сочетался браком с племянницей графа Карена... Ходят слухи, что она, собственно, не племянница, а приятельница его сиятельства, и в этом много вероятия, потому что разорившийся гусар не мог считаться находкой для невесты, которая вместе с богатством несла в приданое сильные связи в Петербурге! Но как бы там ни было, а Порыгин теперь сила в Б-ском уезде, сила, парализующая всякое улучшение. Нам все приходится брать, что называется, с бою, но мы не унываем. Мы решились во что бы то ни стало раздавить эту силу, и я еще не знаю как, но твердо верю, что мы ее раздавим! Отлично, что ты приехал! У нас люди на счету, и каждый прибывающий в наши ряды для нас неоценим... Ты, конечно, борьбы не боишься? А борьба будет не шуточная, что называется, на жизнь и смерть! Или Порыгин будет уничтожен, или мы костьми ляжем! Идет?

— Идет,— отвечал я, и сердце мое забилось и отвагою, и ненавистью к партии Порыгина.

— Ты себе представить не можешь, что за животное этот Порыгин,— продолжал Перышкин,— он ухаживает за всеми помещицами, устраивает для них кавалькады, пикники, вечера. Вот и завтра будет бал. И имеет наглость присылать мне и всей нашей партии пригласительные билеты! Да, брат, в другом месте этого человека заклеймили

бы позором, а у нас он всем вертит, ему все улыбаются, жмут руки! Но мы сплотились, мы...

В эту минуту мимо балкона прокатилась коляска и наполнила улицу облаком пыли.

Перышкин вскочил, как обожженный, раскланялся и с заметным волнением проводил глазами экипаж, в котором сидела дама, ответившая на его поклон легким наклонением головы.

— Видел? — спросил он меня.

— Видел, но не разглядел,— отвечал я.— Кто это?

— Это Адель Васильевна... Галкина... Вот женщина, так женщина! Эта все понимает! Что за светлый обширный ум! Какая гуманность! Поедем в монастырский сад, ты ее увидишь... Я тебя представлю.

— В какой монастырский сад?

— Здесь, под городом. Это единственное место для гулянья, и туда все сбираются... Едем?

— Едем.

Перышкин, еще не дождавшись моего ответа, высунулся в коридор, закричал: «Григорий! Извозчика!» — схватил свою шляпу, дунул на нее, потом бросил на стол, обдернул перед зеркалом воротнички рубашки, поправил волосы.

— Она из здешних помещиц? — спросил я.

— Да... моя соседка по имению. Но я ее до сих пор не знал... Случайно познакомился... Что, ты готов? Кажется, подъехал извозчик.

— Нет, это мимо... Она замужем? — продолжал я расспрашивать.

— Вдова... И, по всему видно, была очень несчастлива с мужем... Ни слова жалобы, но это чувствуется... Да когда же таким выпадает на долю счастье? Многие ли сумеют их оценить? Эта душа отзывается на все человеческие скорби... Вот извозчик, едем!

— Едем!

Мы резво сбежали с крыльца гостиницы. Перышкин споткнулся и сказал, засмеявшись: «Иль не к добру?» Глаза у него блестели, все земские заботы отлетели прочь. Им вдруг овладело то беспечное веселье, та беспечная уверенность в благополучии всех замыслов и предприятий, какие овладевают порой молодым, здоровым, не помятым жизнью человеком.

Мне тоже стало весело, я тоже поглядывал вперед не без самонадеянности.

Мечты и дѣйствительность.

(Изъ записокъ дворянина).

Я былъ тогда молодъ и легко
танцовалъ мазурку.
Фаддей Булгаринъ.

У б—скаго уѣзднаго предводителя, Петра Петровича Порыгина, былъ балъ...

Но прежде представляю благосклонному читателю нѣчто въ родѣ своего тогдашняго формулярнаго списка и опишу два знаменательныхъ для меня дня передъ этимъ баломъ.

Я, сынъ столбовыхъ дворянъ, Сергѣй Павловичъ Коротневъ, нарядно окончилъ курсъ университетскихъ наукъ (филологъ къ вашимъ услугамъ), холостъ, перебиваюсь родительскими крохами, благопріобрѣтеннаго не имѣю ни атома, но у меня въ виду наслѣдство отъ дяди. Мнѣ двадцать восемь лѣтъ, я росту высокаго, тѣлосложенья здороваго, волосы у меня на головѣ и бородѣ русые, глаза голубые, носъ, ротъ и подбородокъ умѣренные, особыхъ примѣтъ, кромѣ родинки на правой щекѣ, никакихъ. Я говорю чисто, по отзывамъ пріятелей даже увлекательно, перечиталъ несмѣтное множество книгъ, думалъ о всѣхъ вопросахъ дня и насущныхъ требованіяхъ времени, состою членомъ во всѣхъ мѣстныхъ обществахъ и комитетахъ, характера чрезвычайно мнительнаго, крайне впечатлителенъ, не могу похвалиться строгою послѣдовательностію дѣйствій, горю желаніемъ приносить пользу отечеству и собираюсь служить въ земствѣ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

I.

Я не могу съ достовѣрностью судить, насколько стремленье служить обществу сильно у людей другихъ націй, у французовъ, напримѣръ, у нѣмцевъ и проч., но думаю, что никто на свѣтѣ не бросается на эту службу жаднѣе насъ, русскихъ дворянъ, и никто о ней больше не думаетъ и не говоритъ. У насъ это нѣчто въ родѣ болѣзни, которая рѣдко у кого переходитъ въ хроническую и отличается обыкновенно острымъ характеромъ, свойственнымъ горячечнымъ недугамъ. Мы горимъ пылаемъ, бредимъ: потомъ мѣстныя лѣкарства прогоняютъ жаръ и бредъ и отъ нихъ въ большинствѣ случаевъ ничего не остается, кромѣ воспоминанія о перенесенномъ кризисѣ и сѣтованья напрошлую неосмотрительность и увлеченія.

У меня, впрочемъ, болѣзнь перешла въ хроническую, и я осужденъ сойти въ могилу съ хроническою заботою служить обществу, какъ другіе сходятъ въ нее съ хроническимъ катарромъ желудка или воспаленіемъ дыхательныхъ путей.

Сколько я думалъ о службѣ обществу, объ успѣшнѣйшемъ примѣненіи своихъ силъ и знаній на этомъ плѣнительномъ поприщѣ! Думалъ до кроваваго пота, до помраченія ума, выступалъ на поприще, и всегда выходило нѣчто комичное, что сначала поражало, потомъ бѣсило, потомъ на всегда оставляло пресквернное, неискоренимое ощущенье, чувство безпомощнаго стыда и раздражительнаго уныния.

Особенно жестоко грызло меня это чувство въ послѣднихъ числахъ мая 187* года,

Початок повісті Марка Вовчка «Мечты и действительность», надрукованої в «Русской газете», *1878.*

«Как мог я, в самом деле, так долго суетиться попусту в Москве и волноваться одними звонкими фразами, довольствоваться одними мечтами и заздравными тостами? — мелькало у меня в голове.— Как мог я целые три месяца киснуть у дяди в Розмариловке, беседовать с ним о кознях мелкопоместной соседки Анны Климовны, рассуждать о планах папы Пия IX, нюхать его вечную куриную котлету, успокаивать его насчет свежести масла и преданности ключницы Дарьи Ивановны? Как я мог?».

Я только пожимал плечами.

— Если хорошо поедешь, получишь вдвое! — сказал Перышкин, вспрыгивая в пролетку.

Извозчик махнул кнутом, и мы покатили вдоль по улице, обдавая густою пылью себя, мелькающие по сторонам окна, б-ских франтов и лавочные навесы с гирляндами прославленных местных бубликов, скоро оставили за собою дрянную мостовую и понеслись по мягкой дороге меж зеленых полей.

— Да, это женщина! — говорил Перышкин.— Это женщина! Мы с ней в первый раз встретились на железной дороге... разговорились в вагоне... Я сейчас же заметил и сейчас же понял, что она не чета нашим Жуковым и Миньковым... Летим мы по рельсам; денек серенький, кругом голо, пусто, в окна мелькают убогие деревушки... «Бедная Россия!» — сказала она как будто про себя... И так, знаешь, сказала, что у меня сердце задрожало, задрожало... Я начал говорить о будущности России... Мы доехали до М-ска, оттуда до Б-ва... Чем больше я с ней говорил, тем больше поражал меня ее ум, тонкость понимания, просвещенность, гуманность... И, заметь, что она молода, хороша собой — восхитительные бархатные глаза, стройна, как пальма,— могла бы увлечься тщеславием, обратить помышления на победы, наряды, соперничество с нашими модницами... Да вот ты сам увидишь! Жаль, что она завтра едет! А знаешь, что? Поедем ко мне в Воскресенское! Ведь тебе все равно... Мы же так давно с тобой не видались... Поедем?

— Разумеется, только я вот хотел познакомиться кое с кем, переговорить,— отвечал я.

— Это мы все устроим! Я сегодня же тебя сведу со всеми, с кем нужно и стóит... Переговорим, порешим — и в Воскресенское! Ее имение от меня всего в каких-нибудь пяти-шести верстах.

Нас обогнал и оставил в столбе пыли легкий фаэтон. Я вскоре заметил из-под широкополой серой шляпы большие отвислые бритые щеки, длинные черные усы и вздернутый нос.

— Порыгин! — сказал Перышкин.— Его присутствие отравит мне все.

— Да он, может быть, не в монастырский сад?

— Непременно туда. И за ним, наверное, вся его свита! Видишь? Видишь?

Действительно, вслед за фаэтоном пронеслось несколько пролеток с помещиками.

— Все тупицы, как на подбор! — продолжал Перышкин.— Не понимают самых обыкновенных вещей. Если и втолкуешь им что-нибудь, так никакого толку не выйдет: соглашаются, что справедливо, что следовало бы принять меры, а ни к каким, самым пустячным мерам, арканом не притянешь их. На последнем собрании я предложил частно учредить продажу почтовых марок для крестьян. Крестьянин не может ехать на почту в город за тридцать, иногда за пятьдесят верст, ему тоже бесполезно ждать прихода почтового поезда на ближнюю станцию (да иногда и эта ближняя станция отстоит верст на двадцать), потому что почтовых марок выдается тут только десять, и их сейчас же закупают станционные. Крестьянин обыкновенно перекупает и вместо десяти копеек платит за марку четырнадцать. Кажется, незамысловато? А между тем, мы только накричались до хрипоты и ни к чему не пришли! Один уверял, что мужик очень редко письма пишет, другой, что...

— Алексей Иванович! Мое вам почтение! — крикнул чей-то охрипший, но все еще замечательно звонкий голос, и в ту же минуту с нами поравнялась пролетка, на которой сидел, развалившись, весьма недурной наружности художник, в бархатном пиджаке и в голубом фуляровом галстуке. Что он был художник, это выдавала и бородка, и прическа, и шляпа à la Van-Dyck [1].

— А, Иван Иванович, здравствуйте! — отвечал Перышкин.— На гулянье?

— Всеконечно. А вы на богомолье? Пошел рядом с ними! (Последнее относилось к извозчику). На богомолье?

Художник подмигнул.

— Вы вечно кощунствуете, не написать вам Мадонны,—

---

[1] Как у Ван-Дейка *(франц.)*.

отвечал Перышкин. — Кстати, что вы произвели новенького?

— Да почти ничего... Эскизов два-три набросал. Что здесь прикажете рисовать? Я порешил направить свое течение в Крым.

— В Крым?

— Да, батюшка, на южный берег...

Мы подъехали к высокой каменной ограде, за которой зеленел старый густой сад, а за садом, на самой вершине горы, белели монастырские здания. У ограды стояло множество пролеток, фаэтонов и две коляски.

— Весь beau monde [1] тут! — сказал Перышкин, улыбаясь.

Мы отпустили извозчика и отряхнули с себя пыль, а художник даже расчесал бородку.

— Так вы решительно в Крым? — сказал Перышкин художнику.

— Всерешительно.

— Позволь представить тебе этого отступника,— обратился ко мне Перышкин,— Ивана Ивановича Мозырева, а вам, Иван Иванович, позвольте представить моего родственника и самого близкого приятеля Сергея Павловича Коротнева.

Мы подали друг другу руки и затем все вместе вошли в монастырский сад.

— Фу, какая благодать! — сказал Перышкин, вдыхая воздух полной грудью.— Посмотрите на эти старые дубы, на эту цветущую сирень!.. Как может вас тянуть в Крым!..

— Должно тянуть, батюшка,— отвечал Мозырев,— там лучи-то каковы, каковы тоны, какова игра света и теней...

— А здесь разве этого нет? — возразил Перышкин.

— Здесь все бледно, вяло!

— Я с вами не согласен,— вступился я.

— Вглядитесь,— подхватил Перышкин,— и вы найдете в так называемой бедной русской природе неистощимый источник для художественных произведений... Вглядитесь, вглядитесь...

Перышкин говорил все рассеяннее и рассеяннее. Глаза его пытливо обращались во все стороны, на все дорожки и аллеи, по которым пестрели гуляющие.

---

[1] Высший свет *(франц.)*.

— Вглядывался я,— отвечал Мозырев,— вглядывался... Вот и здесь, под Красными Горками, говорили, удивительные пейзажи. Посмотрел — ничего даже посредственного нет: какие-то зеленые бугорки да ручеек в два вершка! А главное, фигур совсем нет, характерной игры физиономий не встретишь. А подите-ка в Италию: первые встречные occhi fulminanti [1] прожгут вас насквозь, первая развалина очарует...

Он пустился описывать итальянские красоты, и я ему не мешал. Я тоже слушал его не особенно внимательно и невольно вглядывался в попадавшиеся навстречу лица, невольно искал не похожую на других знакомую приятеля.

Перышкин столкнулся с двумя из своей партии: немолодым щеголеватым блондином в золотых очках и румяным, завитым, как барашек, юношей, и наскоро перезнакомил меня с ними, рекомендуя, как нового ополченца и борца против фарисеев. Мы пожали друг другу руки и обменялись должными приветствиями.

— Смотрите ж, господа, не опоздайте,— сказал им Перышкин,— я жду вас у себя ровно в девять... ровно в девять... И, пожалуйста, не опоздайте! До свидания!

Мы раскланялись и разошлись.

Мозырева в это время увлекла за собою какая-то встретившаяся миловидная дама в голубой шляпке, вероятно, служившая ему кое-какой отрадой в отсутствие итальянских occhi fulminanti.

Чем дальше мы углублялись в сад, тем чаще мелькали зонтики и шляпы, раздавался смех, доносились отрывочные фразы и восклицания.

— Пойдем сюда,— сказал Перышкин, повертывая в темную прохладную аллею.— Мы ее здесь найдем.

«Он знает, где ее найти!» — подумал я, и подумал с завистью. Зависть эта была, правда, кроткая, дружеская, и в нее входило всего больше сострадания к собственной особе. Пока я сидел в Розмариловке с капризным болтливым стариком, закупоренный в душных комнатах с вечно спущенными зелеными шторами, он, мой друг Перышкин, гулял по этому чудесному цветущему саду, встречал бархатные глаза, слушал не о кознях мелкопоместных дворянок, не о неблагодарности ключниц, убеждал не в свежести масла...

---

[1] Пламенные глаза *(итал.)*

Разумеется, дай бог ему, моему другу, но все-таки грустно, что не дал бог и мне!

Впрочем, это облачко было легкое, мимолетное и не смутило моего ясного расположения духа.

Перышкин все ускорял шаги. Мы дошли до конца аллеи; лиственный свод вдруг раздвинулся, и мы очутились на круглой площадке, кругом осененной старыми липами и обрамленной дерновыми скамьями.

— Странно! — пробормотал Перышкин, оглядываясь.

— Разве она обещала здесь ждать? — спросил я, и сейчас же почувствовал всю неуместность вопроса.

По счастью, Перышкин, поглощенный своим, не обратил внимания на эту неуместность.

— Нет, не обещала,— отвечал он,— не обещала, но я ее всегда здесь встречал... Сядем, отдохнем... В этой беседке очень хорошо!..

Мы сели и несколько минут молчали.

— Очень хорошо здесь! — повторил Перышкин.

— Да, хорошо,— отвечал я.

— Слышишь оттуда запах сирени?

Он повел носом в сторону и прижмурил глаза.

— Да, слышу,— отвечал я.

— А жаль, что мы ее тут не встретили! — продолжал Перышкин.— Тут мы могли бы свободно поговорить! При целой толпе зевак ограничиваешься одними пошлыми вопросами о здоровье!

Он сшиб тростью несколько липовых листков и затем воткнул ее в землю, оперся на нее подбородком, посидел так секунд пять и сказал:

— Делать нечего, надо отправиться к каменной беседке, в самый развал гулянья! Вероятно, она тут встретила кого-нибудь из наших франтов и сочла за лучшее присоединиться к обществу. Ей ужасно надоедают разные ухаживатели! Отправимся,— прибавил он, вставая,— ведь нам необходимо быть к девяти часам дома: я назначил сойтись у меня ровно в девять.

Мы отправились в обратный путь по аллее. Перышкин начал меня вводить в подробности будущей борьбы против Порыгина и мало-помалу увлекся.

Вдруг с боковой тропинки вышла в аллею высокая, стройная черноволосая женщина с букетом цветов и круглой шляпкой в руках.

— Адель Васильевна! — вскрикнул Перышкин.— Я думал, что уже вас не найду...

— Отчего же? — возразила она чудесным мягким голосом.— Сад большой, но все-таки в нем трудно затеряться. Я вот рвала цветы... Вы желали меня видеть? Зачем вы меня так усердно искали? Дело какое-нибудь?

— Нет, дела, собственно, никакого,— отвечал Перышкин, несколько омрачаясь,— я только желал вам представить моего родственника и приятеля...

— Я очень рада с вами познакомиться,— сказала она и протянула мне правую руку,— а вас очень благодарю,— и протянула Перышкину левую.

Цветы рассыпались, шляпка упала. Она слегка ахнула и засмеялась.

Невозможно передать неподражаемой грации ее движений. Она была преисполнена какой-то вкрадчивою ласковостью, которая сразу вас мягко и быстро обволакивала, словно сетью. Прелестные бархатные глаза безбоязненно лелеяли вас, а малиновые губы вам беспечно, загадочно улыбались.

— Пойдемте под липы,— сказала она, когда мы все вместе подобрали рассыпавшиеся цветы,— и будем разговаривать так,— прибавила она, обращаясь ко мне,— как будто видимся не в первый раз, а... ну хоть в десятый! Я, впрочем, начну с общего казенного вопроса: надолго ли вы приехали в наши края? Мне почему-то кажется, что я с вами могу подружиться, как с Алексеем Ивановичем — я верю в первое впечатление — и я хочу знать, успеем ли мы это сделать...

Описание может дать такое же бледное понятие об обаятельной приветливости ее слов, как дает пыльный гербарий об упоительном благоухании свежих цветов.

Я отвечал, что приехал по делам на неопределенное, но не думаю, чтобы долгое время.

Ответ мой казался мне бесцветен, почти глуп, и мне было досадно.

— О, ничего нет хуже неопределенных сроков! — сказала она.— Это всему мешает, все подрывает... все отношения выходят неопределенные...

В эту минуту мы вернулись под липы, и она прелестно раскинулась на дерновой скамье, проговорив:

— Ах, как свежо и душисто!

Глаза ее полузакрылись и как будто погасли, но через

мгновение они открылись еще шире прежнего и еще живее прежнего засияли обаятельной лаской; беспечная улыбка перешла почти в смех, белые зубы чудесно сверкнули. Она глядела на меня и как будто говорила:

«Ну, какой же ты? Кто ты и что ты? Ты мне очень понравился. Пожалуйста, докажи, что я в тебе не ошибаюсь».

— А вы когда уезжаете, Адель Васильевна? — спросил Перышкин.— Вы ведь сбирались завтра?

Он вдруг как-то присмирел и опал.

— Нет, я завтра остаюсь,— отвечала Адель Васильевна.

— Остаетесь?!

— Да. А что?

— Вы говорили, что наверно едете...

— Что значат наши «наверно», Алексей Иванович! Надо бы отвыкнуть от этих слов.

— Когда же вы думаете ехать?

— Право, не знаю еще. Посмотрю. А вы?

— Сбираюсь завтра.

— Полноте, не ездите завтра! Разве вы куда-нибудь спешите?

— Нет... но у меня дела...

— А я на вас еще рассчитывала.

— Как? В чем? Скажите, я очень рад...— вдруг встрепенувшись, заговорил Перышкин.— Скажите!

— Я думала, что мы вместе поедем на этот глупый бал!

— На какой бал? — почти крикнул Перышкин.

— Вы разве не знаете, что Порыгин дает завтра бал?

— И вы... вы будете на этом бале?

Перышкин даже побледнел.

— Не хочется, но надо быть,— отвечала Адель Васильевна, по-видимому, не замечавшая его волнения.

— Как вы могли думать, что я поеду к Порыгину после всего, что я вам говорил? — спросил Перышкин.— Вы забыли, что я вам говорил?

— Нет, не забыла, но до сих пор я убедилась только в том, что он не далек, а это не его вина.

— Он не только глуп, он...

— О, вы слишком увлекаетесь, Алексей Иванович!

— Адель Васильевна!

— Вы предубеждены, а человек предубежденный невольно бывает несправедлив.

— Я не предубежден, я...

— Вы сердитесь! Бросим этот разговор и предоставим друг другу полную свободу мнений. Я поеду на бал, вы — нет, но если мы будем встречаться, это не помешает нам встречаться по-приятельски — не правда ли?

Перышкин посмотрел на нее с печальной укоризною; она прелестно засмеялась, покачала головой и прибавила:

— Говорят о женщинах, что они капризны,— это, быть может, правда, но я начинаю думать, что и мужчины в том же грешны. Кстати, о мужских характерах: прочли вы последнее произведение вашего любимого Т.? Что, по-вашему, привлекателен герой? Быть может, у меня дурной вкус, но я не восхищаюсь такими характерами... Вы читали? — обратилась она ко мне.

— Нет еще,— отвечал я.

— Прочтите!

Разговор перешел на книжных героев, потом на живого человека вообще, на знаменательность иных встреч, на глубину иных впечатлений, на продолжительность чувства любви и уважения, на явные и тайные причины симпатий и антипатий.

Она говорила все так же мягко и приветливо, взгляды ее были все такие же ласкающие, губы так же улыбались. Сделайся она хотя несколько холоднее или недовольнее, Перышкину было бы, по всей вероятности, легче. Он, видимо, все сильнее приходил в волнение и все более терял власть над своим лицом и голосом. Он несколько раз смотрел на часы, и я боялся, что он вдруг поднимется и уйдет,— после воркотни и кашля дядюшки, после морщин кислой розмариловской ключницы мне смертельно хотелось досыта налюбоваться цветущей красотой новой знакомой, наслушаться ее ласкающих речей.

Но Перышкин не уходил. Раздражительность и горечь его замечаний возросла, наконец, до такой степени, что Адели Васильевне становилось невозможным это игнорировать. Она уже раза два после его резких ответов поглядывала на него с очаровательным удивлением, но он не мог встретить ее взгляда: он согнулся, опустил голову почти до колен и рыл тростью землю.

Художник Мозырев, как нельзя более кстати, появился в аллее.

— Много ли нарисовали? — спросила его Адель Васильевна.— Что ваш пейзаж *«Красные Горки»*?

— Помилуйте, Адель Васильевна, что это за пейзаж,— отвечал Мозырев,— какие-то зеленоватые бугорки...

Мозырев пустился в критический разбор пейзажа.

— Вы чересчур требовательны,— говорила Адель Васильевна,— вы недавно из Италии и слишком избалованы южными лучами и красками!

Она говорила и с ним приветливо, глаза ее и на него глядели мягко, но, мне показалось, в этой приветливости, в этой ласке был иной, легкий, но заметный оттенок, который дал мне понять, что не всех, даже знакомых, она встречает так, как в первый раз встретила меня.

«А что чувствует она к Перышкину? — думал я, производя свои наблюдения.— Может быть, ничего, кроме самого обыкновенного дружеского расположения... Неужто?...»

— Как вы ни строги, а я все-таки хочу вам показать одно местечко,— сказала Адель Васильевна, перебивая прихотливого художника.— Пойдемте!

— Где же это?

— Очень недалеко. Идите позади: я хочу чтобы вся прелесть моего ландшафта вдруг бросилась вам в глаза... Не смотрите лучше до тех пор, пока я не скажу...

С этими словами Адель Васильевна сделала несколько шагов вперед, так что я и художник остались в арьергарде, а Перышкин очутился на ее пути и она около него приостановилась.

— Я, к сожалению, не могу вас сопровождать,— сдержанно сказал Перышкин, вынимая часы,— я должен спешить...

Она пристально на него поглядела и прелестно засмеялась.

— Чему вы смеетесь? — спросил Перышкин.

Вся его сдержанность в мгновение ока исчезла, щеки вспыхнули...

— Вам, пожалуй, не мешает это знать,— отвечала Адель Васильевна, повертывая из аллеи на узенькую дорожку.

— Мне не мешает знать? — спросил Перышкин и кинулся за нею.

— Нет ли у вас спички? Облагодетельствуйте,— обратился ко мне художник,— или позвольте закурить от вашей сигары!

Пока он раскуривал, Адель Васильевна и Перышкин успели уйти далеко и, невзирая на то, что я чуть-чуть не всунул себе в рот сигары зажженным концом, мы все-таки не нагнали их и остались в расстоянии шагов десяти.

Дорожка шла между чащей терновника, шиповника, дикой малины, черемухи, калины и хмеля, запутавших все пространство между старыми огромными деревьями; беспрестанно встречались крутые повороты. Наш авангард то скрывался у нас из виду, то снова мелькал перед нами среди зелени. Перышкин говорил с жаром. Он не замечал, что ветки хлестали его по лицу, и когда сучья стягивали у него с головы шляпу, он только энергично дергал ее и нахлобучивал на лоб. Сначала до меня долетал смех Адели Васильевны, но потом смех этот замолк, что меня сильнейшим образом заинтересовало и разочаровало,— я иначе не умею назвать ощущения, тогда мною испытанного,— разочаровало в догадке, почти перешедшей в уверенность, что со стороны молодой вдовы нет к моему родне и приятелю ничего, кроме простого дружеского расположения.

Я старался уловить смысл доносившихся изредка отрывками слов, но это было нелегко, если бы даже мне не мешала несносная болтовня Мозырева, который стрекотал, как сорока, посвящая меня в тайны каких-то полутеней, мягкого и яркого колорита.

Наконец, дорожка сделалась пошире, пошла прямее, и мы перестали терять из виду опережавших нас спутников. Они шли уже под руку, и разговор у них, казалось, все становился занимательнее, живее...

Вдруг они остановились.

— Вас ждут! — сказал я Мозыреву и ускорил шаги.

— Теперь смотрите! — обратилась к нам Адель Васильевна.

Мы очутились у довольно крутого обрыва, сплошь поросшего кудрявою косматою зеленью; внизу, в ложбине, блестело, точно вороненая сталь, круглое, маленькое, глубокое озерцо; по ярким бархатистым берегам его голубело множество незабудок; белые лепестки кувшинчиков блестели, точно инкрустированное серебро, на синей, почти черной воде; вечерние лучи, пробиваясь сквозь дубовую чащу, мягко освещали это дикое и свежее местечко.

Но глаза мои только скользнули по представившимся

красотам природы и жадно устремились на лицо Перышкина...

Как он преобразился! По губам словно кто щедро мазнул кармином, щеки горели, глаза светились. Он с наслаждением вдыхал воздух, как после тяжкой усталости; он был похож на человека, гнавшегося за ускользавшим сокровищем и успевшего это сокровище уловить и снова им завладеть. Слегка растрепавшиеся волосы и спутавшаяся борода, листики, колючки и лепестки, приставшие к платью, довершали это сходство.

И как непозволительно хорошеют обрадованные люди! Перышкин был благообразен, но благообразие это не могло останавливать ничьего внимания, и вдруг он преобразился почти в красавца! Темные зрачки расширились, каждая черта дышала жизнью... даже борода красивее кудрявилась, волосы рассыпались иначе...

Она была задумчива. Она пыталась говорить и улыбаться по-прежнему, но от меня не утаилась происшедшая перемена.

Они стояли рядом, но не близко друг к другу. Он слегка опирался о дерево, она — около восклицавшего и разбиравшего красоту местности Мозырева.

«Объяснились, и дело устроится к обоюдному благополучию! — подумал я.— И прекрасно!»

Однако мысленно выраженное мною одобрение свершившемуся факту не помешало каким-то несносным мыслям забраться ко мне в сердце и тихонько, но пречувствительно там скрести. Я все более и более досадовал на свою непроницательность, недогадливость, наивность...

Затем я начал досадовать на Перышкина за скрытность: мог бы он, кажется, откровенно сказать старому приятелю, что любим, мог бы не морочить его...

Затем меня начала раздражать и Адель Васильевна.

«А она-то! — думал я.— Такая, кажется, самоуверенная, и как вдруг присмирела! Зачем было ей передо мною выказывать небывалое к нему равнодушие, прикрываться давно опошленным дружеским расположением?»

Вдруг я почувствовал на себе ее пристальный взгляд и не в состоянии был воспротивиться глупому желанию знаменательно усмехнуться.

Эта усмешка заставила меня почти покраснеть, и, чтобы рассеять смущение, я поспешил наугад возразить Мозыреву.

— Вы не согласны? — заорал он.— Не согласны, что мягкое сочетание тонов необходимо?

— Я вовсе не о сочетании тонов говорю,— отвечал я с завидною находчивостью,— вы так увлеклись, что меня не слушаете. Я говорю, что вы не цените, как следует, этого свежего цветущего местечка!

— Ценю, ценю, батюшка, но ценю по достоинству... Я видел озеро Албанское.

— Я его тоже видел,— отвечал я уже совершенно, как мне казалось, спокойно и непринужденно,— оно поразительно, но и в этом озерце есть своя особая непоказная дикая прелесть... Если бы я имел власть заставить вас его срисовать, я бы заставил.

— Уж он мне это обещал,— сказала Адель Васильевна.

— Исполню, исполню,— отвечал Мозырев, прикладывая то к одному, то к другому глазу кулак трубочкой.— Я думаю, надо будет взять вон с того холмика... Ничего, выйдет кое-что... Жаль, горки низковаты... Если бы горки были повыше, поостроконечнее, да побольше бы изломанных линий, попричудливее, так пейзажик бы хоть куда! Около Берна я знаю похожее местечко... разумеется, там пограндиознее.

Счастливый художник чирикал, как бойкий воробей, залетевший в погожий солнечный день на гумно после молотьбы.

— Ай, моя шляпа! — вдруг вскрикнула Адель Васильевна.

Шляпа ее быстро катилась по обрыву, прямо в озеро.

Перышкин и Мозырев кинулись за нею и запрыгали по круче, как молодые козлы. Я тоже хотел броситься по их следам...

— Останьтесь! — сказала мне Адель Васильевна...— Останьтесь. Полюбуемся отсюда, как резвятся любезные cavalieri serventi [1].

Я в недоумении остановился, в недоумении глядел на нее; сердце у меня слегка забилось,— забилось тревожно, но приятно... ах, как приятно!

Она несколько секунд действительно следила глазами за скачками cavalieri serventi, потом обратила лицо ко мне и спросила:

---

[1] Услужливые кавалеры *(итал.)*.

— Вам, как и мне, скучно?

Меня обдало жаром.

— *Вам* скучно? *Вам?* — проговорил я.

— Да, *мне*, и очень,— ответила она, улыбаясь.— Посмотрите на меня хорошенько, вы увидите, что я не лукавлю. Неужто у меня такое довольное лицо, такие счастливые глаза? Экзаменуйте, только без предвзятой мысли!

Она слегка подалась вперед, несколько приблизила ко мне свое свежее лицо, прямо мне в глаза смотрела своими лелеющими глазами.

Я не мог долее секунды продолжать экзамена, потому что у меня закружилась голова.

— Вы, может быть, употребили не то слово,— сказал я,— вам, быть может, *грустно*, а не *скучно?* Грустить могут и счастливые люди, а скучать...

— Я не «счастливая»,— перебила она,— и *скучаю*. Разве это так легко быть «счастливой»? Вы знаете этот рецепт? Я очень давно все ищу счастья и все не нахожу.

— Вы слишком, может быть, требовательны?

— Ничуть. Сколько раз я желала себя уверить, что стеклышко — драгоценный алмаз... Виновата ли я, что в этом нельзя обмануться!

— И вы до сих пор не нашли ни одного алмаза?

— Ни одного! Но я очень настойчива и не отчаиваюсь... Я все ищу, все смотрю: не этот ли? Не здесь ли мой клад? И я верю, что... Вот и cavalieri serventi! Бедные, как они запыхались!

Она успела бы досказать, чему она верит, пока Перышкин и Мозырев карабкались к нам по обрыву, но не досказала, что заставило дрогнуть мое сердце.

«Верит, что найдет,— подумал я,— почему же она запнулась? Или это ей вдруг показалось осуществимее прежнего?»

— Я поймал, Адель Васильевна! — заявил художник достигая вершины и садясь на траву.— Алексей Иванович только отнял...

— Не ожидайте от меня благодарности,— отвечала Адель Васильевна,— я могу только с вами ссориться! Стоило ли из-за шляпки кидаться по такой круче...

Вскарабкавшийся Перышкин подал пойманную шляпу. Он был красен, как вареный рак, в поту и блаженно улыбался.

Мне стало жаль его.

«Бедное стеклышко,— подумал я,— ты воображаешь себя алмазом».

За этой мыслью у меня невольно мелькнула другая: «А я кто? Я еще, кажется, не причислен к стеклышкам...»

Бессознательная неопределенная надежда попасть в алмазы благодетельно подействовала на мое расположение духа: я теперь находил удовольствие в неумолкаемой болтовне Мозырева, меня разнеживали лесные благоухания, радовала молчаливость и рассеянность Адели Васильевны... Я благодушно посоветовал Перышкину стряхнуть с взъерошенных волос листья и поправить съехавший на сторону галстук...

— Если вы отдохнули, то пойдемте,— сказала Адель Васильевна,— уж почти смеркло...

Перышкин подал ей руку, и они опять отправились вперед, а мы с Мозыревым в арьергарде.

Но это нимало не смущало ясности моего духа и, если я не превзошел в словоохотливости своего товарища, то, наверно, ему в этом и не уступил.

Адель Васильевна шла теперь очень медленно, и мы могли слышать каждое ее слово. Она говорила с Перышкиным о сельских школах.

В конце аллеи мы натолкнулись на гуляющих. Один из них умильно приветствовал Адель Васильевну и любезно протянул руку Перышкину, попеняв ему, что забывает старых знакомых.

Я тотчас же признал бритые большие обвислые щеки, черные усы (вблизи я увидал, что они нафабрены) и вздернутый нос, обогнавшие нас в фаэтоне по дороге к монастырскому саду. Я признал ненавистного Перышкину и его партии Порыгина.

— Дела, Петр Петрович,— отвечал Перышкин с несколько театральною сдержанностью.

— Надеюсь, пожалуете завтра вместе повеселиться,— продолжал Петр Петрович.

— Очень вам благодарен,— поклонился Перышкин.

— Иван Иванович, еще раз здравствуйте! — сказал Порыгин, потрясая руку художнику.

— Хотите, я вам укажу новую добычу для вашего бала? — спросила Адель Васильевна, обращаясь к Порыгину.— Вот родственник Алексея Ивановича...

Она указала на меня.

— Весьма приятно... чрезвычайно рад... чрезвычайно! — заговорил Порыгин.

Она пристально на меня глядела; все лицо ее, взгляд, улыбка, казалось мне, выражали: «А ну, кто ты? Что ты? Стеклышко? или...»

Пока Порыгин делал, по танцмейстерскому выражению, шассе-ан-аван и глиссе-де-коте [1] и протягивал мне свою белую, дряблую руку, у меня в голове молнией мелькали вопросы: как ответить на приветствие Порыгина — небрежно? холодно? или без всяких нюансов, как совершенно незнакомому человеку?

Я решился на последнее и, обменявшись фразами с новым знакомцем, не без робости поднял глаза на Адель Васильевну.

Лицо ее обаятельно улыбалось... Оно точно говорило: «А! Вот ты каков! А я еще в тебе сомневалась!»

— Прощаюсь в полной надежде иметь удовольствие видеть вас завтра,— сказал Порыгин, снова делая шассе-ан-аван и глиссе-де-коте.

Вечер пролетел быстрокрылою птицею. Мы сидели в сиреневом гроте, спускались к реке, переезжали на ветхом пароме через уснувшую воду, рвали цветы... Солнце закатывалось прелестно, месяц выплывал великолепно, опустевший сад облекся какою-то таинственностью... Мозырев пел итальянские ариэтки, Перышкин много говорил о правах человека вообще и о праве на счастье в особенности.

— Но право это надо приобрести принятием на свои плечи всех народных скорбей,— заключил он.

— Что вы толкуете о правах! — проговорила Адель Васильевна с чудесною улыбкой.— Счастье приходит, не спрашиваясь прав... падает, например, вам или мне, как снег на голову, охватывает и — конец... И противиться ему немыслимо.

Меня от этих слов, от этой улыбки бросило в холод и в жар.

Когда мы вышли за ограду, коляска Адель Васильевны стояла одиноко, кучер и лакей крепко спали.

Я хотел отправиться вслед за Перышкиным и Мозыревым будить их, но меня остановили слова Адель Васильевны:

— Я уже не скучаю! А вы?

---

[1] Фигуры танца *(франц.)*.

Я успел только ответить:

— Нет... Нет...

Этот ответ казался мне сух, но я больше ничего не подыскал. Перышкин и Мозырев посадили ее в коляску, и коляска умчалась.

— Ну-с, двинем свою пехоту! — сказал Мозырев.— La bella donna [1] не догадалась нас подвезти.

Мы направились к городу.

— Что за ночь! — воскликнул Перышкин.— Напишите эту ночь, Иван Иванович! Напишите ее без всяких прикрас, как вот она есть тут, на этой пыльной дороге. Напишите ветхий паром, уснувшую речку, сверкающие в ее водах звезды...

— Такие вещи, батюшка,— ответил художник,— пишутся только...

— Я знаю, что вы бредите Италиею!

— Не грех и бредить ею! Я, батюшка, очень люблю вас и почитаю, но на вас не похож: вы вдались в какие-то проекты об улучшениях...

— Так по-вашему...— хотел прервать Перышкин.

— ... спите и видите народное образование, лезете на стену от несогласий земских деятелей — да всех ваших затей и не перечтешь!

— Затей? затей?

— ... а я настоящий художник, последователь божественного Санцио!

— Но, Иван Иванович, позвольте...

— Если что сводит меня с ума, так это голубое небо Италии, роскошные формы женщин Абруццо...

— Так вы не признаете, что у нас существует какая-нибудь своя красота?

— Мало ее, батюшка, очень мало!

— Не мало, но вы ее не чувствуете! Вы не чувствуете этой тонкой, неподражаемой прелести наших кротких вечеров, тихих месячных ночей... У вас огромный талант, но вы будете только тогда великим художником, когда будете художником русским! В России, и только в России, вы найдете новые тайны искусства. Только тут вы создадите новое, невиданное, неслыханное.

— Из чего, батюшка, прикажете создавать-то? Где натура? Где натурщики? Где образцы?

---

[1] Прекрасная дама *(итал.)*.

— Есть, все есть! Вы сами находили!

— Находил колченогих, курносых барышень, оплывших купцов,— я уже не говорю про мужиков и баб,— одни занавесники да кички чего стоят! В городах ни архитектурных, никаких памятников, в деревнях — копоть да навоз,— даже овцы видной не встретишь! Хоть бы при этом какая-нибудь растительность...

— Вы жалуетесь на растительность, а у нас...

— Вам, если выросло на дереве три листа, так уж и роскошь!

— Помилуйте, а наши Муромские леса? А леса Брянские?

Они горячились, размахивали руками и кричали до самых дверей гостиницы.

— А знаете что? — сказал художник, прощаясь с Перышкиным,— попозируйте-ка мне на проповедующего Иоанна!

— Откуда такая мне честь? — засмеялся Перышкин.

— Не откажите, отец родной! Обещайте!

— Извольте, если только выберется время: я ведь очень занят...

— Обещаете?

— Пожалуй, обещаю...

— Ну, вот спасибо! Я завтра же с вас эскизик набросаю. Прощайте!

— Что за чудак! — сказал Перышкин, всходя по лестнице,— какое нашел он у меня сходство с Иоанном! А картина эта у него отлично задумана!

— Какой же это Иоанн? Креститель или апостол? — спросил я, следуя за приятелем, а сам невольно думал:

«Тебя тешит сходство с вдохновенным проповедником! Тешься, но все это не обратит тебя в алмаз».

— Апостол, апостол,— отвечал Перышкин.— Фигура набросана безукоризненно... Зайди ко мне,— прибавил он, очутившись у дверей своего номера.— Спать не хочется, побеседуем... Да у меня кто-то в гостях!

Мы вошли. Оплывшие огарки тускло освещали большую комнату, по которой ходил из угла в угол коренастый мужчина, заложив руки в карманы серого пальто. При нашем появлении он остановился, окинул нас не особенно доброжелательным взглядом и угрюмо сказал Перышкину:

— Я пришел, как вы назначили, ровно в девять часов!

— Ах, Николай Семенович, извините ради бога! — не без смущения отвечал Перышкин, крепко пожимая руку Николаю Семеновичу.— Случились такие обстоятельства... совершенно неожиданно... Позвольте познакомить вас с моим родственником, Сергеем Павловичем Коротневым,— добавил он, представляя меня,— это наш... нашего полку прибыло! Сергей! Николай Семенович Комов...

Мы пожали друг другу руку.

— А где же остальные? — спросил Перышкин.

— Не дождались и ушли,— отвечал Комов.

— Мне ужасно совестно, что я заставил вас так долго ждать! Садитесь, пожалуйста!—говорил Перышкин, суетясь и передвигая кресла.— Не хотите ли чаю? Ах, свечей надо!

Он позвонил и приказал подать свечи.

— Когда же мы решим насчет школы? — спросил Комов, когда мы уселись.— Уж почти все на попятный двор.

— Кто же, кто на попятный двор? — вскрикнул Перышкин.— Мы этого не допустим, не позволим!

— Блохин прямо сказал, что дело терпит; Кунаков находит, что прежде бы надо анализировать...

Комов спокойно, но горько усмехнулся и замолк.

— Это бесчестно! Это бессмысленно! — начал горячиться Перышкин.— Это все происки наших фарисеев...

Он вдруг запнулся, с волнением дернул свой галстук и закончил тем, что подобные вещи могут случаться только у нас в Б-ом уезде, и пустился поносить помянутый уезд, приводя примеры его тупоумия и растления.

— Вы горячитесь, как будто это все для вас новость,— сказал Комов.

— Я никогда к этому не привыкну, никогда! — воскликнул Перышкин.— Я завидую вашей безмятежности, но мне до нее не достигнуть.

Завидовать, собственно, кажется, было нечему. Комов говорил, правда, не повышая голоса, без вспышек, без восклицаний, но до безмятежности ему было далеко, может быть, дальше, чем Перышкину. Он смотрел угрюмо и несколько уныло, как иногда смотрят люди, страдающие тяжелым хроническим недугом или мучимые неотступно гнетущею заботою. В его серых добрых глазах скрывался ум; густые, широкие брови, резкие, неправильные, но приятные черты обозначали настойчивость. Невзирая на опущенные углы рта, на сдержанность и «безмятежное» отношение к окружающему, в нем угадывался внутренний огонь, кото-

рый, пожалуй, при случае мог произвести пожар посерьезнее всяких «мятежных» фейерверков.

— У меня послезавтра разбирательство,— перебил он Перышкина, продолжавшего объяснять свою неспособность примиряться с пошлостью,— и завтра в час я еду. Приходите ко мне часов в одиннадцать. У меня обещались собраться все наши. Чем-нибудь порешим.

— Разумеется, приду! Непременно приду! — пылко ответил Перышкин.

— Вас тоже прошу придти,— обратился ко мне Комов.— У нас лишний человек много значит. Прощайте.

— А знаете что? — сказал вдруг Перышкин.— Не попробовать ли перетянуть Порыгина на нашу сторону? Я его презираю не меньше вашего, но, в виду полезного дела, личные чувства оставляются в стороне...

Комов, который уже взялся было за ручку двери, приостановился и посмотрел на Перышкина.

— Мы часто слишком увлекаемся своими антипатиями,— продолжал Перышкин,— и этим вредим главному делу, замедляем достижение благой цели... Порыгин может помочь нам. Разве вы не нагнулись бы к помойной яме, если бы знали, что в ней лежит золото, то есть средство поддержать жизнь голодных? То же можно применить и к голоду нравственному...

— Нет, я думаю, обращаться к Порыгину бесполезно,— перебил Комов.— Прощайте.

— До свидания! — крикнул ему вслед несколько сконфуженный Перышкин,— до завтра! — и, захлопнув дверь, обратился ко мне:

— Отличнейший человек, но не умеет отрешаться от личных чувств! Кто спорит — это, разумеется, нелегко, но на что же тогда нам сила воли?

Я заметил и, признаюсь, заметил не без коварства, что, вероятно, Комов к утру образумится, что все самые достойные люди пылкого нрава обыкновенно при первом неприятном впечатлении закусывают удила, но затем, поразмыслив, действуют только так, как велит обязанность честного человека.

— Не все, брат, не все...— отвечал Перышкин, кинув на меня беглый взгляд и как бы снова конфузясь,— то-то и беда, что не все! Мешает проклятое самолюбие! Что тут далеко ходить; я сам бывал в этом грешен! Это сразу не дается!.. Да вот, не дальше как сегодня, я бог знает как

вознегодовал при вопросе, буду ли я на бале у Порыгина... Я могу похвастаться, что умею держать себя в руках... и держу... и направляю только туда, куда велит разум... А все мне будет ужасно трудно выдержать этот искус.

— Ты, значит, будешь на бале?

— Непременно буду, это необходимо для успеха нашего дела... Школа, видишь, которую мы затеваем, предприятие частное... то есть почти частное. Порыгин нам необходим... Не говоря уже о том, что он может дать тоже вклад... неужто потому только, что мне не нравится Порыгин, я имею право рисковать успехом полезного дела! Согласись!

— Я еще толком ничего не знаю о ваших предприятиях,— отвечал я,— я слыхал обо всем только отрывками, но, сколько мог понять, этот Порыгин во всем вам мешает...

— Да, но все это, быть может, потому, что мы не успели взяться за дело! Нет у нас никакой сноровки, никакого такта... Ты не можешь себе представить, что приходится мне выносить! И ни в ком поддержки, всякий рад толковать вкривь и вкось каждое твое действие! Еще недавно, перед твоим приездом, меня запутали в невообразимо глупую историю!.. То-то и горе, что у нас нет людей самобытных, самостоятельных... Хоть шаром покати! А женщины, пожалуй, еще мужчин перещеголяли: у них уж положительно все основано на капризе, все творится по прихоти.. Адель Васильевна — исключение, по ней ты не должен судить об остальных... Да, кстати: как она тебе понравилась?

— Чрезвычайно понравилась,— отвечал я равнодушно.— Она, кажется, очень умна, много видела...

— Она удивительно развитая женщина! — вскрикнул Перышкин.— Я еще, признаюсь тебе, не встречал такого светлого взгляда на жизнь, такого гуманного отношения к людям... Она целой головой выше всего нашего общества! И больше всех нас, взятых вместе, внесет света в народную среду! Она вся поглощена теперь устройством школ, мастерских, больниц, преобразованием воспитательного дома... Если бы ты видел, как она спровадила разных поклонников, которые было вздумали за ней ухаживать! Для нее красота ее иногда просто тягостна... как для других безобразие... Как проста, смела и правдива! Ни тени тщеславия!..

— Да, при ее привлекательности это редкость,— заметил я.— Обыкновенно красивые женщины...

— А ведь хороша! — вскрикнул Перышкин.— Глаза-то! Глаза-то!

— Глаза, действительно, чудесные! — ответил я и поспешил прибавить, вставая:

— Однако прощай, Алексей, уже очень поздно... Я с дороги страшно устал, а завтра надо идти к Комову...

— Неужто тебе хочется спать? — спросил он.

— Совсем глаза смыкаются... Прощай...

— Ну, прощай,— ответил он неохотно,— а мне сон вовсе на ум не идет...

Я слукавил. Мне тоже спать не хотелось, но восторженное восклицание Перышкина о глазах внушило мне опасение, как бы дело не дошло до сердечного излияния. Я не отдавал себе отчета, почему именно я боюсь попасть в поверенные чувств; но я этого боялся и поспешил избегнуть.

Занятый мною номер был почему-то пропитан запахом нашатырного спирта. Я зажег свечу, но едва она успела осветить стены, оклеенные грязными ярко-розовыми обоями, как я ее задул, отворил настежь оба окна и стал смотреть на уснувшую улицу, перехваченную полосами лунного света. Ниоткуда не показывалось живой души. Только раз проворная гибкая пестрая кошка скользнула из-под ворот, приостановилась, неслышно перебежала улицу, опять приостановилась и исчезла в тени. В чьем-то домике, наискось от моего окна, теплилась лампадка. Не доносилось ни единого благоухания, пахло только уличной пылью; но воздух все-таки был живителен, и я вдыхал его с наслаждением.

Я хотел подумать, помыслить, но голова у меня слегка кружилась, и мысли бродили, не вязались. Даже образы рисовались хотя ярко, но как-то запутанно, фантастически. Рядом с подслеповатым, морщинистым лицом размариловской ключницы сияли ласкающие бархатные глаза и улыбались алые губы; из-за сгорбленных плечей дряхлого дяди показывалась стройная, изящная фигура, нежная рука с букетом, и тут же ван-диковская бородка; являлись незнакомые, машинально замеченные, но почему-то запечатлевшиеся в памяти образы встреченных в монастырском саду гуляющих, мелькали обвислые щеки и нафабренные усы Порыгина, темная аллея, то расстроенная, то лучезарная физиономия Перышкина, быстро уезжающая коляска, горькая усмешка Комова, темное озерко в зелени, крупные незабудки и белые лепестки кувшинчиков...

Мало-помалу я впал в дремоту, от которой меня заставила очнуться предутренняя прохлада.

Восток чуть алел; по улице со скрипом тащилась телега, наваленная хворостняком,— тоненькие зеленые верхушки, волочась по земле, проводили бороздки и тихонько поднимали прилегшую пыль; из-за чахлой буланой лошади мелькала голова мужика; откуда-то доносился благовест; свежий трезвящий ветерок врывался в окно и спугивал грезы...

Я лег в постель, заснул, как убитый, и проспал до полудня.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Когда я проснулся, солнце ярко било в окна, прямо мне в лицо.

Первое ощущение, когда я немножко собрался с мыслями, было удовольствие, что я не в Розмариловке, потом я начал припоминать мельчайшие подробности вчерашнего вечера.

Когда я, наконец, дошел до Комова и его приглашения и вскочил одеваться, был уже второй час.

«Верно, и Перышкин проспал,— подумал я.— Какая досада! Комов говорил, что в час едет... Да авось не уехал!»

Я поспешил в номер Перышкина и застал там франта-полового, который причесывался перед зеркалом.

— Где Алексей Иванович? — спросил я.

— Не могу знать-с,— ответил половой, пряча руку с гребнем Перышкина за спину, а другой рукой поправляя пестрый шейный платок.

— Давно он ушел?

— С час будет-с.

Поручив передать Перышкину, что я к нему заходил, я вернулся в свой номер и не без ажитации начал шагать из угла в угол.

Почему Перышкин меня не разбудил? Отчего ушел без меня? Ведь сам же звал, сам говорил, что лишний честный голос имеет огромное значение!

Но, быть может, он отправился вовсе не на совещание! В таком случае крайне смешно бегать украдкой, точно я способен навязываться и мешать. Да чему мешать-то?

Предо мной блеснули бархатные глаза, и в моих ушах зазвучали полушутливые, полугрустные слова:

«Сколько раз я желала себя уверить, что стеклышко — алмаз! Разве я виновата, что в этом нельзя обмануться!»

Я недовольно пожал плечами, дивясь, до чего иногда доходит людское ослепление.

Не пойти ли мне к ней? Конечно, пойти! Странно и невежливо было бы не пойти. И самый час для визитов. Это, собственно, жаль, пожалуй, встретишь целую толпу визитирующих.

Соображая это, я уже занимался приведением в должный порядок своего визитного костюма.

— Nadine! — вдруг раздался свежий голосок в смежном с моим номере.— Это серое платье безобразно сшито. Я лучше надену голубое.

— Помилуй, Annette, — отвечал другой голосок, несколько погрубее,— кто же надевает голубое платье в благотворительные заседания? Все тебя засмеют! Серое, серое и только серое!

— Я не понимаю, почему именно серое,— с неудовольствием возразил первый голос.— Это безумие! Наконец, к иным серое ужасно нейдет! Не понимаю, почему именно серое!

— А понять легко, ma chère! [1] Ты ведь едешь не на бал, а на благотворительное совещание! Тут все серьезно, все печально... И вдруг голубое платье!

— Это все равно, как прежде говорили, что на именины неприлично в черном, а вот Сахарова была же у Воиновых в черном — только розовый бантик приколола,— и все завидовали, как оригинально!

— Именины — это совсем другое, Annette, это предрассудки...

— Так неужто мне надевать серое?

— По-моему, непременно серое!

— Я только голубой бант приколю!

— Ах, Annette, какой ты ребенок! Пойми же...

Я больше не стал слушать и, мысленно подсмеиваясь над наивностью неизвестных соседок, проворно сбежал с лестницы.

Но куда же ехать? Я не знал, где она остановилась!

Последнее обстоятельство привело меня в большое волнение, но волнение это продолжалось недолго: хозяин гостиницы сообщил мне, что «Адель Васильевна Галкина всегда

---

[1] Моя дорогая! *(франц.)*

останавливаются на Дворянской, у своей тетеньки, Варвары Андреевны Перекатовой».

Через несколько минут я уже был у крытого подъезда дома Перекатовой. Из-за ряда густых стриженых акаций, отделявших здание от улицы, выглядывали серые деревянные стены, белые колонны и итальянские окна.

В передней меня встретил приличный высокий лакей с большими баками.

— Адель Васильевна? — спросил я.

— Пожалуйте! — отвечал он, распахивая передо мною двери.

Из гостиной долетали голоса...

Я не ошибся: Перышкин был здесь!

На меня произвело неприятное впечатление и его лицо, которое расплывалось в улыбках, и особая мягкость голоса, и приветливость, с какою он протянул мне руку.

«Она ведь говорила,— мелькнуло у меня в уме,— что желала уверить себя, будто стеклышко — алмаз... Уж не успела ли она в этом?»

— Как я рада, что вы пришли! — сказала мне Адель Васильевна.— Я целое утро вас ждала... Не стыдно ли вам так долго спать?

Эти простые, веселые слова сразу и вполне изгладили неприятное впечатление. Я вдруг почувствовал себя в отличном расположении духа и не без сострадания отнесся к посоловелым глазам и блаженным улыбкам моего беднягиприятеля.

— У меня есть к вам дело,— продолжала Адель Васильевна.

Святители! Что за ласкающий у нее был взгляд!

— Какое? — спросил я, стараясь совладать с головокружением.

— Я хочу просить вас поступить в наше общество. У нас, видите, открывается общество «Добровольного грошика», и меня выбрали в распорядительницы... Алексея Ивановича я уже завербовала.

— Я поступил ополченцем,— сказал Перышкин и почему-то еще больше просиял.

— Хотите знать основную цель и устав? — спросила меня Адель Васильевна.

— Да,— отвечал я,— я попрошу вас мне их сообщить... Прежде чем принять участие в деле, необходимо в него вникнуть... его оценить... обсудить...

Я, грешный человек, бессовестно лгал. В эту минуту она могла и меня завербовать, куда угодно. Я смутно чувствовал свою податливость и инстинктивно старался прикрыть ее как можно лучше строгими фразами неподкупного стоика.

— Разумеется, разумеется,— отвечала Адель Васильевна.— Цель общества — помочь бедным женщинам. Мы долго думали, как это лучше устроить, наконец, в общем заседании решили сделать складчину и основать швейную мастерскую.

— Цель прекрасная,— ответил я,— но осуществится ли задуманное?

— Мы надеемся,— улыбнулась Адель Васильевна.

— Почему ж ты сомневаешься? — вмешался Перышкин.

— Не раз уже заводили швейные мастерские,— внушительно продолжал я,— и это ничего не произвело, кроме ссор...

— Мы постараемся не ссориться,— снова улыбнулась Адель Васильевна.

— Я тебя не понимаю, Сергей! — опять вмешался Перышкин.— Неужто потому только, что многие попытки ни к чему не привели, следует унывать, сидеть сложа руки?..

— Я вовсе не то хотел сказать,— возразил я.

— Что же вы хотели сказать? — спросила Адель Васильевна.

— Что надо быть... быть осмотрительным в выборе членов общества,— отвечал я.

— Да, вы совершенно правы... Мы постараемся быть как можно осмотрительнее... Согласны вы вступить в наше общество?

— С удовольствием...

— Я очень рада! Спасибо вам!

Она протянула мне обе руки и крепко в них сжала мою.

— Смешно вас благодарить за это,— прибавила она,— но это вырвалось... Не осудите!

Осудить? Я способен был только таять, как ком масла, поставленный на пышущую жаром плиту.

— Теперь об уставе общества,— сказала Адель Васильевна.— Каждый член ежемесячно вносит пять рублей и обязуется находить новых членов и вольных благотворителей...

— Что это за вольные благотворители? — спросил я.

— Это все, кто жертвует на общество, не вступая в члены. Если пожертвование свыше десяти рублей, то жертвователю посылается от общества благодарственное письмо и его имя вписывается в особую книгу... Члены обязаны быть на всех заседаниях, в случае же непредвиденных помех обязаны присылать отчет о своей деятельности и собранные пожертвования. Взносы свои члены обязаны производить по третям, то есть за четыре месяца вперед... Кроме того, члены разделяются на действительных и просто почетных. Действительные члены — женщины, которые выбирают из среды своей распорядительниц и попечительниц. Почетные члены — мужчины, которые тоже имеют голос при выборах. Как вы все это находите? Возразите что-нибудь?

— Нет,— отвечал я,— нет...

— У нас уже есть в виду помещение под мастерскую, и в сегодняшнем заседании мы назначим день открытия швейного заведения. Ах! да который час? Не пора ли? Заседание назначено в четыре!

— Еще не пора! — ответил Перышкин.

— Скоро четыре,— сказал я, мучительно желая, чтобы это уведомление выразило мои ничем непоколебимые стоические добродетели.

Если бы даже я усомнился во взгляде, которым меня подарили ее бархатные глаза, то слова, обращенные к Перышкину, дали бы мне знать, что я понят.

— Как вы беспечны, Алексей Иванович! — сказала она.— Как мало заботитесь о деле! Это, право, грустно!

Перышкин вскочил, словно его прошпигнули, и испуганно, несвязно начал приводить в свое оправдание долговременный опыт, показавший ему, как русские люди всегда опаздывают на серьезные совещания.

— Так вы желаете последовать примеру этих русских людей? — прервала Адель Васильевна.

— Помилуйте, Адель Васильевна,— почти запел от огорчения Перышкин,— я только не хотел сидеть в пустой зале... Я только...

— Ах, какой вы неженка! Какой вы барин! — прервала она снова.— Велика беда посидеть в пустой зале! Вот так все у нас нежатся! — обратилась она ко мне,— прежде всего удобство, а потом уже дело!

— Адель Васильевна! — вскрикнул Перышкин, чуть не плача.— Я, кажется, не заслуживаю этого упрека. Я...

Она снова его перебила.

— Ну, перестанемте ссориться! Поезжайте с Сергеем Павловичем в заседание. Я сейчас туда приеду. Прощайте... Пора!

Она сжала мне руку (сжала, показалось мне, особенно крепко), и мы с Перышкиным отправились в заседание общества «Добровольного грошика».

— Что, виделся ты с Комовым? — спросил я дорогою.

— Нет,— отвечал он.

— Ты, как и я, проспал.

— Я не проспал... То есть я мог бы вовремя встать, если бы считал это нужным... но ведь я хорошо знаю комовские сходки! Из них никогда ничего не выходит, кроме путаницы и крику.

— А я из твоих слов заключил, что Комов...— начал я.

— Комов отличнейший человек,— поспешно прервал Перышкин,— Комов редкий человек, но ему никогда и ни в чем не будет удачи... Никакого дела ему не довести до конца... Он слишком подпадает влиянию минуты... Он весьма и весьма не глуп, а между тем, в иных случаях поражает своею фанатическою нетерпимостью... Я сам этим страдаю, но я, по крайней мере, это сознаю и стараюсь держать себя в руках... Ведь как ни вертись, а приходится на каждом шагу убеждать себя, что один в поле не воин... Поневоле вынужден ладить с разною дрянью...

— Какое место занимает Комов? — спросил я, выждав минуту, когда Перышкин умолк и начал закуривать папиросу.

— Он мировой судья. Вот, например: с первых же дней вступления в эту должность он сумел возбудить к себе ненависть всех помещиков.

— Он на вид, кажется, такой сдержанный,— заметил я.

— То есть ты хочешь сказать, что он не увлекается, не повышает голоса? Но его взгляд в упор и безмолвие раздражают пуще всяких криков и споров. Да кроме того, он не всегда сдержан и в выражениях... Все это ужасно тяжело и, признаюсь, я иногда падаю духом...

В жесте, с которым он швырнул раскуренную папиросу, выразилось, однако, не уныние, а нечто несравненно более живое и жгучее, да и вообще он не имел вида человека, подавленного долгим рядом несносных неудач и разочарований, а скорее вид человека, неожиданно уколотого отравленной иглой. Он двигал шляпу, теребил галстук, словно его что-то душило.

— Ты поедешь на бал? — спросил я и тут же почуял, что лучше бы не задавать подобного вопроса.

— Не знаю еще,— ответил он с худо скрываемым неудовольствием.— Посмотрю еще, стоит ли игра свеч... Как я ни владею собою в иных случаях, а все-таки ломать себя — вещь не слишком легкая! Я погляжу... Если, по моим соображениям, из этой уступки может выйти что доброе, то, разумеется, я не посмотрю, трудно ли, легко ли.

Я не мог определить, на что он хочет поглядеть и что сообразить, но что он с каждой минутой приходил в большую ажитацию, это для меня было очевидно.

Что касается до меня, то я испытывал удивительно приятное ощущение: кровь быстро переливалась в моих жилах, в голове слегка шумело, сердце то билось ускореннее, то тихо, сладко замирало. Я наблюдал Перышкина, великодушно сострадал его треволнениям и вместе над ними подсмеивался. Я не представлял себе, что будет вот то или это, но каких-то благ впереди чаял и предвкушал наступление какой-то для меня новой эпохи.

Перышкин жаловался на пыль, горько издевался над российскими дрожками и б-ской мостовой, проклинал солнечный зной. Я, улыбаясь, поглядывал на мелькающие уездные жилища, лавки и храмы, беспечно улыбался в пыльное пространство, ласково созерцал ярко-голубое небо и попадавшиеся навстречу лица.

Мы остановились у большого каменного дома сиреневого цвета с белыми колоннами.

— Здесь,— сказал Перышкин.

Мне показалось, что мы ужасно скоро приехали.

— Скажи, пожалуйста, в чьем доме происходят эти заседания? — спросил я.

— В доме председательницы общества, Марты Федоровны Васильковой.

— Что это за особа?

— Вот увидешь!

Нас встретил лакей в красном жилете.

— Есть кто-нибудь? — спросил у него Перышкин.

— Много уж собралось,— отвечал лакей.

Мы вступили в обширную залу, посреди которой возвышался огромнейший стол, покрытый зеленым сукном и обставленный креслами. Дам было много, и все в сером. Между ними мелькало пять-шесть мужчин, имевших или крайне самоуверенный или крайне угнетенный вид. Заседа-

ние еще не начиналось, но тем не менее в зале стояло такое жужжание, точно сюда налетели бесчисленные рои пчел.

Перышкин представил меня, как нового члена, попечительнице, картинной даме с выпуклыми черными глазами и узеньким лбом.

— Мы не знакомы,— сказала она мне,— но я вас знаю!

Я старался изобразить на лице приятное удивление.

— Вы захотели поступить в члены,— прибавила она в пояснение,— и этого довольно, чтобы узнать вас!

— Новый член, mesdames, — обратилась она к другим,— Сергей Павлович Коротнев.

Я раскланивался и пожимал протянувшиеся руки в кольцах и браслетах.

— Вот наш кассир! Вот наш секретарь! Вот наши бухгалтеры!

Не успел я пожать руки второму бухгалтеру, быстроглазой особе в локонах по плечам, как раздался голос, заставивший мое сердце дрогнуть.

— Bonjour! Все собрались?

— Адель Васильевна! Мы уже потеряли надежду вас видеть!

— Надежды никогда терять не следует! — отвечала Адель Васильевна, и бархатные глаза ее упали на меня.— Простите меня, я немножко опоздала.

— Начнемте заседание! Начнемте заседание! — зажужжало кругом.

Юбки зашуршали, кресла задвигались. Председательница заняла место в особом кресле, отличавшемся от прочих как формою, так и сортом обивки. Бархатные глаза счастливым случаем очутились против меня. Перышкин обратил всеобщее внимание своим нерешительным хождением вокруг стола и попал, наконец, между какими-то улыбающимися членами в пирамидальных шиньонах.

Увы! Если я еще до сих пор храню немилосердное воспоминание о каждом мимолетном взгляде прелестных бархатных глаз, сиявших тогда против меня, то самое заседание представляется мне отрывочно и как бы в густом тумане!

Сначала, если не ошибаюсь, распорядительница в сером шелке и пудре (по голосу я признал в ней Nadine, которая в смежном со мной номере гостиницы «Москва» давала наставления Annette касательно несообразности являться на благотворительные заседания в веселых цветах) представила отчет своей деятельности по сбору пожертвований,

затем другая распорядительница, тоже в сером шелке и пудре, с прибавкой черной бархатной мушки на правой щеке, заявила о необходимости выписать из Петербурга еще две швейные машины и непременно машины с двойною строчкою, и не только с двойною строчкою, но и такие, чтобы вышивали суташом, главное, главное — суташом. Одни голоса одобрили, другие — запротестовали. В мгновение ока завязался перекрестный огонь. Около меня засыпало, словно картечью: «Суташ... Двойная строчка... Двойная строчка... Суташ... Ах, вы чересчур пристрастны... Суташ... Суташ... Суташ... Ах, вы не *желаете* понять... Двойная строчка... Странно!.. Суташ... Суташ... Есть *люди*, которые... Суташ... Двойная строчка... Ah, mon dieu! [1]... Двойная строчка... Суташ... Суташ... Двойная строчка... Суташ! Суташ!»

Председательница с свойственною людям восточного происхождения способностью воплотиться не только в фразу, но даже в полфразы, неустанно накаливала: «Суташ... Суташ... Ах, разумеется, суташ! Как без суташа? Суташ!.. Суташ!..»

Мужчины попробовали заговорить, но их не было слышно.

А я не открывал рта, ловил взгляды прелестных бархатных глаз и не замечал, как пролетали часы и минуты.

Время от времени я посматривал на Перышкина, напоминавшего своею позою и неподвижностью надгробную урну. Меня несколько смущало расстроенное лицо давнего приятеля, но я говорил себе: «Виноват ли я?» и снова ловил взгляды бархатных глаз...

Эти взгляды одобрили мое невмешательство в прения о суташе, они пожаловались мне на мятущихся около нас ближних, они говорили мне... Ух, как много они мне говорили и как умели говорить!

Наконец, они обратились на стрелки маленьких золотых часиков. Прелестная рука, грациозно вынувшая помянутые часики из-за серебристо блестящего кушака, протянула их соседке справа, потом слева. Обе соседки встрепенулись.

— Шесть часов! — воскликнула одна.

— Шесть часов! — воскликнула другая.

Эти восклицания произвели переполох.

---

[1] Ах, боже мой! *(франц.)*

— Шесть часов! Шесть часов! — пронеслось с одного конца стола до другого.

«Шесть часов» поразили и председательницу и выбили из нее суташ. Она завертелась на кресле и захлопала крышкой своих часов. Только распорядительница с бархатной мушкой на щеке, да еще маленькая, рыженькая, тщедушная дама, у которой глаза вертелись с быстротой локомотива, не обращали никакого внимания на поднявшуюся тревогу, и из их уст по-прежнему неудержимо вырывалось: «суташ», «двойная строчка», «двойная строчка», «суташ», «я знаю», «я видела», «я понимаю», «я удивляюсь», «двойная строчка», «суташ»...

— Mesdames, — предложила председательница, — не лучше ли обратиться к подаче голосов?.. Или не лучше ли отложить все это до следующего заседания?

— Да, да, до следующего заседания! До следующего заседания! — раздалось единодушно, только тщедушная рыженькая дама заспорила, что нельзя же такие вещи оставлять, что суташ сам за себя говорит...

— А теперь мы окончим,— сказала председательница, хватаясь за хорошенький серебряный колокольчик.

— Я попрошу вас минуту подождать,— сказала Адель Васильевна.— Я наскоро сообщу о том, что я сделала. Я приискала помещение для швейной.

— Прекрасно! Прекрасно! — раздалось со всех сторон.

— Если мы не дадим сегодня же решительного ответа, то можем упустить это помещение, а так как я не полагаюсь на одну себя, то прошу кого-нибудь из членов сегодня же съездить вместе со мною к Покрову.

— Сегодня? Сегодня? Когда же сегодня? — зашумели члены.— Если вы находите, что помещение хорошо, то оно хорошо! Никто лучше вас не выберет.

— Мы вам даем carte blanche! [1] — закончила председательница и позвонила в серебряный колокольчик.

Снова зашуршали юбки, задвигались кресла, начались торопливые прощания.

Я и Перышкин очутились возле Адели Васильевны.

Я запутался по дороге в чей-то шелковый шлейф, и Перышкин очутился около нее прежде меня. Пробираясь между снующими дамами, я глядел, как стремился мой приятель грудью вперед, вперив глаза в одну точку, и

[1] Свободу действий! *(франц.)*

мысленно уподоблял его металлической рыбке, которую кружат дети, кружа магнит в чашке с водою — и сострадательно улыбался.

— Sauvons nous! Sauvons nous! [1] — сказала нам Адель Васильевна и, как пери, порхнула в сени.

— Хотите, я вас подвезу? — предложила она.

Хотим ли мы! Перышкин так поспешно воспользовался этим предложением, что мы столкнулись, и он чуть не разбил мне лба.

— К Агафоновой! — сказала Адель Васильевна лакею.

— К Агафоновой! — крикнул лакей кучеру.

— Хотите, мы вместе посмотрим квартиру для швейной? — спросила нас Адель Васильевна, когда мы покатились в коляске по б-ской мостовой.

— О да! Да! — воскликнул Перышкин, и воскликнул уж до того восторженно, что я невольно на него взглянул.

Он снова сиял, сиял, как на обрыве над озерком, в монастырском саду.

«Чего ж это он ликует? — подумал я.— Неужто оттого, что она предложила подвезти?»

Я вспомнил, как он чуть не расшиб мне лба, кидаясь в коляску, и у меня мелькнула мысль: «Не возликовал ли он раньше? Когда именно и с чего? Может, именно в те несколько секунд, которые он простоял около нее, пока я выпутывался из шлейфов?»

Я решил, что последнее легко могло быть,— ведь Перышкин, очевидно, обладает способностью невообразимо легко и быстро перепрыгивать из самого мрачного состояния духа в самое светлое. Достаточно слова, брошенного из сострадания, и вот он уже превыше облаков!

Что такое могла она ему сказать? Вероятно, он начал объясняться по поводу ее упрека в пристрастии к удобствам, и она прекратила это объяснение какою-нибудь шуткою, улыбнулась — вот и все! Ведь что он не алмаз в ее глазах, так это несомненно! — заключил я.

Тем не менее, сердце мое сначала легонько, а потом и порядком сжалось, и я все чаще и чаще начал поглядывать на своего приятеля.

— Не смейтесь над сегодняшним нашим заседанием,— обратилась ко мне Адель Васильевна (она, казалось, не замечала ликования Перышкина),— оно вышло бестол-

---

[1] Бежим! Бежим! *(франц.)*

ково, потому что все дамы возбуждены предстоящим балом и не могут ни на чем сосредоточиться.

— Люди слабы,— возразил я с усмешкой не без яда,— они до тех пор заняты делами ближнего, пока их не поглотят дела собственные. Стоит только разыграться тщеславию, вражде или самолюбию, и ближний отстраняется на задний план! Бедный ближний терпит даже от наших чувств более возвышенных, от сердечных увлечений, например...

— Как приятно слушать старые истины! — улыбнулась Адель Васильевна,— это похоже на встречу с какими-нибудь старыми любимыми тетушками или дядюшками...

Надеяться заткнуть за пояс Мефистофеля и вдруг очутиться на одной доске с старыми дядюшками и тетушками не представляет приятности. Я, однако, сохранил мужество и если дрогнул, когда на меня плеснули этот ковш холодной воды, то дрогнул едва заметно.

— На меня старые истины не производят, как на вас, приятного впечатления,— отвечал я спокойно,— и это, вероятно, потому, что мне они почти всегда являются не в образе дядюшек и тетушек, а в образе давних заявителей людской слабости и несостоятельности.

— Вы сердечные увлечения относите к слабости и несостоятельности?

Она — я это чувствовал, хотя и глядел в сторону,— пристально на меня смотрела, но я невозмутимо ответил.

— К сожалению, почти всегда наши сердечные увлечения проявляются в таком виде, что мудрено к ним относиться иначе...

— Надеюсь, однако, что ты допускаешь исключения?— вмешался Перышкин.— Ты, надеюсь...

— Исключения такие — большая редкость,— холодно прервал я.

— Я могу тебе привести тысячи исторических примеров, когда люди, воодушевляемые любовью, совершали чудеса храбрости, доходили до невероятного самоотвержения! — привязывался Перышкин.— Ты не можешь отрицать очищающей, преображающей, возвышающей силы чувства. Ты не можешь отрицать...

Коляска остановилась.

— Забудем на время все наши мелкие и высокие увлечения,— сказала Адель Васильевна,— и займемся осмотром квартиры.

Перышкин вылетел, как бомба, из экипажа, опрокинул бы меня на тумбу, если бы я вовремя не отступил в сторону,— и протянул обе руки, приготовляясь поддержать драгоценное бремя.

«Наслаждайся!» — мысленно проговорил я, снял шляпу — вечер был нестерпимо душен — небрежно поправил волосы, небрежно оглянулся кругом и вследствие этой небрежности чуть не повалился, что меня привело в ярость: будь я один, я не ручаюсь, что не принялся бы бить и топтать некстати подвернувшуюся под ногу выбоину в жалкой б-ской мостовой.

Я постарался овладеть собою и в этом, как мне казалось, совершенно успел.

Коляска остановилась около серого деревянного домика в пять тусклых окошек с зелеными ставнями. На крылечке под покосившимся навесом Адель Васильевну встретила низкими поклонами обрюзглая, тщательно приодетая и причесанная, желтая, жирная женщина, с глазами, похожими на стертые пятиалтынники, отличавшаяся постным видом и подобострастными ужимками — по всем приметам, бывшая дворовая, состоявшая в какой-нибудь почетной должности.

— Здравствуйте, Любовь Прохоровна,— сказала Адель Васильевна.— Мы вот приехали посмотреть квартиру и порешить дело.

— Пожалуйте-с,— проговорила Любовь Прохоровна, отворяя нам двери и пропуская нас вперед.

Мы вошли через смрадные сени в довольно большую, но темноватую, низкую и душную комнату, очевидно прибранную напоказ, с сырыми от недавнего мытья полом, дверями и подоконниками, с запахом от не успевших просохнуть новых, зеленых, как трава, обоев. К запаху от непросохших обоев примешивался запах деревянного масла с воском, которыми был натерт и диванчик с высокой спинкой в виде лиры, прикрытый свежевыглаженным чехлом, и несколько плетеных стульев, и искоробившийся, колеблющийся круглый столик карельской березы, и черная рамка зеркальца, и киот, вмещавший в центре фольговый образ Митрофания-чудотворца, и по бокам темные мелкие лики мучеников и мучениц, на которых глаз ясно различал только ноги в сандалиях и сияния вокруг головы, и даже желтая клетка, висевшая на растрескавшемся потолке,

который позабыли или не сочли нужным почистить, где прыгал худенький чижик с общипанным хвостиком.

— Ну что же, как вы находите помещение? — спросила нас Адель Васильевна.

— Отличное! прекрасное! — отвечал Перышкин, которому, очевидно, так было сладко, что он мог только облизываться.

— А вы? — обратилась она ко мне.

— Мне кажется, оно будет темновато для мастерской,— отвстил я.

— Темновато? — воскликнул Перышкин.

— Темновато? — повторила Адель Васильевна.

— Да,— ответил я, как будто меня не бросило в жар от восклицания человека, опьяненного ликованием, как будто мне были нипочем ее мягкий голос и бархатный взгляд.— И низко, душно... Вентиляции нет...

— Любовь Прохоровна, у вас окна ведь отворяются? — спросила Адель Васильевна.— Отворите, пожалуйста.

Любовь Прохоровна, чутко ловившая каждое наше слово, быстро распахнула настежь окна, выходившие на улицу, как раз на какой-то совершенно обнаженный, усеянный мелкими осколками залежалого кирпича пустырь.

— Вид из окон неживописен,— сказала, приближаясь к окну, Адель Васильевна,— но хорошо и то, что они открываются.

— Это прекрасно летом,— отвечал я, отступая, чтобы пропустить Перышкина, который ринулся на него, как слепой,— но зимой?

— Что ж зимой? — воскликнул Перышкин.— Зимой...

— Вы правы,— все тем же мягким голосом и с тем же бархатным взглядом согласилась со мной Адель Васильевна,— но к тому времени можно, я полагаю, устроить форточки.

— Разумеется, можно! — воскликнул Перышкин.

— Ведь вы, Любовь Прохоровна, не будете спорить, устроите форточки? — сказала Адель Васильевна.

— Что прикажете, все будет сделано,— отвечала Любовь Прохоровна.

— Так как же мы решим? — спросила Адель Васильевна.— Я сама очень хорошо вижу, что помещение плохо,— прибавила она по-французски,— но где же взять лучше в нашем Б-ве? Мне кажется, что временно надо примириться с необходимостью....

— Конечно! — воскликнул Перышкин.

— Сначала поместим мастерскую здесь, а потом увидим, не найдется ли чего получше,— продолжала Адель Васильевна.

— Да, да! — воскликнул Перышкин.

— Мне кажется, что надо примириться с неудобствами и взять эту квартиру,— продолжала Адель Васильевна.

— Может ли быть тут какое-нибудь сомнение! — воскликнул Перышкин.

— Вы слишком сговорчивы,— улыбнулась Адель Васильевна Перышкину,— а вы,— улыбнулась она мне,— чересчур нерешительны. Я прибавлю еще, не забывайте, что этим мы дадим средства к существованию этой бедной женщине (она легким наклонением головы обозначила Любовь Прохоровну).

Перышкин опять завосклицал. Я взглянул на «бедную женщину», и глаза наши встретились. Она тотчас же опустила свои. Она стояла не шевелясь, в смиренной позе, но на ее желтом, обрюзглом и жирном лице выступали багровые пятна. Мне показалось, что во всей природе не может быть ничего отвратительнее этой физиономии.

— Вы ее хотите сделать главной распорядительницей и начальницей мастерской? — спросил я.

— Да,— отвечала Адель Васильевна.— Она очень надежная женщина и очень искусная работница. Что же вы имеете против этого?

— Ничего определенного и, следовательно, ничего доказательного,— отвечал я,— но я бы ей ничего и никого не доверил.

— Помилуй! — воскликнул Перышкин,— разве можно что-нибудь решать под неопределенным впечатлением?.. Под неопределенным впечатлением подавать голос в деле, которое...

— Я полагаю, что не следует,— отвечал я, улыбаясь (воображаю эту улыбку!),— и потому воздержусь от подачи голоса.

— То есть, что ты хочешь этим сказать? — спросил Перышкин.

— То, что я в деле найма этого помещения остаюсь безгласным,— пояснил я, чувствуя, что бледнею.

Перышкин разинул было рот, но Адель Васильевна не дала ему выговорить и, взглянув на меня не менее ласкаю-

щими глазами (лицо ее, однако, вспыхнуло), с тою же улыбкою сказала:

— Ну, что же с вами делать! Бог с вами! Придется решить дело нам с Алексеем Ивановичем вдвоем.

Я поклонился и отошел немного в сторону.

— Я не понимаю, Сергей,— начал было Перышкин.

— Так что же вы, Алексей Иванович,— снова перебила его Адель Васильевна,— согласны со мной, что надо примириться с необходимостью и до приискания лучшего нанять это помещение?

— Совершенно согласен! — отвечал Перышкин с жаром.— Я просто не понимаю, как... можно не согласиться!

Он запнулся на фразе. Я, стиснув зубы, стоял в стороне и глядел в окно, но я готов был отдать голову на отсечение, что он запнулся на фразе и окончил ее не обращением ко мне потому, что ему подали знак этого не делать.

— Итак, решено,— по-русски сказала Адель Васильевна.— Ну, Любовь Прохоровна, мы берем эту квартиру.

— Слушаю-с,— отвечала Любовь Прохоровна.— Завтра изволите уезжать в деревню?

— Да, думаю. Зайдите ко мне, нам еще надо потолковать.

— Слушаю-с.

— А теперь отправимтесь,— обратилась к нам Адель Васильевна.

Перышкин кинулся за нею,— я не спеша последовал за ним.

— Ну, до свидания,— сказала Адель Васильевна, когда мы приблизились к коляске.

— До свидания! до свидания! — отвечал Перышкин.— Через полчаса я вам завезу...

— Хорошо, благодарю...

Я приготовился любезно и беспечно с ней раскланяться и уже склонил голову, но она, как бы не замечая этого, взяла меня под руку и спросила:

— Вы проводите меня до дома? У меня разболелась голова, и я хочу дойти домой пешком.

«Отвечу, что к величайшему моему сожалению, вынужден отказаться от этого удовольствия! — мелькнуло у меня в голове.— Но нет, нет: гораздо лучше беспечно выразить свою радость, что удостоен такого приятного общества».

И я ответил:

— С величайшим удовольствием.

— А я через полчаса! — сказал Перышкин и полетел в противоположный конец улицы.

Он не огорчился приглашением меня в провожатые — это я очень хорошо уловил — его только как будто это несколько удивило,— да нет, кажется, даже и не удивило.

«Очевидно, они окончательно сговорились! — сказал я себе.— Но когда же было успеть в несколько секунд? Когда! Быть может, давным-давно! К чему же все эти жалобы на то, что мнимый алмаз оказывался до сих пор стеклышком? Зачем надо было отводить мне глаза, дурачить меня? Хорош приятель-то, друг детства-то, хорош! Хороша и она»...

Между тем коляска, по приказанию Адель Васильевны, укатилась, а мы под руку отправились пешком по пыльному тротуару.

О чем начать разговор? А начать разговор надо, и начать непринужденно, беспечно...

— Будь я человек более самолюбивый,— начал я,— я бы теперь каялся, что не сдержал себя и обнаружил перед вами скверный характер, но я не самолюбив. Я могу сознавать свою необстоятельность, сожалею о ней, но в конце концов все-таки не печалюсь, что мои добрые знакомые видят меня в настоящем свете. Я очень рад знакомству с вами, чрезвычайно дорожу им, невзирая на его кратковременность, и чрезвычайно желал бы заслужить вашу приязнь, но если бы для этого пришлось мне напяливать на себя личину грандиозности, я бы бежал... как бы это меня ни огорчало. Я терпеть не могу разыгрывать роль, как бы выгодно она меня ни выставляла... Да и не в силах принудить себя разыгрывать роль... уже по беспечности своего характера я не в состоянии этого делать... Мне кажется, я потому так и сблизился с Алексеем Ивановичем (я хотел сказать с Алексеем, но язык не послушался), что он позволяет мне быть самим собою... потому так и прочна наша дружба... По моему твердому убеждению, только взаимная невзыскательность и может упрочить отношения.

Она шла молча, слегка наклонив голову, не обертывая ко мне лица. Я видел только разбившуюся прядь вьющихся волос, шелковистые иглы длинных ресниц и прелестный профиль.

— Вы скажете, что наша дружба,— продолжал я,— дружба с детства, скрепляется общими детскими воспоми-

наниями и привязанностями, к которым люди не первой юности обыкновенно относятся с большим чувством,— самою давностью знакомства. Все это так, но, по-моему, главное, что тут скрепляет,— я по крайней мере могу сказать это о себе,— это невзыскательность...

— Я очень благодарю вас, что вы не отказались меня проводить,— вдруг сказала она, поднимая голову и обращая на меня глаза,— сказала без улыбки, тихо, но внятно.

— Помилуйте, Адель Васильевна,— ответил я,— уж если кому кого благодарить, так это мне вас! Во-первых, я здесь сирый человек, никого не знаю; во-вторых, и это во-вторых надо бы поставить во-первых...

— Я серьезно говорю вам, что благодарю вас,— перебила она, не спуская с меня глаз. Они, эти глаза, были по-прежнему бархатными, но взгляд их был другой...

— Но я не понимаю,— возразил я,— за что же...

Она не ответила и пошла быстрее. Я опять видел только прелестный профиль и иглы ресниц.

— Серьезно говорите? — повторил я, но таким тоном, который, по-моему, выражал только мое последнее душевное спокойствие.

— Зайдете вы ко мне? — спросила она, оборачиваясь (мы уже были недалеко от дома).— Я вас прошу, зайдите!

— С удовольствием, Адель Васильевна,— отвечал я с спокойной сговорчивостью равнодушного человека.

— Но нет! — продолжала она,— у тетушки гости... теперь я не могу говорить... Нет, лучше на бале... Но вы не будете на этом бале? Не будете?

— Право, я еще не решил: с одной стороны, я вовсе не охотник до балов, с другой стороны, перспектива просидеть одному в номере «Москвы»...

— Не будете?

— Вероятнее, что буду.

— Я вас прошу... я вас очень прошу, приезжайте на бал! — сказала она, сжимая мою руку (мы уже стояли у крыльца).— Приедете? Я хочу с вами поговорить и — вы удивитесь — попросить у вас совета. Я не знаю, почему я хочу у вас просить совета в таком деле, которое до меня только касается, от которого, как это говорится, зависит моя судьба. Почему именно у вас? — хотите и вы спросить. Потому что вам только верю... Не удивляйтесь, не смейтесь, а пожалейте меня. Да, пожалейте! Я этого стою, и вы ведь

добрый человек... Вы меня можете спасти. Да, спасти! Я не преувеличиваю, именно спасти... Я не могу теперь больше говорить... не хочу... мне надо немножко успокоиться. Не опаздывайте! Прошу вас, не опаздывайте! (Она опять сжала мою руку). Я вас жду!

Не дожидаясь моего ответа, она быстрыми шагами подошла к дверям и позвонила.

— Когда приедет Алексей Иванович Перышкин,— приказала она отворившему двери лакею,— скажите, что я не могу его сегодня принять.

С этими словами она скрылась.

Я отправился в обратный путь по пыльному тротуару.

«Что это еще за комедия? — думал я.— Что это комедия,— в том сомнения нет. А если не комедия?»

Я не решил этого вопроса, но решил, что, во всяком случае, мне следует поехать, куда назначено, и выслушать, что желают мне передать.

ЗАГОРОДНЫЙ БАЛ

Итак, уездный предводитель Порыгин давал бал...

Теплая майская ночь была тиха и светла. Дребезжащий фаэтон (который вместе с высокими, как дромадеры, лошадьми и хромым кучером добыл для меня услужливый хозяин «Москвы») быстро катился по дороге; от леса, обступавшего с одной стороны придорожные зеленые поля, посеребренные месяцем, веяло свежестью; я сидел, держа белые бальные перчатки, и в сотый раз повторял вопрос: могу «спасти» ее? Каким образом я могу спасти ее? От чего? От кого? Я делал всевозможные предположения, в конце концов все-таки ни к чему не приходил и утешал себя заключением, что так или иначе все-таки следовало поехать и выслушать хотя бы сцену из комедии...

Когда фаэтон мой прокатился по широкому двору, пестревшему разноцветными фонарями, и остановился у горевшего огнями белого каменного дома, музыка уже гремела и в окнах мелькали тени танцующих.

«Извинюсь,— приготовлялся я, входя на лестницу и натягивая белые перчатки,— скажу, что весьма сожалею, если несколько опоздал, что я к ее услугам, готов слушать ее и, чем могу, служить ей... Перышкину попеняю, что уехал один, меня не подождал...»

При входе в залу я увидел запавшие мне в память желтые обрюзглые щеки,— они не получили привлекательности от объемистого белого батистового галстука,— которые раздвинулись в улыбку, увлекая за собою нафабренные усы и открывая словно тоже нафабренные зубы, и меня приветствовал Порыгин, и с крепким рукопожатием изъявил, как искренно благодарен мне за приезд, выразил нетерпеливое желание представить меня своей жене и попросил проследовать за ним в гостиную.

В зале кружились черные фалды и яркие разноцветные юбки, но я не высмотрел между танцующими ни Адель Васильевны, ни Перышкина,— их не было и в гостиной, где оставил меня Порыгин, отрекомендовав самым лестным образом своей супруге, маленькой, но замечательно безобразной даме, отличавшейся изяществом костюма и совершенством великосветской дрессировки, которую окружали солидные особы женского и мужского пола, не принимавшие участия в танцах.

Выразив свое сочувствие к прелестям итальянской оперы и деревенской природы, я счел приличным воспользоваться появлением какого-то новоприбывшего беленького старичка и благополучно выбрался в примыкавшую к гостиной оранжерею, таинственно освещенную розоватым фонариком.

«Наверное, здесь сидят! — подумал я.— Конечно, я не стану нарушать их уединения — я сяду вот здесь»...

Я даже кивнул на искусственный пень, возвышавшийся среди каких-то широколиственных растений, но не сел, а медленно обошел всю оранжерею, нюхал цветы и осматривал листья.

Оранжерея была пуста.

Может быть, они еще не приехали?

Я рассудил, что во всяком случае мне не следует оставаться особняком и держаться в уголке, точно я поджидаю, волнуюсь, поглощен предстоящим объяснением, а надо вмешаться в толпу, завести с кем-нибудь разговор. С таковым решением я направился обратно в гостиную.

И потом, кто знает, пришло мне в голову, быть может, она меня там ищет...

Я вздрогнул как от электричества, и отступил. Она стояла передо мной вся в белом, с протянутыми вперед руками, протянувшимися как бы невольно, в беззаветном влечении, без слов, без улыбки, но сияющая радостью.

И, творец миров, до чего ослепительна была она в эту минуту!

Я хотел что-нибудь сказать, но ничего не нашел и только поклонился.

— Приехали!.. Приехали!.. Добрый!.. добрый! — проговорила она.— А я так боялась, что не приедете!

— Почему же вы думали, что я не приеду? — спросил я, стараясь елико возможно нагляднее выразить спокойное удивление.

— Я так боялась,— повторила она,— так ждала!

— Я к вашим услугам,— сказал я.

Лицо ее вдруг словно подернулось облаком, она как будто опомнилась, опустила глаза; протянутые вперед руки упали.

— Я вам очень благодарна,— проговорила она.

Несколько секунд мы стояли молча.

— Чем же я могу вам служить? — спросил я.— Я нетерпеливо желаю доказать вам мою готовность исполнить, насколько это в моих силах, все, что вы прикажете.

(Я был убежден, что тон у меня совершенно непринужденный, и был этим чрезвычайно доволен).

— О, не говорите так со мною! Не говорите так со мною! Не говорите так! Я и без того не знаю, с чего начать... Я не привыкла открывать свою душу... Говорите со мной подобрее!..

Какой взгляд устремился на меня! В нем была и мольба, и робкая надежда, и скорбный упрек, и... Да чего в нем не было!

— Адель Васильевна, верьте, я готов служить вам, как могу,— произнес я все-таки сдержанно.

— Благодарю... благодарю... Я еще не сказала здравствуйте... (она протянула мне руку).— Я почти испугалась, когда вас увидела...

— Испугались?

— Да... Я уже почти была уверена, что вы не приедете...

Опять мы простояли несколько секунд молча. Потом она проскользнула в глубь оранжереи, где была скрытая в зелени скамья genre rustique [1], и сказала:

— Тут нам никто не помешает.

Я поместился рядом с нею.

---

[1] В деревенском стиле *(франц.)*.

— Сергей Павлович,— начала она, не глядя на меня,— что делать женщине, когда она видет, что ошиблась?

— То есть как ошиблась, Адель Васильевна? — спросил я.— В чем?

— В том, что она может быть счастлива только счастьем другого... Вообразите себе женщину, которая была очень, очень одинока... Знаете вы, что это такое одиночество?

Она ждала ответа.

— Да, знаю,— ответил я.

— Вдруг она встречает человека... очень хорошего человека... Они начинают часто видаться... Она не думала, что может из этого выйти, пока один случай не дал ей понять, что он ее полюбил... Сначала это ее испугало, и первая ее мысль была бежать от него... Этому помешали обстоятельства. Она под разными предлогами стала избегать с ним встреч... но это не помогло, а только мучило его... и ее, потому что она видела себя причиной его мучений... Потом ее стала трогать его преданность, такая беспредельная, такая самоотверженная!.. Она стала думать, что, может быть, в его привязанности она найдет счастье... Она знала, что он мало подходит к ее идеалу человека... но где же я найду такого? — думала она...— Может быть, ее сомнения продолжались бы долго, если бы это не заставляло его страдать. Она заставила умолкнуть сомнения и дала ему слово выйти за него замуж... Вдруг совершенно случайно, неожиданно... как будто волшебством... глаза ее точно открываются... и она чувствует, что исполнить свое обещание значит загубить свою жизнь... Что делать этой женщине? Скажите, что делать этой женщине?

— Объясниться с ним откровенно,— как мог сдержаннее отвечал я.— Сказать ему то, что вы сказали мне! Ни один порядочный человек не захочет купить счастье такой ценой! А если бы это случилось, если бы он решился настаивать, требовать, то для такого человека не стоит себя губить!

— Эта женщина — я,— сказала она,— а тот, кому я дала слово — ваш друг... Алексей Иванович.

— Я не думаю, чтобы Алексей Иванович потребовал от вас подобной жертвы,— сказал я.

— Я не этого боюсь!

— Чего же? — спросил я.

— Я боюсь себя!

— Себя?

— Да, себя. Меня замучила совесть! Я ведь разобью его жизнь! За что? За то, что он безгранично мне предан! Это ужасно! Я не могу выносить этой мысли!

— Но если вы сознаете, что не любите его, что загубите себя...— начал я.

— Чем он виноват, что я сознала это так поздно? — перебила она.— Человек надеялся, жил этими надеждами, и вдруг все у него отнять!

— Это тяжело,— сказал я,— но, по-моему, тут иного выхода нет и быть не может.

— Вы не думаете, что можно победить себя, найти утешение в том, что дал человеку счастье?.. мало-помалу привыкнуть, успокоиться?.. Иногда мне кажется, что можно... Я было совершенно приготовилась назначить день свадьбы, но когда наступила минута сказать решительное слово, я теряю мужество! А еще недавно я так спокойно говорила себе, что моя судьба все-таки завидна, что я встретила человека хорошего... Так примирялась я с тем, что идеалов не существует и что мне не суждено испытать того счастья, какое я себе когда-то представляла!..

Я слушал, едва переводя дыхание. Я замирал, как над пропастью у дверей Эдема,— стоит только решиться на жуткий скачок — и человек в Эдеме!

Она сжала свои нежные руки так, что они хрустнули, и устремила на меня такой взгляд, который мог сразить Илью Муромца.

— Да, *недавно* еще,— повторяла она со страстью,— *недавно!*.. но теперь... но в эту минуту!..

Голос ее оборвался, она точно испугалась, что сказала слишком много.

— В эту минуту? — спросил я, одолеваемый головокружением.

Она молчала, но как говорили ее глаза!

Я опять пробормотал:

— В эту минуту?

— Я чувствую, я знаю, что *может быть*, что *есть* счастье,— прошептала она, но так отчетливо, так внятно, что каждое слово обжигало, как огонь,— то счастье, которое я себе представляла, которого я жаждала... В эту минуту... В эту минуту мне страшно!..

Она умолкла.

Я с усилием проговорил:

— Колебание тем более немыслимо...

— Но разбить его надежды! Отравить всю его жизнь!— возразила она.

— Однако...

— Это ужасно!

— Однако...

— Вы ведь понимаете, как это ужасно!

— Если это делается легкомысленно... но если нет другого выхода... то никто не может осудить... Принеся ему в жертву собственное счастье, разве вы сделаете его счастливым? Разве счастье возможно основать на обмане, даже самом великодушном? Разве вы можете поручиться, что выдержите свою роль до конца? Подумайте, какую мучительную роль!

В порыве тоски она опять прелестно стиснула свои нежные руки.

— Неожиданно для вас самих вас выдаст и голос, и взгляд, если не слова,— продолжал я,— непременно выпадет минута, когда вы забудете роль, если она окажется свыше ваших сил... И что же тогда? Как горько он упрекнет вас за подобную жертву! И он будет прав! Совершенно прав! Но положим, вам удастся обманывать его всю вашу жизнь...

— Всю жизнь! — повторила она, вздрагивая.

— Да, всю жизнь! Положим, удастся,— скажите, разве это не значит ежеминутно оскорблять его человеческое достоинство? Кто дал вам право ставить его в такое унизительное положение? Вы не только его не любите, вы его даже не уважаете!

— Мне жаль его! О, если бы вы знали, как жаль! И как совестно перед ним! — проговорила она со слезами в голосе.— У меня не хватает духу сказать ему... Он счастлив, он надеется, и вдруг я отниму у него все это?..

— И отнимайте! Отнимайте! — возопил я.— Он человек! Он перенесет... и поблагодарит вас! Обвинить вас он ни в каком случае не может... Чем вы тут виноваты? Меня даже изумляет, как вы можете колебаться... какие у вас еще могут быть сомнения!

Слова у меня сыпались с быстротой оборвавшегося ожерелья и долго сыпались. Она уже не возражала. Лицо ее то оживлялось, и сияющие глаза как будто говорили мне: «Да, да, ты убеждаешь меня, я тебе верю, не хочу изнывать жертвою, хочу счастья», то вдруг становилось задумчиво, и на меня падали взгляды, отуманенные грустью

и сомнением. И первое и последнее подействовало на меня, как удар хлыста на рьяного рысака.

— Нет, это невозможно,— заключил я,— вы не принесете подобной жертвы, не можете... не должны!.. Почему вы знаете, что вы когда-нибудь — может быть, через год, может быть, через день... может быть, завтра же — не встретите человека, который... которого вы полюбите... глубоко... страстно... Человека, который... заполнит вашу жизнь... одним словом, человека, который окажется не стеклышком, как оказывались встречавшиеся до сих пор, а настоящим алмазом,— прибавил я, насильственно улыбаясь, замирая всем существом и пристально глядя на какие-то широкие листья, ниспадавшие в дальнем углу из висячей белой вазы.

Я передохнул; я ожидал, не скажет ли она чего-нибудь... Она молчала.

— Вы, помните, говорили мне, что до сих пор искали алмаз, а находили только стеклышки,— продолжал я с тою же улыбкой, с тем же замиранием всего существа и так же пристально рассматривая листья в висячей вазе.— Конечно, найти алмаз — большая редкость... Конечно, нельзя поручиться, что вы его найдете... но, с другой стороны, нельзя и отрицать, что это может случиться... Ведь случаются самые удивительные вещи... настоящие чудеса...

Я опять передохнул. Она все молчала.

— Да, отрицать нельзя,— снова начал я.— Я думаю, вы согласитесь, что отрицать нельзя?..

Ни слова в ответ.

Что значит это молчание? Как понимать его?

Меня томительно тянуло взглянуть ей в лицо, уловить на нем выражение, а между тем я не отрывал глаз от листьев в висячей вазе. Меня бросало то в жар, то в холод, но я точно оцепенел и в этом оцепенении и просидел неизмеримое по томлению время.

Вдруг послышались голоса.

Она быстро приподнялась со скамьи и прошептала мне:

— Да, чудеса бывают!.. Я не все сказала вам... Я... Я...

Она не могла договорить фразу, но когда глаза наши встретились, постаралась улыбнуться и, как бы шутя, добавила:

— Я нашла алмаз, кажется!

— Нашли? — вымолвил я.

— Да, мне кажется, нашла,— улыбалась она.— Нет, не кажется,— я знаю, я чувствую, что нашла...

Все вокруг — и стены, и зеленые кадки, и скамьи genre rustique, и каждый цветок и листок закричали мне: «Ты алмаз! Ты алмаз!»

— Чудо совершилось,— поспешно, все в шутку, шептала она,— но что даст мне это чудо? Увижу я вас еще? Да?

Когда я успел открыть рот, ее уже не было, и только качающиеся ветки померанцевых деревцов указывали, куда она скользнула. Ко мне с противоположной стороны приближался Перышкин под руку с хозяином дома.

— Наконец, мы тебя отыскали! — сказал, останавливаясь и кидая быстрый взгляд по всем направлениям Перышкин.— Как ты уединился!

— Приятно помечтать в царстве флоры! — любезно осклабился Порыгин.— Но там, в залах, порхают живые цветы и нетерпеливо вас ожидают!

— Меня? — приятно удивился я.

— Да, да! Я был засыпан вопросами, где вы... Нас с Алексеем Ивановичем, откомандировали отыскать и привести... хотя бы силою!

— Но ведь сила не понадобится, когда дело идет о живых цветах? — сказал Перышкин.

— Разумеется! — ответил я в тон,— живые цветы сами по себе всесильны...

— Вас ожидает целый букет,— сказал Порыгин.

Пошучивая, мы все трое направились в бальную залу, где гремел вальс; одни разноцветные платья и черные фраки кружились, другие сидели у стен; после зеленого полумрака оранжереи яркий свет люстр резнул мне глаза.

Едва мы показались на пороге, как большая, смуглая, полновесная дама в белом, с ног до головы перехваченная красными лентами и гирляндами, протянула мне руку и воскликнула:

— Ах, Сергей Павлович, наконец-то вы явились! Садитесь вот тут!

Порыгин значительно подмигнул мне правым глазом, как бы давая понять, что не будет мешать мне наслаждаться, и обратился к кому-то в сторону; Перышкин быстро попятился и — хотя я не обертывался, но готов был поручиться головой — побежал обратно в оранжерею. Я с поклоном занял место, указанное дамою, в которой по узкому лбу и замечательно подобным вареному чернослив глазам

не замедлил признать живописную председательницу «Общества Доброхотного грошика».

— Потолкуем о нашей швейной мастерской,— продолжала она.— Я теперь ею только живу! И вообразите,— какое несчастье! — У нас поднялись споры насчет швейных машин! Это ужасно!

Я выразил надежду, что все в непродолжительном времени, вероятно, отлично уладится и к общему удовольствию.

— Ах нет, я не надеюсь! — вздохнула председательница, махая веером, как платяной метелкой,— я не надеюсь! У нас всегда истории. Наши женщины еще не привыкли мыслить. Прогресс в России идет медленно.

Я и на это выразил надежду, что все уладится в свое время отлично и к общему удовольствию.

— Ах нет, нет! Наши женщины еще не привыкли мыслить. Прогресс идет медленно.

И с большим одушевлением и удовольствием, как будто вспомнивши лучшее место из урока, которого едва не пропустила, она быстро добавила:

— Наши женщины еще не умеют стоять на своих ногах!

Я и на это хотел выразить приятную надежду, но меня предупредил не сильный, но очень резкий голосок, энергично и с горечью заметивший:

— А вы *этим* женщинам во всем уступаете!

— Я уступаю? Как я уступаю? — встрепенулась председательница, обертываясь, точно уколотая булавкой, и этим движением давая мне возможность усмотреть кончик острейшего носика, принадлежащего обладательнице голоса, которая помещалась за ее крупной фигурой.— Как я уступаю?

— Уступаете! Уступаете! Поддаетесь совершенно! Совершенно! Совершенно! Не имеете характера настоять! Позволяете собою управлять, как угодно!

— Ах, Ксения Матвеевна, как вы странно рассуждаете,— не без досады сказала председательница.— Я, право, удивляюсь!

— Конечно, позволяете управлять собою! — прервала Ксения Матвеевна с новою энергией.— Какое ж тут сомнение! Вы поддаетесь, поддаетесь ужасно! Я уверена, что мы выпишем машину, которая ни двойной строчкой шить не будет, ни суташом! Я это тогда же почувствовала! А ведь

вы сами соглашались, что уж если выписывать машину, так с двойной строчкой и с суташом! Да это и ясно... Ясно, как день!

— Ах, ну будьте же между нами судьей, Сергей Павлович! — обратилась ко мне председательница.

Острейший носик вынырнул из-за председательского бюста, перевитого гирляндами, а с ним и пара темных бегающих проницательных глазок и рыженькие вихорки над красноватыми бровками,— в общем прехарактерная миниатюрная физиономия дамы, которая устремила на меня подозрительный взгляд.

Сообразив, что вижу пред собою тоже члена «Общества Доброхотного грошика», я поклонился. Ответный поклон не замедлил последовать, но и пронзительные глазки, и острейший носик, и даже рыженькие вихорки выразительно говорили: «Не подкупишь никакими любезностями, никакими сокровищами, прежде чем не узнаешь, как мы, насчет двойной строчки и суташа!..»

— Будьте между нами судьей! — повторила председательница.

— Я в таком деле, боюсь, весьма плохой судья,— мягко возразил я.

— О нет, нет, вы судья, я уверена, прекрасный! Будьте судьею между мной и Ксенией Матвеевной! — настаивала она.

— Но трудно, мне кажется, быть судьею в деле, которое ясно, как день! — заметила Ксения Матвеевна с худо подавляемым негодованием.

— Я, право, чрезвычайно затрудняюсь,— уверял я.

— Ах, почему же? — возразила председательница,— ведь мы с вами члены, мы с вами одного поля ягоды!

Последнее выражение, очевидно, ей ужасно понравилось; она не могла устоять против удовольствия повторить его еще раз, и блеск черносливных глаз и улыбка малиновых губ простодушно выразили: «Найдите-ка, кто бы лучше меня подыскал словечко».

— Да, мы с вами одного поля ягоды,— повторила она еще раз.

В эту минуту черный фрак, отличавшийся особенно развязной грацией, подкатил, как на коньках, попросил на вальс, умчал одного со мной поля ягоду, и я очутился во власти рыженькой Ксении Матвеевны.

— *Неужто для вас не ясно!* — засыпала она строптиво,

склоняя в мою сторону свою фигурку в голубом шелку и белых кружевах, устремляя на меня в упор пронзительные глазки и точно пришпиливая каждое слово.— *Неужто не ясно то, что яснее дня?* Что же за швейная мастерская, которая не может вышивать суташом? Вдруг заказ вышить суташом, и что тогда? Придется отказываться от работы. И чем объяснять все это? Разумеется, падет все на Общество. Уроним Общество! Уничтожим его! Всякий поймет ведь, что у нас интриги в Обществе... Бесхарактерность... происки... Я не хочу никого осуждать, но вас, как нового члена, я должна предупредить, что у нас позволяются ужасные вещи! Я беспристрастна, но, по-моему, уж если я беру на себя обязанность, то я должна ее свято исполнять. Не правда ли? Тем более обязанность председательницы Общества! Уж тут слабость характера неуместна! Согласитесь, что неуместна! Есть столько людей, которые пользуются этой бесхарактерностью для своих интриг... И выбор в председательницы именно потому сделан, чтобы всем вертеть по-своему... Я осуждать не желаю, но ведь вы понимаете, что молчать в таких случаях неблагородно, низко! Согласитесь, что вас, нового члена, я не могу оставить в заблуждении; что я должна стараться, чтобы все беспристрастные между нами поставили себя отдельно... протестовали... настаивали...

Второй черный фрак, мало уступавший первому в самонадеянной грации, подлетел с намерением увлечь ее в вальс, но она пылкой скороговоркой ответила ему: «Не могу, Петр Петрович, не могу, не могу! Простите, не могу!» — и продолжала:

— Согласитесь, что все мы, беспристрастные, должны соединиться!.. протестовать!.. настаивать!..

Ее прервало возвращение моего поля ягоды — председательницы в алых гирляндах, которую первый фрак изумительно склонил в кресло — именно не посадил, а склонил,— склонил одним махом, с ловкостью и быстротой, приобретаемыми только долголетнею и постоянною практикою этого искусства.

— Ах, эти балы! — заметила пренебрежительно председательница, расправляя гирлянды.— Такое наказание! Сколько они отнимают от серьезного!

Я высказал предположение, что балы, как и прочие развлечения, служат отдохновением после серьезных занятий.

— Ах, нет, нет,— убедительно возразила она,— меня они только утомляют! Мне нужно только серьезное, серьезное и серьезное. Мы, женщины, должны, наконец, стать на свои ноги... А! Вот и наш бухгалтер. Не правда ли, что мы, женщины, должны, наконец, стать на свои ноги?..

— Еще бы! — ответил приблизившийся быстроглазый первый бухгалтер, с густыми бровями колесом, в высочайшем шиньоне из мелких локонов, порядком заматерелый, пропитанный пахучими пудрами, усыпанный букетами полевых цветов по бледно-розовому крепу, очевидно решавший все вопросы безапелляционно,—еще бы! Здравствуйте, новый член (последнее уже относилось ко мне), что вы думаете о воспитательном доме? По-моему, его прежде всего надо непременно перекрасить. Совершенно перекрасить. Полы, рамы...

— Да, да,— согласилась председательница.

— Я *думаю*, что прежде всего надо окончить устройство швейной мастерской! — заметила рыженькая Ксения Матвеевна с такою язвительностью, которая сразу дала мне понять, что первый бухгалтер идет против суташа.

— Я нахожу, что одно другому нисколько не мешает! — возразил первый бухгалтер, сверкнув глазами и выпрямляясь.

— А я *нахожу*, что мешает, очень мешает! — подхватила со страстью Ксения Матвеевна, не дав времени высказаться председательнице, уже открывшей рот для «да, да, разумеется»,— я надеюсь, что *не одно* мнение должно приниматься, а все! Наконец, к чему же у нас подают голоса? К чему члены?

Приблизился хорошенький казначей в желтом тарлатане и золотых колосьях, запыхавшийся от вальса, улыбающийся, за казначеем второй бухгалтер, пухлый, томный, напудренный, в черных кружевах, розовых бутонах и локонах по плечам, затем еще два члена — один розовый, другой голубой, и около меня образовался круг высоких куафюр и пышных юбок, отрезывавший со всех сторон путь к освобождению.

Я, впрочем, не рвался из этого круга. Перекрестный огонь по поводу суташа и двойной строчки, делавшийся все жарче и жарче, не резал мне слуха; я соглашался с одного со мною поля ягодой — председательницей, что необходимо женщине стать на свои ноги, поддерживал мнение первого бухгалтера касательно капитальной перекраски

воспитательного дома, не отказывал в сочувствии суташу, но все это не мешало мне заслушиваться внутреннего голоса, неумолкаемо мне твердившего: «Ты алмаз! Ты алмаз! Ты алмаз!..»

Звуки оркестра, призывавшие к кадрили, прекратили прения о суташе и перекраске; члены «Общества Доброхотного грошика» позволили ловким кавалерам увлечь себя «на арену веселья», как выразился один из помянутых кавалеров (в том числе хорошенький казначей был увлечен художником Мозыревым, который не только кудри, даже эспаньолку подвил и был победоносен, становясь в позы придворных, увековеченных бессмертной кистью старинных мастеров, и распространяя благоухание резеды и розы), и я снова очутился в непосредственной власти рыженькой Ксении Матвеевны.

— Нет, вы только скажите, к чему же тогда подавать голоса? — начала она,— к чему тогда члены? Ведь согласитесь, уже если мы... И т. д. и т. д.

Вдруг я увидел *ее* под руку с Перышкиным... По мере того, как она приближалась, в глазах у меня меркло... Проходя, она заметила Ксению Матвеевну и остановилась пожать ей руку (я в душе горячо благословил это рыженькое строптивое создание!) и должна была выслушать поток нареканий на противниц суташа.

Она терпеливо слушала и — я видел это — не слыхала. Какая-то невыразимая улыбка — чуть заметная — скользила по ее устам,— улыбка и нежная, и скорбная, и счастливая... Улыбка, от которой смутился мой ум и которая не могла относиться к суташу!..

Глаза наши ни разу не встретились, и я в этом находил какую-то особую прелесть, какое-то особое наслаждение.

Я не сомневался, что она еще ничего не сказала Перышкину: он сиял, как чающий, что вот-вот отверзутся небеса...

Мне почему-то пришло в голову, что лучше будет, если я не подам повода к злословию, отправлюсь в кабинет курить или окажу внимание которому-нибудь из розовых или голубых бухгалтеров и казначеев, или еще раз заявлю хозяйке свое пристрастие к итальянской опере, но я ничего подобного не сделал и не удалился от нее ни на шаг во весь остальной вечер. Бал продолжался своим чередом, танцы сменялись танцами, около меня возобновлялись, утихали и снова разгорались перепалки по поводу двойной строчки и суташа; Перышкин подивился, как я молчалив, и осведо-

мился, не скучаю ли; Порыгин выражал мне уверенность, что мы понимаем друг друга и между нами не может быть недоразумений; художник Мозырев шептал мне свои критические замечания о русских носах и скулах; ни она мне, ни я ей до конца не сказали более ни слова...

При разъезде художник Мозырев крикнул мне:

— Что ж, катим завтра в Воскресенское?

— Катим,— отвечал я.

Забуду ли я когда-нибудь мое возвращение с этого бала? Та предрассветная мгла, те быстро меркнувшие, точно таявшие звезды, вдруг налетавший откуда-то свежий ветерок, дребезжание ветхой коляски по дороге, тишина окрестных полей — я их вижу, я их чувствую, а между тем как далеко от меня то блаженное смятение, которое тогда заставляло трепетать мое сердце и кружило мне голову!

Время от времени я спрашивал себя:

«Неужели так скоро?.. Может ли это быть так скоро? Ведь нет еще полных двух суток!..» Я тщился и анализировать, как подобает развитому дворянину, якобы отдающему себе отчет во всех своих великих и малых душевных движениях, но когда к чему-либо вели подобные анализы?

Когда коляска задребезжала по б-ской мостовой, было уже почти светло. Несколько женщин, по всем признакам поденщиц, спешили в разные стороны. По старой привычке я хотел занять свою мысль этими горемыками, но их бедные убогие фигуры исчезли в сиянии белых кружев прекрасного видения с бархатными глазами так же быстро, как исчезают всякие мрачные тени при лучах лучезарного солнца; попробовал я сосредоточить мысль на мелькнувшем при повороте улиц заплесневелом воспитательном доме, но и его слепые окошечки затмило то же сияющее белое видение...

ДЕРЕВЕНСКОЕ ГНЕЗДО

На другой день после вышеописанного красивый тарантас, запряженный тройкой ретивых лошадей, оставил город Б-в и стрелою помчался по проселочной дороге в сельцо Воскресенское.

В тарантасе сидели Алексей Иванович Перышкин, художник Мозырев и я.

— Тройка у вас знатная! — сказал художник, когда лошади приустали и пошли тише,— любой конь просится

к Сверчкову или к барону Клодту... Вот только кучер маленько подгадил: нет в нем ничего яркого, характерного,— ни размаха, ни удали, никакого эдакого черт меня побери!— Даже тип точно не русский... На порядочном манекене складки армяка легли бы мягче, эластичнее! В лице — ни малейшей игры!..

— А каков простор? — перебил Перышкин.— Какова благодать? Что за вечер! Как дребезжат бубенчики в тихом воздухе! Динь-тринь... динь-динь-динь...

— Энтузиаст! Энтузиаст! — засмеялся художник.

— Что ж, дурно разве? Этот изумрудный косогор, эта узкая проселочная прихотливая дорожка, эти волнующиеся нивы...

— Ничего, ничего... Довольно мягкое сочетание тонов... Плосковато немножко, однообразно...

— Не знаю, как у кого,— продолжал Перышкин,— а у меня сердце так как-то устроено, что всегда мучительно и вместе сладко сжимается при виде бедной, убогой русской деревушки... На всякие римские ватиканы, неаполитанские берега, ослепительные Парижи, изумительные Лондоны и Нью-Йорки я гляжу не в пример равнодушнее...

— Энтузиаст! — повторил художник, закуривая папиросу, и, закурив, прибавил: — Патриот!

— Ничто для меня не сравнится с моею родною Россией! — продолжал Перышкин.— Ничто не возбудит во мне столько жгучей горечи и вместе с тем — странно сказать! — какой-то особой, совсем особой отрады, точно встретился с старым злополучным другом!..

— Патриот! Патриот! — повторил художник, посмеиваясь.

— Вы все смеетесь! И не грех вам? Сергей,— обратился он ко мне,— нападем-ка на него общими силами... Но ты, кажется, не слыхал нас...

— Нет, слышал,— отвечал я.

— Так поддержи меня, скажи ему, что все величественные горы и картинные пропасти чужих стран никуда не годятся, например, вот перед этим озером с плавающими по его водам белыми кувшинками!

Перышкин кивнул бородою вправо, где среди густого дубового леса синело тихое, круглое, как чаша, озеро, обросшее густым косматым венцом разной зелени.

— А недурно! Право, недурно! Очень недурно! — вскрикнул художник.— Здесь бы приостановиться да эскизик набросать.

— Никита, стой! — приказал Перышкин кучеру.— То есть сверни вот туда... к озеру...

Минут через десять художник уж сидел на складном стуле и набрасывал эскизик. Перышкин, развалившись на траве, глядел на небо, а я бродил по лесу.

«Я не должен был с ним ехать! — в сотый раз говорил я себе.— Я теперь связан, я точно виноватый... А чем я виноват? Ведь она уже давно причислила его к стеклышкам!.. Удивительно, как это он не понимает своего положения! Но теперь, верно, скоро все уяснится».

И у меня роились мысли: как это будет уясняться, как уяснится, как, наконец, рассеятся все недоумения, не будет места сомнениям, как наступит желанная, мучительно ожидаемая известность, уверенность...

«Да неужто все это не во сне, а наяву? — удивился я.— Неужто это любовь? Меня точно поток затопил, не могу опомниться! Мог ли я этого ожидать!»

— Сергей! — раздался голос Перышкина.

— Иду! — крикнул я и поспешил на зов.

— Где это вы, батенька, пропадали? — встретил меня Мозырев, уже увязывавший свой складной стул и покойный мольберт.

— Куда это ты девался? — вскрикнул Перышкин.

— А что, эскиз удачен? — спросил я.

— Сойдет,— отвечал художник,— только опять беда: некем оживить пейзаж! Уж мы Никиту посылали вон в ту лощинку поймать пастуха,— привел он его, да мальчишка пень-пнем! Я, понимаете, ведь не требую красоты, я требую только физиономию! Можно быть серым, бесцветным, но чтобы в этом имелась своя соль... А тут ничего,— ни кожи, ни рожи! Так и отослал обратно! Нахлобучил вот шляпу на Алексея Ивановича, да его и поместил.

— Пора, пора, господа! Лошади не стоят...— заторопил Перышкин, вскакивая в тарантас.

«Он тоже спешит! — подумал я,— он тоже томится нетерпением, ждет, надеется... О бестолковый, несчастный человек!»

— Пошел скорее! — крикнул Перышкин кучеру.

Тарантас покатился.

— Давно я не живал в своем Воскресенском,— заговорил Перышкин,— и дом и сад запущены... Уж вы, господа, не взыщите...

— Полноте, батенька, что за церемонии! — ответил художник.

Я находил, что и мне следовало бы что-нибудь ответить, но у меня словно отнялся язык.

«Я не должен был с ним ехать! — казнился я снова.— Не должен, не должен!»

— Я, впрочем, уведомил Матвея Максимовича, только вряд ли он успеет что-нибудь приготовить,— продолжал Перышкин.— Этот Матвей Максимович отличнейший человек — удивительно развитой для своей среды. Я не нарадуюсь, что взял его себе в управляющие... Вот уж наши луга!.. Скоро мы и дома... Никита, пошел скорей!

Никита пустил лошадей вскачь. Тарантас перелетел через пять-шесть косогоров и лощин, перемчался через поле, спустился под гору, перенесся по широкой, мягкой, точно купеческая перина, обросшей старыми ракитами плотине, вкатил в господский двор и сразу остановился у подъезда господского дома.

— А, Матвей Максимович! Как поживаете? — приветствовал Перышкин гладко причесанного благообразного мужчину лет тридцати пяти, встретившего нас на крыльце.

— Благодарю покорно, Алексей Иванович, слава богу-с,— отвечал Матвей Максимович почтительно, радостно.— Как вы-с, Алексей Иванович, в своем здоровье?

— Ничего... ничего... Вот я к вам и нагрянул!

— Обрадовали-с, Алексей Иванович... А я все думаю: нет, уж, видно, Алексей Иванович в нашу глушь не пожалуют.

— Не пожалую? Да на свете только и хорошего, что эта ваша глушь!

— Оно, конечно, здесь прохлады больше-с... Не угодно ли покушать? Я сейчас... Или прежде чаю прикажете? — суетился Матвей Максимович, вводя нас в обширные покои.

— Угостите чаем, Матвей Максимович! А комнаты нам готовы?

— Как же-с, готовы... Я вот сейчас самовар прикажу...

— Отличный малый! — сказал Перышкин, кивая вслед проворно уходящему Матвею Максимовичу,— и уж так мне предан, что даже совестно... Ну, что ж, господа, не раска-

иваетесь, что сдались на мои просьбы и заехали в мое деревенское гнездо?

— Зачем раскаиваться? — отвечал Мозырев, усевшись на окно, выходящее в сад.— Я уж заметил одно местечко, и как только приведу свою персону в порядок, так его и напишу... Местечко весьма недурное, свет эдакий...

Он повертел пальцами.

— Где это местечко? — спросил Перышкин.

— А вон, видите, где скрещиваются аллеи,— отвечал художник, указывая в зеленевшие садовые кущи.— Свет тут удивительно оригинально западает в глубину зеленого свода.

— Вижу, вижу! Я знаю это местечко! Это аллея вековых лип... Сергей, помнишь, как мы там игрывали детьми? — обратился он ко мне.

— Отлично помню,— отвечал я.

— Сколько лет-то утекло! Помнишь тетушку Аграфену Федоровну?

— Как же! — отвечал я.— Помнится, у тебя был ее портрет,— цел он?

— Целехонек! В диванной висит.

— Пойду взгляну,— сказал я.

— Ты дороги-то не забыл?

— Еще бы!

До портрета тетушки Аграфены Федоровны, не во гнев ей, мне было мало дела, но ни один дикий зверь так не желал вырваться из клетки на простор, как я из этой комнаты.

Я направился в диванную, но потухшая сигара заставила меня приостановиться на пороге.

— Что-то он не в своей тарелке! Замечаете? — услыхал я.

Это говорил вполголоса Мозырев. Они с Перышкиным сидели на окнах, и им не видно было дверей, в которые я выходил.

— Да, он что-то не в духе,— отвечал Перышкин, тоже понизив голос...

— А причины не угадываете?

— Какая же причина?

— Не угадываете? Амур, батенька, бог любви пронзил стрелою...

— Неужто?

— Полноте лукавить! Будто не заметили?

— То есть я заметил, но я считал это минутным увлечением... На взаимность ведь он рассчитывать не может...

— Это отчего?

— Как отчего? Она вовсе не такая женщина...

— Не какая?

— Я хочу сказать, что она не увлечется первым встречным,— не без раздражения пояснил Перышкин.

— Любовь зла, полюбишь и козла! — возразил художник.

— Это можно сказать относительно какой-нибудь институтки, которая не видала людей, не думала, не размышляла...— отвечал Перышкин, начиная горячиться и своим ответом показывая, что родню и приятеля он не прочь поставить наравне с козлами.— А она!.. Помилуйте!

— Ого, как вы, батенька, вспыхнули!

— Поймите...— послышалось, как он спрыгнул с окна. Я вздрогнул, как вор, и кинулся в диванную.

«Что ж тут удивительного! — говорил я себе.— Этого следовало ожидать! Друг детства, товарищ юности — все это прекрасно на словах... А я разве чист, как голубь, относительно друга детства и товарища юности? Разве я не подкапываюсь под его счастье? Да, но я, по крайней мере, не позволю себе входить по поводу этого в откровенности с каким-нибудь пустозвоном Мозыревым! И потом, разве я виноват в том, что она его не любит? Наконец, если встреча со мной повлияла на ее решение его удалить, то ведь в этом винить меня нельзя!»

— Сергей, где ты? Иди чай пить! — крикнул Перышкин.— Что это ты замечтался? — заговорил он с тою излишнею развязностью, которая иногда проявляется у людей, старающихся скрыть свое волнение, раздражение или смущение.— На тетушку Аграфену Федоровну все смотрел?

— Да,— отвечал я, садясь за стол.

— Что ж, постарела? — спросил Мозырев.

— Да,— отвечал я.

Художник расхохотался, Перышкин тоже. Я вспыхнул.

— Не смейтесь,— проговорил я, стараясь улыбнуться,— хотя у тетушки на портрете черные локоны и розовые щеки, она все-таки показалась мне старее, чем я привык ее себе представлять... Наши детские воспоминания часто рисуют нам вещи в ином свете, вот что я хотел сказать...

— Бросим детские воспоминания и займемся настоя-

щим,— отвечал Перышкин все с тою же излишнею развязностью.— Посмотри, какие деревенские роскоши: сливки, земляника... крендельки... Честь вам и слава, Матвей Максимович!

— Помилуйте, Алексей Иванович, ничего не успели как следует приготовить,— вздохнул управляющий, стоявший в сторонке, зорко следивший за господами своими сокольими глазами и чутко вслушивавшийся в наш разговор.

— Не скромничайте, не скромничайте, милейший! Иван Иванович! Масла не желаете ли? — обратился он к художнику.

— Могим-с, могим-с,— отвечал художник.

— Сергей! Попробуй-ка вот этих крендельков: кажется, по рецепту тетушки Аграфены Федоровны?

— Точно так-с,— поспешил заявить Матвей Максимович.

— Ну-с, дражайший Матвей Максимович, повестите-ка вы нам, кто из соседей дома...

— Прахины приехали, Сергеевы...

— А главное, поведайте нам, дома ли Адель Васильевна Галкина, которую мы все жаждем видеть...

Сказав это, Перышкин развалился на диване и так небрежно хлебнул из стакана, что поперхнулся, закашлялся и разлил чай.

— Адель Васильевна приехали, только их дома нет,— отвечал Матвей Максимович, подбегая к нему с полотенцем,— они проведывают тетеньку свою Анну Львовну Метелкину...

— А! И неизвестно, когда возвратится? — спросил Перышкин, вытирая платье, залитое чаем.

— Ожидают каждый день...

— Это мне грустно... очень грустно... А вам, господа?— обратился он ко мне и Мозыреву.

— Еще бы! — отвечал Мозырев и запел:

Я плачу, я стражду,
Душа истомилась в разлуке!

— А ты как будто равнодушен, Сергей? — спросил Перышкин, слегка прищуриваясь.

— Нет, я не равнодушен,— отвечал я,— я очень желаю видеть Адель Васильевну и нетерпеливо ожидаю этого свидания...

Мною вдруг овладела ярость, которую я сдерживал только страшными усилиями.

Наступило молчание. Перышкин хотел что-то еще сказать, но только поправлял волосы и бороду.

— О чем ты еще хочешь меня спросить? — проговорил я так же внятно и глядя ему в глаза.

— Я? — пробормотал, несколько растерявшись, Перышкин,— ни о чем...

В эту самую минуту юркий и ловкий Матвей Максимович завертелся у стола, опрокинул корзинку с земляникою, ахнул и начал так сокрушенно извиняться, как будто, по крайней мере, обварил нас кипятком.

— Ничего, ничего,— принялся его успокаивать Перышкин.— Да полноте! Стоит ли из-за этого так суетиться? Бросьте вы землянику и пойдемте гулять... Вечер чудесный... Иван Иванович! Сергей! Как вы думаете насчет прогулки? Пойдемте!.. Грех сидеть в комнате!..

— С нашим удовольствием,— отвечал художник.

— А ты, Сергей?

— С удовольствием,— отвечал я, допивая свой стакан чаю.

— Ну, Матвей Максимович, путеводите! — сказал Перышкин.

— Куда же прикажете, Алексей Иванович? — спросил управляющий.

— Куда хотите, все равно...

— Пожалуйте через балкон,— пригласил управляющий, желая почтительно пропустить его вперед.

— Да перестанете ли вы, милейший Матвей Максимович, со мной церемониться! — ласково укорил Перышкин, беря управляющего под руку,— ведь мы с вами, слава богу, не со вчерашнего дня знакомы, давнишние ведь приятели.

Хотя было в характере Алексея Ивановича, вдруг, под наитием минуты, вообразить никогда не существовавшее приятельство и увлечься им, но на этот раз он, я был уверен, попросту схитрил и взял под руку управляющего единственно для того, чтобы избежать объяснения со мною: я был «друг детства», я был «в его доме», и он страшился всего похожего на огласку всякого соблазна, явно нарушающего дворянские традиции Б-ского уезда, хотя и не прочь был в том же своем доме и того же своего друга детства попробовать поджаривать на маленьком огоньке, и,

вероятно, поджаривал бы досыта, если бы друг детства не оказался повыносливее.

Как принимал Матвей Максимович любезности своего патрона — за чистую монету или нет — неизвестно, но он казался весьма тронутым и признательным.

— Расскажите-ка нам,— продолжал Перышкин,— как вы тут поживаете в деревенской тиши!

— Да как бог даст, Алексей Иванович... Всяко бывает...— отвечал управляющий.— Только вы бы тут жить не могли-с...

— Это отчего? А я именно хочу поселиться в деревне...

— Нет-с, Алексей Иванович, с вашим добрым сердцем невозможно-с... Тут у нас все такие притеснения-с...

— Какие притеснения? Где притеснения?

— Да кругом-с... Кого не возьмите-с... Одно мученье-с!

— Это-то так... Ну, да что ж делать! Уж и то хорошо, что хоть один человек будет этим безобразникам напоминать...

— Они этого ничего не чувствуют-с...

— Заставлю почувствовать! Вы, пожалуйста, расскажите мне все, что у вас тут творится...

— Уж и не знаю, что рассказывать-с... Только вас огорчать-с...

— Полноте, Матвей Максимович, разве я нежиться приехал? Рассказывайте, рассказывайте! Ну, начинайте, милейший... ну, хоть с Сергеевых... Что они?

— Да все по-прежнему-с... Все мужичков обижают... Оно, точно, мужички сами много виноваты... Люди темные, ничего не понимают-с...

— Что это вы клеплете, Матвей Максимович, как ничего не понимают! — прервал Перышкин.

— То есть они понимают, только очень мало-с...— поправился Матвей Максимович.

В эту минуту мы вступили в лес, где вилась чуть проезженная зеленая дорожка, и я с художником остались в арьергарде.

«Надо быть хладнокровнее,— думал я.— Глупо затевать гусарскую ссору или пикироваться. Надо объясниться спокойно, разумно, как следует порядочному человеку... И уж, конечно, с глазу на глаз... Надо собраться с мыслями... надо все это обдумать... Чего бы я теперь не дал за какие-нибудь два часа покоя и уединения! Но на это нечего надеяться:

если я освободился на время от Перышкина, то не отвяжусь от художника...»

— А лесок-то, батюшка, не из последних! — сказал художник, приостанавливаясь и оглядывая окружающую нас чащу.— Видите вы вон ту прогалинку? Видите старый дуб?

Вдали, влево от дорожки, действительно виднелась хорошенькая прогалинка, и я ее похвалил.

— Преизрядно, ей-богу преизрядно! — продолжал художник. Возьму-ка я да и накатаю эскизик! Накатаю, накатаю! Ей-ей, накатаю! Надо только не отсюда, не с дорожки брать, а вон оттуда (он махнул рукой по направлению к прогалинке), вон из той чащи, справа... Оттуда вся прогалинка как на ладонке должна быть, а дорожка эта таинственно эдак, змейкою (он змеевидно повертел пальцем) в глубине.. Да, брать надо непременно из чащи справа... А! Как вы думаете?

— Сколько могу судить, да,— отвечал я с жаром, проникаясь надеждою, что и мне посчастливится юркнуть от него куда-нибудь в чащу.

— Именно! Именно! И зевать нечего: освещение первый сорт! Каждая минутка драгоценна! Живо накатаю и вас догоню! — прибавил он, вынимая свой походный альбом, поспешно раздвигая ветви и быстро направляясь к прогалинке.

Я остался на дорожке, не смея верить в свое благополучие, и постоял с минуту. Перышкин с Матвеем Максимовичем успели так далеко уйти вперед, что уже неявственно доносились почтительный говор управляющего и благосклонные reparties [1] барина; художник уже скрывался в чаще справа в глубине прогалинки.

Я постоял еще с минуту, повернул назад по дорожке, пугливо оглядываясь, сделал несколько шагов, юркнул в сторону, в первое показавшееся мне непроницаемое для взора местечко, очутился среди густой заросли, выбрал, где усесться, и вздохнул, как будто с меня свалили гору.

«Наконец-то я один, могу все обдумать, могу себе начертать окончательный план действий!»

Я повторил это раз десять, потом раз десять повторил: «Да, надо обдумать все, надо себе начертать окончательный план действий!» Но ни обдумывание, ни начертание не давались. Все по-прежнему являлось сначала в форме во-

[1] Возражения *(франц.)*

просов: неужто я — алмаз? Неужто я полюбил? Так скоро — возможно ли это? Если это так, чем же я виноват? Чем же она виновата? Чем заслужил этот Перышкин какую-нибудь жертву с нашей стороны? Затем являлись утвердительные ответы, затем решение не тянуть дела, объяснить его, покончить так или иначе, затем сомнения и опять вопросы, опять утвердительные ответы, решение и опять сомнения,— и опять все так же сначала, как в сказке про белого бычка.

Наконец, оставив обдумывание и начертание окончательного и сказав себе, что сегодня — и уж ни за что не позже завтрашнего дня — между мной и ею, и между мной и Перышкиным не останется ничего недосказанного, я поднялся, усталый, словно на мне целый день возили каменья, и выбрался снова на дорожку.

Уединение мне больше не требовалось, и перспектива провести вечер с Перышкиным и художником меня не особенно волновала: положим, сегодня объяснения не будет,— прежде надо объясниться *с нею*,— но завтра уж ничего не останется недосказанного, так что же значат какие-нибудь несколько часов, как бы тягостно они ни протянулись!

Время, между тем, проходило, и сумерки уже наступили, когда я, медленно направляясь по дорожке к дому, услыхал за собою голоса Перышкина и Матвея Максимовича.

Я, разумеется, тотчас же поспешил им навстречу.

— Где ты пропадал, Сергей? — вскрикнул Перышкин, завидя меня.— Неужто заблудился в лесу?

— Да, понадеялся на свою память,— отвечал я,— свернул в сторону и едва выбрался на дорожку...

— А Мозырев где девался?

— Он остановился набросать эскиз и хотел догнать меня...

— Как бы нам разыскать его поскорее?

— Лучше всего аукнуть-с,— сказал Матвей Максимович.— Прикажете аукнуть?

— Сделайте одолжение, милейший Матвей Максимович, аукните!

Матвей Максимович аукнул, вслед затем мы начали прислушиваться. Но ответного ауканья не последовало.

— Я до трех раз аукну-с,— предложил Матвей Максимович.

Но и после троекратного ауканья не получилось никакого отзыва.

— Нечего делать, пойдем домой,— решил Перышкин.— Случиться с ним ничего особенного ведь не могло?

— Чему же особенному случиться-с,— ответил Матвей Максимович,— лес у нас не какой-нибудь разбойничий-с, и никаких в нем кровожадных зверьев не помещается-с,— даже бешеных собак никогда не бывает-с... Просто загулялись и, наверно, через минутку нас догонят-с.

— А как хорошо-то, Сергей, а? — обратился ко мне Перышкин, когда мы прошли шагов двести, безмолвно куря папиросы.

— Очень хорошо,— отвечал я.

— Я не могу наглядеться на этот простор, не могу надышаться этим благодатным воздухом! Аромат-то какой, а?

— Да,— отвечал я.

— Ох, хороши вы, русские деревенские вечера! — воскликнул Перышкин.

Снова наступило безмолвное курение папирос.

— А вы, Матвей Максимович, не обращаете уж внимания на красоты деревенские? — обратился Перышкин к управляющему.

— Как же не обращаю-с, я очень обращаю-с, Алексей Иванович: иной раз стою и смотрю... и просто так засмотрюсь, что и про еду забуду-с...

— В самом деле?

— Ей богу-с, Алексей Иванович. И уж я всегда спорю-с, что лучше нашей русской деревни на свете нету-с и не бывало-с, и не будет-с.

— Правда, правда, Матвей Максимович! Святая правда!

— А вот мне рассказывали, Алексей Иванович, что есть какая-то такая Швейцария, так уж там будто такие прелести, что после нее ни на что и глядеть не захочешь...

— Не верьте, Матвей Максимович!

— Я и прежде сомневался-с, а уж теперь, как вы мне растолковали-с, так ни за что не поверю-с. Славны бубны за горами, по нашей, по русской-то пословице-с. Ну, что у них там? Хлеб-то все наш кушают, а не пошлем мы из Одессы, так и с голоду насидятся-с. Все эти ихние прелести — одни выдумки, а хорошего у них — только слава их-с.

— Нет, Матвей Максимович, и у них есть кое-что хорошее...

— Оно, конечно, Алексей Иванович, есть, да только уж не все ж одна у них прелесть-с. Конечно, образованным господам следует там побывать-с — и даже необходимо-с, но только уж свою-то родную родину чтобы не менять на чужие краи-с...

— Разумеется, разумеется! — проговорил Перышкин.— А удивительно это, Сергей,— обратился он ко мне.

— Что? — спросил я.

— Да вот сила чувства к «родной родине»...

— Да,— ответил я.

Опять безмолвие и усиленное курение папирос.

«Теперь можно бы, собственно, начать объяснение,— думаю я,— я для этого достаточно спокоен... Управляющий не мешает,— мы можем объясниться по-французски... Оно немножко неловко, но что же делать... Но объясниться надо прежде с нею... Надо совершенно выяснить, определить, взвесить наши с нею отношения».

— Я знаю, Алексей Иванович, что вы-то уж не променяете Россию нашу ни на какие страны апельсинные-с,— начал Матвей Максимович,— и Сергей Павлович вот тоже-с не променяют-с, а ведь есть такие господа, что просто одно удивление-с и одно сожаление-с... Вот я помещика одного знаю, так он не мог без Швейцарии без этой жизнь вести-с и в имении у себя Швейцарию заводил-с.

— Как в имении Швейцарию заводил?

— Так-с, горки насыпал, на пруде островки, на островках беседочки-с — все по швейцарскому фасону-с. Года два целая деревня копала у него да рыла, да землю и каменья таскала и возила-с. Сколько людей за это время швейцарское погибло-с! Хуже, как от морового поветрия-с. В самую первую весну сельский батюшка, отец Никифор, шутил-с, что весь погост у него сразу заполнили-с... Особливо мерли шибко дети-с: бывало, смотришь, нынче камешек тащит, а через недельку уж и самого несут-с.

— Неужели это правда? — усомнился почему-то Перышкин.

— Как же не правда-с! Я своими глазами видел-с. Я тогда у тамошнего управителя проживал,— он мне дальняя родня-с, и я обучался у него хозяйству-с.

— И неужто никто не восстал?

— Кто ж восстанет-с? Помещик был богатейший, так он сам восставал-с. Многие приезжали смотреть нарочно-с и, бывало, хвалят, не нахвалятся-с.

— Что за безобразная фантазия — устраивать Швейцарию!

— Да-с.

— Возмутительно!

— А то один помещик вздумал фантазию,— медведей разводить-с,— продолжал Матвей Максимович.

— Медведей?

— Да-с. И как поразвел он их, так просто напасть стала такая, ровно в дебрях-с. Одного мальчишку так и съели-с без остатку-с, совсем с рубашонкой-с. Федоткою этого мальчишку звали-с. Солдатка бедная проживала тогда в наших местах — так ее сынок-с.

— Давно это случилось?

— Да лет шесть тому или пять.

— И так и заглохло?

— Заглохло-с.

— Просто невероятно!

— Отчего ж невероятно-с! Очень вероятно-с...

— Ну, теперь уж такие вещи невозможны.

— Оно, конечно, теперь меньше всяких таких удовольствий затевается, потому что все помещики огорчены и расстроены после крестьянской воли, там им уж и в голову не идут никакие медведи, не до того... Оно, разумеется, ведь очень обидно и огорчительно... Просто сами не свои... А кабы они да при своем спокойствии и весельи были, так они бы всяких медведей и всякие Швейцарии.

— Вы серьезно думаете, Матвей Максимович, что и теперь все возможно у нас?

— Все возможно-с,—ответил с полнейшей уверенностью Матвей Максимович.— У нас такая сторона — одна благодать-с!

— Ах, правы вы, правы, Матвей Максимович! — вздохнул Перышкин.— Как ни грустно, а приходится сознаться, что вы правы! Долго, долго еще будут на святой Руси безобразничать!

— Да-с,— ответно вздохнул Матвей Максимович.— А чего бы, кажется, не жить людям по вашему-с, Алексей Иваныч, по-братски-с... Как бы приятно было-с! Кажется, другой жизни и пожелать никто не может-с. Жили бы все, как братья с братьями, и все бы счастливы-то как были!

А вот этого у нас совсем не чувствуют-с! У нас все притеснения-с, все неприятности-с... Вот хоть бы теперь-с,— нашему мировому такое занятие-с, что даже ни кушать, ни почивать времени не имеет-с... Как свеча, тает-с... Не успел приехать, а уж разные прошения так и посыпались, как точно горох из мешка-с... Не успел, что называется, дорожной пыли отряхнуть-с, а уж принялся разбирательства производить-с...

— Бедный Комов! — пожалел Перышкин,— жутко ему приходится!

— Как же не жутко-с,— ведь у них сердце такое милостивое, что поискать днем с огнем-с... И уже коли где какая обида мужичку, так они сами не свои-с... Так, бывает, разогорчатся, что даже захворают-с...

— Знаю, знаю. Да и немудрено захворать с его характером. Ты видел Николая Семеновича Комова,— обратился ко мне Перышкин,— и мог убедиться, что это чудеснейший человек, но грешит необузданностью...

— Да,— отвечал я,— но эта необузданность имеет, я полагаю, и хорошую свою сторону... Мы вообще страдаем уступчивостью...

— Помилуй, Сергей! Уступчивость и необузданность, неумение сдержать себя — вещи разные! Как одно, так и другое нежелательно!..

— Но уже если выбирать,— начал я.

Матвей Максимович меня перебил:

— Ах, уж Николай Семенович очень необузданны! — воскликнул он,— так и бреют-с... Приехала это к ним Варвара Алексеевна Калугина (дело было с мужичками за покос),— дамы этакие-с пышные, а Николай Семенович как начали-с их честить, как начали-с!.. Я даже со стороны сконфузился-с... А Варвара Алексеевна сначала этак глазками только поводят,— точно не верят своим ушкам-с... А потом как поднимутся, ровно лев... И тоже как начали, как начали-с... А потом: «Дурно! Дурно! Воды! Воды!» Такой был переполох, страх вспомнить-с! И уж у Николая Семеновича никому снисхожденьев-с, кроме разве мужичкам, потому, по их мнению, темным людям! Он прощает много за их темноту-с...

— В этом-то он прав,— заметил Перышкин.

— Уж на что Адель Васильевна умные и образованные дамы,— продолжал Матвей Васильевич,— а я голову свою

на отсечение даю-с, что Николай Семенович и против них пойдут-с...

Я никак не ожидал услыхать ее имя и вздрогнул, как от электрического удара. Перышкин ответил не сразу и уж чересчур хладнокровно:

— Иначе и быть не должно. Если бы могло случиться, что, подобно прочим помещикам, Адель Васильевна затеяла с мужичками...

— Ихнее разбирательство назначено завтра-с,— несколько поспешно ввернул Матвей Максимович.

— Чье ихнее?

— Адель Васильевны-с...

— С кем?

— С мужичками-с...

— Что-то невероятно! — пробормотал Перышкин.

— Завтра назначено-с к слушанию-с,— проговорил мягче бархата Матвей Максимович.

— Какое ж это дело?

— Да мужички проштрафились в условии-с...

— Они, значит... виноваты?

— Как же-с, очень виноваты-с...

— Ну, тут сокрушаться за них нечего: Адель Васильевна добра...

— Ах, очень добры-с!

— Как затеялось это дело?

— Адель Васильевна изволили подать прошение мировому-с...

— Тут, очевидно, какие-нибудь недоразумения!

.— Конечно-с, всегда уж много недоразуменьев-с с мужичками-с: народ этакий темный-с...

— Я уверен, что затеял дело ее староста... Представил дело по-своему. Он, кажется, страшный пройдоха.

— Нет-с, он мужичок несолидный-с... И этакий нерешительный-с,— всякою малостью беспокоит Адель Васильевну-с... Без них, без их приказу, он, что называется, роненого куриного пера не подымет-с... Счастье, что Адель Васильевна сами во все входят-с... что имеют очень распорядительный характер-с...

— Да вы знаете, в чем это дело? — нетерпеливо перебил Перышкин.

О, как я негодовал! Какою профанацией казался мне этот разговор!

— Дело в чем-с? — повторил Матвей Максимович.

— Да, да!

— Адель Васильевна в прошлом году изволили договорить двух мужичков убрать десять десятин ржи и выкорчевать пни на Чистом лугу,— это у них так место при реке прозывается-с,— и своего обязательства мужички не исполнили-с, и тем проштрафились перед ними-с...

— Вот то-то и беда, что мужички никогда не разбирают людей! — нравоучительно решил Перышкин,— кто зверь с ними, тому они в ноги кланяются, а кто с ними добр, мягок, того они в грош не ставят... тому они точно рады сделать неприятность...

— Истинная правда-с! — вздохнул Матвей Максимович.

— Грустно это, очень грустно!

— Как же не грустно-с, Алексей Иванович! Уж грустней и быть не может-с...

ЖЕЛАННОЕ СВИДАНИЕ

Я неподвижно сидел у окна, пока утреннее солнце не отогнало меня своим ярким блеском и теплом. Тишина, господствовавшая в доме, начинала бесить меня, как умышленно наносимое оскорбление. Если бы это было сколько-нибудь совместно с достоинством гостя-дворянина, я не ручаюсь, что не произвел бы какого-нибудь шума, который заставил бы повскакать безмятежно покоившихся долгим сном. Бросившись снова на кровать и занявшись изрядное время анализом как своих чувств собственных, так и чувств лиц, прикосновенных к моей разыгравшейся драме, я, наконец, почувствовал лихорадочный озноб и счел за лучшее предпринять освежающую и умиротворяющую утреннюю прогулку. Я осторожно пробрался по комнатам со спущенными шторами, где два лакея, сняв сапоги и передвигаясь на цыпочках, сметали пыль и вытирали полы, и скоро очутился на дорожке к лесу.

«Только выйти из лесу, да под горку, да на горку, и там»,— вертелись у меня в голове слова Матвея Максимовича, и, еще не задавая себе вопроса, следует ли уступить искушению, я зашагал в заветном направлении.

Но я не успел шагнуть и десяти раз, как Матвей Максимович, улыбающийся и кланяющийся, точно из-под земли передо мной вырос.

— Ах, Сергей Павлович, с добрым утром-с! — приветствовал он меня.— Изволите на прогулку-с? Теперь самое время-с: зною нисколько-с, а одна прохлада-с. Вся тварь радуется-с. Ишь, птички-то как поют — затягиваются-с... А Алексей Иванович еще почивают-с,— они не ранние вставатели-с! И господин Мозырев тоже-с еще сны видят-с...

Я приподнял шляпу, давая понять, что не желаю дольше пользоваться его обществом.

— Спешите, спешите-с! Приятной прогулки-с! — проводил он меня, низко раскланиваясь.— Кабы мог, пошел бы с вами-с, потому вы наших местов не знаете-с, да вот надо присмотреть, чтобы коляску в настоящий вид привели: от Адель Васильевны нарочный был звать сегодняшний день к обеду, так чтобы экипаж в исправности подать.. Ну, да я так надеюсь, что вы Адель Васильевну встретите-с,— они тоже ранние вставательницы и завсегда по утрам для здоровья гуляют,— так уж оне вам все наши живописности покажут-с... Приятной прогулки-с!

Укрощая с новой силой поднявшееся при виде этого человека негодование и в то же время замирая от мелькавшей надежды на встречу, я быстро перешел лес. Вот и горка, с которой только стоит спуститься, а за нею, через узенький лужок, по которому журчит скрытый в высокой траве ручеек,— другая,— и на ней заманчиво показывается из-за деревьев белый домик под зеленой крышей с полосатыми маркизами над окнами.

Но я остался на первой горке. Меня вдруг одолело опасение, что ей покажется неуместною моя поспешность, что я, пожалуй, уподоблюсь художнику Мозыреву (тут сердце у меня скверно сжалось, вопреки незадолго пред тем установившейся уверенности, что Мозырев никогда не мог быть терпим иначе, как притязательный, но добродушный нахал), что профанация позволять пошлякам заглядывать в свою душу и давать им повод к плоским шуточкам, а делать мой ранний визит тайною от всех нельзя. К тому же случай может отлично мне послужить,— я могу ее встретить. Разве не может она случайно пойти гулять в эту сторону,— где же лучше в такое утро, чем в лесу? А этот лес самый ближний... Наконец, разве не может она угадать, что здесь мне лучше всего ее ждать, что я помню ее рассказ о деревенских ранних прогулках, что я тут жду?..

Я выбрал позицию, с которой мне была всего виднее усадьба и тропинка, спускавшаяся от нее в мою сторону, сел

под дубом и посмотрел на часы,— было уже сорок две минуты девятого, чего я никак не думал и что заставило меня вскрикнуть: «опоздал!» Я тут только обратил внимание, как уже высоко солнце и как начинает припекать, и проклял свою способность везде и всегда устроить себе провал.

Повторяя себе, что ждать теперь уже нечего, что если она гуляла здесь, то теперь уже, конечно, вернулась домой, я все-таки сидел под дубом и ждал.

Чем дальше, тем утренний визит казался мне менее неуместным. Во-первых, уж то несомненно, что он уместнее визита Мозырева, который ворвался чуть не ночью, во-вторых, все зависит от человека: одно и то же сделает фат и сделает человек порядочный, и разве возможно это сравнивать! Что касается пошляков, то стоят ли они того, чтобы о них заботиться? Да и ничем, никакою сдержанностью и осторожностью не оградишь себя от их посягательств опошлить все, что есть в человеке святого... но святое от этого не менее свято... И почему ее может смутить мой приход — разве она не свободна? Неуместным, после всего, что между нами было, он тоже показаться ей не может... Что на ее месте почувствовал бы я в таком случае? Разве не потонули бы все остальные чувства и соображения в радости? Да, но она может почувствовать другое... Разве я уж так уверен, что я «алмаз»? Ну, положим, что я не алмаз, но просто человек, к которому она первая обратилась, как к самому ей близкому, самому подходящему, когда ее мучили сомнения, за советом. Не было бы ничего неуместного, если бы я даже еще вчера пошел к ней... Следовало даже пойти! Но ведь я всегда невпопад мнителен, невпопад труслив... невпопад деликатен...

Мои тягостные размышления были вдруг прерваны таким громовым лаем, что я вскочил с места и инстинктивно кинулся ломать сук.

Скоро я понял, что лай доносился из усадьбы. Какой страшный лай! Значит, Матвей Максимович говорил правду, что у нее собаки «точные львы».

Что ж из этого? Громадные собаки страшно лают, но чаще свирепы только на вид... Нельзя же, наконец, ставить ей в вину, что у нее рослые собаки,—эта порода, быть может, существовала здесь еще при ее бабушке и дедушке... Что за причина этого бешеного лая? Очевидно, появление чужих,— и, наверное, Перышкина с художником!

С моей наблюдательной позиции мне были видны только боковые окна дома, и другой позиции, с которой бы можно видеть его фасад, выходивший, по всем вероятиям, на въездной двор, я не нашел, хотя искрестил во всех направлениях обсервационную горку. Наконец, у меня блеснула мысль взобраться на дерево и попытаться обозреть желаемое à vol d'oiseau [1].

В детстве строгий и чинный гувернер не позволял мне лазить за вороньими гнездами, следовательно, я не мог призвать на помощь бывалое искусство и только с невероятными трудностями достиг верхних ветвей дуба, откуда обозрел часть фасада дома и часть двора.

Во дворе стоял запряженный экипаж, как будто бричка. Перышкин мог приехать и в бричке. Наконец, он ли, другой ли, но несомненно кто-то приехал и принят; значит, ее ждать нечего.

Я спустился с дуба, постоял, начал прохаживаться, вдруг круто повернул с горки и пустился по тропинке к усадьбе.

Тропинка привела меня к замкнутой калитке, устроенной в каменной садовой ограде, утыканной гвоздями шляпками вниз, а остриями вверх...

«Но опасно напороться на них нельзя,— сказал я себе, оправляясь от первого впечатления,— эти острия скорее можно назвать охраной от калечества, потому что, глядя на них, отпадает охота взбираться на стену, с которой легко упасть и расшибиться...»

От калитки тропинка поворачивала вдоль садовой ограды, огибала стриженые шпалеры акаций, окружавшие господский двор, и доводила до въездных ворот, в которые я вступил приличным шагом, но должен был тотчас же отретироваться и захлопнуть их зеленые решетчатые створки, потому что смолкнувший свирепый лай возобновился при моем появлении, и навстречу мне понеслись три чудовищных лохматых пса.

Во всяком случае псы были хорошо выдрессированы: по первому «смирно» подоспевшего на выручку изумительно худенького, но щеголеватого казачка, они дали мне проход к крыльцу, следуя, однако, с глухим рычанием за мною по пятам и как бы все еще уповая, что им будет позволено в конце концов меня разорвать.

---

[1] С высоты птичьего полета *(франц.)*.

— Что, они у вас кусаются? — спросил я казачка.

— Не извольте беспокоиться,— отвечал он,— при мне не посмеют-с.

— А вообще?.. На вид они съесть могут...

— Могут-с.

— У Адель Васильевны гости?

— Нет-с, по делу-с, с мужиками-с. Наверно, они сейчас окончат-с. Пожалуйте-с.

Двор, украшенный группами кустарников и цветочными бордюрами, между которыми резко желтела отлично укатанная въездная дорога, надворные строения, худенький щеголеватый казачок, мат в передней, убранство комнат, цветы в фаянсовых горшках, фарфоровые куколки, альбомы — все, на чем глаз ни останавливался, содержалось в удивительном порядке. На меня пахнуло чем-то знакомым, точно я здесь уже бывал и все это видел, начиная от резного деревянного ящика с птичкой в гнездышке на крышке до зеркала над камином.

Двери гостиной были распахнуты на убранный цветами балкон, который широкими ступенями спускался в сад, поражавший чистотою аллей, тянувшихся подчищенными рядами вдоль ограды, и дорожек, огибающих и перерезывавших зеленые лужайки и пестрые цветники: прямо перед балконом, в центре главной лужайки, возвышалась деревянная беседка с колоннами, увитыми хмелем, а у колонн стояли два мужика с шапками в руках.

Казачок замялся на месте.

— Адель Васильевна в конторе-с,— сказал он, указывая через балкон по направлению к беседке с колоннами.

— В беседке? — спросил я.

— Да-с,— там теперь временная контора-с, пока в настоящей белят-с потолок. Изволите обождать в гостиной-с?

Я утвердительно кивнул, сел к столу и стал рассматривать альбом с заграничными видами. Казачок, отступив назад к дверям, стушевался.

Перевернув несколько швейцарских и французских видов, я вдруг вспомнил, где я видал такой порядок и такие гостиные,— я видал их во всех первоклассных «pensions» [1] Женевы, Лозанны и Парижа, которыми так восхищался сначала и которые так опротивели мне впоследствии. Да, по таким точно желтым безукоризненным дорожкам

[1] Пансионах *(франц.)*.

прохаживались «les etrangers» [1] в саду мадам Дюбуа, распорядительной соотечественницы Вильгельма Телля, точь-в-точь такие скамьи «rustiques» [2] стояли под развесистыми деревьями в цветнике французской гражданки мадам Легранж. Сколько раз в таких гостиных я в ожидании обеда просматривал похожие и даже те же самые виды в альбомах, лежавших на таком же столе под мягкою пестрою скатертью в таком же, раз навсегда установленном, живописном беспорядке...

Одно нарушало общее впечатление,— это мужики, стоявшие с шапками в руках у беседки...

Они стояли на самом припеке, стояли неподвижно, обратив глаза на полускрытую в зелени дверь беседки. Один был высокий, крепкого сложения человек, но, очевидно, только что оправляющийся после долгой и тяжкой болезни: горячие лучи солнца ярко освещали мне его осунувшийся профиль, землистый цвет ввалившейся щеки, побелевшую руку, которой недуг помешал справлять обычные работы. Другой был маленький, тщедушный, точно заморенный...

И что же из этого,— говорил я себе,— они все-таки могли поступить с ней самым недостойным образом! Положим, по неведению, по темноте своей, но все-таки могли... И самое рациональное, это воздержаться от поспешных заключений и подождать полного разъяснения дела...

Я постарался углубиться в рассматривание видов, пытался вызывать воспоминания прожитого в дальних краях, которые они представляли; но развлекающие и приятно настраивающие воспоминания не послушались призыва, и перед моим умственным взором выпрыгнула ни с того ни с сего только незванная мадам Альфред Гаспар, востроносая обитательница какого-то городка неподалеку Нанта, которую я всего-навсего раза четыре или пять случайно встретил за общим столом мадам Легранж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комов оправился скорее, чем я мог ожидать, и часов через пять после вышеописанного припадка мы уже сидели с ним в его «мировом» помещении за чаем, и я слушал, какие

[1] Иностранцы *(франц.)*.
[2] Деревенские *(франц.)*.

крючки помещица Адель Васильевна Галкина поставила в условии крестьянам Ивану Моричеву и Павлу Севрюкову, нанимая их убрать шесть десятин ржи, как они, крестьяне, не явились вовремя, не исполнили работы к сроку, назначенному в условии, и подверглись недоимке в пятьдесят рублей, как всякие мольбы могли ее только склонить вместо пятидесяти рублей наличными деньгами назначить на сто рублей работы.

— Вот, прочтите решение,— говорит мне Комов.

Я читаю:

«187* года 29 мая по иску болобовской помещицы Адели Васильевны Галкиной с крестьян деревни Коськовой Ивана Моричева и Павла Севрюкова о неисполнении ими обязательства об уборке шести десятин ржи к разбирательству по вызову явились ответчики и т. д. и т. д.

Мировое соглашение.

Иван Моричев и Павел Севрюков обязуются скосить, связать и свезти в гумно пять десятин гречихи по первому требованию в нынешнем году и предстоящей осенью вспахать пшеницы восемь десятин. Уборку же шести десятин ржи, которую они обязаны были исполнить в прошлом году, они обязуются произвести в нынешнем по первому требованию помещицы. Независимо от вышеупомянутого, крестьяне Иван Моричев и Павел Севрюков подтверждают свое обязательство нынешней осенью во время сева окончить выкорчевание пней на Чистом Лугу» [1].

— Прочли? — спросил Комов.

— Прочел,— отвечал я.

— И ведь Галкина у меня не одна, хотя до сих пор она бесчеловечнее всех, потому что всех холоднее.

Простившись с Комовым и возвращаясь в его бричке в дом товарища моего детства, я больше чем когда-либо был убежден, что Комов честнейший человек, неспособный на ложь, ни даже на преувеличение, но Комов человек больной и болезненной горячностью мог раздражить женщину и вызвать ряд поступков, которых она сама устыдится и ужаснется, придя в нормальное состояние. Комов умен и проницателен, но какие же умные и проницательные — даже здоровые, а не больные — не ошибаются иногда в общем, хотя и правы в частностях... Факты налицо, но факты тоже иногда ничего не доказывают: разве не бывало,

[1] Копия с подлинника *(прим. автора)*.

что факт преступления доказан, преступник сам не отрицает, а между тем в этом самом преступнике, невзирая на его падение,— целые залежи добра...

Следствием этих размышлений было решение во что бы то ни стало, как можно скорее увидать наедине Адель Васильевну Галкину, высказать ей все, что легло у меня на душе по поводу этого дела с Иваном Моричевым и Павлом Севрюковым и выслушать ее — выслушать, что бы она ни сказала, без раздражения, без нетерпения... Тогда только видно будет, точно ли она холодная бесчеловечная женщина или только женщина, не всегда отдающая себе отчет в своих действиях, женщина, положим, далеко не совершенная, но все-таки женщина с сердцем.

На крыльце воскресенского дома меня встретил Матвей Максимович и подал мне записку:

— От Алексея Ивановича-с.

— От Алексея Ивановича? — спросил я.

— Да-с, от них. Они у Адель Васильевны и оттуда прислали-с. Там случилось какое-то приключение-с...

Я сорвал конверт и прочел следующее:

«Поздравь меня, дорогой Сергей, как счастливейшего человека — Адель Васильевна дала мне слово, и через неделю мы венчаемся,— и извини, как хозяина, покинувшего своих гостей. Полоумный Комов так напугал мою невесту своими дикими выходками, что она заболела, и я не могу оставить ее в таком положении одну. Я хотел с ним объясниться, но теперь мне не до него. Растолкуй ему при случае, если только тебе удастся что-либо растолковать, что крестьянину всегда можно помочь в нужде, но что для его нравственного развития необходимо, чтобы он привыкал уважать данное слово, не нарушать принятого обязательства, что Адель Васильевна с лихвою возвратит Моричеву и Севрюкову то, что они теперь, по-видимому, теряют, но возвратит в виде добровольной помощи так, что не поколеблет их еще не утвердившихся понятий о святости данных обязательств. Ты поймешь мое состояние и извинишь беспорядок и отрывочность моей записки. Передай Мозыреву, что прошу у него прощения за нарушение правил гостеприимства. Как только Адели будет лучше, я явлюсь к вам с повинною.

Твой А. Перышкин». [1]

---

[1] Копия с подлинника *(прим. автора.)*.

Я положил записку в карман и, встретив пытливые глаза Матвея Максимовича, спросил у него, где Мозырев.

— В зале прохаживаются-с,— отвечал Матвей Максимович,— и мне так показывается-с, что они очень расстроены-с. Может, нездоровье Адели Васильевны могло их расстроить-с. Как вам пишут Алексей Иваныч — ведь Адель Васильевна изволили заболеть-с?

— Да,— отвечал я кратко и ускорил шаги, оставив Матвея Максимовича в видимой ажитации.

— Что скажете хорошенького? — спросил Мозырев, прерывая при моем появлении быстрое хождение взад и вперед по комнате,— он говорил своим обычным беспечным, фатовским тоном, но лицо заметно вдруг осунулось и пожелтело.— Не о помолвке ли пришли покалякать?

— Вы уже знаете? — проговорил я, не найдя ничего более подходящего в ответ.

— Как же, батюшка, не знать! Знаю, знаю! Чуть не свидетелем нежного объяснения был! Знаю! Знаю! И величать сбираюсь!

И он снова принялся шагать взад и вперед по комнате, запел визгливым голосом величальную песню, но скоро прекратил пение, пожалел, что не в голосе.

Я передал ему содержание полученной записки.

—Так-с, так-с. Очень понятно-с. Зачем же оставлять одну! — замечал он по мере того, как я прочитывал фразу.— Испугана! Заболела! Бог даст, исцелится!

Затем наступило молчание. Он продолжал ходить взад и вперед по комнате, а я приютился у окна, бесцельно глядя на садовую дорожку.

— Знаете что,— сказал он, вдруг останавливаясь передо мною,— не предоставить ли нам с вами этим голубкам полной свободы ворковать,— не трахнуть ли нам сейчас же в благословенный городок Б-в,— или куда хотите,— хоть к черту на кулички? Ведь это будет с нашей стороны самая что ни на есть деликатес, а? Напишем им свое поздравление и желание всех благ и долголетия, и трахнем! Идет?

— Идет! — отвечал я.

— Чудесно! Пишите послание, а я Матвея Максимовича за бока, чтобы сейчас же лошадей достал.

Часа через два мы уже катили по дороге в Б-в.

Когда мы переезжали через мост, художник вынул из бокового кармана какую-то вещичку, с силою швырнул ее

в быстро бегущую реку и громко запел шутовское величание князю Алексею и княгине Адели.

Мне показалось, что закинутая в воду вещица — тот самый медальон, который Перышкин раз заметил у него на шее и который он не показал, отшутившись тем, что волшебница, вручившая ему этот талисман, пригрозила отнять всякую силу от дара, если на него взглянут посторонние глаза.

О, как желал я в эту минуту забросить всякую память об этой волшебнице!

Спустя года два после вышеозначенных происшествий мне снова довелось посетить городок Б-в. Было опять лето, и опять стоял жаркий, ясный день. Я, усталый и хронически грустный, возвращался в известную уже читателю гостиницу «Москва», как вдруг при повороте одной улицы лицом к лицу встретился с Матвеем Максимовичем. Он порядочно раздобрел, но совсем не изменился.

— Ах, Сергей Павлович! — воскликнул он.— Сколько лет, сколько зим-с! Вот приятная встреча-с, приятней и быть нельзя!

Я спросил, как он поживает.

— Да ничего-с, слава богу, живем и хлеб жуем-с,— отвечал он.— Я ведь уж отошел от Алексея Иваныча-с.

— Неужели?

— Да-с, тотчас же после их женитьбы-с. Потому зачем я им, коли у них такой клад-с, как супруга их, Адель Васильевна? Уж против Адель Васильевны никто на всем белом свете не выдержит-с. Ну, теперь Адель Васильевна всем и заправляют-с.

— А вы где, Матвей Максимыч?

— А я своим хуторком завелся-с, Сергей Павлович, ну и торгую еще кое-чем...

— Прекрасно, очень рад... А ваш городок совсем не изменился!

— Нет-с, все такой же-с, только торговля теперь как будто получше пошла-с, потому что железная дорога поблизости проведена.

— Ну, а что швейная мастерская для бедных, помните, которую тогда заводили?

— Эта забава давно стала незанимательна-с. На воспитательный дом тоже тогда только краску потратили-с, и те-

перь стоит на погибель только одну подкидышам-с, еще смраднее стал-с, хоть снаружи и блестит. Наружность обманчивая-с, Сергей Павлович, я так в одной книжке прочитал-с...

— А что Комов?

— Давно померли-с и уж забыты-с.

— Хороший был человек! Крестьяне, верно, о нем жалеют?

— Как не жалеть-с.

— А скажите, Матвей Максимович, что сталось с теми крестьянами, у которых было дело с Аделью Васильевной?

Я с самого начала подбирался к этому вопросу и, наконец, подобрался.

— Погибли-с.

— То есть как погибли?

— Да так-с. Они опять условия не исполнили в точности-с, а только частью-с, опять Адель Васильевна на них иск, и попали они в петлю-с, разорились вконец. Петр Моричев умер-с, а Павел Севрюков спился с кругу и только удивительно, как он живет-с.

— Неужто это правда? — воскликнул я.

— Истинная-с,— ответил Матвей Максимович.— Да что же вам так это удивительно-с, Сергей Павлович? Что же вы Алексея Ивановича не посетите-с? Полюбовались бы, как они с супругою поживают-с. Много бы любопытного увидали-с... Я их видаю-с часто, потому по соседству-с,— прикажете поклон передать-с?

— Сделайте одолжение, Матвей Максимович,— отвечал я и поспешил с ним распроститься.

Рассказы

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВНУТРЬ СТРАНЫ

Amicus Plato, sed magis
amica veritas [1].

I

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО МОСКВЫ

День жаркий, ветреный, удушливый. Повсюду пыль столбом. В вокзале Николаевской железной дороги шум и суета. По платформе бегают, словно на пожаре, роняют дорожные мешки, зонтики, пледы, перчатки, рассыпают запасенную в дорогу провизию. Два кренделька и печеное яйцо катятся к лаковым блестящим ботинкам какого-то пожилого щеголеватого господина, который отпрядывает от них, как от ядовитого змеиного жала. У иногородних путешественников, забравшихся сюда спозаранку и уже успевших сделать десятка два верст взад и вперед по зданию, на лицах ясно написано угрюмое неудовольствие; движения их порывисты, речь раздражительная. Некоторые (холерики) еще все ходят взад и вперед, хотя уже через силу, но бóльшая часть уже окончательно умаялась, присели по скамейкам и беседуют. Они успели перезнакомиться друг с другом и ведут разные разговоры, пересыпая их едкими замечаниями о Петербурге.

— Ну уж Петербург, признаюсь! — говорит довольно округлый дворянин другому, сидящему с ним рядом на скамейке, менее округлому дворянину, который в ответ язвительно кривит рот и пожимает плечами.

---

[1] Платон мне друг, но истина дороже всего *(латинская пословица)*.

— Ведь это, знаете... ведь это просто... Позвольте спросить, как имя и отчество?

— Владимир Ильич.

— Ведь это просто, Владимир Ильич... просто какое-то бесчеловечие! Лед-с, лед! Везде лед! Я к этому не привык, и я поражен! Никто тебя не замечает! Ведь решительно не замечает! Словно тебя нет.

— Меркантильный дух! Здесь важны туго набитые карманы, а не человек! — с прежней язвительностью замечает Владимир Ильич.

Третий дворянин, в мрачном расположении духа сидящий на соседней скамейке, перегибается в сторону разговаривающих и вмешивается в разговор.

— Люди, можно сказать, мельчают, вырождаются в таких центрах, как Петербург. Постоянно поглощенные мелкими заботами, они не имеют досуга углубиться внутрь себя, обозреть свой внутренний мир и сосредоточиться на задаче жизни.

Он говорит это плавно, протяжно, выдержанно, останавливаясь на запятых и точках, и тем благосклонным, но не допускающим возражений тоном, каким часто говорят привыкшие к почтительным слушателям магнаты-помещики. Он не говорит, а, так сказать, «глаголет».

Дворяне, к которым он обратился, по его манере глаголать тотчас же догадываются, что он немалая птица и несколько торопливым хором бормочут:

— Да, да!.. мельчают... вырождаются...

Наступает молчание и длится несколько минут.

Вбегают три иногородние путешественницы. Они одеты по последней петербургской моде, но, с непривычки, все на них топырится. Они беспрестанно обдергиваются. Шляпки у них несколько на сторону, глаза округлились до последней невозможности, дыхание прерывается. Они то мечутся из стороны в сторону, то толкутся на одном месте.

— Ах! — вскрикивает вдруг, точно уколотая иголкою, одна из них.— Где мой палевый платочек? Куда я его заложила? Ах! я его, верно, забыла там, на окне в гостинице! Поль, Поль, Поль! ты не видал его там?

— Кого? Кого? — тревожно спрашивает подбежавший с узлами Поль.

— Варя, ты не видала? Лиза, ты не видала? Ах! надо поглядеть, нет ли где... Ах, боже мой!

И все три путешественницы торопливо отпирают мешки

и принимаются судорожно в них ворочаться, пока восклицание «вот он!» не кладет конца этому мучительному занятию.

Поль отходит несколько в сторону и тоже начинает проверять свой дорожный мешок и сумку.

Две другие иногородние путешественницы, давно уходившиеся от волнений и в изнеможении почти лежащие на балюстраде, отделяющей платформу от вагонов, услыхав, что соседи что-то потеряли, тоже принимаются отмыкать мешки, тоже лихорадочно в них роются, затем тревожно ощупывают свои карманы, пересчитывают деньги.

— Люба! пятидесяти не хватает! — с ужасом шепчет одна.

— Что ты! что ты! пересчитай получше! — отвечает вспыхнувшая тревогой Люба.— Нет ли в кармане? Встряхни платок!

Встряхивают платок и снова пересчитывают деньги.

Скоро восклицание удовольствия показывает, что тревога фальшивая.

Из вокзала на платформу выбегает новый расстроенный отряд иногородних обоего пола, чрезвычайно живо напоминая «толпу взволнованных граждан», которая высыпает из-за кулис на сцену при драматических представлениях. Воспоминание о сценических «взволнованных гражданах» еще делается живее, когда раздаются хоровые восклицания, то резкие, крикливые, то сдержанные, шипящие.

— Опоздали! Опоздали! — хотя жалобно, но с достаточной яростью восклицает коренастая, черноглазая, по всем ухваткам властительная мать семейства, бесцеремонно поддавая в окружающие ее посторонние бока мощными локтями и стремительно порываясь вперед.— Я так и знала! Я так и знала!

— Я нарочно поставил по пушке! — доносится справа чье-то уверение.— Ей-богу, по пушке!

— Ах-ах-ах!

— Не толкайтесь!

— Невежа!

— Господи! наказание какое!

— Де еще час целый до отхода!

— Ах, извините!

— Боже мой!

— Понятно, что все стала забывать,— шипит злостный мужской голос,— наслушалась «женского вопроса»!

— Любинька! Любинька! — пронзительно, как свист в ключ, проносится материнский клич. — Où êtes vous? Où êtes vous? [1]

Остается всего полчаса до отхода поезда. На платформе давка и смятение так увеличиваются, что издали представляются только расколыхавшиеся волны разноцветных шляп, фуражек, шляпок, шапок и ярких вуалей.

Эти кипящие волны все чаще и чаще начинают перерезываться спокойными, хотя и быстрыми течениями петербуржцев и петербуржанок.

Истые петербургские жители спокойны, хладнокровны; все у них в порядке: и одежды, и физиономия. Они являются как раз вовремя, ловко, не спеша занимают лучшие места в вагонах, насколько возможно комфортабельнее усаживаются и смотрят из окон на мятущуюся по платформе толпу.

— Где наши вещи? — раздается в разных концах.— Билеты! билеты! Через двадцать минут отходит!

Толпа словно отливает к багажной. В багажных дверях начинается давка.

Очень молодой человек, отлично одетый, после тщетных усилий протиснуться сквозь стену прижимающих локтей и плеч вырывается, наконец, весь измятый, обратно на платформу, где очень раздражительно встречен тоже отлично одетой молодой дамой.

— Наконец-то! — говорит молодая дама.— Пойдем, уж, верно, все порядочные места заняты!

— Да я не мог билета на вещи получить!

— Как не мог получить? Как не мог... Это уж из рук вон! Это...

— Да что ж я буду делать? Меня чуть не задавили... Говорят: ждите очереди!

— Говорят: ждите очереди! — передразнила дама язвительно. — Вот наградил бог толком и умом! Donnez lui quelque chose! [2]

— Mais... [3]

— Quoi «mais»? Donnez lui quelque chose, je vous dis! [4]

— Je n'ose... [5] здесь не берут!

---

[1] Где ты? Где ты? *(франц.)*

[2] Дай ему что-нибудь! *(франц.)*

[3] Но... *(франц.)*

[4] Что «но»? Дай ему что-нибудь, говорю тебе! *(франц.)*

[5] Я не смею... *(франц.)*

— Скажите пожалуйста! Это ты, верно, у своих Карасевых набрался таких идей?

Невозможно выразить на бумаге той глубины презрения, какую молодая дама влагает в «Карасевых».

Очень молодой человек вспыхивает, как зарево.

— Я пойду...— говорит он,— я пойду еще попробую... может, уж очередь...

Но молодая дама безжалостна.

— Конечно,— говорит она,— никто не мешает следовать по стопам Ка-а-а-рра-ссее-вых!.. Ха-ха-ха! К-а-р-а-с-е-в-вы!

У злополучного последователя Карасевых даже уши пунцовеют. Со слезами на глазах он бормочет:

— Я не понимаю... я не понимаю, к чему тут примешивать людей... людей... которые... которые...

— Конечно, никто не мешает! — продолжает молодая дама, не удостаивая заметить кроткого и смущенного представления.— Но, мне кажется, следовало бы *немного* помнить, чем кому обязан. Если живешь в чьем доме, так, мне кажется, можно, не говорю из благодарности, а хоть из приличия, время от времени пожертвовать карасевскими идеями! Наконец, можно хоть не вмешиваться! Кто просил отсылать человека? Он бы все мне сделал! Но, по милости карасевских идей, я теперь опоздаю на поезд! Опоздаю к 17-му! Надо будет возвращаться опять к тетеньке, и за чаем она опять будет подсмеиваться, как провинциалы опаздывают! По милости карасевских идей...

— Помилуй, кузина...

— Карасевы приказали *трудиться!* Ах, прелестно! Как почетно таскать самому чемоданы! C'est très gentil! [1] Ах, да! они все занимаются переноской чемоданов?

— Я не понимаю... к чему... к чему тут... тут чемоданы? — бормотал кузен.

Он задыхается.

— И дамы тоже? — презрительно щурясь, произносит кузина.— C'est charmant! [2] Нет ли их карточки с чемоданом на плечах? Они не дарят таких видов своим поклонникам?

Она, не замечая того, все более и более возвышает голос.

---

[1] Это очень мило! *(франц.)*

[2] Это очаровательно! *(франц.)*

— Кузина!...

— Medames Карасевы...

— Они хорошие люди! — чуть не с рыданием шепчет кузен.— Они хорошие люди...

Его всего трясет, но кузина заливается язвительным хохотом.

— Ка-ра-се-вы...— начинает она, с каждым слогом делая все более и более презрительное ударение.

— Лучше пошлых гвардейцев! — почти вскрикивает потерявший над собою власть кузен, кидается в толпу, отчаянно пробивает ее и исчезает в багажной.

На несколько мгновений кузина немеет от изумления и остается неподвижна, как бы окаменев от неожиданного удара. Затем она начинает приходить в себя, и по мере того как она в себя приходит, ее лицо начинает искажаться злостью. «Как он смел! как *он* смел *мне* так говорить! А! хорошо! увидим!» — так и читается в каждой черте.

Вдруг к ней приближается молодой человек, плохо одетый, дурно причесанный, без перчаток. Руки у него загорелые, походка твердая и осанка решительная.

Он останавливается перед гонительницею Карасевых и пристально на нее глядит. Она окидывает его с головы до ног беглым взором и небрежно отвертывается: он, видимо, произвел на нее впечатление невыгодное и причислен ею к классу «*Ничто*».

Но приблизившийся Ничто отнюдь не смущается и, наклоняясь к ней, спокойно говорит:

— Вы, прекрасная дама, сейчас высказывали свое мнение о Карасевых. Я желаю высказать свое мнение о вас.

На лице прекрасной дамы изумление быстро сменяется страшным испугом.

«Карасев!» — думает она, оглядывается во все стороны умоляющими о выручке глазами и несвязно бормочет:

— Я не высказывала... я только так... Это кузен... он всегда меня... всегда вводит в... в заблуждение... Я не знаю Карасевых... (теперь уже в Карасевых не влагается презрение, а, напротив, некоторая почтительность), я даже их не видала!

— Я тоже их не знаю и не видал,— отвечает молодой человек с решительной осанкой,— но это нисколько не помешает мне выразить моего мнения о вас, прекрасная дама.

Прекрасная дама трепещет, как лист, и ждет чего-то ужасного.

— По моему мнению, вы дура, прекрасная дама! — говорит молодой человек.

Она, правда, ожидала чего-то ужасного, но все же не этого. Она глядит на него дикими глазами.

— Вы дура, прекрасная дама,— повторяет молодой человек тоном глубокого убеждения и отходит.

Она тем же диким взором провожает его.

Вылетевший из багажной кузен, очевидно успевший уловить последнюю фразу, замирает на месте.

Стоящие и сидящие поблизости переглядываются, перешептываются, хихикают.

Вдруг прекрасная дама оглядывается кругом, приходит в себя, соображает и, если можно так выразиться, в бешеном изнеможении снова опускается на скамейку.

Картина.

Но ее поглощает нахлынувшая струя немецкого элемента.

Немки, даже петербургские, отличаются суетливостью (исключая баронесс и графинь, которые представляют поистине изумительную деревянность), но суетливость у них особенная, так сказать, аккуратная.

Вот бежит по платформе соотечественница, обремененная всего шестью, семью узелками, и она уж теряется, роняет то то, то другое, устремляет на вас дикие взоры, как будто соображая, не потерянная ли вы ее дорожная принадлежность, тоскливо охает, зовет носильщиков — вообще, видимо, не сумеет без счастливой случайности выйти из беспомощного положения и, прежде чем доберется до своего места, испортит себе бог весть какое количество крови и уходится до полусмерти.

Вот бежит немка, навьюченная не семью, а двадцатью семью мешочками, узелками, сверточками и пакетиками. Бежит она как ни в чем не бывало; все эти мешочки, узелки, сверточки и пакетики так солидно держатся, словно растут на ней; разнообразный вьюк не стесняет ее, а только заставляет преуспевать в юркости и зоркости.

Lieber Albrecht или lieber Wilhelm,[1] с своей стороны, тоже отличается по этой части и посматривает на какого-нибудь торопливого, расстроенного «русса», как наставник на безнадежного ученика.

---

[1] Милый Альбрехт или милый Вильгельм *(нем.)*.

Багажная мало-помалу прочищается: смятение переходит в вагоны, где всякий старается уместиться в ущерб соседу.

Платформа почти опустела, и потому теперь может, кто хочет, свободно любоваться оставшимися на ней живописными личностями.

На первом плане молодой человек в светло-коричневом бархатном костюме, с наглыми голубыми глазами навыкате, с сигарой в почерневших зубах, очевидно явившийся сюда зрителем; около молодого человека кучка приятелей в светлых панталонах и ярких галстуках, с вычурными тросточками в руках. Весь этот кружок вертится, хохочет и невероятно глупо себя держит.

Какая-то молодая женщина, покрытая темным платком, плачет, прислонившись к стене.

Небольшой отрядец дам, и во главе их две очень молоденькие, перебегает от одной дверки за барьер к другой, но повсюду оттиснуты раздраженными блюстителями порядка, которые яростно вскрикивают, заграждая проход грудью:

— Не извольте лезть! Не дозволяется!

— Да нам на секундочку! — убедительным тоном вскрикивает отрядец.

— Не дозволяется! Не извольте лезть! — вторят друг другу блюстители порядка.

— На секундочку!

— Не извольте ле...

Внезапное появление какой-то особы, развалистой и самоуверенной, вдруг заставляет отпрянуть блюстителей порядка и настежь распахнуть дверку, только что защищаемую грудью.

— Ведь вот пропускаете же,— укорительно раздается женский хор.

И отрядец снова пытается прорваться.

Но блюстители порядка, пропустив особу, снова уже сомкнулись и стоят непреклоннее, чем когда-либо.

— Ведь пропустили же сейчас,— раздается хор, поднимаясь на целую ноту выше.— Одних пропускаете, других нет! Это ни на что не похоже! Не все ли равно...

Пропущенная особа приостанавливается, оглядывается, окидывает бунтующий отрядец равнодушно-изумленным взором, как бы говоря: «Скажите, пожалуйста! Есть еще на свете простодушные люди, которые могут себе воображать, что «все равно»!»

— Пустили его, пускайте и нас! — покрывает хор чей-то звонкий свежий голос.

Особе так это кажется забавно, что она даже слегка улыбается и, поправив серую шляпу, закурив сигару, облокачивается на балюстраду, с улыбкою поглядывая на мятущихся притязательниц на равенство.

Приближается господин, сдержанный, учтивый и «покорнейше» просит дам не тесниться, ибо правилами железной дороги выход за барьер воспрещается.

— Но ведь отчего ж пропустили вон того господина в серой шляпе? — возражает ему взволнованный голос.

Сдержанный господин даже не бросает взгляда по указанному направлению, но с прежним невозмутимым спокойствием отвечает:

— Вероятно, были особые уважительные причины. Права публики...

— Да у нас тоже уважительные прич...

— Не угодно ли пропустить пассажиров? Прошу вас... Будьте столь обязательны, сударыни, посторонитесь... позвольте...

— Нет, это ужасно! Это просто ужасно! — раздаются хоровые восклицания.

Однако бунтующий отрядец отступает.

Блюстители порядка отирают капли пота с лица и вздыхают полной грудью.

Особа в серой шляпе удаляется в вагоны.

— Одних пускают, других нет! — раздаются, но уже на конце платформы, хоровые восклицания.— Это ужасно! Нет, это просто ужасно!

Двое каких-то испитых рабочих стоят и пересмеиваются.

— Сегодняшний день, видно, барыни на свет народились,— замечает один,— не благоизвестны еще, что одних пускают, а других нет!

— Должно полагать, что сегодня народились! — отвечает другой.— Одна невинность!

Ливрейный лакей носит белую шелковистую болонку с голубым ошейником взад и вперед по платформе, приговаривая:

— Сейчас, сейчас поедешь!

Трое военных молодецки рассыпаются перед бойкой и, судя по ухваткам, тоже военной дамой.

— Вы нас забудете! — говорит ей томно и вместе ухарски один офицер, причем пощелкивает шпорами и весь извивается, как змей.

— Разрешаю и вам меня забыть,— отвечает бойкая дама, обнимая одним молниеносным взглядом всю свою компанию.

— О, забыть! — восклицает другой офицер.

И, покручивая усики, цитирует, пренебрегая мерою, слова лермонтовского демона:

Забыть! Забвенья ему не дал бог,
Да он бы и не взял забвенья.

Усталые чернорабочие гуськом проходят к вагонам.

Раздается звонок.

— Прощайте! прощайте! — гудет со всех сторон.— Ну, прощай! Смотри же, не забудь! Помни! Пиши из Москвы!

— Adieu! adieu! — раздается на французский и немецкий лад.

Паровик свистит, поезд трогается.

— Пиши! — кричит чей-то молодой взволнованный голос, и взволнованное лицо высовывается из окна вагона.

— Варва́р! Варва́р!—кричит другой, несомненно немецкий голос.— Не забыть получить за ламп! За ламп от Анн Петрови! За голубуй ламп!

— Что? — долетает голос, уже замешавшийся в расходящуюся толпу,— голос Варва́р.— Что получить?

— За ламп! За ламп! За голубуй ламп! С серебряным висюлечкам... Карл Иванач знает... Голубуй ламп с висюлечкам...

При этом из окна вагона высовываются немецкие жирные пальцы и быстро движутся, очевидно стараясь наглядно изобразить «висюлечк».

— Прощай! пиши! — слышится опять русский голос.— Так через месяц?

— С висюлечкам! голубуй ламп! Варва́р! не забыть, ни за что в свет не забыть! Варва́р! Варва́р! Где ж ты, Варва́р! Ah lieber Gott! [2] Какие это луди! Варва́р! Варва́р!

— Так через месяц?

— Напиши же!

— Да, да!

[1] Прощайте! Прощайте! *(франц.)*

[2] Ах, милый боже! *(нем.)*

— Варва́р! Варва́р! Du, lieber Gott! [1] Варва́р!..

Поезд двигается быстрее. Пассажиры уселись.

Струя свежего, хотя нельзя сказать чтобы животворного воздуха пашет в лицо. По обеим сторонам дороги мелькают бледно-зеленые нероскошные поля.

— Вы в Москву? — обращается с приветливой улыбкой пожилой, белый, раскормленный дворянин к своей соседке.

Во взгляде, в голосе, в каждой складке сытого лица видна особая какая-то ласковость — так называемая московская барская ласковость, за которою провидятся и разные московские барские добродетели: например, ни с того ни с сего закормить и запоить до полусмерти всякого, ничуть не голодного встречного, который (тоже ни с того ни с сего) приглянулся, добродушно оплакивать судьбу «братьев чехов» или «братьев сербов» и сдирать на пожертвования «для славянского единства» с «этого славного, доброго, честного русского народа», с первого слова пускаться в «задушевные речи» и проч. тому подобное.

— Нет,— кратко отвечает соседка.

— В губернию?

— В губернию.

— Но в Москве, конечно, остановитесь, поживете?

— Нет.

— Как же это? Неужто не почествуете нашу старушку белокаменную? Вы давно у нас не бывали? Много, много перемен.

Он вздыхает как-то особенно,— тоже по-московски,— с легким шипением сквозь зубы, и прибавляет с чувством:

— А и теперь еще хорошо!

Он снова вздыхает, прищуривается, задумчиво глядит в пространство, потом, как бы вдруг опомнясь, так же ласково продолжает начатую беседу.

— Вы живали в Москве?

— Нет.

— Неужто? И совсем ее не знаете?

— Случалось бывать только проездом.

— Проездом! Да как же это вы не остановились-то, а? — спрашивает он с грустно-снисходительным упреком.— И не грех? Ведь сердце земли русской! Позвольте спросить, вы разве из коренных петербургских?

— Нет.

---

[1] Зд.: Ах ты, боже мой! *(нем.)*

— Я это сейчас же угадал! У вас настоящий русский тип... Наш тип славянский... тип древних русских цариц... Скажите, вы где родились?

— В Малороссии.

— Ну, да! Так и есть! Родное, свое! Малороссия — ведь это меньшая сестра России... Скажите, как же можете вы существовать в Петербурге после ваших роскошных цветущих степей? Как вы, дитя пышной Украйны, не увяли в этом гнилом петербургском болоте?

«Дитя пышной Украйны» несколько сухо отвечает, что чувствует себя в Петербурге очень хорошо.

— Не верю! не верю! — восклицает он, улыбаясь и помавая белой пухлой рукою.— Не верю! Существо, взросшее под животворными лучами нашей русской Италии... Украйна — это наша Италия. Не верю! Нет, не верю, не верю! Я, мужчина, не могу выносить петербургских миазмов! Я, мужчина, там дышать не могу! Я приехал туда по необходимости, но не вынес: прожил две недели и дальше не мог! Я бросил дела, я бежал из этого вертепа холодного разврата! Ни привета, ни теплого взгляда, ни задушевного слова — везде расчет, везде грязь...

«Дитя пышной Украйны» взглядывает на него и как будто хочет сказать: «За что же это осыпать вас «теплыми взглядами», «приветами» и «задушевными речами»?»

Но ничего не говорит и обращает глаза в окно.

— Грязь, грязь и грязь! — продолжает он с благородным отвращением.— Я не могу...

— Москва тоже особой чистотой не отличается,— перебивает его звучный женский голос из противоположного угла вагона.

Звучный голос принадлежит черноглазой, бойкой на вид девушке.

— Вы изволите обращаться ко мне? — спрашивает он, повертываясь и стараясь каждым мускулом лица выразить верх язвительного изумления.

Но черноглазая девушка не обращает на это никакого внимания и, вместо ответа на язвительный вопрос, обзывает Москву «помойной ямой».

— Я нахожу излишним *вам* возражать,— говорит он после нескольких секунд немой ярости, говорит с наисильнейшим ударением над словом «вам», но очень сдержанным тоном,— я позволю себе только заметить, что, говоря о

грязи, я подразумевал грязь *нравственную*... нравственную-с...

— И нравственной матушке Москве не занимать-стать, и всякой другой-прочей: полным-полнехонько! — отвечает черноглазая девица.

Он глядит на нее с минуту, как вы бы поглядели на безвозвратно обесчестившего и погубившего себя человека, как-то особенно драматично содрогается и, словно все еще не желая верить своим ушам, с усилием произносит:

— Как-с? вы сказали?

— Я сказала, что в грязи уличной и «нравственной» матушка Москва белокаменная никому первенства не уступит.

— Позвольте мне заметить, что вы, вероятно, знаете Москву по *петербургским* слухам?

— Нет, не по слухам. Я сама там чуть не задохлась.

— Чуть не задохлись? Позвольте спросить, какие же условия необходимы для того, чтобы вы могли свободно дышать?

— Такие, какие необходимы для всякой разумной твари!

— То есть коммуны-с?

— Вы пошляк и с вами не стоит говорить.

Тут он действительно изумляется и содрогается непритворно. Все масло вдруг словно испаряется из его глаз, мясистые щеки бледнеют, и он уж не говорит, а шипит:

— Сударыня! Я *москвич!* Я москвич и не позволю себе забыться...

— Да я вам и не советую забываться.

Наступает молчание. Все присутствующие встрепенулись и навостряют уши. Черноглазая девица смело и беззаботно перелистывает какую-то книгу.

Москвич старается как можно презрительнее улыбаться.

Непозволительно напомаженный розовой помадой купчик, с русой клинообразной бородкой и алыми щеками, который до того времени все слушал, улыбался и обдергивал свою синюю новую чуйку, кашляет в руку и обращается к черноглазой девице не без некоторой колкости, но любезно:

— Вы уже очень конфузите Москву-с. Нам, москвичам, это огорчительно-с!

— Что ж делать? Я говорю правду.

— Это конечно-с, конечно-с... Только вы-с, по красоте своей и по молодости своей, неправильно видите-с... Москва

тоже свое образование имеет-с, будьте спокойны-с! И у нас подвиги-то тоже случаются не хуже питерских! И улицы тоже хорошие имеются-с... Вот-с Тверской бульвар хоть бы взять или хоть Мясницкую... Уж Москва не так простоволоса, как вы заключаете-с. Подвиги-то не то, что-с... не хуже питерских, а бывают и почище-с!

Черноглазая девица смеется и спрашивает:

— Какие же это такие подвиги? Расскажите!

— Разные-с! — отвечает купчик, то поглаживая, то покручивая свою клинообразную бородку.— Разные-с! Вот к примеру сказать, первобытно заключали, что Петербург всегда может обойти Москву, а теперь уже нет — шалишь! Мы сами-с с усами-с!

«Москвич» наклоняется к своей соседке, «дитяти пышной Украйны», причем глаза его снова умасливаются, и говорит ей:

— Люблю русского московского человека! Как он умеет резать матушку правду! Какой у него глубокий смысл!

«Дитя роскошной Украйны» ему не отвечает, восхищения «глубоким смыслом русского московского человека» не выказывает, закутывается в шаль и отодвигается как можно подальше.

— В первобытное время-с,— продолжает купчик все с тою же улыбкою,— заключали так, чтобы Москве учиться у Петербурга большим спекуляциям, а теперь уж, пожалуй, что и Москве-с можно Петербургу уроки и наставления давать-с... Москву теперь не проведешь — шабаш! Вот еще недавно было дело важнейшее-с! Угодно, я вам расскажу весь анекдотец?

— Расскажите, очень обяжете,— отвечает черноглазая девица.

— Извольте слушать-с. Есть у нас в Москве богатейший купец, первый торговец по бакалейной части-с. Жил он всегда благополучно, и все его душевно почитали-с. Дела, разумеется, он вел большие-с, и кредит ему был полнейший. Вот он задает обед всем своим побратимам-с. Все с удовольствием едут-с. Обед пышнейший: вина там этакие заморские, торты и блимаже [1] разные — словом сказать, все, как надлежит богачу-с.

Москвич опять наклоняется к «дитяти пышной Украйны» и шепчет ей:

---

[1] Искаженное франц. *бланманже* — десертное блюдо.

— Слышите, как говорит? Ведь это своего рода Гомер!

«Дитя пышной Украйны» опять ничего не отвечает, но отодвинуться ей уже некуда.

— Ну-с, обедают все в полном удовольствии-с и пьют за здоровье-с. И вдруг хозяин встает-с и говорит гостям-с:

— Слушайте, гости мои: я каяться буду! Судите меня!

Все этак усмехаются-с, ожидают, что ему угодно потешить их, побалагурствовать. Кто побойчее, тоже шутки подводят.

— Кайтесь, говорят ему, кайтесь, батюшка! Мы суд над вами сию минуту нарядим!

А он вдруг это в слезы-с! И закрывается этак рукавом-с, и рыдает-с... Все так и помертвели-с, слов не находят, только на него в беспамятстве глядят-с... А он только слезами, знай, заливается да время от времени себя этак рукой в грудь-с...

Наконец, приходят в чувство-с...

— Что такое? Что такое?

— Я,— говорит с рыданьями-с,— я банкрот! Сажайте меня в темную темницу! Простите меня,—взмаливается-с,— простите окаянного грешника: я всех вас подвел!

И становится это на колени-с... И руки к ним простирает-с... И весь дрожит-с...

А кредит у него, как я вам уже докладывал-с, полнейший был, и всем он им задолжал, кому десять, кому пять, кому пятьдесят, может, тысяч...

Ну, все, постигаете-с, и поражены, и разнежены, потому были подвыпивши к этому факту-с. Все его поднимать с колен берутся, обнадеживают...

А он показывает на стены и на шкафы — дом у него, доложу вам, как есть чертог-с! и рыдает этак жалостно-с:

— Все это уж не мое! Все уж продал! Думал, вывернусь!

Ну, и так он это плакал и скорбел-с, что всех их прошиб. Кто если и поворчал, так только так, для торгового порядка-с...

«Москвич» снова обращается к «дитяти пышной Украйны» и шепчет ей с волнением:

— Да! вот наши купцы, которых так обвиняют в неразвитости, выставляют в смешном виде нынешние остроумники! Нет! сердце у них, как у народа русского, православного, золотое! Эта патриархальность, которая так смешит

бессодержательных модников и модниц, скрывает под собой глубокую струю братской — святой братской любви!

Купчик оглядывается на него, прислушивается, видимо, не вполне разбирает смысл его монолога, улыбается как-то двойственно — и москвичу одним концом губ, и своей собеседнице другим — и продолжает:

— Одначе своего добра всякому жаль-с. И все по этому случаю огорчены-с и думают: неужли никакого способу спасенья нет?

Он это понимает-с и говорит им:

— Други мои,— говорит,— и благодетели! Вы меня, обманщика и разбойника, милостями обсыпали. Какая я ни на есть тварь, а забыть я этого не могу: я возьму посошок нищенский и пойду в Киев, к святым местам. Я отрекаюсь от мира. Людским подаянием буду питаться. Омочу слезами моими черствую корочку и поживлю тем свою грешную душу!

Долго он это еще вавилоны водил-с и, наконец, объяснил им, что есть еще у него малая толика в спрятном местечке и что желает он ее им разделить полюбовно, побратски.

— Не знаю,— говорит,— сколько придется на брата,— мало, очень мало!

И начинает высчитывать им, кому он должен. И просто страсть выходит-с! И тому, и другому-с, и пятому, и десятому, и сотому-с. Просто, значит, придется на брата по копейке по медной-с. Выходит, не уплата-с, не процент-с, а один только смех-с....

Ну, они, разумеется, недовольны-с. Начинают ему пенять-с, что нас, дескать, равняешь со всеми прочими, а мы, дескать, и любили тебя больше, и одолжили больше.

Ну, а он берет себя этак за голову-с и начинает безумствовать-с. И безумствует-с:

— Я,— кричит,— погиб! Я грабитель! У меня голова стеклянная, я ее разобью!

И ну биться головой-с. И все это так досконально, словно на лучшем театре-с.

Они его за руки-с, они его водой поить и брызгать. Тогда он еще пуще рыдать принимается-с, и опять на колени пред ними падает-с и кричит-с:

— Я ваш раб! Приказывайте! Что прикажете, то и исполню!

Они и приказывают ему, что, дескать, плати ты нам одним, раздели крохи между нами.

— А те-то? — он их спрашивает.— А прочие-то несчастливцы? Ведь я их погубил! Ведь за них меня бог накажет!

Ну, споры по этому обстоятельству были-с и разные морали-с. И долго он все не соглашался-с, даже до поту лица их довел-с... И тогда уж, как увидел их в этом положении, склонился, и вместе все разочли и распределили-с, и получили они все по десяти копеек за рубль-с... Покончили, значит, полюбовно-с и разошлись по домам.

И все в той надежде, что вот он это с посошком в Киев пойдет-с, а прочие кредиторы волосы будут на себе рвать-с.

А он через недельку после этого коленца новый магазинчик открыл-с и новый домик купил-с!

Так Москва-то, извольте заключить, тоже-с подвиги может совершать-с! Вы нашу старушку понапрасну, значит, конфузите-с!

— Это выдумки! — резко вскрикивает «москвич», переходя неожиданно от умиления к раздражению.— Я не понимаю, к чему вы вздумали рассказывать здесь подобные бессмысленные анекдоты?

— Прошу прощенья-с, анекдот самый верный-с,— отвечает несколько оторопевший, но неподатливый купчик.— И коли вы заподлинно из Москвы-с житель, так вы сами можете заключить-с...

— Вот «струя братской любви» так струя! — замечает черноглазая девица и заливается таким веселым хохотом, что даже господин в золотых очках, все время читавший газету и по бесстрастности и неподвижности скорее походивший на произведение искусства, чем на живую тварь господню, и тот переводит глаза с газеты на нее и улыбается.

Из «москвича» вся маслянистость снова испаряется, он слегка багровеет и говорит неровным голосом:

— Во всяком случае... во всяком случае язвы родины врачуются слезами, а не смехом! Положим даже, что анекдот господина шутника, нашего спутника, справедлив, положим...

— Извольте положить-с, не сомневайтесь,— перебивает купчик.— Вся Москва знает-с, все радуются-с!

— Радуются? — вскрикивает черноглазая девица.— Радуются?

Затем снова заливается хохотом, который окончательно отрывает от газеты господина в золотых очках.

— Язвы родины...— начинает «москвич».

— Чему ж они радуются-то? — перебивает черноглазая девица.

— А как же-с не радоваться! — отвечает ей купчик.— Ведь свое-с, родное-с! И не то чтобы там от каких англичан или немцов научился, а сам, своим умом дошел-с.

— Да ведь он...

— Так что же такое-с? Хотя там от него и претерпели-с убыток, а все нельзя не почувствовать, что он молодец-с, политик-с... Голова, что называется, не сеном набита-с! Ну, и лестно-с, что и нас, дескать, бог не совсем своим промыслом обошел-с!

— Не обошел! не обошел! — хохочет черноглазая девица.

— Язвы родины...— снова начинает «москвич».

Но черноглазая девица его снова перебивает:

— Расскажите еще про московские подвиги!

— Занятно показалось? — спрашивает купчик с самодовольной усмешечкой.

— Очень занятно! И вы отлично рассказываете: так все и видишь перед собою.

— Помилуйте-с! Это один комплимент-с!

— Ей-богу, не комплимент!

— Как можно-с! Мы понимаем-с, что это один комплимент-с...

— Ну, хорошо, как хотите... Скажите, правда это, что в Москве разводят гуано?

— Что-с?

— Гуано.

— Такого не слыхал-с, не знаю-с. Давно-с?

— Недавно.

— От кого изволили слышать-с?

— От одного знакомого.

— Кто такой на прозванье-с?

— На что вам его прозванье? Дело не в прозваньи, а в том, что у вас в Москве разводят гуано!

Купчик делается серьезен и, видимо, начинает подозревать, что девица намерена над ним поглумиться.

— Неужели не знаете? У вас в воспитательном доме, на чердаке...

— А! это голубей-то-с приваживали?

— Да, да! Ведь тоже молодец!

— Хозяин-с!

— Так это правда?

— Правда истинная-с. Обидели его, обидели-с!

«Москвич» яростно обращается к купчику и, шипя, спрашивает:

— Вы от кого эти сведения получаете?

— Слухом земля полнится-с,— отвечает купчик.

— Хорошо-с.

Это «хорошо-с» произнесено столь зловещим тоном, что купчик несколько смущается, но показывать смущения не желает и потому улыбается по-прежнему, пощипывая и поглаживая свою бородку.

— Ну, расскажите! — говорит ему черноглазая девица.

— Что ж рассказывать,— отвечает купчик,— сами знаете-с!

— Да я только кое-что слышала, я хотела бы поподробнее узнать! Пожалуйста, расскажите!

Купчик только улыбается.

— Да что вы, боитесь, что ли, кого?

— Чего ж бояться мне-с? Я, слава богу, человек не подневольный-с. Слава богу, господ над собой не имею-с!

— Так как же это он приваживал голубей, а?

— Так и приваживал-с. Там у них пространнейший чердак-с, и вот там все и происходило-с. И дошло, наконец, до того, что уж не только чердаки-с, а и верхний этаж предопределен был голубям-с, вместе с младенцами-с... Ха-ха-ха! Подлинно, как есть, хозяин-с.

— Безумная, злобная клевета! — восклицает «москвич», не обращаясь ни к кому, а так, в пространство.

— Не клевета, а глубокая «струя братской любви!» — отвечает черноглазая девица с горьким уже смехом.— Известно, по крайней мере, сколько детей поморено за это время? — обращается она к купчику.

— Мор был большой-с, а в точности неизвестно-с,— отвечает купчик, поглаживая бородку.

«Москвич», с которым чуть не сделался удар, когда черноглазая девица упомянула о «глубокой струе», несколько оправился и обращается, шипя, как кипящий сироп, к купчику:

— Любезнейший! ты сам из Москвы?

— Московские-с,— отвечает самодовольно купчик.

— А звать тебя?

— Андрей Иванов-с.

— Я прозвище твое спрашиваю!

Андрей Иванов вглядывается в круглое, багровое от злости дворянское лицо, смекает, что вел себя неосторожно, смущается этим, но, сохраняя вид спокойствия и даже некоторого удальства, отвечает с прежнею улыбкою:

— На что ж это вам мое прозванье понадобилось-с? Аль вы ревизские сказки списываете-с?

Для негодования «москвича» нет выражений. Он задыхается, дрожит, слюна у него брызжет,— едва возможно разобрать, как он, захлебываясь, шепчет:

— Я ревизских сказок не списываю... но... я знаком ли-ч-н-о с градоначальником и... и одолжу его... если... если уведомлю о твоих... гнусных... гнусных...

— Извольте уведомить-с, извольте... Что ж! извольте!— отвечает заметно изменившийся в лице, но все еще старающийся бодриться Андрей Иванов.— Что ж такое? Извольте-с... извольте-с...

— Ваше прозвище!

— Не говорите! — вскрикивает черноглазая девица.— Никто не смеет вас допрашивать!

— Всякий честный человек *имеет право* требовать отчета в гнусной клевете! Да, имеет право! — шипит «москвич».— Каждый, горячо любящий родину свою...

— Должен, по-моему, кротко смотреть на некоторые ее... ее уклонения,— раздается позади «москвича» внушительный голос.

«Москвич» быстро повертывается и окидывает нового собеседника грозно-испытующим взором.

Новый собеседник высовывает из-за спинки вагонного дивана кудрявую, несколько косматую темно-русую голову и, вопреки молодости и искрометным темным глазам, вид имеет не только постный, но даже вместе с тем величавый. Подозрительный осмотр он выдерживает как ни в чем не бывало и затем еще более подозрительно сам начинает в упор разглядывать обернувшуюся к нему раскормленную физиономию.

— То есть, как же это? — говорит несколько сдержаннее, но все еще захлебываясь, «москвич».— Если гнусная клевета, пуская свое ядовитое жало в самые священ...

— Жало клеветы сломается о твердь правды, сказано в пророках, но это в сторону. У вас недостает смирения...

— Уж это точно-с, недостает-с! — замечает в сторону

снова оживающий Андрей Иванов.— А между тем-с при таких страстях в полнокровии угрожает *кондрашка-с*.

— Смирения перед явлениями русской жизни недостает! — продолжает новый собеседник, не спуская глаз с «москвича».— Что́ вас оскорбило в анекдоте Андрея Иванова,— слегка кланяется при этих словах Андрею Иванову, который вскакивает и отдает ему наилюбезнейший ответный поклон,— о море и голубях?

— Клевета..,— захлебывается «москвич»,— клевета...

— Никакой клеветы-с! — вставляет Андрей Иванов.— Одно ваше воображение-с!

Черноглазая девица глядит на нового собеседника нельзя сказать чтобы ласково или почтительно.

— Клевета! оскорбление благородной личности! — выговаривает «москвич».— Это теперь в моде! Я лично не знаю этого оклеветанного, но я бескорыстно, как честный человек, считаю своей обязанностью везде провозглашать, что вся эта история... вся искажена самым непозволительным образом! Из мухи сделали слона с постыдной целью...

— Позвольте просить вас познакомить нас с мухой.

— Увольте меня от этого! Чем скорее предадим мы забвению эту грязную выдумку, тем лучше!

Затем, обращаясь к «дитяти пышной Украйны», вполголоса грустно говорит:

— Тяжело! Я *живой* еще человек и не могу...

Но «дитя пышной Украйны», не внимая ему, обращается к сидящему в другом углу господину и просит его сделать ей одолжение, перемениться с ней местом.

Угловой господин соглашается, но, видимо, без всякой охоты. Он осторожно, словно по тонкому льду, пробирается в соседство «москвича», подбирая полы серенького пальто, опустив впалые глаза и сжав бутончиком губы; на его сером чиновничьем лице как нельзя яснее выражается: «Не надо ни с кем из них связываться! Не надо... Еще беду наживешь!»

«Москвич», цепенея, провожает глазами «дитя пышной Украйны». Ему сильно угрожает «кондрашка» в эту минуту.

— Не угодно ли, я вас познакомлю с «мухой»? — спрашивает господин в золотых очках, обращаясь к кудрявой голове.

— Сделайте одолжение! — отвечает голова.

— Пожалуйста! — вскрикивает черноглазая девица.

«Москвич» обращает исступленные взоры на золотые очки, но золотые очки, поправляемые белой рукой, очевидно более привыкшей подписывать резолюции, чем представлять к подписи, без слов очень красноречиво отвечают: «Мой друг, со мной вам не тягаться! Я не выезжаю на любви к Москве, потому что выезжать на этом не стоит, ибо не приводит ни к чему положительному, но я имею другой полет — известный у вас в Москве под названием гуманно-административного. У нас считается полезным выводить промахи и уклонения известной категории... и я вывожу их спокойно, с полным сознанием своего долга».

Невзирая на бешенство, обуревающее «москвича», сей немой язык, очевидно, отлично им понят, потому что он мгновенно съеживается, как губка, из которой вдруг вытянули влагу, и обращает глаза в окно вагона, стараясь прикрыть видом внезапно налетевшего раздумья бушующие в груди чувства.

Золотые очки, обращая свои лучи на черноглазую девицу, с легкой улыбкой начинают:

— Я это дело знаю очень близко, потому что оно передано мне очевидцем, достойным полного доверия, занимающим довольно важный пост. Гм-гм!

Золотые очки невыразимо откашливаются, этим откашливанием упомянутый как бы вскользь «пост» вдруг выделяется, как комета на ночном небе, что заставляет «москвича» несколько раз быстро сморгнуть, хотя он головы и не повертывает.

— Что ж, как это было? — перебивает черноглазая девица с несколько резким нетерпением.

Золотые очки несколько саркастически, но чрезвычайно благосклонно улыбаются на это нетерпение и слегка наклоняют голову, как бы желая выразить: «Такая живость, разумеется, в порядочном обществе не принята, но я ее допускаю в такой очаровательной дикарке».

Затем продолжает:

— Начальник заведения точно был человек почтенный, если глядеть на него с точки его отношений к семье и приятелям и принимать во внимание степень его развития. Он даже, можно сказать, не скрывал своего... своего...

(Саркастический, но еще благосклоннейший взгляд на черноглазую девицу).

— Своего образа действий. Не могу вам наверно поручиться, что́ впервые навело его на мысль обратить вверен-

ное ему заведение в голубятню, но предполагают, что виною этому была статья, помещенная в одном из наших журналов.

— Это в каком же? Это как же? — вскрикивает черноглазая девица, изображая всем своим существом самый ярый протест.

Золотые очки, видимо, любуются ею, как какой-нибудь картинкой, которую, хотя ни за что не показывают ни жене, ни дочери, но тем не менее сами, в силу привилегий мужского пола, смотрят с удовольствием.

Косматая голова по-прежнему остается на спинке вагонного дивана неподвижно-внимательно. «Москвич» встрепетывается и за неимением около себя «дитяти пышной Украйны», бросив на помянутое дитя яростный взор, обращается к серому чиновнику:

— Да! статьи нынешнего направления...

Серый чиновник покрывается краской испуга и начинает притворяться, что его душит припадок кашля.

Золотые очки продолжают:

— Я статью не осуждаю,— статья могла быть прекрасная, но беда в том, что даже прекрасное, падая на необработанную почву, производит нечто безобразное.

— Ну! — восклицает черноглазая девица.

— Многие факты это, к сожалению, неопровержимо доказывают,— отвечают, слегка наклоняя голову, золотые очки.— Я продолжаю. Статья была, если не ошибаюсь, о гуано, как о превосходнейшем средстве удобрения бесплодных полей. Глава же заведения, о котором идет у нас речь, не получал с подмосковного своего имения никаких доходов именно потому, что земля там бесплодная. И вот его озаряет мысль, нельзя ли устроить в Москве гуано. Если мы еще к этому предположим, что он читал эту статью у открытого окна и увидал густую стаю голубей, опускающуюся на крышу казенного заведения, то объяснится совершенно просто, как он пришел к решению, имевшему впоследствии столь для него неприятный исход.

Он с спокойною совестью занялся производством. К концу года все чердаки преисполнены уже были голубями, и весной он имел утешение отправить несколько подвод голубиного гуано на свои подмосковные нивы.

На следующий год производство, как и следовало ожидать, пошло еще успешнее. Голуби, привлекаемые обильным кормом, заняли не только чердаки, но и верхний этаж

заведения. Естественно, это несколько стеснило помещение младенцев и произвело между ними большую смертность.

Золотые очки с улыбкой умолкают. Общее безмолвие по разным причинам. Черноглазая девица задыхается от негодования; серый чиновник до того придавлен ожиданием бед от подобных разговоров, как будто сам был сильно замешан по делу о гуано; косматая голова, щурясь, всех обозревает, словно все не люди, а какие-нибудь пирожки или иллюстрации, которые ей вовсе не по вкусу, но которыми, тем не менее, приходится довольствоваться в данную минуту. Купчик Андрей Иванов как-то особенно пожимается, одним глазом взглядывает не без сарказма на «москвича», а другим, не без почтения, на золотые очки.

Золотые очки, помолчав, продолжают, обращаясь к черноглазой девице:

— Самое главное — это недостаток образования. Молодые силы России велики.

При этом золотые очки избочаются, как молодые юнкера, подносящие на гулянье розу красавице и дающие понять этой виновнице их восторгов и страданий, что она и самые розы превосходит прелестью. Нет сомнения, что они также желают дать понять черноглазой девице, что она — пленительная представительница великих сил молодой России.

— Силы эти...

Пронзительный свисток прерывает многообещавшую тираду.

Начинается суета, возня, давка. Со всех сторон жужжит: «буфет! буфет!», раздается хлопанье дверей, проносятся струи кухонного запаха, женский наставнический голос пищит с нижегородским акцентом: «Ne courez pas, George» [1]

— Чайку изопью! — вдруг все покрывает какой-то бас.

Золотые очки раскланиваются преимущественно с черноглазой девицей и удаляются с улыбкой.

Серый чиновник поспешно, спотыкаясь, выскакивает на платформу, видно, как перебегает от вагона к вагону, отыскивая более безопасного для себя места, наконец, вероятно найдя желаемое, исчезает.

Андрей Иванов [2], ласково улыбаясь, словно продавая

[1] Не беги, Жорж! *(франц.)*

[2] В журнальном тексте *Прохоров*. Очевидно, это опечатка, т. к. перед этим везде — *Иванов*.— *Ред.*

что-то неподатливому покупщику, уходит тоже в буфет. Черноглазая девица сначала зевает, потом задумывается. Украинка, кажется, спит, потому что закрыла глаза; косматая голова остается в прежнем положении на спинке дивана; «москвич» имеет до того расстроенный вид, словно последнее его родовое имение, населенное «дорогими детскими воспоминаниями», как обыкновенно москвичи в этих случаях выражаются, описано и продается с аукциона.

Общее безмолвие.

Наконец, раздается звонок, и пассажиры беспорядочно валят к вагонам.

Андрей Иванов возвращается с кренделем и яблоком и той же улыбкой на цветущем лице.

— Не угодно ли-с? — говорит он черноглазой девице, представляя ей на трех перстах апельсин.

— Нет, не хочу,— отвечает черноглазая девица.

— Просим-с умиленно! Будьте столько милостивы, не откажите-с! — пристает Андрей Иванов, сбочив безбожно напомаженную голову.— Осчастливите-с человека.

— Говорят вам, не хочу! — отвечает с неудовольствием черноглазая девица.— И с какой стати вы вздумали потчевать меня апельсином? Вы бы лучше на эти деньги какой-нибудь голодной хлеба купили!

Андрей Иванов до того изумлен этими словами, что даже улыбочка его на мгновение стушевывается и апельсин чуть не слетает с трех перстов, на которых так грациозно представлялся девице.

— Что-с? — спрашивает он, несколько оправившись.

— Лучше бы вы хлеба какой-нибудь голодной купили, чем угощать встречных апельсинами! Что ж вы на меня глядите во все глаза? Разве я по-китайски вам говорю?

— Хлеба голодной-с? — спрашивает Андрей Иванов.— Какой же это голодной-с? У меня, слава богу, голодных не имеется-с! Мы не какие-нибудь-с!.. Вы это напрасно-с!..

При последних словах лицо его омрачается, тон из умильного переходит в обиженный, и он, видимо, начинает подозревать черноглазую девицу в желании унизить и оскорбить его.

— Я не знаю, как это уразумевать-с! — прибавляет он.

И, взяв отвергнутый апельсин в кулак, садится.

— Вам не понятно, что лучше дать голодному кусок хлеба, чем угостить сытого апельсином? — спрашивает запальчиво черноглазая девица.

Андрею Иванову это, очевидно, непонятно. Он подозрительно смотрит на черноглазую девицу, как бы стараясь отыскать какой-то скрытый, оскорбительный для его чести смысл в этих словах.

— Вы не понимаете, что апельсин нейдет в горло, когда у других хлеба нет? — вскрикивает черноглазая девица.

— Не понимаю-с. Отчего ему нейти-с?

«Москвич» оборачивается и, глядя на черноглазую девицу, язвительно улыбается, как бы желая выразить: «Вот они, модные-то идеи!»

Косматая голова тоже смотрит на черноглазую девицу, но смотрит не без удовольствия.

И в самом деле, черноглазая девица в эту минуту хороша,— хороша не как обладательница искрометных глаз и алого румянца только, а как человек, в котором, может быть, и угловато, и не в пору, но заиграли те человеческие чувства, которыми он отличается от скотов.

— Вы не понимаете, что позорно есть апельсины, когда вон та старуха, глядите, глядите,— вон идет она!

И черноглазая девица толкает его к окну.

Он выглядывает из окна и говорит:

— Вижу-с, вижу-с!

— Когда та старуха едва тащится!

— Как-с? позорно-с?

— Да, позорно! понимаете, стыдно, совестно!

— Нет-с, не стыдно и не совестно-с. Даже нисколько-с.

— Нисколько?!

— Нисколько-с. Потому я в этой старухе не виноват-с.

— Все мы виноваты!

— Может, вы-с, а я не виноват-с!

— Говорю вам, все, все виноваты! понимаете вы — *все!*

Андрей Иванов улыбается и, поглаживая бородку, возражает:

— Не могу этому верить-с. Вдруг какая-нибудь бродяга-с, и вдруг все виноваты! Не могу верить-с!

— Да поймите же, наконец...

— Сударыня! — вдруг отзывается косматая голова.— Вы рассыпали бисер!

Черноглазая девица обертывается и с удивлением резко спрашивает:

— Какой бисер? Где бисер?

— Вы рассыпали бисер,— повторяет косматая голова, выразительно глядя ей в лицо.— Я сам видел, как покатились бисеринки вот к их ногам.

И косматая голова кивает на Андрея Иванова.

Андрей Иванов нагибается, некоторое время шарит по полу, затем поднимается, встряхивает волосами, с которых брызгает помада, подозрительно взглядывает на косматую голову и усаживается на месте.

Черноглазая девица улыбается и говорит:

— Ах, и в самом деле я просыпала!

Затем погружается в невеселые думы, что можно видеть по ее живому, выразительно говорящему лицу.

Раздается последний звонок. На опустелой платформе видны золотые очки под руку с каким-то гладко выбритым, словно выскобленным, розовым подбородком благородных размеров и пухлости.

Золотые очки перебегают по окнам вагонов, очевидно отыскивая что-то интересное.

Подбородок говорит:

— Где ж она? Нет? Ну, пойдемте,— может быть, она где-нибудь там в третьем... бог с ней! Вы знаете, у нас Aline с мужем. Как похорошела! Персик! Пойдемте!

— Погодите! Погодите! Я вам говорю, прелесть! Вот она!

И золотые очки указывают на черноглазую девицу.

Подбородок остается доволен.

— Да! — говорит он,— да! Вы разговорились с ней?

— Некогда было! Ведь это своего рода скала.

— А говорили, что все нигилистки уроды! — замечает подбородок, приподнимаясь на цыпочки для полнейшего обозрения обсуждаемого предмета.

— Нет правила без исключения! — отвечают золотые очки.

— И, кажется, довольно чистенькая, а?

— Ничего. Жаль, что я дал слово Катерине Ивановне. Я бы поехал с ней до Москвы!

— Энтузиаст! — смеется подбородок.

— Вами любуются-с! — уведомляет Андрей Иванов черноглазую девицу.

— Что? — спрашивает она, поднимая голову.

— В восторги от вас приходят-с. Извольте взглянуть-с!

Она взглядывает, потом с омерзением отворачивается.

— Барышни всегда притворщицы-с! — с хихиканьем говорит Андрей Иванов, намекая на выказанное ею презрение к приходящим в восторги.

— Перестаньте говорить глупости! — замечает черноглазая девица.

— Помилуйте-с, какие ж глупости-с...

Третий звонок. Поезд шипит, свистит и двигается.

Скоро исчезает из глаз пассажиров и платформа, и золотые очки под руку с подбородком, и переставные лавочки с прогорклыми, сухими, пыльными снедями, и сама станция с претензией на архитектуру.

Опять поля. Несколько ярче и гуще зелень, но все-таки очень плоха. Мелькают по сторонам более или менее чахлые кусты; то там, то сям поднимаются вдали крупные коршуны и описывают широкие, медленные круги в воздухе. Еще дальше на тропинках, ведущих куда-то в деревни, время от времени чернеется, как муравей, какой-нибудь прохожий мужик или прохожая баба.

Жар усиливается, пыль все больше и больше набивается в вагоны. Небо неприятного голубовато-серого цвета, как оно изображается на вышитых гарусом подушках над головой турка в чалме или охотника в узорчатом патронташе.

— Ма-а-туш-шки! Вот жаротва-то приперла! — слышится из вагона.

Андрей Иванов, отирая пот с лоснящегося лба, заводит разговор.

— Тепло-с! — начинает он, обращаясь к черноглазой девице.

Черноглазая девица, невзирая на его умильную улыбку, не дает никакого ответа на его справедливое заявление о теплоте.

— Напрасно вы изволите на меня обижаться-с,— продолжает он.— Мне это прискорбно-с! Я...

— Оставьте меня в покое,— прерывает его черноглазая девица.

Она берет книгу, отыскивает страницу и принимается за чтение.

Андрей Иванов краснеет и обидчиво возражает:

— Не постигаю-с! Не могу даже постигнуть-с!

Косматая голова переходит на свободное место против «москвича», который только скашивает на нее глаза, но прямо не взглядывает.

Андрей Иванов, желая, вероятно, показать, что его пре-

небрежение черноглазой девицы мало трогает, обращается к косматой голове:

— Далеко изволите ехать-с?

— В деревню.

— По найму-с?

— Нет, без найма.

— А! в гости, стало быть. К помещикам-с?

— К родителям.

— А! Вы в Питере каким это делом занимаетесь?

— Живу у дяди.

— А дядя-то в каком положении-с?

— Служит.

— Гм! И хорошо-с?

— Ничего.

— Много получает-с?

— Тысяч четыреста в год.

— Что-о-о-с? Да он кто ж такой-с?

— Он...

Тут косматая голова выговаривает такую важную и известную фамилию, что Андрей Иванов изменяется в лице. «Москвич» заметно вздрагивает, и даже черноглазая девица переводит глаза с книги на него.

Только не шевелится украинка, которая все остается с закрытыми глазами.

— Шутите-с? — произносит,— именно не говорит, а произносит Андрей Иванов.

«Москвич» внимательно оглядывает косматую голову с ног до маковки.

Этот осмотр его, по-видимому, успокаивает.

— Что за шутки! — отвечает косматая голова.

— Родной дяденька-с?

— Самый родной. Родней и не бывает.

«Москвич» не произносит ни слова возражения, но глаза его неподвижно устремляются на грудь косматой головы, на те именно места, где остаются признаки отсутствующих пуговиц на потертом пиджаке.

— Да,— говорит косматая голова,— да! Провинился я перед дядюшкой! Вообразите, картежничал семь суток! Проиграл пятьдесят тысяч, лошадей, часы,— все!

— Ах, несчастье-с какое примерное! — вскрикивает Андрей Иванов.

Это его восклицание совершенно не похоже на все предыдущие. В нем слышится что-то похожее на заискивающий

визг маленькой шавки, очутившейся перед большим, хотя и облитым из кухни горячей водою, водолазом или другим каким большим псом.

«Москвич» пока ничего не выражает словесно, но глаза его умасливаются и он, подобно гелиотропу, обращающемуся невольно к солнцу, оборачивается к племяннику «дяди».

Черноглазая девица опять принимается за чтение.

Впрочем, время от времени она поглядывает на косматую голову и на подвижном лице ее ясно тогда читается: как однако же можно ошибиться!

Духота невыносимая. Андрею Иванову хочется до смерти почать апельсин, который чуть не испекся в его мясистой руке, но он считает недозволительным делать это при племяннике важного лица и потому только вертит этим плодом.

— Фу, какая жара! — говорит косматая голова.

— Мучительная,— отвечает с чувством «москвич».— Жажда мучит...

— Да, скверно!

— Нельзя ли у кондуктора воды достать, как вы думаете?

«Москвич» в этих простых, казалось бы, словах искусно выражает что-то особое,— «симпатию душ», как говорится еще в Москве.

— Не угодно ли? — робко спрашивает Андрей Иванов, снова воздвигая свой апельсин на три перста и представляя его «племяннику».

— Спасибо,— отвечает благосклонно тот, берет апельсин, чистит, первый кусочек кладет себе в рот, второй протягивает черноглазой девице, кивком приглашая ее принять участие в пиршестве.

Рука его, вытянувшись во всю длину, обнаруживает распоротый шов рукава.

Но это уже не шокирует ни «москвича», ни Андрея Иванова, потому что ведь шов распоролся не от нужды и горя, а от размаха широкой русской натуры, той натуры, которая особенно хорошо развивается на «собственных» полях нашей обширной родины.

Черноглазая девица взглядывает и резко говорит:

— Не хочу!

— Напрасно! — замечает косматая голова.— Напрасно.

Только что он успевает съесть апельсин, «москвич» предлагает ему тонкую сигару.

И сколько симпатии он при этом выражает одним склонением своего грузного, но гибкого туловища!

— Кажется, недурна,— говорит он задушевным голосом.

— А вот увидим! — отвечает косматая голова.— Очень обязан.

— Огню!

— Очень признателен!

Оба начинают курить.

— У вас настоящая русская размашистая натура! — говорит как-то из груди «москвич».— Одна из тех натур, что как степь необозримая...

Поезд останавливается. Опять суета, давка, шум и крик.

Косматая голова встает, направляется к выходу, приостанавливается на пороге и, не выпуская сигары изо рта, говорит:

— А ведь *** мне не родной дядя!

Андрей Иванов поднимает вверх клинообразную бородку, «москвич» покрывается тенью.

— И даже совсем не дядя,— прибавляет жестокая косматая голова,— я не картежничал, я только нахвастал, и имя мне не степь необозримая, а — ничто.

И он скрывается.

Андрей Иванов, прийдя в себя, разражается потоком оскорбительных прозвищ. «Москвич» до того взбешен, что язык у него как бы отнимается.

Зато как торжествует черноглазая девица!

Даже украинка просыпается.

В вагон входит дама в дорогом шиньоне и изящном летнем туалете, с книжкой в руках, так сказать, дама безличная, хотя и обладает она довольно некрасивым лицом.

За дамой входит еще коренастый молодой человек в каком-то, по всем признакам, модном сюртучке: лацканы в виде распяленных крыльев летучей мыши, сердцеобразный вырез на груди являет тонкую, накрахмаленную колом рубашку с буфами; на руках светло-лиловые перчатки, на голове шотландская шапочка, галстук яркий полосатый, вид, хотя дикий, но вместе с тем довольно самоуверенный, глазки узенькие, подбородок тупой.

Если бы молодые вепри одевались в модные костюмы и

ездили по Николаевской железной дороге, они имели бы совершенно то же выражение морды.

Рассаживаются по местам. Дама открывает книгу, судя по формату, французский роман; молодой человек вынимает из кармана надушенный платок и нюхает.

Даму книга, однако, мало занимает; она высовывается из окна и начинает следить за снующими по платформе фигурами.

Поезд трогается.

«Москвич», несколько успокоившись, оглядывает новоприбывших подозрительно.

Вдруг лицо его просветлевает. Он вскрикивает:

— Помпей Петрович! Вы ли это?

И протягивает обе руки к господину с лацканами наподобие крыльев летучей мыши.

— Ах! — отвечает Помпей Петрович.— Ах, Павел Илларионович! как приятно!

— Куда бог несет?

— В Москву.

— Очень рад, очень рад. Прямо ко мне обедать. Слышите? прямо!

— Благодарю вас. Непременно. Я долгом почту, и это такой приятный долг...

— Спасибо, спасибо, милейший! Как счастлив ваш батюшка, что вы не похожи на нынешнюю молодежь!

При словах «нынешняя молодежь» Помпея Петровича всего передергивает, и глазки его вдруг начинают наливаться кровью.

— Да, счастлив он, счастлив! — повторяет «москвич» с глубоким вздохом, изгоняющим целую струю пыли из вагона.— Помните: на вас одних, непричастных царствующему теперь нравственному разврату, покоятся судьбы отечества и все святые предания старины, завещанные нам могучими нашими дедами! Ужасно, что́ теперь у нас совершается!

— Да, ужасно! — отвечает Помпей Петрович.— Мужики развращены так, что ничего нельзя устроить. Я хотел сделать улучшения... улучшения... Ничего невозможно устроить!

— Бедный народ! Он не виноват! Он ведь как чистый младенец: злодей завертывает его в свою порочную мантию, а он ясно улыбается и не провидит растлевающего прикосновения нечистых рук!

— Вы смотрите на народ так... так... Вы представляете себе его таким... таким добрым, потому что вы не живете в деревне! — возражает Помпей Петрович, свирепея и по мере этой одолевающей свирепости как бы прихрюкивая.— Поживите вы с народом, так скажете другое! Такого мошенничества нигде больше не сыщете! Вор на воре, разбойник на разбойнике! Ничего нельзя устроить у себя в собственном имении!..

— Нет, друг мой! нет! Народ не испорчен,— он соблазнен,— и повторяю, соблазнен, как чистый младенец! Я верю, придут лучшие времена, когда вся скверна спадет с него, как чешуя с очей апостола Павла, и он поклонится правде и добру!

— Это потому, что вы не живете в деревне! — возражает еще с большей свирепостью и с сильнейшим прихрюкиванием Помпей Петрович.— Ведь ничего нельзя устроить, как хочешь! В своем собственном имении!

— Да,— вмешивается дама в дорогом шиньоне,— даже женщины теперь ужасно развращены нравами! Вот у меня в деревне тоже такие все неприятности. Я веду просто страдальческую жизнь. Знаете, даже боюсь жить одна. Я очень кроткого характера,— мне неприятно всякое буйство. Я взяла гувернантку больше потому, чтобы не жить одной. Дети в ней не нуждаются,— они еще малы.

— Позвольте спросить, откуда вы взяли гувернантку?— спрашивает «москвич», наклоняя туловище вперед каким-то тоже «задушевным» манером.

— Из Петербурга.

— Позволите вы мне сделать маленькое замечание?

— Ах, пожалуйста!

— Все, что́ из Петербурга, нравственно подточено.

— Как?

— Я хочу сказать, что все петербургские проникнуты порчею — так называемыми современными идеями.

— Не все! — с упованием восклицает дама.

— Все-с. Мне грустно сказать это, грустно выводить вас из отрадного заблуждения, но правда выше всего! Петербургские женщины...

Тут Помпей Петрович так вскрикивает, как будто петербургские женщины отодвинули от него корыто самого дорогого месива:

— Там все женский вопрос!

— У нас тоже говорили об этом женском вопросе,— вздыхает дама.— Но это так. Потом все прошло.

— Это какой же-с женский вопрос? — вмешивается Андрей Иванов, с умильной улыбочкой обращаясь к даме.

— Университеты... Я, право, хорошенько не знаю сама,— отвечает дама, вздыхая.

— А! это, видно, насчет обучения наук-с! У нас тоже по Москве ходят такие эпидемии-с... Даже между купечеством появляются-с.

— Неужели?

— Истинно-с.

«Москвич» высокомерно на него взглядывает, как бы желая сказать: «Опять? Ты опять? Предупреждаю, даром не пройдет!»

Андрей Иванов понимает этот язык взоров и, переводя умильную улыбку к «москвичу», замечает:

— Я тоже люблю Москву-с. Тоже моя родина-с. Вы напрасно только сомневаться изволили!

«Москвич» не поддается, однако, этому выражению симпатии и ответом, ниже улыбкой не удостаивает.

Андрей Иванов продолжает:

— Да-с, ходит даже между купечеством. Только ведь тут не лафа-с: живо обрабатывают-с. Вот, к примеру говорить, у меня сосед, купец, богатый человек-с, и у него дочь, прекрасная девица. И все сначала шло в благополучном порядке-с,— даже за офицеров замуж не хотела-с,— и вдруг-с обезумела: «учиться буду! учиться хочу!» И никакого сладу с ней нету,— все одно что одержимая-с. Родители испугались до смерти-с, повезли ее сейчас в Троицкую лавру-с, служили молебен-с, поили ее святой водой, прикрывали митрополитскими ризами-с,— все не действует! Там, было, и поунялась, а приехали домой — снова безумствует-с. Отец думал-думал, а потом разложил ее и посек-с. И как помогло-с! Просто как рукой сняло-с!

— Мерзавец! — раздается вдруг звучный взволнованный голос.

Дама «очень кроткого характера», которой «неприятно всякое буйство», с испугом обращает бесцветные глаза в ту сторону.

Но черноглазая девица овладевает собою. Только легкое дрожание руки, перевертывающей листы книги, обличает ее волнение.

— Не удивляйтесь! — говорит с грустной улыбкой «москвич» даме.— Не удивляйтесь!

— Не извольте обращать внимания-с! — говорит Андрей Иванов.— Когда-нибудь посекут-с и тоже поможет-с...

И он заливается умильным, дробным смехом.

«Москвич» сдается и дарит улыбкой ободрения. Помпей Петрович издает хрюк ликования.

Дама показывает зубы, напоминающие обгорелый забор.

Между тем уж свечерело. Кондуктор зажигает огни; бо́льшая часть пассажиров умащивается и тотчас же засыпает.

Среди наступившего безмолвия раздаются отрывки речей.

— Без бедных свет даже не может стоять-с, потому спасенье души в этом для всех-с: бедные спасаются терпением-с, а богатые милосердием к неимущим-с. Круговая порука-с. Ты сподобляешься царства небесного за то, что престрадал, а я за то, что к твоим нищетам сожаление имел,— и в писании сказано-с: «Носите тяготу друг дружки», сказано-с...

— Ничего нельзя устроить в своем собственном имении!

— Я верую в светлое будущее!

— Неужели!

Пролетела ночь. Сияет яркое, жаркое утро.

«Москвич» мычит во сне. Андрей Иванов похрапывает, Помпей Петрович ежится на диване в тревожной дремоте, как оторванный от привычного логова. Дама очень кроткого характера, не представлявшая и с вечера прелести, теперь, когда дорогой шиньон ее сбился на сторону и рот разинулся, решительно никуда не годна.

Черноглазая девушка крепко спит. Во сне она положила голову на плечо соседки, поименованной «москвичом» «дитятей пышной Украйны».

Соседка уже проснулась. Она бережно приподнимает склонившуюся на ее плечо голову, кладет ее себе на колени и долго смотрит на это спящее лицо.

Какое честное, смелое, прекрасное лицо! Видно, что эти губы не раскрываются для лжи.

Она взглядывает на свесившуюся руку. Какая сильная, рабочая рука! Вовсе не сахарные пальчики!

Она смеется от удовольствия и тихонько целует в лоб спящую.

Кажется, она думает: «Нет ничего на свете лучше честного человека!»

Вслед за этим приятным чувством является невеселое раздумье: «Кто ты такая? Что с тобой будет? У какой пристани очутишься?»

— Москва! Москва! — вдруг вскрикивают со всех концов.— Москва видна!

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ

(ИЗ ДНЕВНИКА НЕОПЫТНОЙ ЖЕНЩИНЫ)

Был знойный, душный июльский полдень. Солнце ослепительно сияло на безоблачном небе. Обширное поле спелых колосьев стояло так неподвижно, словно вылитое из золота. Поле перехватывали мягкие, темно-зеленые, усыпанные розовой кашкой, спрыснутые утренним ливнем межи; над межами тихонько, чуть-чуть волновался легкий пар. По полю куда-то вилась узкая проселочная дорожка. Вдали синел большой лес.

Жатва уже началась. На некоторых участках поля виднелись сложенные копны, под которыми отдыхали жницы.

Вероятно, такой именно благодатный день описал наш поэт Кольцов в своей «Жнице» [1]:

Высоко стоит
Солнце на небе,
Горячо печет
Землю матушку:

Как хороша его жница!

Душно девице,
Грустно на поле,
Нет охоты жать
Колосистой ржи;

Всю сожгло ее
Поле жаркое,
Горит-горма все
Лицо белое...

И здесь перед моими глазами была жница... Она одна не спала, тихо сидела поодаль под тенью копны и как будто о чем-то задумалась.

---

[1] Стихотворение «Молодая жница» (1836 г.).

И у этой, подумала я, может статься:

Ох, болит у ней
Сердце бедное,
Заронилось в нем
Небывалое!

Я видела из-за колосьев только часть ее лица, полосу красного головного платка да белый рукав рубашки. Насколько можно судить издали, она была молода, красива, нищета не наложила на нее своего отвратительного отпечатка.

У меня забилось сердце...

Поэт Кольцов, подумала я, писал в тяжелые времена, но если даже тогда находились светлые черты в народной жизни, то что же теперь, когда народу живется вольнее, когда он развивается и совершенствуется?

Мне вспомнились слова Алексиса Витиеватова на обеде у предводителя, и сердце мое забилось еще сильнее...

«Сладко следить за народным развитием, хорошо, любо чувствовать, что посильно содействуем народному благу! Будем же идти бок о бок с народом, будем его заботливо поддерживать на тернистой стезе самосовершенствования! Тут требуются жертвы, но разве кто из нас убоится жертв?»

Как дружно все крикнули: «никто! никто!» и как залпом выпили шампанское за народ! Даже я, сама не помню как, проглотила целый бокал. Я бы тогда огонь проглотила.

Я глядела на жницу и спрашивала себя:

О чем она задумалась? Какие ее желания и стремления? Чем подарила ее жизнь? Чего она еще ждет от этой жизни? Какие бури она вынесла? Какие видала радости и печали?

У меня явилось непреодолимое желание заглянуть в ее внутренний мир. Кто знает, думала я, может статься, тут встретятся такие психологические тонкости, каких и не ожидаешь... Может статься, нечаянно обнаружатся замечательные черты нравов и обычаев....

Подойду, заведу разговор, решила я, авось что-нибудь выведаю, авось удастся заглянуть в этот простой, но полный свежести и поэзии внутренний мир.

Следуя по цветущей меже, я направилась в сторону задумавшейся жницы и, чтобы привлечь ее внимание, стала тихо покашливать.

Жница тотчас же оглянулась и на мой поклон ответила поклоном.

Я подошла ближе и начала с жалобы на усталость, мучительный зной и жажду.

Она, прикрывая личико младенца, уснувшего у ее груди, предложила мне испить водицы из глиняного кувшинчика, который стоял тут же во ржи, спросила, кто я такая, издалека ли меня бог несет, и подвинулась, давая мне местечко сесть в тени.

Она тотчас угадала, что я не «тутошняя».

— Погулять в наши края приехали? — спросила она.

— Не погулять, а поработать,— ответила я ей.

Она оглянула меня еще раз с ног до головы.

Я была в совершенно простеньком сером платье, в совершенно простенькой шляпке.

— Учить, что ль, маленьких господ по-немецки? — спросила она.

— Нет.

— Что ж, вы вышиваете, что ль, узоры? Тут жила раз такая барышня, что вышивала,— и не сказать как уж она, бают, красно вышивала!

Я постаралась ей объяснить, что не все барышни занимаются немецким преподаванием да узорами. Сердце у меня было переполнено, я говорила, не стесняясь. Я силилась дать ей понять, что у нас есть задачи более высокие, что мы теперь всей душой преданы делу народного образования, а следовательно, народному благу, что мы хотим передать народу свои знания, что знания для него необходимы в видах его будущего... Я, разумеется, излагала все это простым, доступным для нее языком, но она все-таки мало меня понимала. Я видела по ее лицу, что все мои слова для нее китайская грамота.

— Вы меня понимаете? — спрашивала я.— Понимаете, что я говорю?

— Понимаю,— отвечала она с улыбкою.

— Но не совсем? Разве я непонятно говорю?

Она улыбнулась!

Наконец, мне удалось от нее добиться того, что «все господа мудрено говорят»,— «понятно, да мудрено».

Сердце у меня сжалось... Я думала, что меня нельзя смешать со «всеми господами», и что я говорю «не мудрено».

Я, однако, победила тяжелое чувство. Мне во что бы то ни стало хотелось достигнуть своей цели — заглянуть в ее внутренний мир.

Я свела разговор на урожай, начала толковать о разных летних хозяйственных заботах и тревогах, потом спросила, из какой она деревни.

— Из Кирилловки,— отвечала она.— Может, бывали, знаете?

— Проезжала. Село, кажется, большое?

— Большое.

— А как люди у вас живут? Богатых больше или бедных?

— Больше бедных.

— А вы?

— Мы ничего, слава богу.

— Не из последних, значит, в селе?

— Не из последних,— отвечала она с такою улыбкою, которая ясно показывала, что они — из первых.

— Хорошо с мужем живете?

— Хорошо.

— Еще детки есть?

— Есть еще двое.

— А свекровь не злая?

— Злее бывают.

— У вас большая семья?

— Большая. Деверья, золовки... и дед еще жив.

— И все в согласии между собой?

— У нас свекор брани не любит. Чуть что, так сейчас и поучит.

— Вы молоды шли замуж?

— По семнадцатому году.

— Охотою шли?

— Охотою.

— Большою охотою?

— Ничего...

— И потом не жалели?

— Что ж жалеть-то: уж не воротишь.

— Да ведь случается, что знаешь — воротить нельзя, а все-таки сердце ноет, все-таки не отвязывается мысль: «ах, зачем это так вышло, а не иначе!»

— Случается.

— А вам не случалось?

— Нет. Может, за другим-то еще бы хуже было.

— Вы долго его знали до замужества?

— Где там долго! Всего два раза и видела.

— Расскажите мне, как вы выходили замуж.

— Да как и все. Сговорили нас да и обвенчали.

— А до замужества как вы жили?

— Да как и все.

— Вы ведь помните, как вы маленькой девочкой были? Помните, как до невест доросли?

— Известно, помню.

— Ну, расскажите мне, пожалуйста; мне очень хочется знать, как у вас в деревнях растут, живут... Пожалуйста, расскажите!

— Да что рассказывать-то?

— Ну, что вы делали, когда были маленькой девочкой?

— Скот пасла. У нас деревня большая (я из Тросты взята, за тридцать верст отсюда), скота много.

— И целый день пасли скот?

— А то как же? Бывало, выгонишь на зорьке...

Перед ней как будто восстала картина прошлого. Она на несколько секунд умолкла и затем прибавила:

— У нас там веселые места.

— Веселые?

— Да. Речка быстрая, леса большие. Что цветов, что ягод! Мы пасли скот под самым лесом. В жару, бывало, лежишь в кустах...

— Ну и что ж? глядите кругом?..

— Глядишь в траву... или на небо... слушаешь, как кругом шелестит лист... И такие чудные мысли приходят на ум!

— Какие же чудные мысли?

— Да разные... Теперь уже забыла... Мало ли что взбредет на ум ребятишкам? думаешь, бывало, как вот это все на свете чудно́ сотворено... Небо голубое, солнце красное... Известно, дети!

Она улыбнулась и тихонько вздохнула.

— Чему вы усмехнулись? — спросила я.

— Да вот, вспомнила... То-то дети глупы! Хотелось мне все на облака попасть... Да так хотелось, что хоть плачь! Или тоже, чтобы крылья у меня выросли... чтобы это мне полететь куда-нибудь... Уж и сама не знаю, куда... Где бы не скот мне пасти, а... уж и не знаю что! И этак, бывало, жутко станет, ажно не вздохнешь... Словно душит что... Придешь домой — ни еды, ни сну... Лежишь на лавке, горько этак, что все спят, обидно чего-то... Глядишь на звездочки, покуда ажно слезы потекут... И заснешь-то, так видишь все такое... Крылья у тебя будто, и ты летишь и радуешься, а крылья разом подсекаются и в яму в какую-то тонешь...

А то раз увидала я нашу барышню, беленькая она этакая, нарядная, властительная,— и потом с ума у меня не идет, что кабы я была барышня... И не так мне ее наряды и сласти, как что она всюду может, куда хочет... Как только, бывало, подумаю, так ажно задрожу вся... Уж чего не приберу, бывало! Может, обнадеживаюсь, какой царевич замуж меня возьмет, как вот в сказках сказывается... Или, может, я колдовать выучусь... Мало ли какая дурь!..

Она снова улыбнулась, снова тихонько вздохнула и смолкла.

«Сколько тут богатых сил под спудом! — подумала я.— Неужто они так и останутся под спудом? Боже мой! и скоро ли наступит, наконец, желанное время, когда все будут правильно развиваться, совершенствоваться, вносить свою долю нравственного богатства в общую сокровищницу человечества!»

Я сказала ей:

— Как жаль, что вы не учились!

Она только взглянула на меня, но ничего не ответила.

Я долго объясняла ей необходимость учения; доказывала, как оно много дает, как уравнивает. Она все слушала молча. Я увлеклась, привела примеры энергии и предприимчивости и не знаю уж, как у меня вырвалось:

— Я бы на вашем месте ушла, убежала учиться! Понимаете?

— Чтобы это мне-то было уйти! — спросила она.

— Да, вам! — вскрикнула я.

— Куда?

— Как куда?

— Идтить-то мне?

На меня точно плеснули холодной водой. В самом деле, куда ей было уйти?

Она переспросила:

— Куда?

— В большой город,— ответила я, но запнулась, потому что мне вдруг в первый раз представились все трудности и напасти, ожидающие деревенского человека в незнакомом городе.

Она поглядела на меня и как-то так странно улыбнулась, что я покраснела и поскорее заметила:

— Правда, вы и дороги никуда не знали, и...

— И на знамой бы пропала,— добавила она.

— Почему пропали?

— А кто ж кормить бы стал? К кому б я пошла?

— Когда хочешь чего-нибудь добиться, так всем уж рискуешь,— возразила я,— не раздумываешь, что впереди тебя ждет!

— Это только барышням можно,— ответила она.

— Как барышням? почему же барышням? — вскрикнула я.

— Потому, барышни нежные, и их всякий пожалеет, а мы... Мы темные...

— Да послушайте, разве у вас не было и поближе людей?

— Каких людей?

— Хороших! Которые бы вас хорошо приняли... Ведь бывают по деревням этакие люди, я слыхала, знавала...

Я глядела на нее, я ожидала, что она назовет Витиеватовых...

Но она не назвала их, а только проговорила:

— Может, и бывают.

Мне припомнились слова Алексиса Витиеватова о старике, который выучился читать и с утра до вечера читает, и я сказала себе: слава богу! не всех одолела такая апатия, как мою собеседницу!

Я сказала ей:

— У вас есть где-то тут старик, который вот на старости лет выучился читать и теперь с утра до вечера читает.

— А кто ж его кормит-то? — спросила она.

— Кого?

— А этого старика-то. Коли он с зари до зари читал, так работа-то как же?

И она опять так улыбнулась и так поглядела, что я снова смутилась. Как же, в самом деле, этот старик мог читать?

Я ей ответила, что, верно, ему помог кто-нибудь.

— Кто ж помогать будет? — возразила она.— Всякому тоже кормиться надо. Мало что наплетут люди! У нас вон рассказывали, что один старик летал в Киев, а он совсем не летал.

— Но ведь есть же у вас где-нибудь какие-нибудь хорошие умные люди, с которыми можно обо всем посоветоваться, потолковать, поговорить...

— Некогда разговаривать-то у нас.

— Я знаю, работы много, но ведь все-таки выберется часок-другой... Ну в праздник... В праздники ведь гуляют?

— В праздники гуляют.

— Ну?

— Ну, пьяны бывают.

Каждое ее слово резало меня, словно ножом!

— А какой у вас священник? — спросила я.

— Отец Левонтий.

— Нет, не имя, а какой он человек-то,— хороший, добрый? В уважении он у вас?

— Известно, в уважении.

— В случае какой беды можно к нему пойти?

— А что ж он в беде? Коли вот родины либо крестины, похороны либо свадьба, или пособоровать, так заплатишь и пойдет.

— А кому нечего заплатить?

— Уж как-нибудь спроможется.

— Ну, а если не спроможется?

— Уж не знаю. Он, как если мало дают, упрекает так, что господи боже мой! Отработку такую положит,— немилостивую!

— Какую это отработку?

— А вот чтобы это отработать у него на поле либо на огороде, кому за поминание, кому за свадьбу.

— Да зачем же соглашаются на такие отработки? — вскрикнула я.

Она опять только посмотрела на меня, но ничего не ответила, не пояснила.

— Зачем же соглашаются? — повторила я.

— Как же тягаться-то с ним? Он заест.

Я просто начинала приходить в отчаяние. Все мои светлые мечты разрушались.

— Неужли вы не знаете Витиеватовых?—спросила я.— Неужли не слыхали хоть про них?

— Это про помещиков-то наших?

— Да.

— Как не знать, не слыхать! Мы ихние крепостные были.

— Ну что ж?

— А что?

— Ведь добрые?

— Добрые.

У меня отлегло от сердца.

— Ведь к ним все могли ходить, их все могли о чем угодно спрашивать?

— Как можно! Уж коли кто ходил, так по горькой по нужде.

— Отчего ж это?

Она опять улыбнулась так же, как и прежде — не то с сожалением к моему простодушию, не то с насмешкой над ним, и ответила:

— Как же нам, мужикам, туда можно ходить?

— Да ведь добрые!

— Добрые, а все-таки у них там и собаки, и цветы такие, что подороже нас. Дураком-то тоже стоять не хочется.

— Так вы никогда и не бывали?

— Как не бывать! Крепостными когда были, так нас сгоняли на барский двор хороводы водить.

— Сгоняли? Как сгоняли? Силою? Этого быть не может! — вскрикнула я.

— Да не плетью, а так, приказано и иди.

— Да ведь вас там не обижали?

— Нет. Заставят, бывало, хоровод водить, а сами сидят, смотрят. Которую подзовут: «Поди-ка сюда! Как тебе имя? Пряники любишь?» А потом промеж собой по-немецки. Разглядывают, какой лоб, какие глаза. Дадут пятак. А один барин, Алексей Иванович, так все за щеку щипал. Или заставит, бывало, глаза закатывать: «Смотри на небо!» И смотришь на небо.

Я точно с облаков упала. Алексис! Нет, тут что-нибудь не так, искажено, перепутано...

— Ну, а теперь? — спросила я, стараясь быть спокойною.

— Теперь хороводы не сбирают. Теперь господа скучные стали, все серчают, что зачем мужики стали портиться.

— Как портиться?

— В город, говорят, зачем ездят, цены городские узнают. Нет, говорят, уж простоты по деревням; все измошенничались, ни у кого не купишь сходно ни цыпленка, ничего...

— Алексей Иванович школу завел? — спросила я.

— Завел.

— Ну что ж, хорошо учат там? Кто учит? Сам Алексей Иванович?

— Дьякон учит.

— Хорошо?

— Должно хорошо, только вот драчлив уж больно.

— Как? Алексей Иванович позволяет?

— Да он при нем не станет.

— Но ведь Алексей Иванович часто бывает, он бы заметил...

— Как же ему заметить-то? Он придет-то по прохладе, уж когда и вихри выдраны и грядки выполоны...

— Какие грядки?

— А дьяконские. Он это поучит их, а потом: идите на отдых грядки полоть, либо закуты чистить, либо перья драть.

Несколько минут мы молчали. Наконец, я оправилась и спросила:

— А как вам жилось, когда вы подросли?

— Как подросла, посадили прясть, жать стали посылать.

— А мысли-то чудные все-таки приходили в голову?

— Умнее стала.

— Да ведь это не глупость! Умным-то людям и приходят такие мысли! Умные люди все хотят знать, до всего хотят добраться.

— Как за день-то измаешься, так ровно мертвец свалишься,— ни рук ни ног не чуешь, в голове ровно туман какой.

— А говорят, что девичье время самое хорошее. Девушкам меньше работы и заботы.

— Меньше-то, меньше.

— Зимой на посиделки ходят, летом на улицу гулять?

— Ходят.

— О чем же вы тогда больше всего думали?

— В девках-то? Ни о чем не думала, какие там думы.

— В чем же веселье было?

— Как в чем! Известно, девичье дело беззаботное. Знаешь одного отца-мать. Хоть они и строгие, да одни.

— Теперь забот прибавилось?

— Как не прибавиться! Теперь свекру угоди, свекрови угоди, золовкам, деверьям...

— Да ведь если муж вас любит, так в обиду не даст.

— Кабы ему за всеми моими обидами-то глядеть, так он бы и борозды одной не провел! — ответила она, снова улыбаясь.

— А мыслей вам уж теперь не приходит?

— Каких мыслей?

— Чудных-то? Вот, чтобы полететь куда или в облака попасть...

— Что ж я теперь за дура за такая!

— О чем же вы теперь больше всего думаете?

— Мало ли дум-то! Ночью дитя кричит, на заре корова мычит, то не справлено, другое не сготовлено. Когда такой денек выдастся, что как сядешь обедать, так и проглотить ничего не можешь: дрожит все внутри-то, а руки и ноги ровно чужие... Ввечеру домой идешь, так чуть дыхаешь. Позабудешь, как кого звать... А! вон наши просыпаются!

Несколько жниц поднимались из-за копен.

— Однако вы ведь не жалуетесь на бедность? — сказала я.

— Чего ж нам жаловаться? Нам нечего жаловаться! — ответила она и как будто даже несколько обиделась.— Мы, слава богу, живем хорошо! Ну, лежи смирно! — обратилась она к ребенку, укладывая его в плетушку.

— Теперь жать приметесь?

— Пора.

Она взяла серп и принялась за работу.

Я поглядела на спящую в плетушке девочку и мне стало невыразимо жаль ее.

Что ожидает тебя, бедная девочка? — подумала я.— Будешь сначала пасти скот, будут тебе, может, являться мысли об «облаках», о «крыльях»... Куда тебе обратиться? У попа тебя встретят «отработки», у барина будут «цветы и собаки подороже тебя», дьякон «на отдых» загонит закуту чистить... Потом ты примешься за работу и будешь работать, как ломовая лошадь, потом выйдешь замуж и уж до того поглотят тебя заботы о куске хлеба, до того одолеет безустанное труженичество, что ты, возвращаясь домой после трудового дня, будешь «забывать, как кого звать».

Боже мой! да ведь это чисто животная жизнь!

Но и эта животная жизнь выпадет тебе на долю только при благополучном, удачном исходе твоих тяжких трудов,— если тебе удастся занять место между «богатыми».

А если ты займешь место в ряду «бедных»? Господи! как же существуют «бедные»?

Ах! Лучше об этом не думать, позабыть!

Нервы страшно расходились...

А я так мечтала! О, мечты мои, мечты!..

ХИТРЫЙ ХАИМКА

Местечко Пропастница с своими скученными хатами и десятком-другим особняков местной администрации и зажиточного люда мало напоминает смиренные, но поэтические уголки, какие нередко изображают талантливые художники: здесь убогие жилища не отенены цветущими садиками, изумрудная зелень своей свежей сеткой не скрашивает ни построек, ни огорож, в красивых извилинах светлой речки не отражаются бархатистые берега. Зелени, садиков (кроме сада почтмейстера, ревниво защищенного высоким прочным частоколом, да палисадника станового пристава с клумбою флоксов в виде сердца) здесь нет. Ни единое деревцо не затеняет провалов в крышах, кривых стен, кособоких дверей и окошек, а речка, переполненная всевозможными отбросами, чуть не сплошь затянута тиной и только около самой мельницы являет светлое пятно, по которому не плавают старые подошвы, клочья загнившей конопли, котята, вовремя загубленные предусмотрительным хозяином, почерневшие овощные листья, павшая домашняя птица и т. п.

Особенно неприглядным представлялось местечко в один жаркий летний день, когда блистательное солнце с беспощадною яркостью озаряло малейшие детали запущенных жилищ, всякую рытвинку и каждую извилинку зловонных уличек и заулков, не вполне просыхавших даже в благодатную летнюю пору.

С тою же беспощадною яркостью озаряло блистательное солнце и пробиравшегося к околице местечкового шорника Хаима Аксамитного, и все изъяны, какие произвело разрушительное время в его одежде и в нем самом. Лучи великолепного светила одинаково щедро и безучастно лили свое золото на ветхий халат, которому долгая носка придала

зеркальную поверхность, на морщины тощего озабоченного лица, на вылинявшую фуражку и на курчавые седины, которые она покрывала.

За околицей вилась дорога в панскую усадьбу Грушки, куда в данное время поспешал Хаим,— изрытая, совершенно обнаженная дорога, по открытому проселку, без малейшей защиты от припека. Режет глаза от солнечного блеска, придорожный горький полын так едко пахнет, что першит в горле, неподвижный знойный воздух угнетает...

Но стоит перейти версты две, и вы попадаете под кущи громадного старого леса и почти вплоть до самой усадьбы Грушки будете идти в их чудесно освежающей тени, а вместе с вами будет катиться и глубокий студеный ручей, не видный в лесном овраге, но дающий о себе немолчно знать то звонким журчаньем, то чуть внятным ропотом, свежестью трав и обилием незабудок по своему пути.

Хороша эта лесная дорога в жаркие летние дни — так хороша, что даже у Хаима Аксамитного, когда он вступил в благодатную зеленую гущину, как будто поотлегло от сердца, а это значило очень много, потому что, хотя Хаим не мучился голодом, но не был и сыт, дома, в душной каморке, оставил жену и детей, тоже не особенно сытых, деньги у него вышли до последнего гроша, верного заработка не предвиделось, и в господскую усадьбу Грушки он шел на авось — девяносто девять на сто, что работы не найдется, и один на сто, что посчастливится.

Вся надежда только на то, что грушковский пан до страсти любит щеголять перед соседями лошадьми и выездными экипажами и у него почти беспрестанные переделки по этой части — то наборные хомуты, покажется ему, потускнели, то перекрасил крылья в кабриолете из светло-синего в бордо и хорошо, но еще лучше будет темно-синее, то захочется ему шоколадной обивки в коляску, то шоколадную прочь, покупает серебристую. (Хаим не только мастер-шорник, но и обойщик, и маляр,— правда, самоучка, но стóит любого ученого). Конечно, надежда может обмануть: всего тому две недели поставлены выписные бляхи, вся упряжь наново отполирована, во всех экипажах обивка свежая... Ну, а ведь может и посчастливится... Бывает ведь так, что человек не знает, что ему делать, как быть, сам не свой, душа мрет, сердце точно в тиски взяло, думает: все пропало! а тут вдруг — благодать... Не верит человек этой благодати, а она тут, пришла! Ведь раз так было, когда

чуть не умерла Бася. Уже порешили: умрет! И вдруг нежданно-негаданно, как в сказке,— явился приезжий студент, доктор, и Басю — можно сказать — у смерти вырвал. И пожила Бася еще два годика. Совсем, казалось, поправилась, а потом стала опять хиреть и захирела. За нею захирели и Шмулик, и Дувидка. У него, Хаима, чего-то не живут дети. Бьется он из-за них, как рыба об лед, бережет, жалеет, а не живут. Как минет пять-шесть лет, так начинается хворь и длится, пока от тельца останется точно мешочек с косточками, а глазки словно в колодцы западут. Так теперь хиреет и Перля. Тает, как воск на жару. И ни крику, ни плача... Терпеливая, ласковая девочка...

Тут тощее лицо Хаима все как-то содрогнулось, из глаз выкатились две крупные тяжелые слезы и капнули в седоватую бороду. Хаим вовсе не был плаксив: может, на него подействовала благовонная разнеживающая свежесть старого леса — зеленые кущи так ласково склонялись, точно хотели утешить... Сколько тут цветочков, пахучей травки! Вот бы сюда Перлю — она любит и цветочки, и травку,— все просится поглядеть сквозь частокол в почтмейстерский сад и будет стоять и глядеть, пока зашатаются слабые ножки...

Унывать не годится; уныние мешает соображать, выискивать... Всегда можно что-нибудь где-нибудь выискать, если человек не поддается унынию, а соображает... Коли в Грушках не посчастливится на работу, то все имеется надежда — почти верная — добыть Перле хорошего молока! У грушковской пани большое молочное хозяйство, и грушковская пани почти всегда дает молока — стоит только хорошенько поклониться и попросить: «Уморился, мол, милостивая пани, голоден»... На посуду у нее очень строго — понятно, посуда дело покупное,— но посуда припасена.

Хаим пощупал карман, где у него лежала припасенная жестянка с деревянною втулкою. Еще в прошлое посещение грушковской усадьбы у него явилась мысль немножко схитрить — кому от того какое зло? Он выпросит молока, получив выпрошенное, не пойдет, как всегда, в кухню, а пронесет прямо в экипажный сарай, где ему отведен угол для шорных и малярных работ. Кто на это обратит внимание! И дело в шляпе. Дай только бог, чтобы пани была в духе. Когда пани в духе, так она добрая, а как с паном ссорится, то не попадайся на глаза: «Ты чего тут торчишь?», «Зачем сюда жида впустили?». Не должны бы

теперь они ссориться: скоро Ольги, ее именины и бал... Удайся замышленная хитрость, был бы Перле хороший гостинчик. Кроме того, еще можно попросить у повара репку или морковку, а то и репку, и морковку. Повар очень доволен поясом, прямо сказал: «Ну вот, спасибо, Хаим, мастер ты над мастерами, что из брошенных обрезков такой важный пояс выгадал».

А Перля рада будет гостинчику... Усмехнется и станет ловить ручками за шею... поцеловать...

Тут у Хаима опять выкатились две слезы, а за ними еще две, еще и еще...

Кроме того, что Хаима мог разнежить приветный старый лес, бывают такие дни, что человеку никак с собою не справиться. Кажется, все как было, ничего нового, непривычного, а ему словно из живого сердце вынимают. Хуже вчерашнего не стало, лучшего не ожидал, а тоска растет, поднимается, как полая вода весною, душит, топит...

Есть поговорка, что каждая пролитая слеза снимает с человека целый пуд горя, но или действие слезы преувеличено, или уж очень неподатливо было Хаимово горе, только закогтившая его тоска не убыла, а все пуще и пуще забирала.

Между тем, вот и лесная опушка, и уж видна грушковская усадьба, куда являться с признаками душевного расстройства неуместно — тем более неуместно, что грушковский пан, сам человек веселый, шутник и балагур, терпеть не мог «этих», как он называл всякое проявление чужой печали, «иезуитских мин», непременно направленных, по его мнению, к вымогательству. «Может, я тебе сам что-нибудь прибавлю — ну, просто подарю,— говаривал он,— а начнешь строить постные рожи, за окно вышвырну, а уж ты не получишь!»

Надо, значит, явиться, как будто, кроме упования на панскую милость и старания пану угодить, у тебя на уме ничего нет, чтоб ничуть не проступила гнетущая мысль, что жену изводят младенцы (месяца два тому назад господь послал двояшек), что Перля с каждым днем тает, как свеча, а у меньшой, у здоровенькой Рифки хороший аппетит и она беспрестанно голодна. Справиться с собою, взять себя в руки необходимо.

И Хаим справился. Глядя, как он входил в панский двор, никому бы не пришло в голову, что его сокрушает какая-нибудь жестокая забота. Вид у него был именно

такой, как требовалось — угодливый, почтительный, чающий панской милости, а низкие поклоны — соответствующего характера.

На обширном панском дворе был отбит круг, усыпанный песком, у круга стоял сам пан (дородный щеголь со светлыми глазами навыкат, гладкими — точно отполированными щеками—с необычайно черными, изумительно блестящими усами и эспаньолкой) и любовался тонконогой огневой лошадкой Флям, которую гонял на корде молодой крепыш — конюх. Подальше в глубине двора, на веранде, обсаженной цветами и украшенной серыми парусинными фестонами с алым окаймлением, пани, красивая и нарядная, занималась каким-то прекрасным вышиванием. Тут же, недалеко от панинога рабочего столика, сидел хорошенький панский сын — гимназист и, закрывшись от мамаши книжкой, восхищенно следил, как Флям металась, рвалась, взвивалась на дыбы, волочила за собою конюха, заставляла его то приседать на землю, то чуть не на сажень от земли подскакивать и повисать на поводу.

— А, Иуда Лазаревич! — сказал пан, заметив приблизившегося Хаима.— Чего пожаловал? Манну небесную разыскивать? Хитрая бестия!

Начало благоприятное: пан шутит, значит, в добром расположении духа. Хаим умильно усмехается, кланяется так низко, что превращается в скобку, и говорит, что даже глупому,— даже самому глупому,— известно, где себе добра искать,— нигде, как только у милостивого грушковского пана.

— Ах ты, Лазарь Иудович! — смеется милостивый грушковский пан.— Хитрая бестия! Знаешь, где раки зимуют.

Хаим усмехается еще умильнее и, замирая, думает: «Кажется, будет работа...»

В эту минуту лошадка Флям так бешено шарахнулась влево, в сторону пана, что конюх на мгновение распластался на земле, а пан отпрянул и чуть не свалил с ног стоявшего перед ним Хаима. Хаим пошатнулся, как подбитый ломом колышек, и, стараясь удержать равновесие, раскинул руки.

Это привело в такое неистовое восхищение панича, что он забыл о всяком декоруме, завизжал, забил ногами дробь по полу и затрепал книжкой по балюстраде веранды.

— Поль! Поль! — крикнула пани.

— Что, Иуда Иудович, душа в пятки ушла? — засмеялся оправившийся пан.

Хаим сообразил, что потешит пана, если прикинется чрезвычайно испуганным. И прикинулся.

— Ой, вай! — проговорил он,— она меня совсем убила!

— Х-ха, х-ха, х-ха! — потешался пан.

Панич восторженно фыркнул и, чтобы замять фырканье, начал отчаянно кашлять, чихать, сморкаться.

— Пора бы уже прекратить эту возню с лошадью! — возвысила голос пани.— При такой суматохе Полю невозможно заниматься.

— Да, да, мой друг,— послушно ответил пан.

И сейчас же махнул конюху:

— Веди, веди ее на черный двор, да смотри, накинь на нее попону! Веди и там дай ей еще проходиться... пока совершенно остынет... Понял? Смотри ж, парусинку накинь!

Очевидно, все-таки не доверяя сообразительности конюха, пан пошел за ним следом.

— Скверному мальчишке мало щеголять второгодником,— обратилась пани к сыну,— он желает еще раз осрамиться! выставить себя на общее посмеяние! дождаться, чтоб исключили! Сию минуту учи заданное о полушариях! Я посмотрю, как через час ты мне ответишь о Меровингах... слышишь, через час?

Панич снова закрылся книгой и под ее заслоной состроил изумительную гримасу: подбородок, рот, нос, щеки собрались у него в один пучок... пучок, отнюдь не выражавший почтительности.

— А что, Хаим, если б тебя прокатить на такой лошади, а? — сказал пан, возвращаясь, успокоенный, с черного двора.

Хаим закрыл глаза, как будто самая мысль о столь ужасной прокатке его мертвит.

— Х-ха! х-ха! х-ха! Какова лошадка?

— Ой, что за лошадка! Другой такой на свете нет!

— Что нет такой в целой нашей округе, то это верно! Даже этот чванный барон согласился, что нет! А ты, хитрая бестия, кстати пришел...

У Хаима захватило дыхание: работа! Вот она, нечаянная благодать — приходит!

— Чепрак, что я выписал, не годится,— продолжал пан.— Я желаю совсем в другом роде... Можешь смастерить чепрак?

— Почему я не могу — могу. Я батуровскому пану...

— Во-первых, он будет темно-синий,—продолжал пан,— настоящего темно-синего цвета, во-вторых — оторочка должна быть выпуклая — елико возможно выпуклее. В том угле, где вензель и герб... Ты понимаешь, что такое герб?

— Отчего мне не понимать? — ответил Хаим, имевший о гербах не совсем ясное представление.

— Что ж такое герб?

— Это такой узорчик в уголку... вроде завитушечки или деревца. Иные господа любят, чтобы не деревцо, а змея или какой-нибудь зверек... или охотник... а то рыбка... Я батуровскому пану работал змею с этаким красным язычком... язычок спичкою...

— Х-ха! х-ха! х-ха! Не змея, а дракон, безмозглый ты жид! Слышишь, сердце? — обратился к пани,— завитушечка, змея! Х-ха — х-ха — х-ха!

Нахмуренная пани не улыбнулась и снова строго обещала подскакнувшему на месте паничу «посмотреть», как через час он подаст ей урок о Меровингах, что заставило панича в отместку полушариям приблизить учебник к самому хорошенькому носику и украдкой сердито в него плюнуть.

— Пан, конечно, всякое название знает лучше глупого еврея... Только работа моя вышла хорошая — такая хорошая, что батуровский пан был совсем доволен — так доволен, что даже прибавил пол-рубля...

— Ну, это ты врешь,— что еще за прибавки! Берешься — сделай хорошо! А сделаешь худо, то действительно должна быть прибавка — по шее... Ха-ха-ха!

— Я и для батуровского пана старался, а уж для вашей милости...

— Я тебе сам аккуратно все нарисую на сукне. И настрачивать будешь под моим наблюдением.

— Я для пана так буду стараться, как для родного отца... даже лучше... Могу хоть сейчас начать работу...

— Нет, прежде всего тебе надо сходить в Красный Кут к Лейзеру и взять у него сукно, которое я ему заказал привезти из города.

(Красный Кут находился по ту сторону местечка и до него считалось двенадцать немеренных верст).

— Деньги, скажи, после — посмотрю еще, что это за сукно.

(Значит, пан не при деньгах, получка будет частичками. Нечего делать. Все-таки получка...)

— А если?..

— Что если?

— Лейзер глупый... вдруг скажет...

— Что скажет?

— Скажет: деньги нужны...

— Пусть попробует! Ты мелешь вздор. Я сейчас напишу Лейзеру квиток, и ты немедленно отправляйся. Да по своим гешефтам не мешкай там, потому что мне чепрак к спеху.

— Как можно мешкать, только... только не близко это...

— Пустяки! Что тебе стоит туда смахать — ноги-то ведь у тебя не нанятые? У меня теперь самая горячая пора в хозяйстве, отрывать работника накладно. Неблагодарный ты жид! Ты где получаешь круглый год работу? А как мне услужить, так сейчас отговорки!

— Сохрани бог! Я для пана хоть за сто верст пойду...

— То-то! Хитрая ты бестия! Знаешь, где раки зимуют! Так я тебе сейчас же напишу квиток Лейзеру, и чем скорее ты принесешь сукно, тем лучше.

Пан ушел в покои писать квиток, а Хаим начал соображать, как бы искуснее приступиться к пани и попросить молока.

Пани не являла доброго расположения духа. Она, вероятно, плохо почивала, потому что поминутно зевала, а кроме того, ее очень сердил панич: он то ронял книгу, то, поднимая ее, сам грозил перекувыркнуться, возился на стуле, словно под ним муравейник, то чихал, то поперхался.

— Поль! Поль! — то и дело поминутно вскрикивала пани.

Но счастье, кажется, хочет послужить Хаиму: пани сама к нему обращается.

— Послушай, Хаимка, достань мне из графской экономии уток. Только предупреждаю, что сумасшедшей цены я, разумеется, не дам и ты на это не рассчитывай. Говорят, экономова жена охотно продает селезня и пару уток за два с полтиной. Такую цену дам и я — ни копейки больше.

— Я для вашей милости...

— Ты можешь прямо из Красного Кута завернуть в экономию — ведь это не особенно далеко.

— Шесть верст, а пан приказывал, чтобы не мешкать.

— Ну, не беда, если немножко и замешкаешься, лишь бы приторговал мне уток. И помни, чтобы выбирать крупных— как можно крупнее. И не светлых, а самых темных. Самых темных.

— Я понимаю. Я для пани постараюсь... Я хотел просить вашу милость...

— Что такое?

— Немножко молока хотел просить.

Пани особым образом позвонила в стоявший у ее рабочей корзинки колокольчик. На зов тотчас же явилась экономка, свежая, стройная девушка, и пани ей приказала:

— Дай ему расхожего молока.

— Пусть бог пошлет милостивой пани...— начал благодарить Хаим.

Тут во двор въехал верховой с сумкой через плечо, и панич так пронзительно визгнул: «Почта!», что пани вздрогнула, откинула вышиванье, быстро поднялась с места и схватила панича за ухо. Он шлепнулся на пол, задергался, забился, точно пойманный на острогу, и завыл, словно с него начали живьем сдирать кожу.

— Марианна! Веди панича на мезонин и запри там на ключ! — взвизгнула пани.

Этот приказ мигом поднял панича с полу, бросил на колени, а протестующий вой обратил в отчаянную жалобную мольбу:

— Никогда, никогда не буду!.. Мамочка! Никогда, мамочка!

Он уцепился за покаравшую его белоснежную, блистающую кольцами руку (бархатистую, но очень цепкую и сильную) и, как клещ, впился в нее губами.

— Я буду учить... я подам урок... ты увидишь... О мамочка! О золотая! О милая! Прости своего Поля! Мамочка! Мамочка...

— В последний раз! Помни!

— Помню, помню... увидишь... Вот я сижу... вот учу...

Он вскочил с колен, ринулся к своему стулу, но таким зигзагом, который позволил ему дважды наткнуться на экономку, спешившую к пани с полученной почтой, и не успела экономка ахнуть, рассыпав выбитые из рук газеты, как он уже сидел на месте, погруженный в учебник.

— Что за неповоротливая! Вечно все из рук валится!— поморщилась пани, принимая от экономки газеты и распечатывая номер модного журнала.

Но из покоев, как обожженный, выскочил пан с криком:

— К нам Рудановские! Уже у крыльца! И петербургская с ними!

Модный журнал полетел в сторону, пани вскочила,— выхватила карманное зеркальце, поправила прическу, кружево у ворота, торопливо бросая экономке приказания достать к чаю новый сервиз и новые салфеточки, подать варенье из ананасной клубники и ванилевые сухарики, велеть поджарить гренки, не забыть, что земляника должна быть пересыпана сахаром, а масло в хрустальном бочоночке, и поспешила навстречу гостям.

— Вот тебе квиток Лейзеру,— говорил между тем пан, бросив Хаиму бумажку, суетливо обдергиваясь и ероша скудную шевелюру.— Смотри ж, не кисни там, помни, что чепрак мне к спеху... Марианна! Чистый носовой платок!.. Где одеколон? Да поскорее! Экая ступа! Да надо присматривать за Ильком — он, каналья, дрых на парадном крыльце, и я насилу его растолкал... (Хаиму) помни же: чепрак к спеху!

И пан тоже поспешил к гостям.

Пан еще не успел скрыться за дверью, как панич, точно с виселицы, сорвался с веранды, проносясь мимо, сунул экономку локтем в бок, Хаиму дал по коленам ногою, с храпом, свистом, фырком бешено пустился по корде, так артистически выкидывая конские курбеты, что перед ним могла спасовать сама тонконогая красавица Флям.

На его гик из конюшни выскочил крепыш-конюх, а из кухни примчался черномазый поваренок, и по панской команде: «колесом!» — оба следом за ним изобразили из себя катящиеся колеса.

Хаим порядочно пожил на свете, а жизнь приучила его к терпению, и хотя его усталые ноги жестоко ныли, он смирно стоял и покорно ожидал, пока экономке заблагорассудится отпустить ему разрешенного молока.

Привезенная почта доставила и экономке письмо, которое она теперь читала. Читала и как будто нехорошо понимала прочитанное. Начинала снова читать и перечитывать,— краска то вспыхивала на ее лице, то пропадала, губы немножко дрожали. Спрятала письмо в карман и стала глядеть в одну точку — как глядят люди, когда видят не окружающее, а что-то далекое. И снова за письмо, снова

перечитывает. Опять неподвижна, опять летит куда-то мыслями и обливается румянцем.

«Вести получила несомненно добрые,— решил Хаим.— Может, новое место ей случается? Ходит слух, что ей не сладко в Грушках. А может, нашелся жених? Тоже ходит слух, что она впала в око учителю из Поддубного. Девушка бедная — дай ей бог».

Однако время не стоит.

Хаим кашлянул. Не обращает внимания. Он проговорил:

— Добрые вести, панна Марианна? Дай вам боже...

Она спохватилась.

— Иди, Хаим, дам молока.

И понеслась легче птицы в молочную, обширное подвальное помещение, где хранились молочные продукты в красивой, блестящей, симметрично расставленной посуде, чем грушковская пани немало тешится,— не в той степени, конечно, как вначале, когда в окрестности только что вошло в моду молочное хозяйство и одна соседняя пани Матузочка горячо отсоветовала ей браться за такое трудное дело, а другая пани соседка так покачивала головою, третья так поджимала губы, что припекало пуще всяких советов,— тогда она спала и видела молочные машины, дневала и чуть не ночевала в молочной... Все ведь на свете теряет понемножку свою силу и жгучесть, поохладела грушковская пани, не так и соседних паний казнит ее образцовая молочная.

— Ой, какая панна Марианна быстрая! — проговорил Хаим.— Старику не поспеть за вами!

Он догнал ее в молочной, где она уже опять читала письмо.

Не отводя глаз от письма, она схватила и протянула ему ближайший кувшин. Хаим поглядел на нее в недоумении. Она не зачерпнула ему расхожего, предназначенного для рабочих молока, которое отливало прекраснейшей синевою в огромной жестяной бадье, а подавала кувшин свежего чудесного утрешника!

Очевидно, радостные вести помутили ей голову, и она ничего не соображала — ни что в руках держит, ни кому подает...

А кому какая беда, если этим воспользоваться? Больная слабенькая Перля отроду такого чудесного молока не пробовала... Отчего хоть раз ей не попробовать?

— Да бери ж, Хаим! Бери... уходи...

Он взял и ушел.

Пробираясь в экипажный сарай, Хаим вдруг замер от тревоги: встретился панич, в сопровождении черномазого поваренка. Панич обливался потом, чуть дышал после экзерциций колесом, но глаза его все еще сверкали и зловеще бегали... Однако обошлось благополучно: панич и поваренок высунули языки, захрюкали, пустили какими-то комьями, но промахнулись и дальше не погнались.

С каким вздохом облегчения Хаим расположился в прохладном углу сарая! Здесь, около заброшенных саней, заваленных старыми досками, служившими ему при работе вместо стола, он вынул из кармана жестянку с деревянною втулкою и бережно наполнил ее молоком. Что это было за молоко! Оно лилось густою палевою струею — один вид его освежал человека. Бедненькая Перля! Она и не видывала такой роскоши. Хватит тут и Рифке,— ведь Перля кушает меньше крохотной птички.

Когда запас для Перли был готов и тщательно прикрыт, собственный, смирно примолкнувший голод вдруг заговорил так властно, что признательное обращенье к великому подателю всех благ земных, которое строго соблюдал благочестивый Хаим, не отличалось на этот раз обычною проникновенностью.

Но не успел он освежить пересохшее горло первым глотком молока, как раздался быстро приближающийся неистовый топот, и в сарай дикими скачками и прыжками ворвался панич, а за ним поваренок с оглушающими криками:

— Папа зовет! Скорей! Сию минуту!

— Пан кличет! Живо! Духом!

— Папа? пан? — проговорил Хаим.

Он едва успел вовремя спрятать жестянку за старые сани.

— Живо! Папа сердится!

— Живо, живо! Ах, каверзный жид, еще ломается! Живо! чего выпучился?

— Антоська! Хватай его за ноги! — крикнул панич.— Потащим его!

Антоська ринулся на Хаима.

— Я иду... я сам иду... Позвольте, панич... ведь я иду...— защищался Хаим.

— Живо, живо, а то потащим! Марш в комнаты! Папа в комнаты зовет! — кричал панич, несся вприпрыжку за

Хаимом и подталкивал его то кулаком, то коленом, то пятой.

— Да смотри, не садись за стол, пока три раза не попросят! — хихикнул Антоська, не отставáвший от юного патрона.

— Я иду... я иду, панич,— говорил, поспешая и спотыкаясь, Хаим.

У веранды панич еще раз хорошенько подтолкнул его и бросил преследование.

Веранда, окружавшая дом и выходившая во двор, отделялась от парадной своей части трельяжем, густо увитым плющом, и там, за трельяжем, слышались панские голоса. Хаим осторожно приблизился и заглянул сквозь зеленую сетку плюща. Пан и пани сидели с гостями — панами Рудановскими у покрытого тончайшей скатертью стола, на котором уже красовался новый чайный сервиз. Разговаривали о ком-то, кто где-то несравненно поет и получает богатые подношения.

Зачем вдруг понадобился он, Хаим, пану? Неужто порекомендовал его Рудановскому? (Рудановский недавно прогнал Шмуля). Нет, он рекомендовать в другие места не любит...

Хаим так же осторожно отошел от трельяжа в буфетную, где экономка накладывала варенье в вазочки.

Да, хорошие вести она получила: глаза блестят, что свечки, разрумянилась и сама себе усмехается...

— Прошу вас, панна Марианна, доложите пану, что я пришел,— пан меня звал...

— Хорошо, хорошо...

Пошла и доложила.

Пан вышел крайне недовольный.

— Тебе что еще надо?

— Изволили звать меня... панич...

— Я дал тебе квиток, чего ж еще лезешь? Что за нахальный жид! Пошел вон! А у Марианны в башке вечно зайцы скачут: не могла сообразить, что раз у меня гости, так нельзя меня вызывать ко всякой швали! Что за народ! Болван на болване!

С сердцем повернулся, очевидно, хотел хлопнуть дверью, но, размахнув ее, вспомнил, что треск оскорбит уши гостей, и проворно придержал.

— Вот и досталось нам на орехи,— усмехнулась панна Марианна.

Она, такая обидчивая, что при мало-мальски грубом

слове менялась прежде в лице, теперь ничуть не омрачилась. Глаза так же блестят, щеки пылают.

— Хаим, голубчик, побывай у дьячихи Насти — тебе ведь мимо идти — скажи, чтобы приговорила мне подводу к воскресенью. Побываешь?

— Побываю.

— Скажи: уезжаю... непременно... чтоб не опоздала... а то хоть пешком. Пожалуйста, скажи.

— Скажу, скажу.

Хаим поспешил обратно в сарай. Поскорее подкрепиться немножко и домой. Наступает вечерняя прохлада и молоко он отлично донесет.

Он так отощал, что у него немножко кружилась голова. К тому же стала одолевать нестерпимая жажда.

Добравшись до сарая, он почти упал у старых саней, схватив кувшин с молоком, приблизил к пересохшим губам и тотчас отдернул — в молоке что-то плавало...

Плавал большой зеленый кузнечик с оторванной ногой.

Хаим поднялся и заглянул за сани. Жестянка стояла, где он ее поставил, и, казалось, к ней никто не прикасался, но он все-таки взял ее и вынул втулку — тут отчаянно вертелась бескрылая живучая круглая муха.

В противоположном углу сарая раздалось хихиканье, затем писк, визг, мяуканье.

Хаим как будто не слыхал. Он перелил заготовленный Перле гостинчик обратно в панский кувшин, спрятал пустую жестянку в карман, надел шапку, взял дорожную палку, захватил молоко. Все это он делал не спеша, как будто спокойно, только несколько изменился в лице и немножко дрожал.

— Куда? — крикнул панич, выскакивая из остова ветхой кареты и заграждая выход из сарая.

— Куда? — подхватил, выскакивая следом, Антоська.

— Позвольте, панич,— сказал Хаим.— Пан послал меня к Лейзеру, приказал не мешкать. Позвольте мне пройти.

Панича словно чем озадачило. Его хорошенькое личико покраснело чуть не до слез. Он попробовал скорчить гримасу, но гримаса вышла совсем плохая. Антоська тоже как-то опешил — крикнул было: «Ах ты, каверзный...», но точно поперхнулся.

Хаим без задержки вышел из сарая и направился в кухню.

— Здравствуйте, Иване. Вот вам панский кувшин.

Повар Иван, жаривший гренки, выступил из чадного облака — рыжий курчавый великан в простом сельском костюме (белую куртку, фартук и поварский берет он считал мундиром, в котором предназначено являться только в парад перед лицо пану), в холщовой вышитой сорочке и широчайших синих нанковых шароварах, представлявших громадное удобство: когда дело бывало к спеху, он мог их захватывать на манер полотенца и вытирать любую сковородку или тарелку — что, кладя постепенно следы на синюю нанку, образовало на ней черноватую переливчатую тень, нечто вроде капризного рисунка лампасов.

— Что ж не ел молока? — спросил Иван, принимая ку́вшин.— Ага! что-то попало! И чудаки вы, жиды, на этот счет! У нас с голоду что угодно упрячут, и ничего... Да ты постой, постой! У меня к тебе дело есть: надо мне еще пряжку к поясу приладить.

Говоря это, Иван запустил два пальца в кувшин с молоком, выловил одноногого кузнечика и бескрылую муху, буквально стер их с лица земли сапогом, подбитым гвоздями, слил молоко в кастрюлю и поставил на плиту.

— Я прилажу вам пряжку послезавтра.

— Да постой, постой!.. Га! чтоб вас разорвало! И вас, и тех, что вас жрать будут! (Последнее относилось к гренкам, которые задымились, и к их потребителям). Ты, значит, послезавтра придешь? Да что ты такой какой-то... точно весь дрожишь?

— Я ничего... послезавтра приду и прилажу пряжку.

— Ты нездоров, что ли?

— Нет, я здоров... только спешу. Пан приказал не мешкать. Оставайтесь здоровеньки, Иване.

— Мне еще одну штучку надо смастерить...

— Хорошо. Послезавтра я вам все, что надо... А теперь надо спешить. Оставайтесь здоровеньки.

«Что подеялось жиду — точно сам не свой,— подумал Иван, глядя вслед быстро уходившему Хаиму.— Должно, нездоров. Надо правду сказать: учтивый жид. Не забыть его надоумить, что плата за телок в среду, так чтоб не зевал, просил денег, прозевает, так ноги отобьет, пока выходит свой грош...»

Гренки снова задымились.

— Гренки! — крикнул, вбегая с блюдом, спотыкаясь и чуть не падая, тоненький казачок, еще не освоившийся ни

с узконосыми штиблетами с панской ноги, ни с формою казачка, и крайне ими стесненный.

— Подождут, а подохнут, то нехай им у пекли тепло! — отвечал Иван, принимаясь укладывать красивою пирамидкой гренки на блюде, причем некоторые, поскоблив с них гарь, проводил для лучшей очистки по нанке шаровар.

Хаим быстро дошел до лесной чащи. Его точно несла какая-то сила — пропало изнеможение, не мутил уже голод, не палила жажда. В чаще он остановился, и несшая его сила вдруг как-то сразу убыла. Вечерний сумрак тихо вступал в зеленые кущи, мягко и ласково обвевала душистая прохлада. Измученное, кипевшее горечью сердце переполнилось: он трепетавшими руками закрыл старое лицо и заплакал, как не плакала его терпеливая слабенькая Перля — заплакал, как маленький ребенок...

ПРАЗДНИЧНЫЙ СОН

— Нет, знаешь, ты просто нестерпим! — сказала Валентина Алексеевна Протасова (хорошенькая брюнетка в измятом пеньюаре и раздраженном состоянии) своему мужу Андрею Михайловичу.

Только что изгнанный из уголка гостиной, он было присел с газетой в столовой, под новой лампой, купленной к празднику и зажженной посмотреть, как она светит: так ли ярко, как новая лампа Поликсены Владимировны, или ярче, или... Этот магазин Шерстобойникова иногда ужасно мошенничает!

— Что такое? — спросил обидчиво, но кротко Андрей Михайлович.

— Неужели ты не можешь сообразить, что ведь и столовую надо привести в порядок! Ты расселся с газетой и знать ничего не хочешь! Я с рассвета верчусь и мучаюсь, а ты сидишь, как кукла... Даша! погасите новую лампу... да идите сюда, обметите вот здесь, в углу... Да где вы там возитесь? Вы такую пыль и паутину везде завели, что ни на что не похоже!

Появляется Даша.

Судя по вздернутому носу веером, блестящим глазам под густыми темными бровями и характерному изгибу губ, это особа строптивого нрава; но теперь, накануне праздника, ее мятежные чувства сдержаны, метелка из перьев в ее руках работает плавно, без порывов, и о мятежности чувств можно догадываться только по тому, что при каждом замечании барыни ее круглые щеки вспыхивают густым румянцем.

Андрей Михайлович переносится с газетой к камину, но проворная Даша уже потушила новую лампу, а в камине

уголья чуть тлеются,— газету надо отложить... Он посидит так, без чтения... Да и что найдешь в этих газетах!

Как, однако, Валенька иногда резка. Изменилась она... Как изменилась! Сущие пустяки ее раздражают... И несправедлива... Разве он сидел «как кукла» целый день? Ведь она его разбудила и подняла до рассвета, в шесть часов,— спорила, что сегодня все магазины открыты с четырех часов,— выгнала за покупками... даже чаю не успел выпить и только уже во втором часу забежал в булочную и ухватил там какой-то пирожок, да еще с малиновым вареньем... И целый день, до самого вечера, бегал, как угорелый, из лавки в лавку, спорил, объяснялся... Два раза переменял эту проклятую трюфованную пулярку... (А она все-таки находит, что трюфели безобразно расположены и даже совсем не трюфели). Домой притащился измученный, обеда не было, безропотно выпил стакан с утра налитого холодного, как лед, кофе и съел плюшку, с которой Маня сгрызла всю корку,— бедные детишки сегодня тоже порядком не поели... А его так мучил голод, что он хлебнул молока, по которому Пати пускал бумажные кораблики... И вот... Эти быстро пролетающие мысли вдруг прерываются. Он слышит:

— Послушай, ведь это невыносимо! Ушел от стола, уселся около камина! Пойми же, наконец, что тут надо убирать! Я хоть с ума сойди, тебе все равно! Ради бога, имей же ко мне какое-нибудь сострадание!

— Куда же мне деваться?

— Куда хочешь, но, повторяю, ради бога, имей ко мне сострадание!.. Только не в кабинет! не в кабинет! Там уже прибрано и ты насоришь своими окурками...

— Куда же?

— Ах, боже мой!.. Ну, иди в спальню...

Андрей Михайлович уходит в спальню, маленькую комнатку, тесно заставленную громадным шкафом, до того завешанным платьем, что дверки его не притворяются, огромным комодом, туалетным столом, двумя несколько грязноватыми розовыми креслами и двумя кроватями с пышными оборчатыми подушками; к кроватям добраться и от кроватей удалиться, не ушибая колен и локтей, невозможно. Андрей Михайлович, в своем волнении получая удесятеренное количество контузий, протискивается к креслу у туалетного стола, под окно, и спешит погасить лампочку, которая коптила перед зеркалом в розовых рюшах и бантах.

«Это праздник! И что за пошлый обычай подводить генеральную чистку именно под праздник!»

— Нет! Нет! Я хочу, чтобы завтра ты мне надела с зубчиками!.. и с кружевцами! — доносится голосок Мани.

— Завтра крем и ты опять испачкаешься, как на святой,— замечает Пати.

— Не испачкаюсь!

— Испачкаешься! Ты ведь пачкунья!

— А ты дурак!

— Пачкунья! пачкунья!

— Дурак! болван! черт!

«Да, генеральная чистка, усиленное ряженье, обжорство до отвала,— в этом и весь праздник!» — думает Андрей Михайлович, точно все это ему в новинку.

Он умостился в кресле и глядит в окно.

Окно, видимо, почти упиралось в какую-то постройку, похожую на сарай, но сверху, в промежутке между зданиями, сверкала звездочка,— не та ли самая, на которую во дни оны они с Валентиной Алексеевной, когда бывали в разлуке, смотрели в известный час... Да, смотрели на звездочку, встречаясь мыслью...

Изменилась она, Валентина Алексеевна! Как-то вдруг погрузла в мелочах... очерствела... Кто бы лет пять тому назад подумал, что она может целые сутки кипятиться, если перепечена парадная ветчина... что будет готова растерзать Дашу за то, что та вместе с калошей сдернула и ботинку с модной гостьи!

Да, изменилась! Даже лицо не то... Совсем другое выражение глаз... Да, во дни оны не такая она была!

Дни оны!

А ведь житье тогда было убогое, бесприютное, чуть не впроголодь, нигде ни в чем личной удачи, сплошь и рядом горькая обида, вечная тревога, неуверенность, благополучно ли минет день, нестерпимое сознание собственного бессилия... А между тем бывало после наплыва мучительнейших чувств такой подъем духа... сердце горит и рвется... вдруг почуешь что-то такое, словно у тебя вырастают крылья... Теперь сердце не горит и ни к чему не рвется. Никогда не бывает этого «словно у тебя вырастают крылья»!

Он, Андрей Михайлович, разумеется, в сущности все тот же, что и во дни оны: те же взгляды, те же убеждения. Он только стал уравновешеннее, немного практичнее (чего

тогда недоставало) и не такой пылкий... не такой... верующий. Но в сущности он все тот же, что и во дни оны.

Воспоминания понеслись быстрою вереницей. Замелькали давно не виданные места, позабытые лица, воскресали былые события, печали и радости.

Это были даже не воспоминания в точном смысле,— при воспоминаниях давно пережитого сердце может сжиматься и замирать, но бьется ровнее, горечь, как и радость, успела потерять первоначальную жгучесть,— это походило скорее на один из тех снов, когда, например, человеку, давным-давно покинувшему школьную скамью, снится, что он держит экзамен, и он в этом сне с таким же смятением ожидает вопроса о каких-нибудь Меровингах, с каким ожидал его во дни оны наяву.

Вот он (Андрей Михайлович дней оных) просыпается на своей узенькой кроватенке, носящей название мелилотного пластыря — все-таки мягчит, находит товарищ Малюта, более известный под именем Панглоса — и вскакивает как обожженный: неужели проспал? Кажется, нет: на дворе еще чуть брезжится и кругом тихо — сосед-учитель еще не кашляет за стеной. Не проспал, но... удастся ли?

Этот вопрос он задает себе на улице, и сердце его больно сжимается. Неужели не удастся собрать эти семьдесят рублей? Ну, хоть шестьдесят? Ведь их трое: Малюта, Прозоровский и он... Неужели втроем не соберут?

Погода мягкая, и ему вовсе не холодно в общипанном, сереньком пальто. Еще очень рано, так рано, что прохожие встречаются только изредка, и то такие, которые ничуть не шокируются аппетитом, с каким он ест трехкопеечный ситник,— все боялся опоздать и вместо чаю решил захватить в лавочке фунт ситника,— ситник солиднее булки. Опасение было напрасное — лавочница сказала, что всего семь часов, но это ничего, он успеет забежать к Прохорову: у франта Прохорова должны быть перчатки, а перчатки очень скрасят костюм, на который будут коситься швейцары и горничные.

Мягкое утро, более похожее на сумрак, чем на утро; из мглы все яснее выступают очертания зданий; просыпается городское движение, поднимается уличный шум; вот медленно проезжает, покачиваясь, высокий воз зеленых иглистых деревцев и обдает свежим смолистым запахом.

Прохорова невозможно сразу добудиться; сначала он

отчаянно мычит, потом схватывается с ложа, снова на него падает и дикими глазами озирается, точно не узнает своего кожаного диванчика, книг и зеркальца на неустойчивом столике и стула в русском стиле, на котором давняя позолота не помешала ему в час досуга нарисовать бойкую сороку в шляпке с эльзасским бантом. Наконец, он приходит в себя, уразумевает в чем дело, одним скачком уже у столика, только мельком, и то искоса, заглядывает в зеркальце — без этого он не может — и между гильзами и сувенирами в виде фотографических карточек и цветных ленточек отыскивает пару серых, точно приувядших перчаток, которые оказываются страшно широки и длинны, главное — длинны, так что представляют на пальцах подобие каких-то совсем непрезентабельных кисточек. Изощренный в франтовстве, Прохоров советует концы пальцев понабить немножко ваткой, бежит к хозяйке и быстрее птицы возвращается с клочком ваты и вязальной спицей.

— Ты куда? — прежде всего спрашивает Прохоров, мастерски приспособляя перчатки.

— К дяде.

— Разве она, тетка-то, за границей?

— Не знаю. Я его выжду на улице, когда гулять пойдет.

— А! отлично придумал. А потом?

— К действительной.

— Ух!

— Пустяки!

— Да ты видал ее уже действительной?

— Я ее никогда отроду не видал.

— Ну, так из куколки такая вылетела бабочка...

— Все равно. Решено к ней идти.

— Впрочем, может еще не совсем окаменела. А потом?

— К профессору.

— Этот даст. И профессорша за то не оторвет ему головы, она добрая. А потом?

— К путейше.

— Ух, ух!

— Пустяки!

Перчатки мастерски приспособлены (дело мастера боится! — говорит лицо Прохорова), и он опять на улице по дороге к дяде.

Как счастливо! Не успел он немножко походить взад и вперед около подъезда, и только что усатый швейцар начал

Обкладинка збірника, в якому публікувалось оповідання Марка Вовчка «Праздничный сон». *1901.*

за ним подозрительно следить, как в подъезде появилась бобровая бекеша, а в бекеше дядя, отправляющийся на прогулку для моциона.

Он видит, что его появление несколько пугает дядю.

— Ах, Андрюша!.. я тебя не узнал... ведь почти целый год не видались,— говорит дядя, окидывая племянника тревожным взглядом.— Жаль, что ты, голубчик, так спозаранку... Клавдия Петровна еще не вставала... впрочем...

Он спешит сказать, что ему некогда, что он только на минутку, по делу.

— По делу? — спрашивает дядя, искоса окидывая племянника еще более тревожным взглядом, и заметно конфузится.— А я вот, по своему обычаю, на набережную...

Идут минуты две молча.

Ну почему он не может сразу выговорить?

Он волнуется, мысленно обзывает себя дураком, мямлей... Фу!.. Наконец говорит дяде, что ему надо денег.

Дядя еще больше конфузится. Он бы очень рад... очень бы рад... И напрасно Андрюша всегда, когда только нужно, не обращается к дяде... Дядя ведь родной и к тому же крестил его... крестный отец... Очень бы рад... но в настоящую минуту немного с собой захватил... шел делать моцион... А вот завтра, в два часа, он будет на выставке картин и там... А с собой захватил пустяки...

Он успокаивает дядю, что ему надо немного, но сегодня, сейчас... рубля хоть три...

Дядя проясняется, веселеет,— не только три, может дать вдвое и даже немножко больше.

Дядя останавливается, вытаскивает великолепную сигарочницу с инициалами, вынимает из ее тайника кредитные бумажки (непременно Клавдия Петровна когда-нибудь догадается об этом тайнике) и говорит, подавая их племяннику:

— Вот, голубчик, тут 11 рублей. Ты заходи когда-нибудь... Клавдия Петровна скоро уезжает лечиться, у нее, знаешь, как у покойной тещи, все эти ваперы... Заходи, Андрюша...

11 рублей! Что за прелесть этот дядя! Ведь все отдал до копейки! А когда-то ему посчастливится что-нибудь утянуть у Клавдии Петровны: не взирая на ваперы, она ух как бдительна!

Уже 11 рублей! Отличное начало!

Великолепный подъезд действительной почему-то полуоткрыт, и он быстро туда проникает.

— Позвольте! Куда? Стойте! — кричит ему вслед швейцар, но он уже у дверей действительной, звонит и входит.

Надменная курносая горничная, с высоко взбитой челкой, в фартуке с прошивками и кружевами, медленно окидывает его критическим взглядом и генеральским тоном спрашивает:

— От кого? Есть письмо?

Он желает видеть барыню.

— Барыня не принимают неизвестных... хотя бы визитную карточку представили.

Если нельзя видеть барыню, то он желает написать барыне несколько слов.

— У нас расписываются, по обыкновению, у швейцара.

Он просит доложить барыне, что пришел от ее старого знакомого.

— От их знакомого? — сомнительно повторяет горничная, снова медленно обводя его критическим взглядом.

Однако идет во внутренние покои и возвращается с листком бумаги и карандашом.

— Напишите, от кого вы.

Он сдергивает приспособленную Прохоровым перчатку, которая летит на пол, торопливо пишет записку и вручает горничной.

— Растеряли,— говорит горничная, указывая ногой на перчатку, и снова уходит во внутренние покои.

Он схватывает с пола перчатку и забивает ее в карман.

Ожидает довольно долго. В полупритворенные двери ему видна часть залы и гостиной, и он может рассматривать золоченые рамы, лепные потолки, люстры с хрустальными подвесками, громадные зеркала, мраморные бюсты, бархат, шелк, инкрустации.

Наконец горничная возвращается: барыня согласны принять.

Среди гостиной его встречает дама со шлейфом и густо напудренным лицом, последнее ничуть не смягчает ее холодных глаз навыкате и сильно развитых челюстей.

— К сожалению, я не могу принять на себя хлопот по сбору денег,— твердо и ясно отчеканивает дама,— во-первых, потому, что в настоящее время все мои знакомые разъехались, а во-вторых, если бы даже знакомые нашлись, то

каждый из них мне ответит, что у него есть свои, известные ему бедные, и я не найду на это возражения, особенно после того, как денежные сборы сделались так часты и... дают повод к странным толкам. Что касается собственно меня, то я с удовольствием внесу, что могу.

Дама наклоняет голову в знак окончания аудиенции, причем подает ему три рубля.

Он забывает поклониться и как взял три рубля, так с ними в руке кидается в переднюю, схватывает свое пальто и спускается по лестнице.

— Пустяки!

Разумеется, пустяки, но его глупое сердце бьется больно и к горлу так подступает, что ни на что не похоже...

Впрочем, все-таки пустяки!

Очутившись на улице и пройдя немножко при свежем ласковом воздухе и проблесках солнца из-за белых, словно кружевных облачков, он оправляется.

Почти спокойно (по крайней мере ему кажется, что почти спокойно) он приближается к подъезду путейши.

При звуке отворяемой двери из швейцарской выставляется лысая голова с густыми рыжеватыми баками, а за нею показывается весь корпулентный швейцар, и вовсе не нахмуренный, а какой-то просветленный — ласковое, несколько лукавое поблескивание глаз и такая же улыбка говорят об отменном расположении духа.

— Вам кого? — спрашивает швейцар, держа в руке стакан чаю, от которого явственно распространяется спиртуозный запах, хотя в нем видны только скромные ягодки какого-то варенья.

Он называет фамилию.

Швейцар отрицательно трясет головою.

— Не принимают!

— Я попробую...

— Специально не приказано никого... Три рубля на чай дали, но чтобы никого... Кроме специальных лиц... Никого... Велено стать грудью... Ну, назвался грибом и... становись грудью! — улыбается швейцар, и вдруг наклоняется и конфиденциально шепчет:

— По черной!

— По черной?

— Через кухню... только ни гу-гу. Потому мне, случает-

ся, жаль молодых людей, а существование жизни мне тоже необходимо...

Он благодарит просветленного швейцара, который отечески ему кивает, поднимается по невероятно сорной и грязной черной лестнице и отворяет дверь в темноватую чадную кухню.

На раскаленной плите трещит, шипит, клокочет; пожилая, рыхлая, красная, как огонь, повариха, с микроскопическим носиком, невероятным богатством бюста и широким бантом на чепце, не переставая помешивать дымящийся на сковороде кофе, глядит на него вопросительно, а маленькая любопытная судомойка-чухонка навостряет уши. Из комнат доносятся звуки рояля, веселые голоса, пение и смех.

Он желает видеть барыню? Невозможно. У них гости и сейчас завтрак, а после завтрака — на тройках...

Он все-таки просит доложить барыне.

— Что ж, пожалуй. Вот сейчас придет Саша-горничная.

Повариха отставляет кофе и начинает повертывать шипящую в кастрюле дичь. Чухонка полощет посуду.

Он, впрочем, не особенно долго стоит в ожидании. Из комнат влетает вся в оборках, буфах и бантах горничная.

— Степановна, скоро у вас готово? А уж в гостиной веселье! И что за утешный этот новый знакомый! Уж такое представляет, что лопнуть со смеху! И уж красавец! И уж щеголь — первый сорт! И как поет! Вот-вот, слышите?

Из комнат доносится недурной баритон:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине...

— Постой, постой, ускромись же на минутку!..— останавливает Степановна.— Вон господин желает доложиться барыне.

— От кого? — спрашивает горничная.

(После нового барского знакомого, утешного, красавца и щеголя, «господин», очевидно, производит на нее мизерное впечатление.)

— От Познякова, насчет складчины... Пожалуйста, не забудьте: насчет складчины... от Познякова...

— Чего тут забывать! — фыркает горничная, вздергивая плечами.— Слава богу, не из деревни приехали!

Она поправляет в углу, перед зеркальцем, завитушки на лбу, к очевидному соблазну судомойки,— ее чухонские

смышленые глаза мечут целые пуки молний,— затем уходит.

— Это что ж за складчина? На бедных, что ль? — спрашивает повариха.

— На бедных!

— И большая семья?

— Большая.

— Уж сколько этих бедных разводится! — вздыхает повариха.— Да вы присядьте, господин. Тюта, подай, догадайся, табуретку господину.

Чухонка сердито толкает ему табурет.

— Да, много бедностей... а все грехи наши,— продолжает повариха, снова перевертывая дичь в кастрюле.

— Барыня очень сожалеют, что не могут лично ответить,— говорит возвратившаяся горничная, подавая ему рубль,— у них страшная мигрень...

О жизни отрада, младая супруга,
Ужель ты не слышишь стенания друга...—

доносится из гостиной.

— ...Страшная мигрень,— продолжает горничная, едва удерживаясь от смеха,— и у них теперь доктор... Как раз прописывают рецепт,— добавляет она, очевидно, уже от себя, фыркает от смеха и скрывается.

Казалось ему, что он готов ко всякому приему, а между тем он ошеломлен... что трогает добродушную повариху, которая советует наведаться денька через два, когда накатаются на тройках.

Пустяки!

Ведь это не одинокая мука, не беспросветное томление без воздуха и света! Вот солнце, вот свободный путь по улице...

А вот и оазис — подъезд профессора.

Швейцар, правда, глядит генералом от инфантерии, однако, получив в ответ на свое строгое «кого надо?», что надо профессора, без прекословий мрачно отвертывается, как человек, уже освоившийся с злополучием впускать профессорскую убогую молодежь.

Конечно оазис! Горничная без гримас, учтиво говорит, что профессор дома, а из двери гостиной выглядывает профессорша.

(Профессорша изумительно походит на херувима... пожилого, который скрыл крылья и облака под пеньюаром

цвета бордо, взбил кольца золотых, значительно поредевших кудрей, по прихоти моды, досыта напился кофе и не знает, чем бы ему заняться.)

— Вы к Кише? По делу? А! понимаю! Да идите в столовую. Хотите кофе? Я сейчас позову Кишу. Киша! Киша! Он убежал, вообразил, что это звонит m-me Бубнова, а он в неглиже... Ну, расскажите, что там у вас, как все идет... Говорите без стеснения. Мы хоть с вами незнакомы, но это ничего... Киша так любит молодежь... так ей сочувствует... Киша! Киша! иди же! Киша не так, как другие профессора, которые только думают об отличиях и чинах... он вполне сочувствует... Киша! Киша!

Выходит Киша — профессор Кирилл Кириллович, видный брюнет, с прекраснейшею, спрыснутою серебром бородою, в красивой русской рубахе, подает руку и очень рад... разумеется, разумеется... со всею готовностью... очень рад...

Рад, но глаза как-то беспокойно бегают, всего как-то поводит, словно под русскую рубаху забрались муравьи... Подает десять рублей и как будто ждет, что посетитель, как их возьмет, так и уйдет... Но профессорша уже начала анекдот о другой профессорше, у которой муж молодежь не ценит и ей не сочувствует.

Профессор кружит около стола, трет лоб, теребит свою прекрасную бороду, нетерпеливо высылает горничную, которая хотела было убрать кофейный прибор; наконец замечает профессорше, что гость спешит,— нельзя так задерживать человека, которому время дорого.

— Сейчас, сейчас, вот только дорасскажу,— говорит добродушный пожилой херувим.

Дорассказывает. Профессор стоит над рассказчицей и слушателем, как на булавках. Вот-вот конец...

В этот самый момент трещит колокольчик, и появляется m-me Бубнова, нарядная дамочка, живо напоминающая ищейку, которая кричит профессору, чтобы от нее не прятался — русская рубашка ужасно ему идет,— целуется с профессоршей, спрашивает, не помешала ли,— кажется, чем-то заняты? Ученое совещание? Одним взглядом охватывает профессорского гостя и не упускает смущения профессора и его старания поскорее выпроводить этого гостя.

После оазиса,— потому ли, что это после оазиса, или потому, что горечь все накоплялась,— успокоительное действие воздуха довольно медленно.

Пустяки! У него уже в руках двадцать пять рублей — вот что важно. Если Малюта и Прозоровский сберут по стольку же, то вот уже семьдесят пять рублей. Да он и не знает, на что он не готов, чтобы собрать недостающие рубли.

Он бодро вступает в новый великолепный подъезд... и встречает совсем неожиданный прием. Молодцеватый щеголь-швейцар с вежливою, даже подобострастною улыбкой указывает ему бельэтаж, будто хочет ему сказать: мы довольно знаем, что иногда под скромною одеждой скрываются тысячи и даже сотни тысяч,— потому, зачем убогий, настоящий убогий, пойдет к тому, кто без большой платы не принимает?

Таким же радушием отличается и лакей, скорее похожий на ласкового кота, чем на цербера, отворяющий ему двери в огромный ослепительный кабинет, где расхаживает с папиросой маленький, плотный, чрезвычайно юркий и развязный хозяин.

Хозяин, очевидно, ожидал не такого посетителя, но что значит легонькое разочарование тому, чье все существо кричит: преуспеваю!

— Всеконечно, батенька, всеконечно! Примите лепту вдовицы...

Подходит к великолепному письменному столу, отряхает папиросу в серебряный лапоть, берет из какой-то замысловатой шкатулочки с инкрустациями три рубли, подает:

— Лепта вдовицы! И вместе с лептой более ценный совет: ничем не увлекайтесь, юноша, без меры. Порядков грешного мира мы с вами не перевернем на свой лад... Будем же трезво смотреть на вещи. Будем помнить старое предупреждение — vae victis! Отвращаете от меня лицо свое, аки богохульствующаго? Ха-ха-ха! Когда-нибудь вспомните меня, юноша, вспомните и скажете: мудрость изрекала его устами! А впрочем, весьма вам сочувствую и желаю успеха на поприще самоотречения...

Уже есть чуть не половина суммы.

Еще внушительный подъезд — последний.

Сморчок-швейцар брезгливо замечает, что на первой площадке надо потише,— в квартире генерала Сахарова нездоровы; злющая, тонкая, желтая, как оса, горничная решительно заявляет, что барыня не может принять,— еще в постели.

Он говорит, что обождет, и входит.

— Помилуйте, господин, как вы можете так врываться! — восклицает оса, не успевшая заступить ему дорогу.— Говорят вам: барыня почивают!

— Но она ведь проснется?

— Ах, боже мой! Говорят вам...

Двери во внутренние комнаты приотворяются и в них показывается высокая темноглазая девочка лет четырнадцати.

— Вот мамаша почивают, а этот господин беспременно рвутся,— сычит горничная.

— Войдите, прошу, и подождите, мама верно скоро встанет,— говорит темноглазая девочка; у нее тихий, ласкающий слух голос, и вся ее хрупкая фигурка точно проникнута детскою, но чуткою добротою.— Вы к маме по делу?

— Да, по делу...

И вдруг, сам не зная как, он рассказывает ей «дело».

Она слушает. Ее темные глаза все расширяются, и губы начинают слегка дрожать.

— Подождите... я... сейчас...— шепчет она, быстро уходит, возвращается и трепещущими ручками подает ему два золотых и золотое колечко со сверкающим камешком, очевидно только что снятое с тоненького пальчика.

— Это мое... это папа мне на булавки... Я маме скажу... после... Спрячьте...

Он недоумевает с колечком, но она так страстно настаивает, что из ее темных глаз катятся слезы.

— Барыня нездоровы и не встанут сегодня с постели,— говорит возвратившаяся горничная.— Вот вам рубль.

Девочка вздрагивает, точно ее ударили, вспыхивает пурпуром, пурпур сменяется бледностью; она судорожно сжимает свои хрупкие ручки.

— А вам, Лизавета Ивановна, мамаша приказывают сейчас же пожаловать к ним,— продолжает горничная.— Позвольте, господин, я запру за вами двери...

Он протягивает девочке руку. Она схватывает ее обеими похолодевшими ручками, хочет что-то выговорить и не в силах...

— Позвольте, господин, нельзя же так очень бесчинствовать! — выпроваживает его горничная.

Он дома, в своей комнатенке. Никогда, кажется, в нее не заглядывало столько солнца,— почти целый столик в

солнечном свете. Неужто тут когда-нибудь бывало мрачно и безотрадно?

Он не раз пересчитал собранное сокровище и, измученный беготней, утомленный впечатлениями, блаженно отдыхает.

— Дома? — раздается у дверей чудесно свежий голос, и появляется чернобровая Катерина Даниловна Чепурная, иначе Катруся Сковорода (получила кличку украинского философа за спокойное отношение к житейским невзгодам), пышущая здоровьем, невзирая на целый год чайно-колбасной диеты и единственную кофточку четырехсезонку в стужу и зной, разгоревшаяся, как розовое утро, сияя своими мягкими карими очами.

Катруся кладет перед ним пять рублей:

— От меня! Не веришь, братику?

Невероятно, а так. Катрусе неожиданно нашелся великолепный урок: двадцать рублей в месяц, да еще дают кофе с сухарями... Большущие такие сухари,— точно медведи, лежат на подносике. Катруся ужасно боялась попросить вперед — всего ведь четыре урока дала... Решилась. Барыня закусила губу и задумалась, а у Катруси сердце так и покатилось... «Сколько вам вперед?» А Катруся как с моста в воду: пять! Дала...

Он рассказывает свое. Недаром окрещенная именем украинского философа, Катруся, однако, то и дело утрачивает стоицизм, а когда рассказ доходит до темноглазой девочки и ее колечка, Катрусины стоические карие очи решительно переполняются слезами, и у нее вырывается тихое: «серденько ты мое!»

Тут воспоминания вдруг оборвались, как чтение книги, из которой вырваны страницы, и перенесли в позднейшие дни.

Катруся далеко. Через долгие промежутки от нее приходят письма, и в каждом она спрашивает: «Нет ли у вас чего хорошего? Хоть не слышно ли?»

Ранняя весна. Тихая-тихая апрельская ночь. Мириады звезд на темном небе, яркий серпок месяца, далекий шум вешней воды. Он читает письмо от Катруси — четвертое после того, как ее проводили в далекий дикий край, и последнее — пришло, когда уже навеки закрылись Катрусины очи... И в этом последнем она спрашивает: «Нет у вас чего хорошего? Хоть не слышно ли?»

Вдруг он почувствовал как бы дуновение проникающего жуткого ветерка, будто чье-то тихое, но потрясающее прикосновение...

Перед ним стояла Катруся.

В первый миг сердце его переполнилось захватывающею радостью, но радость тотчас же отравилась чем-то невыносимо мучительным. Он, замирая, искал в ее милом лице укора, гнева, но находил только давнюю чистоту ясного, теперь опечаленного взгляда.

И вдруг он почувствовал себя таким опозоренным, таким презренным, как будто продал старого друга.

— Прости! прости!—зарыдал он в смертельной тоске.— Прости!

. . . . . .

Он открыл глаза. Над ним стояла жена, Валентина Алексеевна, и трясла его за плечо.

— Господи! да проснись же! Иди, ради бога, скорее к Штольцу и купи сахарной пудры и ананас... Этот болван Василий спьяна испортил торт... Господи! да перестань же мычать! Если Штольц уже заперт, купи хоть в аптеке ананасный консерв... но купи, купи, купи!..

ВСТРЕЧА

(ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ)

На станции N ожидали прибытия варшавского поезда, который обыкновенно стоял тут час и затем следовал в Петербург.

Поезд, приходивший по расписанию в два часа пополудни, очень запоздал, и хозяин буфета, тучный черномазый щеголь в светло-сером костюме и бирюзовом перстне на правом мизинце, хмуро прохаживался между столами, скрывался в темном проходике за стойками, заставленными винами и закусками, появлялся снова, перемещал какую-нибудь бутылку, обдувал пыль с горки бисквитов, поправлял пирамидку шоколадных плиток, а в промежутках бросал недовольные взгляды на часовую стрелку. Он уже два раза высказал девице в желтом батисте, заведующей отпуском чаю и кофе, что с поездом, наверное, что-нибудь случилось неблагополучное.

Девица в желтом батисте, чрезвычайно похожая на прирученную канарейку, тоже обращала свои блестящие, как бисеринки, глазки на часы, беззаботно чирикала: «О да, это уж наверно!» И снова принималась за тамбурное вязанье.

Франт повар, в белом берете набекрень, стремительно появившийся с блюдом пирожков, унес их обратно, распространив запах капустного и мясного фарша. Показывался то тот, то другой официант, передвигал то тот, то другой прибор, хлопал, в острастку мухам, салфеткой по столу, скрывался или, прислонясь к стене, дремал.

Нас, ожидающих пассажиров, было немного, и мы разнообразили тяготу ожидания, как могли. Кто, усевшись в уголок, старался уснуть или, по крайней мере, задремать, кто брался за припасенную в дорогу книгу, гулял по плат-

форме, проникал в станционный садик и кружил по узеньким дорожкам между цветущими клумбами в виде сердец и георгиевских крестов из резеды и флокса. Разумеется, все эти развлечения очень щедро приправлялись справками, как далеко еще подвинулась часовая стрелка.

Уже четвертый в начале, но июньский зной дает себя знать.

Наконец, сигнал.

Хозяин буфета помещается за стойками, спирт вспыхивает под мельхиоровыми блюдами, франт повар суетливо что-то подливает из металлического чайника в подогреваемые соусники. Появляется швейцар у дверей. По платформе, что-то дожевывая, проходит бравый жандарм.

У девицы в желтом батисте кофейные и чайные принадлежности давно наготове, и она без поспеха довязывает свой тамбурный зубчик. Показывается пухленькая, кудрявая, как барашек, продавщица книг и газет и раскладывает свой товар. Со всех сторон выступают официанты.

Вот и поезд.

Шумная пестрая вереница прибывших спешит занять места за столами. Поднимается гам, говор, громыхание передвигаемых стульев, гул требований, раздражительные указания официантам, которые мечутся во все стороны.

За столом, рядом со мной, располагается худенькая дама. Мелкие кудряшки вьются чуть не до самых глаз, глаза — точно напитанные фосфором шарики, движения порывисты. Очевидно, крайне нервная дама. И экспансивная — сейчас же начинает восклицать. На нее будто бы смертельно действует вся эта, по ее выражению, цыганская вокзальная сумятица. Ее, кроме того, перепугал официант, стремительно, с разлета подсунувший телячью котлету, и окончательно расстроил, не поняв, что котлета должна быть вовсе не с картофелем, а с зеленым гарниром. Она опасается, как бы ей не задохнуться в этом аде, а голове ее не расколоться пополам. А тут и куска не дадут проглотить — вместо часу простоим две минуты.

Ее пробует успокоить мой сосед справа, солидный господин в коричневом. (Еще богатая оборочка песочных волос окаймляет его блестящую, точно только что отполированную лысину, песочные волны баков на подбородке с глубокой ямкой тщательно пробриты, что позволяет видеть Анну 2-й степени, мягко мерцающую на коричневом фоне). Солидный господин, занятый зелеными щами, в которые

методически измельчает крутое яйцо, созидая правильные горки, одну из белка, другую из желтка, уверенно советует кушать котлету спокойно; никакой спешки не будет.

Нервная дама не без колких ударений на словах отвечает, что она, кажется, знает, что говорит: раз опоздал поезд, то будут наверстывать. Через какую-нибудь минуту затрещит звонок.

— Не затрещит,— настаивает солидный господин в коричневом,— следующее в нашем поезде железнодорожное начальство заказало для себя особый свежий обед. Я у стойки спрашивал полынной и своими ушами слышал. Ну, а пока рыбу поймают, пока...

— Какую рыбу поймают? Что за рыба? — восклицает нервная дама.

— Неподалеку от здешней станции славится, видите ли, рыбка,— охотно сообщает солидный господин, оканчивая созидание яичных горок и присыпая щи перцем,— этакая серебристенькая... Эта рыбка водится только в самых чистейших ручейках, а вот тут, где-то поблизу от станции, есть такая долинка и по ней ручейки, как хрусталь. Особо вкусная рыбка, которая...

— Знаю: форель! — перебивает нервная дама.

(Дама так нервозна, что всякая ее фраза требует восклицательного знака, а то и двух).

— Этого добра в Петербурге хоть забросайся!

— Прошу извинить,— вмешивается сидящий напротив, остриженный под щетку, быстроглазый юркий старичок в туго накрахмаленной каламянке. Перед старичком стакан чаю, а на коленях у него вместительная корзиночка с домашними пирожками и какими-то жареными птичками. Пирожки он уничтожает целиком, птичек, как в жерновах, мелет с косточками и все запивает чаем.— Прошу извинить. Находят знатоки, что в петербургской не тот вкус — крупна петербургская, а требуется, чтоб рыбка была не более четырех вершков. Никак не более. Никак. У N-ского железнодорожника даже дана повару строжайшая мерка: ровно 4 вершка. Приложит к рыбке, и чуть вот настолько,— юркий старичок ногтем большого пальца захватывает за краешек мизинца,— наверно, бракует. Доложу вам...

— Анекдот какой-то! — перебивает нервная дама.

— Прошу извинить, я говорю не наугад,— возражает юркий старичок.— Я тут недалеко живу, и мне все в окрестностях отлично знакомо и известно. Извольте посмо-

треть...— Юркий старичок извилистой бровью моргает на приземистую, не по летам округлую и грузную фигуру, которая развалисто прохаживается между занятыми столами, дымя папиросой. — Вот-вот, в форме первейшего сорта, жирненький — видите? Ничего не спрашивает, ожидает рыбку...

— Мы без помехи покушаем и еще порядочно посидим,— заключает солидный господин.

— Тоже приятно! — восклицает нервная дама.— В Петербург, значит, приедем ночью! Боже, что у нас в России за порядки! Ведь за границей это немыслимо! Немыслимо, немыслимо. немыслимо!

Она начинает рассказывать о чудесных порядках заграничных. Солидный господин бесстрастно слушает, пунктуально распределяя на каждую ложку щей известную дозу от горки белка и от горки желтка.

— И у нас не совсем без удобств,— замечает юркий старичок.

— Какие же это удобства у нас? Где? В чем? — вскипает нервная дама.

— А вот, чтоб не далеко ходить,— шутливо поясняет юркий старичок,— возьмем, к примеру, железнодорожное начальство: захочется ему рыбки из хрустального ручейка — и может задержать, где и когда ему угодно, следование поезда. Чем не удобство? Только не для всех... Хе-хе-хе...

— Ну, понятно, не для всех! — улыбается, очевидно, оценивший шутку, солидный господин.

Он покончил с зелеными щами и теперь разрезает ломоть ветчины на правильные квадратики и на каждый квадратик скрупулезно накладывает определенное количество горошка.

Негодованию дамы нет пределов. Она страстно делится воспоминаниями, как по поводу не вовремя открытого окна в вагоне у нее раз вышло столкновение с самим железнодорожным шефом.

— Ну, я ему отпела! Как, говорю, вы имеете дерзость...

Ее прерывает поднявшийся за смежным столом спор.

Чрезвычайно показной, невзирая на излишнюю дородность, черноусый полковник запальчиво спорит с своим визави.

— Я раньше заказал, значит, подали мне, а не вам, милостивый государь!

«Милостивый государь», от которого нам видны только правый седоватый бакен, кончик крючковатого носа и большое, как чумацкий вареник, багровое ухо,— побагровело, может статься, от волнения спора,— сдержанно, но с каким-то шипом возражает, что в круг его обязанностей не входит забота о том, что заказывают сидящие за вокзальными столами незнакомые ему лица, а потому естественно, что это ускользает от его внимания. Он знает, что заказал себе известное блюдо, что заказанное лакей ему подал...

— Лакей болван! — еще запальчивее доказывает полковник. «Болван» как раз в этот момент ставит перед ним вторую, запоздавшую порцию спорного кушанья.— В кругу порядочных людей, милостивый государь...

— Не возвышают так голоса за столом, за которым к тому же находятся дамы! — замечает менее сдержанно «милостивый государь».

Полковник на секунду каменеет... Готов, кажется, разразиться чем-то ужасным...

Но приближается, очевидно, привлеченная громогласным препирательством высокая тощая дама в моднейшем дорожном костюме, с пахитосой в устах, очень томная и очень напудренная, и при взгляде на полковника восклицает:

— Александр Петрович! Вы ли это?

— Клавдия Иосифовна,— вскакивает полковник.— Вот неожиданное удовольствие!

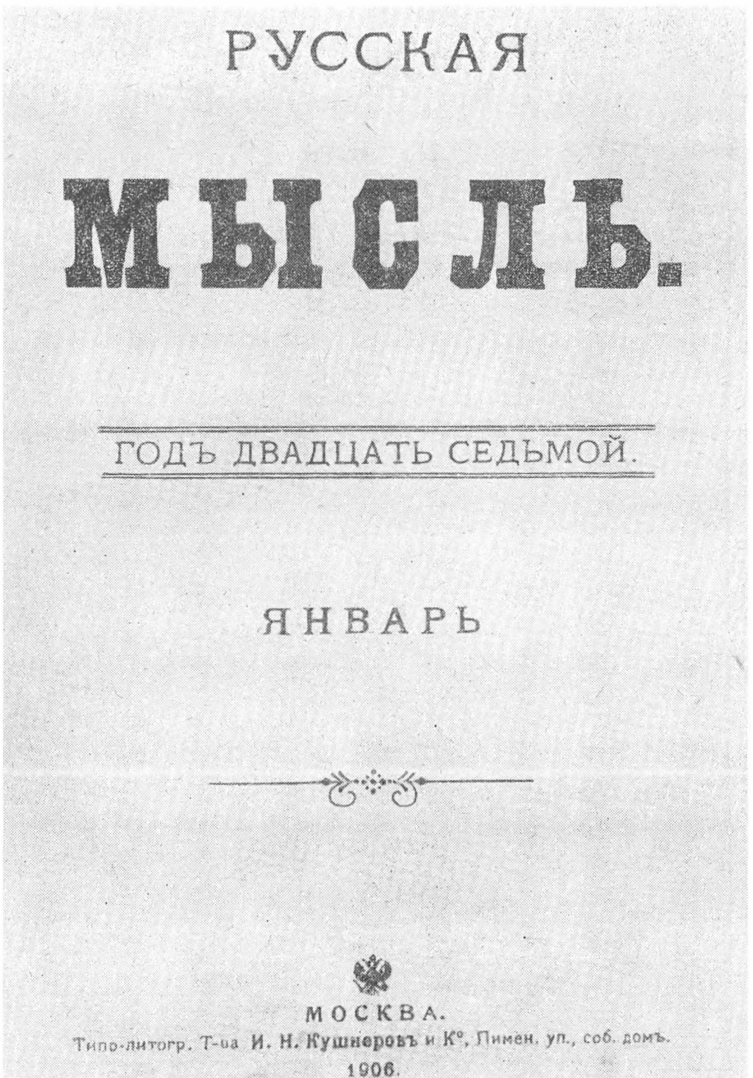
— Дама из начальства! — подмигивает нам быстроглазый старичок.

— Это вы почему же полагаете? — спрашивает нервная дама.

— Будь это знакомая обыкновенная, назвал бы по батюшке просто Осиповна, а уж если называет Иосифовна, то наверно из высших сфер,— охотно вразумляет быстроглазый старичок.

— Какая низость! — восклицает нервная дама.

Нервность ее достигает высшей степени: поданный ей бисквит до того будто бы иссох, что выстрелил ей в горло целой пригоршней пыли и чуть ее не задушил... Однако она заинтересовывается дамой из начальства и принимается ее разбирать, что называется, по косточкам: сейчас видно, что это за птица — модница, уморительно занята собой,— воображает, что красавица,— из тех барынь-мотовок, которые разоряют дома, пускают детей по миру, неглижируют


РУССКАЯ

МЫСЛЬ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

ЯНВАРЬ

МОСКВА.

Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнеровъ и К°, Пименовская ул., соб. домъ.

1906.

Титульна сторінка журналу «Русская мысль», в якому друкувалось оповідання Марка Вовчка «Встреча». *1906.*

самыми священными обязанностями и проч., и проч., все в том же безотрадном смысле.

Между тем дама из начальства благосклонно приняла поданный ей стул (полковник так стремительно выхватил этот стул, что у медлительной старушки, сбиравшейся на него присесть около соседнего стола, вырвалось испуганное «ах!», и она чуть не покатилась по полу), покуривает пахитосу и сообщает полковнику подробности своего путешествия. Она едет из своего N-ского имения в имение X-ское к сестре. Aline ведь выходит замуж.

Полковник сердечнейшим образом поздравляет, радуется, не сомневается в будущем благополучии такой особы, как Алина Борисовна.

Он как будто забыл о спорном блюде, которое стынет, и о пламенном споре с своим визави, который не спеша оканчивает обед, даже как будто умышленно продлевает его, медлительно расспрашивая прислуживающего официанта о соусах и гарнирах...

— Да, Aline милая девочка,— говорит дама из начальства.— Сестра почувствует себя одиноко без нее... А вас куда бог несет?

— Я в Петербург, Клавдия Иосифовна, по поручениям Леонида Иосифовича.

Быстроглазый старичок приставляет указательный палец к носу и произносит под сурдиной: «Сестрица».

— Увидите дядю Пьера,— говорит дама из начальства,— передайте ему, пусть поспешит к нам. Свадьбу решено отпраздновать à l'anglaise [1], в самом интимном кругу... Вы ведь увидите дядю Пьера?

— Непременно, Клавдия Иосифовна, имею даже поручение от Леонида Иосифовича.

— Что за поручение?

— Леонид Иосифович посылает Петру Георгиевичу пару кадет.

— Пару кадет? Что за кадеты? Леонид, по своему обычаю, благотворит кому-нибудь?

— О, да... Леонид Иосифович находит целесообразным, в видах умиротворения края, помещать дурно направленных детей в наши военные учебные заведения, вырывать из худой почвы и пересаживать в добрую, говорит Леонид Иосифович.

---

[1] По-английски *(франц.)*.

— У Леонида вечно какие-нибудь фантазии,— замечает дама из начальства.— Пересаживает там кого-то из худой почвы в добрую, а собственные дела запускает. Неисправим... идеалист... Пора бы ему подумать о собственных делах. Ведь, кажется, край теперь замирен и все спокойно?

— О, да, вообще спокойно, но надо быть бдительным, говорит Леонид Иосифович, и предусматривать...

Я пробираюсь из душного вокзала на опустевшую платформу. Тут дышится свободнее.

Направо — железнодорожные постройки, ряды запасных вагонов, налево — простор. Длинная полоса синеющих лесов замыкает горизонт, ближе — изумрудная яркая низина. По низине то рядами, то в одиночку, то целыми купами темнеют раскидистые шатры высоких деревьев.

Тут-то, на этой низине, должно быть, и находится заповедная зеленая долинка, где бегут чистые, как хрусталь, ручьи и ловится серебристая рыбка, столь ценимая железнодорожными гастрономами. Вероятно, оттуда, от хрустальных ручьев и пышного луга, тянет на платформу прохладою и запахом душистых июньских трав.

По платформе гуляли в сопровождении фельдфебеля два кадета. Фельдфебель, гигант-щеголь, прямой, как стрела, блистал издали. Каждая пуговица на нем играла. Ослепительный глянец его черных, как вакса, волос, глаз навыкате, бровей колесом, усов колечками вверх, ярко оттенял малиновую окраску широких, как баранья лопатка, щек и пухлых, добродушных губ в форме червонного туза,— последнее придавало их добродушию несколько жеманное выражение.

Он шагал, приостанавливаясь, очевидно, занятый приятными мыслями, наслаждаясь папиросой. По привычке к дисциплине, он пускал дым особенным образом,— вниз, а затянувшись, прятал папиросу в кулак.

Кадеты, в форме с иголочки, шли тихо, склонившись друг к другу, поглощенные разговором. Когда они поравнялись со мной, до меня долетело несколько польских слов. Стройные, красивые мальчики, только бледные, как после тяжелого недуга. Судя по сходству — братья. Старшему могло быть лет двенадцать, младшему — не больше восьми. Несомненно, уроженцы Литвы: тонкие, уже в детстве характерные черты, литовские темные иссиня серые глаза, густо опушенные длинными ресницами. Когда эти глаза,

измученные, исполненные горькой тоской, на меня глянули, у меня невольно вырвался вопрос:

— Не пригожусь ли чем помочь?

Они вздрогнули, встрепенулись, растерялись...

Но старший мгновенно оправился и быстро-быстро, вспыхивая и бледнея, задыхаясь, заговорил:

— Я — Адам Д., а это мой меньшой брат, Чеслав... Нас везут в Петербург... в корпус... Взяли от матери... ночью... Она упала... нас увели... Мама не знает, что с нами... где мы... Мучится... Писать не позволяют... Если б я мог передать ей слово... одно слово... одно... что живы, что вместе... что я берегу Чесю... Помню все, что мама заповедала... Не забуду... никогда ... Ее Адам не изменится...

— И Чеся тоже,— проговорил младший.— Пусть мама коханая...

Исстрадавшаяся детская душа не вместила скорби,— крупные слезы полились по измученному личику, и он закрылся задрожавшими ручками.

Когда моя записная книжка очутилась в руках Адама, он помертвел от радости. Но он уже умел владеть собой. Он весь дрожал, как лист, но не суетился, и тихо подвигаясь вперед, начал писать.

Мы с Чесей приостановились. Он доверчиво приложил мокрую щечку к моей руке. Слезы все еще лились, и такие горькие и жгучие, а он шептал:

— Какое тут все чужое... ужасное...

— Позвольте, позвольте! — раздался за нами восклик фельдфебеля.

В своих приятных мыслях он порядочно поотстал, но в два прыжка очутился около нас.

— С господами кадетами нельзя разговаривать! Нельзя по-польски! Помилуйте! Раз начальство не дозволяет... Позвольте...

Но видя, что оба кадета пошли вперед своей дорогой, а я их беспрекословно оставляю и направляюсь с ним рядом, пыл его опал, хотя глянцевитые брови колесом все еще угрожающе насуплены и яркий червонный туз строго сжат.

Извинившись в сделанной ему неприятности и объяснив, что запрет начальства нарушен по неведению, я выражаю надежду, что он к этому отнесется снисходительно, по справедливости.

— Тут не в справедливости дело, а в приказе начальства,— отвечает он строго наставительно.

Но мое извинение, очевидно, принято им благосклонно, и он удостоивает сообщить мне в назидание несколько дисциплинарных правил, необходимых для блюдущего себя военного человека, да не лишних и для всякого, как он выражается, иного-прочего.

Пухлый червонный туз не обманул насчет добродушия, которое в благоприятных случаях соединялось с экспансивною словоохотливостью,— что вполне понятно, если большую часть своей жизни человек стоит навытяжку и свободно может только в урочное время рапортовать.

Вслед за сообщением назидательных дисциплинарных правил он не скупится на собственные биографические и служебные сведения. Я узнаю, что служба ничего, хоть тяжело... даже очень...

— Я при их высокопревосходительстве состою. Меня их высокопревосходительство сразу отличили: «Подберите мне таких, вроде Вахрамеева», т. е. меня — я Вахрамеев по фамилии. Их высокопревосходительство до страсти привержены к этаким рослым, ну, чтоб и вообще был мужчина, чтоб и лицом взял. Теперь нас подобных шестеро подобрано,— как покажемся на улице, так вся Варшава оглядывается. Зато беда, как если обезобразишься. Раз я простудился, и прикинься болеть щека — разнесло ее, тыква тыквой,— так их высокопревосходительство, хоть добрые, страсть рассерчали: «Ах ты, каналья, как себя обезобразил! Пошел к фельдшеру, да вперед смотри, я скверных рож не выношу». Ну, уж я себя теперь блюду пуще глазу, потому на этот счет строго... Болтал там один штрафной унтерок, что их высокопревосходительство потому так красоту уважают, что супруга у них неказисты, так хочется, болтал, глазу их на вас отдыхать. Супруга, касательно этого пункту, действительно немножечко не вышли... хоть великолепныя дамы...

Мы уже два раза перешли из конца в конец платформу, кадеты медленным ровным шагом следуют впереди.

Он, Вахрамеев, едет в Петербург при любимом полковнике их высокопревосходительства и блюдет пару вот этих кадет, но главная его миссия — сопровождать на обратном пути из Петербурга братца ее высокопревосходительства. Нездоров братец и берут его в Варшаву на поправку.

А кадет приказано препроводить к одному там тоже большому генералу. За что так строго, спрашиваете, с ними? Иначе невозможно. Даром, что дети, а бунтовщицкая

искра в них имеется. Боже упаси, какие характерные. Ведь их высокопревосходительство такой добродетели, что боже мой, а вы думаете — они это чувствуют? Ни на маковое зерно. Подполковник Берендеев правду говорит,— умный подполковник. Их высокопревосходительство так вроде клички его и называют: умница Берендеев,— это, говорит, змееныши. А их высокопревосходительство по своей добродетели шутят: «Ну, что,— шутят,— дадим-ка мы змеенышам конфет покусать. Доставьте-ка их, посмотрим». Доставили, вводят. Их высокопревосходительство, как родной отец: «Здравствуйте, дети». Стоят, закаменели. Чаю им, всякого пирожного, конфет наилучших — хоть бы пригубили. Ну, камень камнем.

Только как стали их высокопревосходительство им объяснять, что вот, мол, поедете в Петербург, так старайтесь— будете стараться, так в люди выйдете, заслужите отличия,— да при этом помянули про их старшего брата, что, мол, нехорошо он себя вел и сам себя погубил,— а брата этого убили в схватке, в лесу,— так они этак зашевелились... Ну, и в ту же минуту опять закаменели. Характерные. С глаз спускать нельзя. Видите, идут себе, кажись, без хитростей, гуляют, а в мыслях у них, может, бунт.

Между рядами вагонов начинают бегать железнодорожные смазчики, стучит молоток, раздается лязг и громыхание сцепок.

Первый звонок.

Вахрамеев дружественно со мною раскланивается и торопит кадет к вагонам.

По дороге старший кадет роняет фуражку и так несчастливо, что она сваливается между рельсами и платформой. Вахрамеев, с восклицанием огорчения и упрека, поспешно ее оттуда добывает, а я тем временем успеваю получить обратно свою записную книжку.

На платформе уже толпятся высыпавшие пассажиры; в вагонах началась возня, толкотня и препирательства. Издали мелькает нервная дама, застревает и восклицает в вагонных дверях:

— Второй звонок!

Показывается дама из начальства, которую полковник энергично и ловко ограждает от давки, действуя локтями и даже коленями.

При появлении полковника Вахрамеев каменеет по пути

к вагону, вытягивается в струну и отдает честь, неистово шепча кадетам:

— Честь! Честь! Честь!

— Вытянись! Вытянись! Гляди в глаза! Прямо в глаза!

Детские руки — у козырьков; глаза, потухшие от муки и тоски, подняты на бравого полковника.

— Вот кадеты Леонида Иосифовича,— указывает полковник.

— Ils sont assez gentils [1],— равнодушно замечает дама из начальства, оглядывая в лорнет,— но в них как-то мало детского... Нет,— как бы это выразить?.. Нет детской прелести... наивной, знаете, улыбки...

И спохватывается:

— А где моя Джали? Ах, эта несносная Любаша!

— Здесь, Клавдия Иосифовна, здесь,— успокаивает полковник.

И заставляя проворнее выступить вперед щеголеватую горничную с собачкой на руках, так усердно тискает щеголиху, что она спотыкается и в свою очередь тискает нежную Джали, которая отчаянно взвизгивает.

— Ах, Любаша, какая ты ловкая! — не без раздражения язвит дама из начальства.— Тебе бы стоило дать премию за ловкость. Бедненькая Джаличка...

Сконфуженная Любаша густо краснеет и потупляется под взглядами каких-то любопытных пассажиров, наблюдающих из вагонного окна.

— В вагон! — командует полковник все еще цепенеющему навытяжку Вахрамееву и поспешает за дамой из начальства в купе, откуда слышно его предложение поместить корзинку Джали поуютнее — в уголок направо.

Вахрамеев препроводил кадет на места. В окне вагона показываются их бледные лица, и меня ласкают исполненные тоски литовские глаза.

Третий звонок.

Паровоз свистит, поезд двигается.

Адам прощается взглядом. Чеся прижимает ручки к груди, точно она разрывается. У него катятся слезы и вырывается скорбный крик:

— Пусть мама коханая знает...

Поезд мчится и уносит их «из худой почвы в добрую»...

---

[1] Они довольно милы *(франц.)*.

Примітки

В ГЛУШИ

Роман вперше надрукований в журналі «Отечественные записки», кн. VII, VIII, IX, X, XII, за 1875 р. 1876 р. з'явився окремим виданням («В глуши», СПб.). 1899 р. надрукований у VII томі «Полного собрания сочинений» (видання книжкового магазину «Саратовского дневника», Саратов, 1896—1899), з деякими цензурними вилученнями. У даному виданні ці вилучення подані нижче, у примітках.

Твір написаний, очевидно, ще в 1868—1869 рр. У листі до М. О. Некрасова від 22 травня 1869 р. М. Є. Салтиков-Щедрін, який був тоді редактором «Отечественных записок», сповіщав: «Ще загрожує М. О. Маркович: до серпневої книжки — «Записками причетника», а з вересня — романом у чотирьох частинах».

Роман увійшов до видання Марко Вовчок, Твори в шести томах, т. V, Держлітвидав України, 1956, стор. 51—326.

Публікується за текстом саратовського видання. Цензурою були вилучені такі місця:

Стор. 30. ...докторские книги, князя Енгалычева — Очевидно, мається на увазі книга письменника П. М. Єнгаличева (1769—1829) «Простонародный лечебник» (вид. 3, 1808 р.), яка містить відомості з медицини.

Стор. 93. ...отвечал отец Павел... — Після цих слів випущена фраза: «Теперь помолимся об обратном действии стихий и тем восстановим в природе равновесие, благодетельное для плодов земных».

Стор. 96. ...угодника Митрофания... — Далі вилучено слова: «...простиравшему благословенную десницу над целой батареей топырившихся по стенам девичьих уборов».

Стор. 97. ...послужить православию. — Випущено: «...а я — наместник самого господа нашего Иисуса Христа».

Стор. 100. ...заключил отец Павел со вздохом... — Після цих слів випущено слова: «точно он действительно встретил Алексашку, и Алексашка действительно похвалялся».

Стор. 102. ...Одна у нас кормилица... одна... — Далі вилучено абзац: «Баба с тоской и мольбою поглядела на бородатое крупное лицо, которое в эту минуту могло поспорить в бездушии с любым каменным идолом».

Стор. 102. ...Нет, нет... батюшка! — Далі випущено такий діалог:

«Баба опять поклонилась и опять заплакала.

— Ну, ладно, я тебе, так и быть, уж дам святой печерской водицы.

— Как же, батюшка, глаза и уши, и язык ей скропить?

— И темя. Не забудь, темя скропи.

— Не забуду, не забуду. самое темячко скроплю... Архиповна говорила, на самое сердце надо?

— Надо и на сердце».

Стор. 112. Випущено перший епіграф, який був у першодрукові роману: «Акт знищення в добрій справі так само святий, як і акт творення». *Адам Міцкевич.*

Стор. 151. ...лик бога-отца — Після цих слів було випущено такий рядок: «...В золотом сиянии и ярко-голубых рукавах, утопавших в клубах белых, густых, как сметана, облаков».

Стор. 180. ...Аполлошка, начавший петь иным голосом.— Далі випущено: «не по всесильному могуществу чудотворца Николая, а...»

Стор. 197. Після слова *Да* випущено: — «И в силу этого вы передали браслет крестьянке Матрене Кузьминой? — Да».

Стор. 232. ...ответил Федосей Егорович.— Далі випущено: «...в глубине души начинавший терзаться сомнениями, точно ли угодник Николай внял его молитве об истреблении беззакония».

Стор. 241. Я вот... Цей абзац у Марка Вовчка мав інший вигляд: «Я вот обет всевышнему для вас нарушаю, тяжкий грех на душу беру,— вздохнул отец Павел.

— Что такое! Какой обет? Я вас не понимаю».

Стор. 251. Но не о себе пекусь и сокрушаюсь...— Далі випущено: «от юности моей приобык к скудному житию...».

МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Повість вперше надрукована в «Русской газете», № 1, 2, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 57, 66, 76, за 1878 р. (січень — березень).

1897 р. Марко Вовчок подала повість у цензурний комітет, але друкування її було дозволене з такими перекрученнями і вилученнями, які докорінно змінювали зміст твору і виключали можливість його опублікування.

В 1899 р. письменниця повторила спробу (див. лист до кн. Шаховського від 19 травня 1899 р. в VII томі даного видання), бажаючи включити повість до VIII тома «Полного собрания сочинений», який так і не вийшов у світ.

Повністю твір вперше надруковано у виданні Марко Вовчок, Твори в шести томах, т. 5.

Публікується за текстом шеститомника, звіреним з текстом «Русской газеты».

Стор. 303. ...Последнее произведение вашего любимого Т... — Можливо, мова йде про роман І. С. Тургенєва «Новь», що з'явився 1877 р., якраз перед виходом у світ повісті «Мечты и действительность».

Стор. 369. ...за общим столом мадам Легранж.— Кінця розділу немає, він вилучений цензурою. Це видно з заключного розділу, де мова йде про сутичку Галкіної з Комовим, після якої Галкіна захворіла.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВНУТРЬ СТРАНЫ

Нарис надрукований у журналі «Отечественные записки», 1871, кн. IV, під псевдонімом «Я. Канонин».

Спроби Марка Вовчка перевидати нарис у 1897 і 1899 рр. не мали успіху, на заваді стояла цензура.

Тут подається за виданням: Марко Вовчок, Твори в шести томах, т. 5. Текст звірено з першодруком.

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Оповідання вперше опубліковано в 1874 р. в літературному збірнику «Складчина», виданому на користь голодуючого населення Самарської губернії. В цьому збірнику взяли участь М. Є. Салтиков-Щедрін, М. О. Некрасов, О. М. Островський, І. С. Тургенєв та інші видатні письменники.

У 1897 р. Марко Вовчок подавала оповідання на розгляд цензурного комітету, але дозволу на друкування не одержала. Через два роки вона знову клопоталась про дозвіл цензури на вміщення «Сельской идиллии» у VIII томі «Полного собрания сочинений», проте і на цей раз їй було відмовлено.

Вдруге твір надруковано у виданні Марко Вовчок, Твори в шести томах, т. 5, стор. 40—50.

Публікується за текстом цього видання, звіреним з першодруком.

Стор. 413. Из дневника неопытной женщины — Такий підзаголовок має оповідання у переліку творів, які ввійшли до збірника «Складчина». В тексті ж надруковано «...неопытной помещицы». Це явна описка, оскільки самий текст оповідання свідчить про те, що особа, від імені якої ведеться розповідь, не була поміщицею.

ХИТРЫЙ ХАИМКА

Оповідання надруковано в «Киевской газете», 1902, № 294, від 24 жовтня.

Подається за виданням: Марко Вовчок, Твори в шести томах, т. 5. Текст звірено з першодруком.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СОН

Твір надруковано в «Сборнике на помощь учащимся женщинам» (М., 1901), складеному виключно з творів жінок-письменниць та малюнків художниць. Прибуток від видання збірника призначався, як сказано в передмові, на організацію гуртожитку для бідних дівчат, які з усіх кінців Росії приїздили до Москви, «чтобы пополнить свое образование и таким образом иметь впоследствии возможность на том или другом поприще отдавать обществу свои силы и в то же время зарабатывать свой хлеб» (стор. V).

Оповідання ілюстроване у збірнику малюнками художниці О. П. Самокиш-Судковської. Перед оповіданням вміщено портрет письменниці з факсиміле підпису — «Марко Вовчок», а також коротку біографію, складену за енциклопедичним словником Брокгауза та Ефрона.

Оповідання більше ніде не публікувалося.

Подається за текстом першодруку.

ВСТРЕЧА

Оповідання написано в 1905 р., надруковано в журналі «Русская мысль», 1906, кн. I.

У листах до Б. Марковича письменниця неодноразово засвідчила, що основою оповідання став дійсний життєвий факт. Так, у листі до

Б. Марковича від 1 вересня 1905 р. Марко Вовчок пише про оповідання, що «в нем не выдуманное, а быль, как было в действительности, вскоре после повстання[1]. Я действительно обманула бдительность Вахрамеева и послала письмо в Варшаву» (Марко Вовчок, Твори в шести томах, т. 5, стор. 512). У листі від 4—7—8 жовтня 1905 р. Марко Вовчок просить того ж адресата: «Прошу тебя, упомяни... о факте рассказа, вырази, что не выдумка автора, что показывает и заголовок (из старой зап[исной книжки]) рассказа-б ы л и. Прошу, не забудь» (т а м ж е, стор. 520). З листування ж дізнаємось, що письменниця вважала публікацію оповідання справою потрібною і своєчасною (див. М а р к о В о в ч о к, Твори в шести томах, т. 5, стор. 531).

Оповідання подається за виданням: М а р к о В о в ч о к, Твори в шести томах, т. 5. Текст звірено з першодруком.

---

[1] Мається на увазі польське визвольне повстання 1863 р.— *Ред.*

ЗМІСТ

Стор.

В ГЛУШИ. *Роман* 5

МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(Из записок дворянина) 285

РАССКАЗЫ

Путешествие во внутрь страны 377
Сельская идиллия 413
Хитрый Хаимка 424
Праздничный сон 440
Встреча 456

Примітки 469

МАРКО ВОВЧОК
Сочинения в семи томах

Том пятый
(На украинском языке)

Редактор *М. Л. Мандрика*
Художнє оформлення *К. К. Калугіна*
Художній редактор *В. П. Кузь*
Технічний редактор *О. О. Кадашевич*
Коректор *М. І. Головащук*

Зам. № 1833. Тираж 15 000. Формат паперу 84×108¹/₃₂.
Друк. фіз. арк. 14,875+1 вкл. Умовн. друк. арк. 24,5.
Облік.-видавн. арк. 24,7. Підписано до друку
11.XII. 1964 р. Ціна 1 крб. 30 коп.
Т. п. 1965, поз. 60.

Видавництво «Наукова думка». Київ, Репіна, 3.

Надруковано на Книжковій фабриці «Жовтень» Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі.
Київ, Артема, 23 а.

Ціна 30 коп.

„НАУКОВА ДУМКА"